



МИФ  
РОССИЯ

Борис  
ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

# МИФ РОССИЯ

# **РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КНИГА



Борис ХАЗАНОВ

# МИФ РОССИЯ

Статьи и эссе

Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2011

УДК 821.161.1+82.4

ББК 84(2Рос=Рус)6

X 152

**Хазанов Б.**

X 152 Миф Россия. Статьи и эссе. – СПб.: Алетейя, 2011. – 447 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-561-5

Шестой том Собрания сочинений Бориса Хазанова содержит несколько крупных публицистических, эссеистических и автобиографических произведений («Родники и камни», «Понедельник роз», «Миф Россия»), циклы этюдов и статей на темы новейшей истории, статьи о писателях и философах XIX и XX веков.

**УДК 821.161.1+82.4**

**ББК 84(2Рос=Рус)6**

ISBN 978-5-91419-561-5



© Б. Хазанов, 2011

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

СЧАСТЬЕ БЫТЬ НИЧЬИМ



## Родники и камни

— *Что вы читаете, милорд?*

— *Слова...*

Гамлет

— *Что это вы пишете?*

— *Так, записываю... Сюжет мелькнул...*

Чайка

### 1

**Письма наших лет.** Чеслав Ожеховский, высокий астеничный блондин лет тридцати пяти, польский шляхтич и выпускник Сорбонны, сидел за столом; поднимая глаза от книги, я видел его замечтавшийся взор, руку, занесённую над листом бумаги. Он вёл романтическую переписку с далёкой неизвестной женщиной, выдавая себя за главного инженера на большом секретном строительстве, — этим объясняется, почему он не шлёт своих фотографий. И она тоже не посылала фотографий, вероятно, боялась, что покажется ему недостаточно красивой.

Курсбаза находилась на отшибе, это было длинное барачное помещение с учебными классами. Комнатка, где сидел Чеслав (занимавший должность технического художника и чертёжника), была единственным убежищем от тесноты и шума в бараках жилой зоны. Чеслав Ожеховский был много старше меня и относился ко мне почти как к сыну. Я плёлся к нему после работы, усаживался напротив и читал волшебные стихи «Фауста», очарованный мистикой готического шрифта, внимая пению архангелов, вдыхая сумрак монастырской кельи, где магистр и доктор взывал к Духу Земли. Поразительно, как всё отпечаталось в памяти.

### 2

**День поминовения.** Я был моложе их — все они умерли, все стоят перед глазами: и Ожеховский, и Пётр Пастушок, неизменный, верный товарищ, украинец из Ровно, который читал «Энеиду» Котляревского, и литовец Антанас Криштопайтис — он был чем-то вроде секре-



таря при могущественном техноруке Дупанове (впрочем, тоже бывшем заключённом) на лагпункте Белый Лух, куда я прибыл с этапом со станции Сухобезводное, из столицы лагеря; и был уже вечер, бригады вернулись с работы, я вошёл в контору, в комнату, где толпились бригады и учётчики; меня спросили, кто я был на воле, я ответил — студент и добавил: переводчик, чтобы не объяснять, что такое филология, и был определён в подготовительную колонну, о которой не имел ни малейшего представления; оказалось, что эта бригада расчищает болотные просеки, выволакивает из трясины остатки павших стволов, ставит столбы, строит вышки и тянет колючую проволоку вокруг нового оцепления; Криштопайтис вышел следом за мной в коридор конторы и заговорил со мной по-французски. Он был художник, собирался ехать в Париж, в 1940 году ему было восемнадцать лет, в городок вошла русская армия, вместо Парижа Криштопайтис загремел на тот свет за карикатуру на советского офицера; теперь дотягивал свой червонец, 10 лет, чтобы вскоре отправиться в ссылку на Ангару; изредка, кривыми путями, я получал от него короткие письма: там было хуже, чем в лагере. И ещё одно письмо я получил от него через одиннадцать лет из Литвы, он стал театральным художником.

И один техник, безвестный поэт, чьё имя, увы, я забыл, который посвятил мне стихи, в марте 53-го показал под большим секретом свою оду «На смерть тирана»; а я читал ему свои рассказы, — сшитые в тетрадку, они вернулись вместе со мной из лагеря, хранились в шкафу и были отобраны при обыске, спустя 25 лет. И широкоплечий, тяжело-думный, печальный Миша Пешехонов, говоривший о себе «я, бедный сын еврейского народа», хотя вовсе не был евреем, — однажды он при мне сцепился по какому-то поводу с тощим и увёртливым блатарём по фамилии Оленин, гнусной гадиной. И высокий, сутулый, с бритым черепом старик белорус Иван Александрович Судакевич, некогда приговорённый к «вышке», помилованный, отсидевший громадный срок, после чего, как многие, остался в наших местах и был начальником «лесохозяйственной части», — человек редчайшей доброты, святая душа; любил петь песни, сидя над бумагами, и приглашал меня по секрету к себе обедать, когда я работал бесконвойным комендантом самой северной станции Пбёж лагерной железной дороги, попросту говоря, заготавливал дрова, топил печи, расчищал пути и стрелки. И пан Волюлек, который всё ещё донашивал свою застиранную, выгоревшую гимнастёрку офицера Армии Крайовой. И Овсепян, армянин из Бейрута с 25-летним сроком за измену родине (какой?), малорослый, забитый человек, говоривший по-французски, почти ни слова не знавший по-русски, трудившийся по ночам в бараке над поэмой в честь Сталина, уповая на восточное происхождение вождя, который должен был клю-

нуть на его лесь; Овсепян, гордившийся тем, что слагает свои вирши на подлинном, неиспорченном армянском языке, *pur arménien*; его отец, состоятельный коммерсант, при рождении сына положил на его имя в банк солидную сумму, теперь она должна была обрасти огромными процентами, на эти деньги можно было бы купить Унжлаг со всем начальством и производством, и охраной, и затерянными в тайге вековыми, полумертвыми деревеньками. И профессор, на самом деле доцент начертательной геометрии в каком-то из московских институтов, Василий Аполлосович Баскарев, огромный, толстый, прелестный 62-летний старик в длиннейшем ватном бушлате, называвший себя *мы, либеральная русская интеллигенция*, которому я однажды прочёл поэму собственного изготовления, из коей помню строчку: *Огромным лагерем встаёт Россия*, — Лев Бабков, старый товарищ, должен был вывезти это сочинение на волю; слава Богу, выбросил. И механик лагерной электростанции, для которого я написал краткую грамматику французского языка. И Брайткрайц, украинский немец, с которым можно было говорить и по-немецки, чьё письмо из лагеря я читал, сидя на скамейке в городском саду летом 55-го в Калининe, куда приехал подавать документы в медицинский институт без большой надежды быть принятым. И сколько их ещё было... Я помню их голоса, вижу их как живых и буду помнить их до конца дней, все они были намного старше меня, а теперь я старше их всех. Все умерли — где, когда, не знаю.

### 3

**Тоска бессонных ночей.** Выражение Чорана: *Le cafard d'insomnie*. Я думаю о дневнике, — не лучше ли назвать его: *ночник*, — о литературном жанре, который представляет собой протест против литературы с ее жанрами, против самой сути художественного творчества — его игровой природы. В дневнике романист возвращается к самому себе или, по крайней мере, старается убедить себя, что он существует как автономная личность: хочет быть самим собой.

Но независимо от его намерений интимные заметки, «документы», приобретают статус и облик литературного текста; сочинитель чувствует, что проклятье ремесла не минует его; под его пером все становится литературой.

Привычка обращаться с языком как с материалом подводит писателя, ведь он хотел просто фиксировать свои мысли, эмоции, впечатления, старался всего лишь не грешить против истины. *Mon Dieu!* что такое истина?.. Разве чернильный орешек или краска печатающего устройства не действуют на неё, как кислота на белок, разве литературная запись не денатурирует действительность? Писатель хотел уйти к себе,

в себя, но и там его подстерегает литература. Он полагал, что остался наедине с собственным «я» — на самом деле он наедине с изменническим двойником. Как Тень Евгения Шварца, дневник командует своим автором. Как эхо, живущее вне говорящего, ему вторит его другое «я».

*Gute Nacht, Herr Musil!* Автор «Человека без свойств» имел привычку заканчивать дневниковую запись пожеланием доброй ночи самому себе.

Подростком я вёл дневник, он был уничтожен, когда нависла угроза ареста; в эмиграции мною написано огромное количество писем — во много раз больше, чем за всю прежнюю жизнь; мои письма — аналог дневника. *Gute Nacht!* Может, я и уснул бы. Но я боюсь лечь, боюсь не заснуть. Будем считать, что я пишу письмо самому себе.

#### 4

**Генеалогические грёзы.** Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, покуда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Личность, говорит Гёте, есть высшее благо: *Höchstes Glück der Erdekinder sei nur die Persönlichkeit.* Подумай всё же о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, — лишь пробег ручейка от порога к другому порогу. Не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет.

Ты сбрываешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперяешься в молочный экран и раздумываешь над каждой фразой, лелеешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки священного языка и обожествил алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе в годину чумы, с проломленным черепом, тебя обвинили в распространении заразы; ты в очереди перед газовой камерой, медленно двигаешься вперёд, и рядом с тобой бредёт босой пророк из Галилеи, Царь Иудейский, чтобы вместе с тобой и со своей верой, возвещённой в Иерусалиме, — вместе со всеми вами, евреи! — вдохнуть циклон Б и выле-

теть дымом из печных труб Освенцима и Треблинки. Потому что с теми, кого изгоняли и убивали за несогласие признать Христа богом, вместе с ними сторело и христианство. Да, мы древний народ, — и, кажется, я уже где-то писал об этом, — мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где глубоко под нами, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника.

Но я, возразишь ты самому себе...

## 5

**Двойное подданство.** Но я обретаюсь в литературе нееврейской. Ненароком я внес в литературу родного языка нечто от своего происхождения и тем, возможно, обогатил её. Я русский писатель, но я не национальный писатель. Где я, там русская культура, но это не культура сегодняшней России.

Поэт воображает, что он подключен к сверхчувственному потоку, черпает из него и превращает пригоршни пустоты в стихи; он убеждён, что озвучил то, чего другие не слышат. Прозаик не смеет воспарять так высоко, он просто знает, что литература — его древняя родина. Или, пожалуй, некое сверхсущество, которое старше всех нас и пребудет после нас; он чернорабочий литературы; она стоит над ним, как надсмотрщик с плетью. И лишь когда мы выбиваемся из сил, толкая перед собой тяжёлую тачку, она снисходит до нас.

Писатель знает, что он живёт в традиции, и поскольку это так, постольку он в состоянии с ней бороться. И вот я спрашиваю себя, кого она подсунула мне в качестве прародителей и наставников, на кого я могу опереться, с кем хотел бы схватиться. Традиция предлагает мне благородное происхождение; попробуйте-ка влачить всю жизнь это бремя.

Начиная, невозможно избежать подражания. Я вырос в русской литературе и выглядывал из неё, как дитя смотрит из окон родительского дома. Я находился под обаянием и прессом латинской прозы и под сенью её вечнозелёной французской ветви. Я думаю, что я «испытал влияние» Гейне и Герцена, но также Флобера, Чехова и Мопассана; и очарование прозы князя Джузеппе ди Лампедуза; и, как многие в те далёкие времена, старался брать пример с рассказов Хемингуэя, но затем явился его антагонист Фолкнер и много позже — Франц Кафка и сеньор Хорхе Луис Борхес.

Я обожаю «Героя нашего времени». Я не сразу понял, что писать так, как написаны «Египетские ночи», как был набросан за какие-то, может быть, полчаса трёхстраничный отрывок «Цезарь путешествовал», так же трудно, как вести добродетельную жизнь. Писать «просто», без затей. Трудность в том, что жизнь сложна и сознание перегружено памятью.

**Оправдание литературы.** Издателю легче ответить на вопрос, для кого он выпускает книги, чем писателю — для кого он их пишет. Я совершенно согласен, что писать о литературе легче и приятнее, чем *писать*. Но и сочинитель время от времени спрашивает себя, в чём смысл его работы. Пишет ли он для народа? Для друзей? Для любимой женщины?

Пишут в надежде прославиться, словно это единственный способ стать известным.

Уме недозревший, плод недолгой науки!  
 Покойся, не понуждай к перу мои руки:  
 Не писав летящи дни века проводи  
 Можно, и славу достать, хоть творцом не быти.

*Кантемир*

Пишут, повинаясь потребности выставить себя напоказ: писательство — род возвышенного эксгибиционизма; но пишут и с тем, чтобы исчезнуть: автор умирает в своём произведении. Пишут, чтобы «выразить себя», освободиться от бремени воспоминаний, от сознания вины, упущенной любви, напрасно прожитой жизни; пишут, чтобы уйти от своего «я». Пишут, чтобы расквитаться с кем-нибудь, с чем-нибудь: *литература — это сведение счётов* (Арман Лану). Разоблачить злодейский политический режим, отомстить диктатору, рассчитаться с обществом и отечеством. Пишут в уверенности, что твой гений поведает миру о том, чего мир ещё не знает.

Пишут ради заработка: доходы прозаика средней руки, если повежёт, не уступают улову опытного собирателя подаяний. Пишут ни для чего или для собственного удовольствия. Наконец, как всякое традиционное занятие, литература существует, потому что она существует. Коль скоро есть редакторы, издатели, критики и, по некоторым сведениям, читатели, должны быть и писатели.

Наши литературные предшественники могли испытывать тяжёлые сомнения насчёт своих творческих способностей, но мало кому приходила в голову мысль о ненужности самой литературы.

**Гораций et alii.** Поэт гордится тем, что ввёл в латинскую поэзию метры эолийской лирики: этого достаточно, чтобы остаться в памяти потомков, покуда жрец восходит с молчаливой весталкой на Капитолий, *dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex*. Пока пребудет Рим. Но Рим исчез; Гораций живёт.

Притязание на бессмертие литературы подкреплено ссылкой на традицию, то есть опять же на литературу; оправдание литературы — в ней самой.

Пушкин надеется, что его будут помнить и чтить за то, что он, по примеру Радищева, восславил свободу и воспел милосердие; затем переписывает четвёртую строфу, — и чьё сердце не вздрогнет при сих словах?

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я свободу  
И милость к падшим призывал.

Переключка, через голову Ломоносова и Державина, с автором оды к Мельпомене, но ответ другой. Смысл литературы в том, что она взывает к человечности.

Пруст — графу Жоржу Лори (G. de Lauris):

*Величие подлинного искусства... состоит в том, чтобы вновь обрести, схватить и донести до нас ту реальность, от которой, хотя мы и живём в ней, мы полностью отторгнуты, реальность, которая ускользает от нас тем скорее, чем гуще и непроницаемей её отгораживает усвоенное нами условное знание, подменяющее реальность, так что в конце концов мы умираем, так и не познав правду. А ведь правда эта была не чем иным, как подлинной нашей жизнью. Настоящая жизнь, которую в определённом смысле переживают в любое мгновение все люди, в том числе и художник, жизнь, наконец-то открывшаяся и высветленная, — это литература. Люди её не видят, так как не пытаются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь остаётся нагромождением бесчисленных негативов, которые пропадают без пользы оттого, что разум людей их не проявил.*

Литература как метаязык жизни: та же мысль повторяется в «Обретённом времени». Литература есть заново, во всей её полноте восстановленная жизнь, — в отличие от той, прожитой в неведении, засоренной рутинным знанием, неотрефлексированной, не высветленной искусством. Проза не есть фантазия или эстетическая игра, но некая сверхреальность.

Похоже, что все попытки оправдать литературу недостаточны, — и не в этом ли, в силу какого-то хитрого парадокса, скрыто её конечное оправдание? Оставим в стороне скандальный вопрос «для кого». В конце концов эпохи, когда серьёзная литература обращалась к ничтожному меньшинству, — правило, а не исключение.

Флобер (письмо к мадемуазель Леруайе де Шантпи от 18 марта 1857 г.): «L'artiste doit être dans son oeuvre comme Dieu dans la création,

invisible et tout-puissant». *Художник должен быть в своём произведении как Бог в творении: невидим и всемогущ.* Постулат безличной объективности — ещё один ответ о смысле нашего ремесла: сотворение альтернативного мира.

Альтернативного, ибо он вовсе не притязает на фотографическое воспроизведение действительности, — при том, однако, что мир, созданный писателем, побуждает задуматься о загадках мира, в котором мы живём, и о тайне нашей собственной жизни.

Но рано или поздно догадываешься, что твоё могущество предоставлено тебе взаймы, твоя суверенность — мнимая. На самом деле ты в услужении. Не у государства или общества, или народа, об этом и говорить как-то неловко. Литература предстаёт перед писателем как некая сущность или сверхсущество, — я возвращаюсь к сказанному. Оно стоит над всеми современниками и соотечественниками. Мы умираем, сказал Блок, а искусство остаётся. Его конечные цели нам неизвестны.

## 8

**Сдаётся в наём.** В актовой речи 1977 года в Collège de France Ролан Барт говорит об особой раскрепощающей функции литературы. Наш язык по своей природе авторитарен, это инструмент власти; всякий дискурс заражён вирусом порабощения и рабства. Но мы не можем выпрыгнуть из языка. Он должен быть подорван изнутри, эту работу выполняет писатель.

*Если считать свободой не только способность ускользать из-под любой власти, но также и прежде всего способность не подавлять кого бы то ни было, то это значит, что свобода возможна только вне языка. Беда в том, что за пределы языка нет выхода: это замкнутое пространство... Нам, людям... не остаётся ничего, кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это спасительное плутовство, этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка, во всём великолепии воплощающего идею перманентной революции слова, — я, со своей стороны, называю литературой.* (Пер. Г. Косикова.)

Литература возвращает свободу от политического, патриотического, идеологического, религиозного и всякого другого единовластия. В этом смысле она беспринципна.

А как же мораль? Что стряслось с «идеалами»? А ничего — их больше нет. Литература отгрызла их, как волк — лапу, зацементированную в кашканы. Осталось другое, — и я думаю, что оно не противоречит ни этическому императиву, ни представлению о литературе как о высокой игре. После гнилостного эстетизма, после дурно пахнущего натурализма, после протитупированного соцреализма, после всяческого хулиган-

ства и раздрызга мы возвращаемся в пустую башню слоновой кости, на которой висит объявление: «То рау». *Сдаётся в наём.*

Кое-что переменялось с тех пор, как её покинули последние квартиранты. Тысячу раз осмеянное архаическое сооружение сделалось одиноким прибежищем человечности. Что такое стиль? В самом общем смысле — преодоление хаоса. Сопrotивляться! Сопrotивляться! Тот, кто хорошо пишет, отстаивает честь нашего языка. Другими словами — отстаивает достоинство человека.

## 9

**Пробуждение.** Но нет... всё-таки это не последняя истина. Будем откровенны до конца. За всеми попытками самоопределения, самооправдания, самовозвеличивания скрывается нечто иное. Сказать о нём нелегко; самое, может быть, важное, последний стимул.

Камю задавался вопросом, что удерживает человека от естественного поступка — самоубийства.

Ответ Назона из пожизненного изгнания:

Ergo quod vivo durisque laboribus obsto,  
Nec me sollicitae taedia lucis habent,  
Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes,  
Tu curae requies, tu medicina venis.  
Tu dux et comes es...<sup>1</sup>

Когда вдруг очнёшься, протрёшь глаза и поймёшь: впереди ничего нет. Когда раздвинешь глухие шторы, и в окнах — непроглядная ночь. Когда сознание абсолютной бессмысленности существования, как головная боль, становится постоянной приправой ко всему, о чём думаешь, говоришь, вещаешь. Тогда пишут. Пишут — хватаются за стилум, гусиное или стальное перо, как алкоголик хватается за бутылку, бьют по клавишам пишущей машинки или компьютера, пишут, цепляются за писательство, боясь потеряться впотьмах, как Данте ищет руку Вергилия. Пишут в отчаянии от того, что некуда деться, пишут, спасаясь от одиночества, пишут, чтобы заглушить тоску, прогнать тревогу, чтобы заполнить, забросать словами пустоту, где клубится абсурд, чтобы развеять жуткий сон, который на самом деле есть не что иное, как реальная жизнь. Вот в чём дело. Пишут в надежде проснуться от жизни, убежать от самого себя...

---

<sup>1</sup> Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, — тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник...



**Счастье вернуться.** Всякий раз, приезжая в Париж, я селился «на Холме», à la Butte; когда вы бредёте от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где слоняются такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, — сворачиваете направо, и по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился сто лет назад читанный «Ученик», «Le Disciple», забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, — и дальше вниз, и снова вверх, и поворачиваете к Трёх братьям, на минутку задерживаетесь перед домом-пристанищем поэтов, художников и актёров, со смешным названием Bateau-Lavoir, которое придумал Макс Жакоб, что можно перевести как «мостики для полоскания белья» или «корабль-умывальник», — кто тут только не побывал, Аполлинер, Брак, Ван Донген, Пикассо, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен; и когда вы снова оказались на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, — то всякий раз кажется, что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев; но вот, наконец, крутая, с многими маршами лестница: минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулёром. Или, шагая по верхним улочкам Монматра, через маленькую площадь Тертр подойти вплотную. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacré-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой, опустив меч крестом рукоятки кверху, и Жанна д'Арк с поднятым мечом, взирают на весь Париж.

Как о любви всё сказано и рассказано, так и о Париже сказано всё что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, паломником, гостем; в Копенгагене, волшебно городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду

Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, — и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, — говорят, оттуда видно четыре штата, — в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: приеду ли когда-нибудь снова? Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать — по чему? Да всё по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, *carrefour des lettres et des arts*, как кто-то назвал его, — с недавних пор здесь красуется табличка: «Площадь Сартра и Симоны де Бовуар», славная чета сживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, — они и сейчас такие же, эти столпы с зеркалами, столы красного дерева, сиденья, обитые потёртой кожей. По вовсе не знаменитому, в двух шагах от бульвара Сен-Жермен, маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю всякий раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов — кто только в них не рылся, — по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого четыре века. В Париже мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?

Лютетия, кораблик, который «качается на волнах и не тонет», *fluctuat nec mergitur*. Это, может быть, самый живой город в Европе, а между тем всё в нём существует по сей день. Беньямин назвал Париж столицей девятнадцатого века, и в самом деле, вот оно: крутые крыши с мансардами, дома без лифтов, скрипучие лестницы, окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что он всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и

площади одна другой краше, эти стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром. Ах, поздно ты проторил сюда дорожку.

## 11

**Очарование раздрызга.** Я разыскал его на кладбище Монпарнас, в 26-м отсеке, рядом с мемориалом павших на франко-прусской войне. Воротца из желтоватого известняка, подобие дорических колонн, сверху имя и фамилия. В январе 1892 г. Анри Рене Альбер Ги де Мопассан был доставлен в Пасси, в смирительной рубашке, в сопровождении старого друга, слуги и сиделки. В комнате № 15 на третьем этаже гостиницы Ламбаль он провел последние восемнадцать месяцев своей жизни. (Они были ужасны.) Он скончался в июле следующего года, без малого сорока трёх лет. Надгробную речь держал Золя:

*Если он нашёл отклик, если его полюбили, то потому, что он вернул французской душе то, что по праву принадлежит ей. Его понимали, потому что он был сама ясность, простота, мера и мощь. Его любили, потому что он был смеющаяся доброта, пронзительная сатира, которая чудом оставалась беззлобной... он был звеном той цепи, которая прослеживается от первого лепета нашего языка до нынешних дней, его предками были Рабле, Монтень, Мольер. Лафонтен — свет и разум нашей литературы...*

За два года до смерти пациент, страдавший бессонницей, невралгическими болями, болезнью глаз, предстал перед доктором Дежереном, будущим классиком невропатологии. Был поставлен диагноз неврастении — довольно частая диагностическая ошибка: начало прогрессивного паралича напоминает неврастенический синдром. Но о том, что РР, *paralysis progressiva*, — позднее следствие сифилиса, знали уже тогда; считалось, что РР — удел особо одаренных людей. Шуман, Бодлер, Жерар де Нерваль, Ницше, Врубель, Гуго Вольф...

Я не раз задавал себе вопрос, что значит хорошо писать. Хороший писатель — это тот, кто хорошо пишет, плохой — кто пишет плохо; как всегда, самым точным определением оказывается тавтология.

*Впрочем (говорится в предисловии к маленькому роману «Пьер и Жан»), французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и не смогут замутиль вычурные писатели. Каждый век бросал в этот прозрачный поток свои вкусы, свои претенциозные архаизмы и свою жеманность, но ничто не всплыло на поверхность из всех этих напрасных попыток и бессильных стараний. Наш язык — ясный, логичный и выразительный. Он не даст себя ослабить, затемнить или извратить.*

Латинская проза Золотого века. Французы века Светочей. «Египетские ночи», «Пиковая дама», «Герой нашего времени». Необъяснимая магия Чехова. Итак, если придать личным предпочтениям более общий смысл, я бы сказал, что принципом настоящей литературы является дисциплина. Мы можем раскачиваться на качелях сколь угодно высоко, взлетать к небесам и падать с замиранием сердца, но если отпустим верёвку, то полетим кувырком.

Существует соблазн передать хаос средствами самого хаоса. Позабыв все на свете, сочинять хаотически-беспорядочную, растрёпанную и расхристанную прозу. Дать свободу руке, держащей перо или стучащей по клавишам, — вплоть до автоматической прозы сюрреалистов.

Но самая безумная проза оборачивается невыносимой скукой, если она не следует закону внутреннего самоограничения. Мы устали от безбрежного субъективизма. От многоглаголанья, от вывихнутого синтаксиса, от болтовни и бормотанья, от жалкого лепета, выдаваемого за художественную литературу.

Нужно отдать себе отчёт в том, *что* следует называть слогом и стилем. Слог индивидуален. Стилль сверхиндивидуален. Стилль предполагает умение продемонстрировать мудрость и красоту языка. Слово «красота» скомпрометировано, от него пахнет одеколоном. Но завет эстетического совершенства прозы непоколебим.

## 12

**Герой нашего времени.** Будем, однако, вести добродетельную жизнь. Завтрак в Hôtel des Arts на улице Толозэ, узенькой и горбатой, как все улочки на Монмартре, — и навстречу в номер с окном, выходящим в колодезь внутреннего двора.

*Не начати ли нам, братие, трудных повестей...*

Начинали, увы, не раз. Флобер говорит в одном письме: просидел двенадцать часов и сделал две фразы. Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил; в другом письме он сравнивает себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы собираемся поведать миру? Похоже, что записывание мыслей о романе заменяет самый роман. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней компьютерного экрана.

Написать о том, как некто покушается на роман, «панораму времени»; вместо этого он пишет о том, как роман не удаётся. Время отвергает таких сочинителей, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.

Написать о сером, незаметном человеке без имени, без профессии, без семьи, без пристанища, о том, чьё имя — *quidam*, *Некто*. Человек, чья бесцветность оправдана тем, что ему выпало стать свидетелем эпо-

хи, враждебной всякому своеобразие, человек-песчинка в песочных часах истории. Нет, нас не призвали всеблагие, как собеседников, на пир. Вихрь, мусорный ветер Андрея Платонова увлѣк тебя за собой, славы судьбу и злодейское государство за то, что они оставили тебя в живых, прогнали вон.

Ты стучишь по клавишам: быть может, эти заметки «по поводу» столкнут с места пульмановский вагон твоей прозы. Написать о том, что роман не даётся? Но не значит ли это, что в дальней перспективе времени, в пропасти зеркал твои персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе?

### 13

**Престарелый Феникс.** Он стоит, одна нога-лапа с длинными птичьими когтями, другая без ступни — он опирается на кость голени. Он держит копьё, на котором насажен череп. Остатки оперения торчат сзади, он гол, видна женская грудь, а вместо крыльев у него что-то похожее на отвисшие водоросли. Но по-прежнему горделиво закинута его голова с хохолком, с величественным клювом, с большим круглым глазом. Пустынный пейзаж: упавшая ветка, там и сям остатки иссохших цветов.

И всё же она бессмертна, эта птица-андрогин. *Der greise Phönix*, гравюра Пауля Клее.

Вслед за смертью автора, о которой писал Барт, испустил дух и роман. Умер как литературный жанр, лишился легитимации. Так говорят. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Но роман, этот потрёпанный Феникс, возрождается чуть ли не на поминках.

Мандельштам: крушение человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений — отсюда и крах европейского романа, законченного в себе повествования о судьбе одного лица. Натали Саррот («Эра подозрений»): персонажи классической прозы — фикции; реальная личность неуловима; сюжет, интрига — всё износилось; роман изжил себя. *Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, — им овладевают сомнения, рука не поднимается, — нет, он решительно не в силах.* De te fabula narratur, о тебе речь, приятель. И опять погребение не состоялось, и с тех пор не раз ещё справляли панихиду по роману.

*Когда литературная система приходит к концу, то оказывается, что сильнее всего в ней успела износиться иллюзия реальности. Эти герои, встающие и садящиеся, и раскуривающие папиросу, и думающие словами, которые придумал автор, — литературный факт, в каком-то последнем счете, быть может, того же по-*

рядка, что единство времени или цезура на второй стопе... После Толстого стремиться к материальной протяженности романа бессцельно. (Л.Я. Гинзбург.)

Речь идёт о чувстве исчерпанности. Отменить Толстого нельзя, как нельзя отменить солнечную систему. Но дальше так писать невозможно. Истопившиеся литературные парадигмы подхватываются эпигонами и в конце концов перекочёвывают в тривиальную словесность, которая кормится остатками былых пиров, как слуги допивают вино из бокалов ушедших гостей.

Роман умирает каждый раз после того, как явился реформатор романа. Мандельштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним живым произведением этого жанра, но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало казаться, что писать романы больше невозможно. Автор «Фальшивомонетчиков» вновь поставил под сомнение перспективы романа. Вирджиния Вульф, «Миссис Деллоуэй» или «К маяку», — и опять: жизнеспособно ли дальнейшее романное сочинительство? «Улисс» как будто окончательно поставил крест на романе. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль пал в единоборстве со своим романом-Минотавром, успев нанести роману смертельный удар; казалось, потенции романистики исчерпаны. Но стареющий Феникс вновь находит в себе силы восстать из мёртвых.

## 14

**В защиту фрагмента.** Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрогнувшим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся?

И не потому ли он оказывается в конце концов набором фрагментов. Эта эпоха похожа на отбивную — кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. Плавное, связное повествование — роскошь, достоянье ушедшей поры, когда герой романа был субъектом Истории; сейчас он только её объект: её жертва Я начинаю догадываться, что поэтика нового романа есть черта эпохи. Крах полномочного Автора отвечает крушению веры в Историю.

Что такое фрагмент (от *frango*, ломаю)? Обломок чего-то; нечто выпавшее из целого; начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.

Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают.

Борис Дубин говорит о Чоране, о том, что *он не находил себе места нигде: ни в географии, ни в быту, ни в литературе... Идиосинкратическим воплощением этого и стало его письмо, фрагментарное, как теперь выражаются, по умолчанию.*

Господи, да ведь мы все — апатриды классического романа.

Век миновал, «наш» век, — не хотели бы мы принадлежать этому гнусному веку! Не время ли подбить итог? Соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные расстояния, для наблюдателя это — созвездие, нечто связанное. Собрать по кусочкам эпоху, как скелет ископаемого ящера. Самые разные события происходят в одно время, но лишь годы спустя осеняет мысль о взаимозависимости, о тайной переключке. Она кажется объективным фактом. А на самом деле это умозрительный конструктор. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким, когда был жив? Жил ли он на самом деле?

## 15

**Паровой котёл эпоса.** Гигантская тень Льва Толстого нависла над русской литературой. Уверенность в том, что жизнь нации бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, до того въелась, что побуждает сочинять народно-исторические эпопеи до сих пор.

Замысел кажется величественным, вдохновляет, окрыляет, а как дошло дело до исполнения... Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит её выловить — комок бесцветной слизи.

По-видимому, фатальной ошибкой автора эпопеи «Красное колесо» была презумпция архаического жанра. Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то царь или крестьянин, купец или революционер, должны выглядеть как отражение истории. Этот проект был заведомо обречён. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Им незачем жить собственной жизнью: они кого-то — или что-то — «представляют». От этой иллюстративности им некуда деться. Многоосная музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и скоростей, двигалась еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как *умчался век эпических поэм.*

Я никогда не понимал людей, которые гордо заявляли, что они жили «со своим народом», славили величие нашего времени, гордились тем, что шагают с ним в ногу, утверждали, что живут «в истории»; я не

понимаю, как можно жить в *такой* истории. Литература противостоит истории. Литература дискредитирует историю. Но этот злой демиург Чорана (le mauvais démiurge) дискредитировал сам себя. Мы живём в царстве абсурда. Мы родились в этом царстве, в нём и околеем.

Для всего нашлись объяснения. Всё было построено на рациональных основаниях, расчислено, распланировано, технизировано, бюрократизировано, санкционировано наукообразной идеологией. Но за этой наукой и техникой, логикой и организацией скрывается пустота — чёрный провал. Двигаясь назад по цепочке причин, следствий, оснований для поводов и причин для причин, мы в конечном итоге упрёмся в абсурд.

Перед лицом истории ты ничто. Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от производства. Двадцатый принёс отчуждение от истории. От того, что когда-то, ха-ха, именовалось историческим разумом. Мы, как муравьи в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалёванной, словно труп в палисандровом гробу, истории. С исторической точки зрения жизнь человека значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви. Лагерные лошади выволакивают голые стволы с делянок на лесосклады. Зелёный убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля чёрного праха. Остаются «поля захоронения»: гигантские кладбища без крестов и надгробий, где лежат в болотной трясине миллионы строителей счастливого будущего.

## 16

**Литература, наркотик свободы.** И в который раз задаёшь себе вопрос: возможно ли связать то, что ещё удавалось творцу «Войны и мира» и что сегодня уже никак не связывается, соединить два времени, историческое и человеческое, найти волшебное уравнение литературы — нечто сравнимое с физическим соотношением неопределённостей Гейзенберга?

Соединить — или столкнуть лбами?

Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только индивидуальной, тайной, внутренней жизнью человека, что делать литературе, для которой нет великих и малых и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым?

Как всякое искусство, литература существует ради самой себя, другими словами — ради человека. Литература абсолютна: небеса пусты; человеческая личность — её абсолют.



О, эта риторика свободы! Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или нация, но человек сам по себе, «просто так», хоть он и живёт в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и прикован к обществу и государству, которые сочли его своей собственностью. Фет, на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».

Если художественная литература несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но потому, что он так устроен. Такова природа существа, наделённого индивидуальным сознанием. Человек заключён в своей свободе, — пусть же литература напомним ему об этом. Литература есть воплощение его достоинства. В этом её скрытый пафос. В этом, может быть, и её последнее оправдание. Сопротивляться! То, чего не достигла религия, чему не смогла научить гуманистическая философия, посреди сумасшедшего дома истории принимает на свои плечи литература, *триединство Слова, Свободы и Духа*, как пышно выразился Эрнст Юнгер.

## 17

**Новый ангел.** Картон Клее «Angelus Novus», некогда приобретённый Вальтером Бенямином, хранится в Музее Израиля, в Иерусалиме.

*Кажется, он сейчас отшатнётся от чего-то, к чему прикован его взгляд. Его глаза выпучены, рот приоткрыт, крылья распахнуты. Должно быть, так выглядит ангел Истории. Свой лик он обратил к прошлому. Там, где нам видится череда цепь случайных происшествий, он зрит непрекращающуюся катастрофу, груды развалин, которые она без устали швыряет к его ногам. Ему хочется крикнуть: «Остановись!», разбудить мёртвых, восстановить то, что разбито вдребезги. Но ветер бури несётся из рая с такой силой, что ангел не может сложить свои вздыбленные крылья. Буря гонит его в будущее, он повернулся к нему спиной, а лицом — к горе обломков, что растёт до неба. Этот ветер и есть то, что мы называем прогрессом.*

Восемнадцать тезисов «О понятии “История”», *Ueber den Begriff der Geschichte* (Новый ангел — IX тезис), Бенямин набросал в первые месяцы после освобождения из лагеря интернированных иностранцев. Героическая попытка слепить новую концепцию истории, которая насмехается над всяческим теоретизированием. Откопать логику среди руин.

Некий высший разум берёт на вооружение исторический материализм, правда, своеобразно толкуемый. В первом тезисе говорится о шахматном автомате конструкции некоего барона фон Кемпелена. Кукла в восточном тюрбане покуривает из кальяна, сидя перед доской с фи-

гурами, хитроумная система зеркал создаёт иллюзию полной отъединённости игрока, так что его можно обозреть со всех сторон. Искусственный шахматист всегда выигрывает.

В действительности в столе спрятан карлик-гроссмейстер, он управляет рукой куклы.

*Нечто подобное (заключает Бенъямин) можно представить себе в философии. Считается, что кукла, называемая историческим материализмом, всегда выигрывает. Она может успешно сразиться с любым — но при условии, что на помощь ей приходит теология, столь презираемая в наше время.*

Между тем Франция капитулирует, одно из условий перемирия с Германией — выдача эмигрантов оккупационным властям, Бенъямин пытается бежать от гестапо через Пиренеи в Испанию — неудачно, попытка противопоставить человеческий разум и достоинство личности абсурду истории заканчивается самоубийством.

Бог истории — Злой демиург — потерпел крах вместе с марксизмом, которому едва успел обучиться.

## 18

**Точка отсчёта.** Роман «Госпожа Бовари» начинается с воспоминания о школе. *Мы готовили уроки, когда вошел директор... кое-кто дремал, но тут все мы очнулись и вскочили... директор сделал нам знак сесть...* В классе появился новичок по имени Шарль Бовари. После чего повествователь исчезает: нигде больше эти «мы» и «нам» не упоминаются.

Вам рассказывают о чём-то. Обыкновенно задаётся вопрос: о чём? Обсуждается содержание. Так поступают критики. Нас, однако, интересует, *кто* рассказывает.

Анна Каренина не знает о Толстом, но Толстой всё знает об Анне Карениной. Нет оснований усомниться в его компетентности. Романист читает в сердце своей героини, он читает во всех сердцах. Романист, как Наполеон, сидит на барабане где-нибудь на холме, откуда открывается вид на всё поле битвы. Мир романа есть мир, видимый метанаблюдателем с неподвижной точки зрения, вынесенной за пределы этого мира.

Мы могли бы снова вспомнить о шахматах, сравнив романиста с игроком, который вдобавок способен воплощаться в любую из фигур. Он склонился над доской, и он же стоит на доске: небожитель, который сошёл на созданную им землю. Он втянут в водоворот событий и умрёт в эндшпиле. Тесный мир доски представится ему единственным реальным миром. И когда ему захочется знать, кто же сотворил этот мир, он создаст гипотезу Игрока.

Он будет рассуждать о своём уделе на доске мира и, как Иов, возропщет на творение и Творца. Вслед за Паскалем он будет шептать о том, что всё его достоинство, достоинство деревянной фигуры, — в разуме. Такова теология классического (реалистического) романа. Проза, которая представляет собой набор изживших себя условностей, в совокупности создающих эффект жизненной правды.

## 19

**Торжество литературного атеизма.** Письмо Флобера к пожилой девушке m-lle Leroyer de Chantepie, — род литературного катехизиса; писатель в своём произведении — как Бог в природе. Это полдень классического романа. И вот происходит нечто вроде затмения солнца, темнеет вокруг. Богоподобный автор низвергнут с литературных небес.

*Главное — особый тон рассказа* (Достоевский в набросках к «Бесам», 1870). Повествование ведётся от первого лица, тем не менее это не традиционная Ich-Erzählung. Повествование от имени человека, у которого по существу нет имени. То, что формально какое-никакое имя всё-таки есть — «хроникёра» зовут Антон Лаврентьевич, — быстро забывается, и не только оттого, что имя это упомянуто всего два раза на восьмистах страницах романа. Но потому, что это упоминание вынужденное. Имя-отчество г-на Г-ва носит чисто функциональный характер. Когда впервые Хроникёр вместе с Шатовым наносит визит Лизавете Николаевне, возникает необходимость представить гостя, после чего по русскому обычаю полагается обращаться к нему по имени и отчеству. В дальнейшем это имя и отчество не всплывает. Фамилия сокращена, она и вовсе не имеет значения. Гаврилов, Горохов — какая разница?

Пыгались подставить под него какое-нибудь реальное лицо, подыскивали прототип. Ложная идея. Хроникёр — не действующее лицо. Он вообще не лицо. Он чрезвычайно скромен, ничего не рассказывает о себе. Мы не знаем, как и на что он живёт, есть ли у него семья. У него нет биографии. Едва взявшись за перо, он предупреждает о своём неумении рассказывать о событиях. На самом деле он совсем неплохо справляется со своей задачей.

Чем он, собственно, занят? Да ничем, — кроме того, что беседует с многочисленным Степаном Трофимовичем, бегаёт целыми днями по городу, где всех знает, слушает разговоры, собирает сплетни. И всем этим делится с читателем, рассказывает о своих впечатлениях, строит догадки.

Спрашивается, зачем он нужен в романе. Ответ отчасти готов: хотя бы для того, чтобы было перед кем разливаться соловьём Степану Трофимовичу. Этот Г-в необходим ему, как Горацио — принцу

Гамлету. Другие заняты денежными делами, любовью, политиканством; заговорщики собираются развалить общество и столкнуть мир в тартарары. Все при деле. У Г-ва никаких дел нет, много свободного времени.

Композиционная функция Хроникёра состоит в том, что он связывает всех действующих лиц и соединяет все нити; он — центр повествования. Но это, странно сказать, безликий центр. Нулевая точка отсчёта. Или, скажем так, некая точка зрения. Г-в нужен, потому что только он может сообщить нам необходимую информацию. Условием для этого, однако, является неучастие: в отличие от привычного «я» — живого участника событий, Хроникёр — не персонаж среди других персонажей.

## 20

**Сомнительная действительность.** Спрашивается, насколько «адекватна» информация Хроникёра. Можно ли вполне доверять его рассказу. Опыт «Бесов» пригодился автору для «Братьев Карамазовых», где целые страницы представляют собой пересказ чего-то услышанного, кем-то обронённого. В «Бесах» это главный принцип повествования. Автор передал свои функции кому-то. Это значит, что автор умывает руки. Он снимает с себя ответственность за речи героев, за их поступки, за достоверность рассказа в целом.

До сих пор эту информацию принимают без оговорок, в наивной уверенности, что Хроникёр — уполномоченный всезнающего автора. Как бы не так. Кто же он всё-таки? Мой ответ: персонифицированная молва. Глас народа. Клубок общепринятых версий; совокупность фактов, какими они отражены в усреднённом представлении городского обывателя, перетолкованы общественным мнением; реальность, воспринятая обыденным сознанием.

Этот господин Г-в — не я и не он, а скорее «оно», и у него есть свои литературные предки и свои потомки. Хроникёр «Бесов» — это выродившийся хор античной трагедии, комментирующий события, пристрастный, сострадающий, восхищённый, возмущённый. Что касается потомков, то вот, например, один: доктор Серенус Цейтблом. *Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна [...] я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу.* В том-то и дело, что особа эта — человек благородный, но бесцветный. Сам по себе он, как и Хроникёр «Бесов», совершенно неинтересен.

Для каждого предмета, учил Флобер, существует только одно определение — нужно его найти. Нужно уметь прочесть единственно

верную версию, которая даже и не версия, но сама истина — зеркало действительности; нужно *верить в действительность действительности*. А = А, иных, альтернативных версий не может быть.

И вот явился романист, у которого бог истины аннулирован. Парадокс, не правда ли: писатель с устойчивой репутацией монархиста и реакционера оказывается в своей поэтике революционером и атеистом. В «Бесах» предложена неслыханная для современников концепция действительности — ненадёжной, неоднозначной, скорее вероятностной, чем детерминистской, настолько же «объективной», как и субъективной.

Никто не может ручаться за абсолютную достоверность сведений, которые вам сообщают. Эта валюта ничем не обеспечена. Весь роман проникнут духом подозрительности (столь свойственной характеру человека, который его написал). И не то чтобы вас сознательно водят за нос. Хроникёр — воплощённая честность. Просто жизнь такова, что её, как в квантовой физике, невозможно отделить от измерительного прибора. Действительность представляет собой конгломерат версий, и лишь в таком качестве может быть освоена литературой.

Жуткий смысл фигур и событий брезжит из тёмных и гиблых низин этого мира, онтология его удручающе ненадёжна. Познание проблематично. Последней инстанции, владеющей полной истиной, попросту нет, и этим объясняется чувство тягостного беспокойства, которое не отпускает читателя.

## 21

**Исповедь Ставрогина.** Но сказанное все же нельзя отнести ко всему роману. Писатель непоследователен, нет-нет да и сбивается на квази-объективную манеру повествования. Таковы первые главы 2-й части, «Ночь» и «Продолжение». Расставшись с Петром Степановичем, Ставрогин допоздна сидит в забытьи на диване в своём кабинете, очнувшись, выходит под дождём в сад, «тёмный, как погреб». Шагает по безлюдной Богоявленской и, наконец, останавливается перед домом, где в мезонине квартирует Шатов. Во флигеле живёт инженер Кирилов. Обе встречи чрезвычайно важны для сюжета. Но о них никто, кроме участников (и автора), не знает.

Далее — Заречье, визит к капитану Лебядкину. [*Ставрогин*] *прошёл всю Богоявленскую улицу; наконец, пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство — река. Дома обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков...*

Я жил в Твери (в романе не названной), застал и эти домишки, и тусклые закоулки. Всё так же, едва различимая, угадывалась во тьме Волга. Полудеревенский дом, блеск лампы, скрип половиц, переломленные тени спорящих. И бесконечный дождь за окошком...

И лихорадочные речи Шатова, и безумный проект Кирилова, и ночное, загадочное, в глухом одиночестве, странствие Николая Всеволодовича по призрачному городу — всё, как сон. На мосту (в 1860 г. это был плавучий понтонный мост) к Ставрогину выходит ещё один призрак, Федька Каторжный. И опять же Хроникёр никак не мог бы проведать, о чём они толковали.

Сюда же — выпущенная глава «У Тихона». Откуда, спрашивается, было знать Хроникёру о беседе с Тихоном, не говоря уже о том, чтобы заполучить «три отпечатанных и сброшюрованных листочка» — исповедь Николая Ставрогина.

У меня есть только один ответ, почему писатель в этих главах забывает о полуанонимном повествователе и рассказ принимает характер традиционного изложения «от автора». Если г-н Г-в не есть романский персонаж в обычном смысле, а скорее субперсонаж, то Николай Ставрогин — это сверхперсонаж. (Можно было бы сказать: супермен.) В сцеплении действующих лиц ему отведена особая роль. Как эпицентр бури, он мертвенно-спокоен. Будучи центральной фигурой, он вместе с тем стоит над всем, что происходит, — *над* романом. В этом смысле ему закон не писан.

Его активная роль — в прошлом, до поднятия занавеса. Факел сгорел, остался запах дыма. В романе появляется бывший вождь, которому революция наскучила совершенно так же, как сегодняшнему читателю наскучили славословия Достоевскому — пророку гибельной революции 1917 года. (У бесов Достоевского весьма мало общего с большевиками.)

*Был учитель, вещавший огромные слова (говорит Шатов), и был ученик, воскресший из мёртвых. Я тот ученик, а вы учитель.* Неподвижная чёрно-серебряная звезда, вокруг которой вращаются, на ближних и дальних орбитах, «бесы» во главе с Петей Верховенским; маменькин сынок, богач и красавец, которого облепили женщины. Николай Ставрогин никого не любит, ни в ком не нуждается. В сфере усреднённого сознания, какую репрезентирует условный рассказчик, этот демон не помещается.

Напрашивается другая аналогия, и, быть может, здесь приоткрывает себя тайна принципиальной амбивалентности замысла, амбивалентной психологии самого писателя. Ставрогин — от греческого σταυρός, крест, — Ставрогин с бесами — зловещая трансвестия Христа с учениками, роман — негатив Евангелия.

**Предвидение наизнанку.** Что-то должно было перемениться к осени 1971 года, если в руководящих инстанциях решили отпраздновать 150-летие Фёдора Михайловича Достоевского, и притом по высшему разряду. На торжественном заседании в Большом театре (где я был) официальный литературовед Борис Сучков возвестил о реабилитации автора «Бесов». Ещё недавно роман считался клеветническим, порочащим революционное движение. Автор был заклеимён Лениным как «архискверный». Теперь оказалось, что писатель развенчал не настоящих, а ложных революционеров — анархистов и заговорщиков, — то есть в конечном счёте совершил благое дело.

Много лет прошло с тех пор, снова переставлены знаки, но манера читать и толковать Достоевского, похоже, осталась прежней. Роман «Бесы» — урок и предостережение: Достоевский предсказал русскую революцию. Предвидел, провидел судьбу России в двадцатом веке, предвосхитил то, что не снилось никому из русских писателей, а заодно и европейских. Как в воду смотрел.

Дальше — больше, и, по словам известного критика и публицистки, «Бесы» — это и большевики, и меньшевики, и эсеры; это и февральская революция, и октябрьский переворот. И гражданская война, и коллективизация, и 37 год, и так далее. «Каждый раз на историческом повороте, вплоть до наших дней, Россия могла найти аналог случившемуся в “Бесах”».

Можно сколько угодно актуализировать этот роман, отыскивать параллели и дивиться прозорливости автора, якобы угадавшего все беды Двадцатого, а теперь уже и Двадцать первого века, — бессмертие Достоевского и бессмертие «Бесов» не в долговечности его прогнозов, а в долговечности искусства.

С тем же правом, с каким мы говорим о торжестве художника, можно говорить о поражении национального мечтателя, православно-христианского идеолога, почвенного мыслителя и своеобразного консервативного революционера. (Публицисты Консервативной революции в Германии 20-х годов — как много у них общего с Достоевским!)

Это поражение, этот крах сам по себе есть пророчество, негативное пророчество, над которым можно было бы крепко задуматься, если не терять головы. Поразмислить и о той доле идейной *вины*, которую несёт Достоевский, чьё иступлённое народопоклонничество, проповедь всемирно-очистительной миссии России, величия мужаика Марья и т.п. опьянила русскую интеллигенцию, способствовала, вопреки ожиданиям писателя, сочувственному приятию радикально-освободительной идеи, приуготовила интеллигенцию к революционному самопожертвованию и самоубийству.

**Лео Блум и Саня Лаженицын.** Две книги напоминают циклопические сооружения древности; обе намеренно или непроизвольно ориентированы на архаический эпос. (Лев Лосев сравнивал «Красное колесо» с Повестью временных лет.) Оба романа порождены титаническим усилием создать литературную вселенную, которая выдержала бы соперничество с реальной вселенной. Два монстра равно смущают пестротой своего состава, но должны восприниматься как нечто целое.

На этом, возможно, сходство кончается, и более того, есть нечто ставящее их по обе стороны водораздела. Хотя действие обеих книг приурочено к одной и той же эпохе, они принадлежат двум векам литературы.

Действие 1200-страничного «Улисса» укладывается в 18 часов. Весь этот долгий день Блум блуждает по городу — Одиссей плывёт по морю от одного острова к другому. Вечный Жид скитается из века в век. Час жизни Блума соответствует 65 страницам романа, одна страница — минута с небольшим; этот простой подсчёт сделал Герман Брох. Литературное время буквально совпадает с временем жизни, или, что то же, с временем, как оно протекает в сознании героя. Вместе с тем оно раздувается, как мыльный пузырь. Один день Блума равен тридцатилетнему путешествию Одиссея или двадцативековому странствию Агасфера. Или, если дать волю фантазии, соответствует трём возрастам жизни, трём эпохам европейской истории; ипостасям Троицы, ступеням постижения мира в томистской теологии. Но вот пузырь лопается — бедняга Блум, потный и усталый, мотается, ни о чём не подозревая, по улицам и закоулкам Дублина, забредает на пляж, замечает там хромую девицу, и... и что там ещё происходит: мелочи, труха.

Роман строится по принципу обратной перспективы, тесное пространство и ограниченное время действия раздвигаются до вселенских масштабов. У читателя кружится голова. Но стоит протереть глаза, и вновь перед нами один-единственный, ничем не замечательный день 16 июня 1904 года, Bloomsday, суета маленьких людей, «жизни мышья беготня».

Действие эпопеи под названием (довольно безвкусным) «Красное колесо» охватывает примерно четыре года; выбрано несколько коротких отрезков; по определению автора, это *повествование в отмеренных сроках*. Слово «отмеренный» надо понимать буквально, в этой прозе время не имеет ничего общего с мифом, это именно то эмпирическое время, которое обозначено датами-заголовками. Время, решающее для судеб страны, узлы или ступки истории.



Джойс говорит устами Стивена Дедалуса о кошмаре истории, от которого он хочет пробудиться. В прозе Солженицына история составляет главнейший предмет повествования. История заменяет сюжет и отгесняет художество.

Писатель намерен восстановить исторический процесс, в который вовлечены все, от крестьянина до монарха, предлагает окончательный вариант исторической истины — то, что должно отменить лживую историю революции, навороченную идеологами коммунизма. Отсюда общая установка на *правду* — достоверность историко-документального исследования и правдивость жизнеподобной беллетристики. Всё в романическом цикле Солженицына: пейзажи, диалоги, дискуссии, любовные сцены, описания боёв — должно выглядеть так, как оно происходит в жизни, видимой через оконное стекло.

Иначе говоря, это та картина действительности, какую рисует себе усреднённое, обыденное сознание. Такое сознание не позволяет вторгнуться гротеску, не даёт себя исказить иронии, не склонно к мифологизированию. Такое сознание, вопреки кажущемуся «полифонизму» романа, унитарно. Ему чужды догадки относительно того, что действительность может быть зыбкой и двусмысленной, что её вообще можно поставить под сомнение. Автор убеждён: истина, какой бы сложной она ни была, всегда едина, всегда равна самой себе. Наконец, это сознание отождествляет себя с народным и национальным сознанием — писатель говорит как бы от имени народа и обращается к народу.

Дело не в том, правильна или неправильна концепция революции, сочинённая Солженицыным. А в том, что ось, на которой вращается это колесо, точка зрения или обозрения, более или менее выдержанная во всех частях эпопеи, принадлежит сознанию, которое даже не догадывается, что сама эта точка отсчёта может быть релятивирована. Оно просто принимает себя за единственную и конечную истину. Банальность точки зрения — главная особенность этой прозы. Это взгляд усреднённого сознания, это его тривиальная правдивость — мир, видимый сквозь оконное стекло. Изменил искусству не потому, что выбрал не ту идеологию, какую надо, но прежде всего потому, что въехал в царство банальностей.

Банальность надо замаскировать вычурностью языка и т.п. И даже когда рассказ ведётся «глазами» Ленина, «глазами» императора, через восприятие Богрова и проч., — это всё та же беллетризация обыденного сознания. Оттого и воспринимается такой рассказ «через кого-то» как избитый литературный приём. Опасность литературщины тем больше, чем «ближе к жизни». Кажется, что писатель задаёт себе вопрос: а как бы я себя чувствовал на месте царя? Или на месте женщины, профессора Ольды Андозерской. А вот так: я бы подумала, какой интересный мужчина этот Воротынец!

**Гибель путников на мосту Людовика Святого.** В 1714 году, в вице-королевстве Перу рухнул в горах, сплетённый инками из ветвей ивы; пять человек погибло. Одному монаху-францисканцу понадобилось выяснить, была ли их смерть нелепой случайностью или пред-указана свыше. Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни, и в смерти нашей заложен План. Замысел брата Юнипера был расценён как посягательство на тайну неизъяснимых путей Господних. Его книга, свод документов о жизни и судьбе каждого из погибших, признана богохульной, еретик погиб на костре.

Да и самый роман Торнтон Уайлдера можно истолковать как религиозно-еретическую притчу; уж не списан ли он у брата Юнипера?

Будущее в каком-то смысле существует, будущее осуществляется, — есть ли идея более чарующая, гипнотизирующая? Судьба, учили древние, ведёт покорного и тащит упрямого. Латинское *fatum* — причастие от архаического глагола *faci*, «говорить», а также вещать и предрекать, в нём присутствует тот же индоевропейский корень, что и в русском «баять» (кот-баюн, басня, Баян). Судьба есть нечто (пред)сказанное. Судьбу прядут бессмертные старухи — римские парки и северные норны. Участь человека записана в древнееврейской Книге судеб, вырезана скандинавскими рунами на камне. Судьба есть суждение и суд.

Но! Стрелочник перевёл стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь. И вот уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, новые страны и города. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит много рельсовых путей, все они сходятся к одному единственному пути; но для того, кто смотрит вперёд, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое когда-то было будущим. Всякая жизнь есть всего лишь осуществившийся вариант. Подчас вероятность случиться тому, что *не* случилось, была ничуть не меньше того, что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка.

Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что она соткана из случайностей. Случайно встретились мои родители, чтобы полюбить друг друга. Могли не встретиться. Нечаянная удача или несчастный случай; цепь знакомств, нарвался на стукача, арест. Из пустяка, как из жолудя, растёт чудовищное дерево.

Не было гвоздя — подкова упала,  
Не было подковы — лошадь захромала...

У дверей в каждую новую эпоху жизни стоит подслеповатый при-  
вратник, называемый случаем, и. отовсюду нас обступает смерть. То, что  
мы ещё живы, следует приписать чуду; это чудо — всё тот же случай. Но  
когда потом вспоминаешь свой «путь», то подчас нелегко отделаться от  
впечатления, что тебя вела тайная рука.

Жизнь без начала и конца.  
Нас всех подстерегает случай.  
Над нами сумрак неминучий  
Иль ясность Болжьего лица.  
Но ты, художник...

## 25

**Антивремя.** То, о чём говорилось в романе под этим названием,  
представляло собой чисто мифологическое построение. В нём была своя  
прелесть.

Давным-давно меня увлекала мысль связать воедино предопреде-  
ление и непредсказуемость, План и Случай.

Я подумал, что две противоположности можно примирить,  
представив время в виде двух противонаправленных векторов.  
Можно рассматривать жизнь литературного героя не только с двух  
точек зрения (либо — либо), но и как бы с двух концов. Мы живём в  
двух временах, вернее, в точке пересечения двух времён. Одно течёт  
из прошлого в будущее — и представляет собой хаос случайностей.  
Другое несётся нам навстречу. Это время предназначения и смысла.  
Из будущего шествует предопределение. Навстречу ему катится  
безглазая случайность.

*Если в космическом пространстве вы встречаетесь с кораб-  
лём, идущим из отдалённых миров, и астронавт протянет вам ле-  
вую руку, берегитесь! — возможно, он состоит из антивещества.*  
Физика (это цитата из Фейнмановских лекций) смеётся над здравым  
смыслом. Пойдём ли мы ещё дальше и предположим, что и время ас-  
тронавта — это антивремя?

Роман был отнят у меня при обыске и написан заново. Повествова-  
тель, единственный оставшийся в живых после всего, что происходило с  
ним и его друзьями, припоминает события, ему кажется, что так он су-  
меет преодолеть абсурд жизни, возратить ей достоинство, цель и  
смысл.

Такова модель двунаправленного времени. Антивремя — это время  
Бога, для которого нет ничего бессмысленного, ибо его нет в настоящем,  
он всегда впереди — в будущем. Время течёт для него наоборот. Можно  
сказать, что мы живём в его памяти. Аналог божественного антивреме-

ни присутствует в нашем опыте: это — воспоминание, созерцание прошлого глазами того, кто знает будущее, обратное течение времени, превратившее хаос прожитой жизни в связный текст. Так писатель пребывает в будущем своих героев. В конечном счёте антивремя — это метафора литературы.

## 26

**Бегство от истории в историю.** Он ютится в Британской энциклопедии между Мьюзиелом и Муссолини. Статья об игроке в бейсбол Стэне Мьюзиеле занимает 28 строк. Статья о вожде итальянского народа Бенито Муссолини, при крайней сжатости изложения, — 480 строк: детство, юность, литературная, ораторская и политическая карьера, историческое значение, мировоззрение, семейная жизнь, не забыт и подхваченный в юные годы сифилис. Статья о Роберте Музиле состоит из одной фразы. Четыре строчки: имя автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Место литературы ( $M$ ) в массовом обществе описывается уравнением:  $M = M(1) : M(2)$ , где  $M(1)$  — Музиль, а  $M(2)$  — Муссолини.

На вечер Музила в Винтертуре, первый и последний, где автор читал отрывки из «Человека без свойств», пришло 15 слушателей. Весной 1942 года за его гробом шло пять человек. Адольф Фризе составил реестр: как отзывались о Музиле те, кто его знал. *Сдержанный, холодный, надменный, замкнутый, рыцарственный, сама любезность, невероятное самомнение, сухой, как чиновник, ни разу не улыбнётся, офицерский тон, горд своим фронтовым прошлым, оч-чень интересная личность, малопрятный человек, выглядит безупречно, есть деньги или нет — костюм от лучшего портного, щёгольские туфли, считает себя недооценённым, падок на похвалы, держит всех на расстоянии и сам страдает от этого...*

Однажды это холодное одиночество было нарушено, Музиль написал короткое обращение к собратям по перу, под заголовком «Я больше не могу». Ледяным тоном, на изысканном немецком языке сообщается, что он погибает от нищеты, нечем платить за квартиру; нация равнодушна к своему писателю. К обращению приложено «Завещание». Существует четыре варианта. Он работал над этим криком о помощи, как работают над прозой, — под его пером всё становилось литературой. Воззвание осталось в бумагах. Четыре редакции представляют собой не столько ступени совершенствования стиля, сколько реализацию разных возможностей, заложенных в тексте, — писание в разные стороны. Возможно, здесь кроется один из секретов этого творчества, а может быть, и секрет этого человека.

Античный анекдот об умельце, который записал всю «Илиаду» на пшеничном зерне: изделие было показано Александру Македонскому, в награду царь распорядился выдать мастеру мешок зерна, «с тем, чтобы он и впредь мог упражняться в своём замечательном искусстве».

В Вене в 30-х годах состоятельные господа — несколько человек — согласились выплачивать автору «Человека без свойств» ежемесячное пособие, чтобы он и дальше упражнялся в своём искусстве — завершил гигантский роман. Это было «Общество Роберта Музиля». Сам писатель считал, что оказывает меценатам честь, позволяя им содержать Музиля, и проверял, все ли аккуратно платят взносы.

Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своём времени и вопреки ему. Всякий литературный текст «актуален», тем не менее литература и общественность — понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий — кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков всего лишь повод для чего-то бесконечно более важного. Жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе чёрной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить лишь о жгучем и наболевшем, оказывается банальной, то есть художественно устарелой. Быть своевременным в литературе — совсем не то, что быть современным, и чем стремительней уносится время, чем быстрее вянет злоба дня, тем печальней участь этой литературы.

Речь Музиля на просоветском и прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 г. никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел в президиуме. (Эренбург, упомянувший в своих мемуарах множество участников, Музиля не заметил.)

*Я всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрёк в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и всё же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и своё достоинство. Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твёрдо сказать, что культура все-*

гда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живёт над временем, служила мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далёким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура — не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времён и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих.

После аншлюса Общество Роберта Музиля распалось, жертвователи были евреи, им пришлось уехать. Да и сам Музиль был женат на еврейке.

Марта и Роберт едут в Италию, вроде бы в отпуск, возвращаются — но не домой, а в Цюрих; это уже эмиграция. Оттуда перебираются в Женеву, в две комнатки на шестом этаже на rue de Lausanne; вещи, книги — всё осталось в Вене, дом погибнет в конце войны. Музилю остаётся жить 2 года 10 месяцев. В эти тысячу дней происходит последняя схватка с Минотавром, — грандиозный замысел давно уже существует сам по себе и диктует автору свои условия; исход единоборства — ничья. Или — оба убиты.

## 27

**Письма с улицы Chemin de Clochette.** Супруги кочуют, одно время живут за городом, под конец посчастливилось найти в квартале вилл отдельный домик. Полиция интересуется, когда, наконец, немецкая чета покинет страну: Швейцария может быть только транзитной страной для эмигрантов, особенно — беглецов из Германской империи, с которой лучше не ссориться. Но у Музилей нет официального статуса беженцев, неопределённость тянется до тех пор, пока пастору Лежёну не удаётся выхлопотать отсрочку.

Знакомых нет, немецкие эмигранты кто во Франции, кто в Америке, *все разъехались* (пишет Марта Музиль подруге), *моя дочь в Филадельфии, мой сын в Риме, а мой гениальный супруг — в стране по имени Утопия.*

Музиль — Лежёну:

*Вообразите буйвола, у которого на месте рогов выросло другое причудливое образование кожи, а именно, две смехотворные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащённой грозным оружием, от которого остались только мозоли, — и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший ко-*

роль, он говорит о короне, которая была у него когда-то, и люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает сомневаться и не уверен даже, осталась ли у него вообще голова на плечах...

Между тем начинается война, речи и конгрессы — всё валится в тартарары, вся шумная деятельность предвоенных лет оказалась абсолютно бесплодной; два могущественных соседа делят Польшу, Франция побеждена и выходит из игры, идёт воздушная битва за Великобританию, СССР продолжает раздвигать свои границы, корпус Роммеля теснит англичан в Африке, Рузвельт и Черчилль провозглашают Атлантическую хартию. Наконец, вермахт вторгается в Россию, а японцы бомбардируют Перл-Харбор.

Он сидит над своим романом. Действие происходит до первой Мировой войны, гротескная Какания — глубокая древность. Кого может заинтересовать такая книга? Призрачный роман, как река в пустыне. После того, как Ровольт выпустил в 1930 г. первый том, а в 1932 — второй, дело застопорилось; издатель нервничает, время идёт, имя Роберта Музиля отодвигается в прошлое. *Разве он ещё жив?* Новый издатель готовит к печати продолжение, двадцать глав, готов платить вперёд, но гранки, высланные автору для вычитки, так и не возвращаются в типографию: писатель считает, что всё надо переписывать заново. Музиль сравнивает себя с человеком, который хочет зашнуровать футбольный мяч размером больше его самого, пытается вскарабкаться на его поверхность, мяч всё раздувается; главы без конца переписываются, ворох бумаг не помещается на столе. К этому времени его произведения уже запрещены на территории рейха, но и без того он забыт, погребён под своим чудовищным романом.

Догадки, почему не удалось закончить «Человека без свойств», сами по себе образуют поле возможностей, аналогичное пространству самой книги. Лёжа в саду, Ульрих и Агата ведут нескончаемые разговоры — и ничего не происходит.

Однажды, это было в декабре 1939 г., Музиль прочёл газетный отчёт о гастрольях танцевального ансамбля с острова Бали. Под стук барабана плясуны впадают в транс. Они выпускают хриплые крики, взгляд застывает, нижняя часть тела сотрясается в конвульсиях. *Сходство с половым актом выступает ещё сильнее, когда смотришь на выражение лиц... Транс принадлежит к области магии, магического воздействия на реальный мир. Коитус — то, что соединить у нас от трансa. Понятно, что Агата и Ульрих не хотят соединиться... Западный человек не может примириться с потерей самоконтроля.*

«Иное Состояние», *der Andere Zustand*, к которому стремятся брат и сестра, не допускает утраты собственного «я». Снять извечное

противоречие между рациональным и иррациональным! Личность не может быть принесена в жертву экстазу. Пускай же экстаз сомкнётся с бодрствующим сознанием.

## 28

**Невозмутимость, с которой покидают сцену.** Из записей последних лет: *То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп — злое, страстное начало, начало вожделения, — проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательльно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания.*

«Теория» — это система внутривроманных оценок, сложный комментарий к «происходящему», который внешне приписан главному герою, но очевидным образом переступает за его горизонт; ведь и сам рефлектирующий герой становится в свою очередь объектом рефлексии. Это и есть расползание героя, вследствие которого он превращается в сверхперсонаж и не-персонаж, — ещё немного, и он возьмёт на себя функции всевидящего богоподобного автора. Но при такой нагрузке герою некогда жить. Вместо того, чтобы любить, страдать и, может быть, застрелиться, он без конца рассуждает о страсти и вожделении. Комментаторы говорят о крушении утопии, о неосуществимости Иного Состояния, но не есть ли странная неудача несостоявшихся любовников следствие несостоятельности самой концепции повествования? Роман, как блуждающая река, затерялся в песках.

И всё-таки. В романном пространстве всё становится искусством. Не зря у писателя возникает чувство, что книга сама диктует ему условия. Если есть ощущение, что автор, подобно своим героям, находится внутри романного пространства, значит, победило искусство. Если этого не произошло, роман разваливается. И снова: *Отнесись к теории реалистически. Это значит: не превращай её в нечто привнесённое извне, нечто самодовлеющее. Не используй роман как средство для деклараций или как выставку эрудиции. Не пытайся выдать свои размышления за безусловную истину, искусство — это истина, которая не знает о том, что она — истина. Не поучай читателя...*



«Теория» — это тоже «жизнь»; это часть повествования. Это тоже искусство. Всего лишь искусство: не больше и не меньше. Это тоже «искусство для искусства», потому что искусство подчиняет себе всё — или уходит.

Всё в жизни Человека без свойств остаётся возможностью, пробой, экспериментом, в том числе самый грандиозный опыт — попытка достичь экстаза, не покидая царство разума. Загадочное «иное состояние», *taghelle Mystik* — мистика при свете дня, — слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в первобытно-варварском помрачении сознания и не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего ума. Другая душа — сестра-близнец Агата, которую Ульрих, оставив гротескную общественную деятельность, повстречал в доме почившего отца. Глава 45 второго тома начинается с сообщения о то, что «невозможное», почти физически овевшее Ульриха и Агату, повторилось, *und es geschah wahrlich, ohne daß irgendlei geschah. И воистину это случилось, хотя ничего такого не случилось.* Инцест растворился в бесконечном незавершённом сближении, в разговорах, в томительном бездействии летнего дня. *Atemzüge eines Sommertags, Вздохи летнего дня.* Над этой главой писатель сидел с утра 15 апреля 1942 г., в двадцать минут десятого зарегистрировал в тетрадке, заведённой по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов — вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер.

## 29

**Вот-вот проскочит искра.** Эта глава II:45, где что-то случилось и не случилось, снабжена интригующим заголовком: *Начало целого ряда удивительных переживаний.* Переживаний (Erlebnisse) или реальных событий?

В любви, как и в художественной прозе, летучая реплика, мимолётный взгляд, движение бровей многозначительны, тончайшие переживания становятся событиями, к ним возвращаются, над ними ломают голову, их невозможно забыть.

Близнецы собираются на званый вечер, прислуга ушла, и некому помочь переодеться Агате. Они остались одни в доме. С этой минуты начинается что-то меняться, сгущаться. Так растёт напряжение электромагнитного поля.

Они опаздывают.

Всё ещё разбросаны там и сям *военные украшения*, которыми женщина оснащается перед выездом в свет. Поставив высоко открытую ногу на стул, она натягивает шёлковый чулок. Она вся поглощена этим занятием. Ульрих, уже одетый, стоит за спиной Агаты.

Он смотрит на её полуобнажённую спину. Желая убедиться, что чулок правильно обхватил пятку, она склоняет голову вбок, отчего появляются лёгкие складки на её нежном затылке. Видение женщины, её гипнотизирующая телесность пронизывает мужчину, прежде чем он успевает что-либо предпринять, — и вот это происходит. Он обхватывает сзади Агату.

Она вскрикивает и оборачивается — то ли самопроизвольно, то ли оттого, что он рывком привлекает её к себе. Всё совершается не то в шутку, не то всерьёз, намеренно, но и спонтанно. Любовниками, которые ими ещё не стали, владеет бессознательная целеустремлённость. И вот они стоят молча, тесно обнявшись, — близнецы, они как бы растут из единого корня. И далее следуют пространные размышления автора, который, оставаясь сторонним наблюдателем, вместе с тем и сливается, солидаризируется с Ульрихом, с обоими — братом и сестрой, как действующее сверхлицо романа.

О, эта вечная рефлексия... В каком-то смысле они уже соединились, но соединения не произошло. Что их остановило: запрет инцеста? Едва ли. *Казалось, из мира более совершенного, хотя и призрачного слияния, мира, который они предвкушали в мечтательном уподоблении, их овевла некая высшая заповедь, высшее предчувствие, лоботытство или предвидение чего-то.*

Темнеет, о поездке уже не может быть речи. Медленно разряжается эротическое поле. Они стоят у окна...

Обычный упрёк автору: рухнул под тяжестью своего абсолютно нечитабельного романа, словно под обвалившимся, плохо спроектированным, нежилым домом. Слишком много рассуждений; нет никакого действия; главный герой — безжизненная фигура, остальные персонажи — вялые тени; в сущности, это не художественное произведение, а разбухшее сверх всякой меры, размазанное на двух с половиной тысячах страниц эссе.

Но книга-кирпич Музиля — не роман, которые читают как обыкновенные романы. Его надо читать отдельными страницами, малыми порциями, как пьют крепкий кофе — маленькими глотками из крошечных чашек; читать, постоянно возвращаясь к прочитанному; его персонажи — не действующие лица обычной повествовательной прозы, о них хотя и рассказывается, но гораздо больше делается отсылка к подразумеваемому рассказу, к повествованию в собственном смысле — там они были бы подлинно действующими лицами. Мы как будто имеем дело с гигантским комментарием к ненаписанному тексту. Книга, в которой как бы содержится другая книга, и в той, подразумеваемой книге «всё в порядке»: есть и сюжет, и действующие лица, но беда в том, что реалистическое повествование скомпрометировано, ибо скомпрометирована сама кон-

цепция действительности. Огромное зеркало, в котором мелькает то, что, собственно, должно было служить содержанием романа, быть романом в обычном смысле.

Да, конечно, это роман «послероманной эпохи», когда уже невозможно вернуться к классической нарративной прозе. Роман, поставивший своей задачей дать новый синтез действительности, — и задача эта оказалась неразрешимой.

### 30

**Кафка, или сон без сновидца.** Вот — проза: вот всё что угодно, только не хаос. Мир Франца Кафки упорядочен, как и его язык. Полная противоположность тому, о чём говорил Мандельштам: *Вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.*

О, нет. Ничто так не противопоставлено прозе, как блуждающее слово.

Ошеломляющее действие этой прозы: бесстрастный, чрезвычайно добросовестный отчёт, от которого исходит аромат безумия. Абсурдная естественность, с которой совершаются невероятные события; нелепая самоочевидность, необходимость происходящего. Всё это описано деловым и дисциплинированным, сдержанно-педантичным языком, напоминающим классическую прозу девятнадцатого столетия, новеллы Клейста; пожалуй, и слог австрийской канцелярии. Порой кажется, что, подробно объясняя мотивы поведения его героев, автор хочет предотвратить всякие попытки усомниться в правдивости этого отчёта. И в самом деле, никаких сомнений по поводу объективности автора не может быть, совершенно так же, как в мире сна не возникает сомнений в подлинности сновидения. Но парадокс этой прозы — кажущийся: между стилем прозы и её содержанием нет противоречия. Язык Кафки — это и есть его мир.

В этом мире нет случайностей. Не может быть и произвольных решений, всякая спонтанность репрессирована. Попытки нарушить порядок немедленно пресекаются. Свободы воли не существует.

Всё происходящее подчинено мертвенной логике. Мы можем сказать — онирической, алогичной логике; и действительно, всё выглядит как связный, последовательный сон. Так Кафка характеризует в дневнике и собственную жизнь: сновидческая, снопоподобная.

Но если это сон, то он снится не отдельному человеку, например, кому-нибудь из действующих лиц: проза Кафки бессубъективна. «Действующими лицами», *dramatis personae*, их даже трудно назвать. Если это сон, то такой, в который погружены все персонажи. Вы входите в него, как в загадочный, сумрачный особняк зеркал.

Мир Кафки заставляет вспомнить и некоторые клинические формы шизофрении, бред отношения (*Beziehungswahn*), описанный классиками психиатрии. Всё, что происходит вокруг, в глазах больного неслучайно, зловеще многозначительно, напоено угрозой, чревато опасностью: заговор прохожих, заговор обстоятельств. Этот мир следует закономерностям паранойяльного бреда — внутренне логичного, жестко детерминированного, хоть и основанного на абсурдных посылках. Они принимаются без критики как нечто само собой разумеющееся.

### 31

**Сюжет из нашей жизни.** Легче допустить, что с твоей психикой что-то неладно, нежели согласиться с тем, что ты живёшь в мире, сошедшем с ума. Но Кафка не был сумасшедшим. Кафка был наделён исключительной навязчивостью художественного воображения; назовём ли мы её патологией?

Не был он и социальным критиком. (Об этом у Е.М. Мелетинского.) Неуловимая ирония пропитывает его прозу. Обличителем его не назовёшь: не тот масштаб. Тайственный суд, разместившийся на чердаке, где невозможно разогнуться, не стукнувшись о стропила; какой-нибудь Титорелли, род придворного портретиста, который рисует судебных чиновников, восседающих в мантиях на троподобных сиденьях, хотя на самом деле судьи так же непрезентабельны, как и всё учреждение. Замок графа Вествест, куда никак не может попасть землемер К.; муторные, изнурительные разъяснения хозяйки деревенской гостиницы, как надо вести себя с Фридой и с обитателями деревни. Или судьба несчастного Грегора Замзы, который стал позором семьи. Всё это не сатира; бери выше.

Ещё одно соблазняющее толкование (Гессе). *Я думаю, среди душ, которым дано было — творчески, но и мучительно — выразить предчувствие великих переворотов, всегда будут упоминать Кафку.* И верно: на тексты Кафки ложится тень недалёкого будущего. Чем-то удивительно знакомым показался мне когда-то сюжет романа «Процесс». Человек живёт, ни о чём не подозревая, а в это время в тайных канцеляриях на него затевается «дело». Множатся доносы, подшиваются всё новые материалы, дело переходит из одной инстанции в другую, обрастает визами, резолюциями, последний удар штемпеля — и за обречённым приезжают и волокут его на расправу.

Офицер в штрафной колонии, одновременно судья и палач, руководствуется правилом: *Виновность всегда несомненна.* Разве не похоже на аксиоматический тезис советской тайной полиции: «Органы не ошибаются»? Разве все мы не были под её лучом, виновные самим фактом нашего существования; разве притча о вратах Закона, которую расска-

зывает Йозефу К. тюремный капеллан, — не метафора глухой засекреченности постановлений, инструкций и «установок», всей этой паутины, в которой барахтались граждане гигантского весельного государства? Жизнь согласно рациону, жизнь с разрешения или по недосмотру перегруженного делами начальства, у которого до тебя просто ещё не дошли руки.

Но и это впечатление было только интерпретацией, одной из тех, которыми возмущалась Сузан Зонтаг.

Некоему прокурису, мелкому банковскому служащему, однажды утром сообщают, что он арестован. Оказывается, против него заведен процесс. Почему, непонятно. Все попытки обвиняемого добраться до судебной инстанции, где он мог бы узнать, в чём дело, бесполезны. Под конец его уводят два палача, в заброшенной каменоломне совершается казнь.

*Легко убедиться, что такой пересказ — не более чем грубая схема; фактическое содержание книги при этом ускользает. Действительно ли Йозеф К. арестован? Об аресте сказано в первой фразе. Но о нём лишь сообщают потерпевшему. На самом деле он остаётся на свободе, ходит по-прежнему на работу. Первый допрос происходит на чердаке обыкновенного жилого дома, но сводится к установлению паспортных данных обвиняемого, к тому же ещё и фальшивых. Это карикатура на суд: ничего общего со знакомой читателю юстицией. «Арест», «допрос», «обвинение» — все эти слова нельзя понимать буквально, всё это хоть и похоже на то, что мы ждали, но вместе с тем и что-то другое. (R. Stach. Kafka, 2004.)*

В определении художественности входит неоднозначность замысла (чтобы не сказать — неопределённость). То, о чём вам рассказывают, всегда так — и не так, об этом, но и о чём-то ещё. Здесь, но не только здесь или даже совсем не здесь. Ни одно из толкований не исчерпывает содержания.

Рискнём сформулировать. В самом общем смысле задача романа — сотворение мифа о жизни. Такой миф обладает известным жизненеподобием, свои реалии он черпает из общедоступной действительности, а вернее, из кладовых памяти, но это только сырьё, материал, из которого воздвигается нечто относящееся к реальной жизни примерно так, как классический миф и фольклор относятся к историческому факту. В прозе есть некоторая автономная система координат, сверхсюжет, внутри которого организуется сюжет, напоминающий историю «из жизни». В царстве романа миф преподносится как истина. На самом деле это игра. Ничего нет серьёзней этой игры; ибо игра есть путь к истине. Истинный в художественном смысле, миф свободен от притязаний на абсолютную философскую или религиозную истинность и, стало быть, радикально обезврежен.

Мир Кафки упорядочен; можно добавить: мир Кафки не обезбожен. Но если это религиозность, то какая-то безысходная. Закон анонимен; продиктован, как можно догадываться, высшей волей. Эта воля надмирна и непроницаема. С ней невозможен какой бы то ни было диалог. Такова непроницаемая психика душевнобольного: язык, на котором он общается с окружающим миром, — это язык бреда. Если существует верховный Разум, это должен быть шизофренический разум. Не Бог иудаизма (версия Макса Брода), суровый и беспощадный, но в конце концов карающий за дело. Миром Кафки правит бог-параноик.

Литературу XX века обвиняли в отказе от «вертикального измерения». (Г.С. Померанц — обо мне.) Она и в самом деле может показаться, под пером многих писателей, равнодушной к добру и злу. Но ещё Чехова упрекали в бесстрастии. Может быть, благую весть литературы не так легко расслышать, ибо она, эта весть, не артикулируется так, чтобы её можно было без труда вычленивать и распознать, не подставляет себя с готовностью морально-религиозным интерпретациям. Чего, однако, литература лишилась невозвратно, так это веры в абсолютное благо бытия. Напрасен зов валторны в *Maestoso* Первого фортепьянного концерта Брамса.

Трезвый дисциплинированный слог и утрата доверия к бытию. Это и делает создателя «Замка» и «Процесса» по-настоящему современным автором.

## 32

**Альбом фотографий (1).** Жизни его был без одного месяца 41 год. Его отец был *self-made man*, подростком приехал из южнобогемского захолустья в Прагу, выбился в люди, завёл своё дело — магазин тканей и галантереи. Это был достаточно грубый и деспотичный человек. *Никого ты не щадил... я был перед тобой беззащитен.* («Письмо к отцу», написанное уже взрослым человеком, никогда не было вручено адресату.) Кафка окончил немецкую гимназию и юридический факультет Карлова университета, прошёл годичную практику в итальянской страховой компании, был чиновником государственного Общества страхования рабочих от несчастных случаев на производстве. Был на хорошем счету у начальства. В 39 лет вышел по болезни на пенсию.

Прага тех лет: носители немецкого языка — семь или восемь процентов. Из них три четверти — 30 тысяч — евреи. Немцы образовали верхний слой общества. Евреи, стоявшие на социальной лестнице ниже немцев, но выше большинства чехов, оказались после 1918 года между молотом и наковальней: антисемитизм немецкой верхушки и неприязнь чехов, которые стали государственным наро-

дом. Пражские немецкие писатели были чужаками в славянском окружении; Кафка, носивший чешскую фамилию, знал чешский язык, это было исключением.

Он думал, что создан для семейной жизни, но так и не женился. Женщины в его романах, например, фрейлейн Бюрстер или сиделка Лени, пожалуй, и Фрида в «Замке», которая отдаётся землемеру под столом, ведут себя, как шлюхи; видимо, отголосок почти неизбежного для молодых людей эпохи общения с проститутками. О более серьёзных событиях интимной жизни можно узнать только из писем и из дневника.

Один взгляд мальчика на Беатриче Портинару в пурпурном одеянии решил участь Данте. Пятнадцатиминутный разговор с 12-летней Софи фон Кюн воспламенил Новалиса, и девочка, умершая три года спустя, вошла в историю немецкого романтизма. Встреча с женой банкира Сюзеттой Гонтар перевернула жизнь Гёльдерлина.

Первое впечатление от Фелицы безрадостное — какая уж там любовь с первого взгляда.

*Фрл. Бауэр. Когда я пришёл 13-го к Броду, она сидела за столом. Сперва мне показалось, что это служанка. Никакого любопытства с моей стороны, всё же мы разговорились. Костистое пустое лицо, которое выставляет свою пустоту напоказ. Открытая шея, свободная блуза. Выглядела одетой по-домашнему, хотя на самом деле, как потом выяснилось, это было вовсе не так. Нос почти сломан, тусклые жестковатые волосы, сильный подбородок. (20 августа 1912.)*

В дневнике много таких моментальных словесных снимков случайно увиденных девушек. Острый, бесстрастный, чтобы не сказать — мертвящий, взгляд со стороны. Но ведь и в самом деле нет большего сообраза для писателя, чем описание женщины.

Но — через месяц после знакомства: *Уважаемая фрейлейн! На тот очень возможный случай, если вы не сумеете вспомнить обо мне, я хочу ещё раз представиться: Франц Кафка...* Так это началось. Можно ли называть их отношения романом? На снимке 1917 года Кафка стоит, Фелица сидит, на ней светлая блуза, просторная длинная юбка, на коленях сумочка. У неё открытое маловыразительное лицо молодой женщины, решившей покончить со всеми недоразумениями. Это официальная фотография после второй помолвки. (В декабре расстались окончательно.) Как она всё-таки отличается от двух сохранившихся фотографий Кафки с младшей, любимой сестрой Оттилией (Оттлой): оба смеются, и вокруг них — облако тепла, доверия, братской дружбы, сестринской опеки. Сестру, — не мать и не любовницу, — искал Кафка в невесте. Ничего не получилось.

Ещё один снимок десятых годов: дочь с матерью. Платье на Фелице с туго перетянутой талией, корсет подчёркнул бёдра и не слиш-

ком выпуклую грудь. Отложной воротничок из кружев, широченная модная шляпа с искусственными цветами. Вымученная улыбка. (Чопорная мамаша не смеётся.) Странные, притягивающие фотографии — точно с того света.

### 33

**Невозможность с ней спать.** Ничего плохого нельзя сказать о Фелице. Она не была красивой, но ведь нам с лица не воду пить. Честная, прямодушная девушка из семьи среднего достатка, 25 лет, ассимилированная еврейка, трезвая, практичная, сама зарабатывающая себе на жизнь (машинистка фирмы по продаже граммофонов и диктофонов). Сколько-нибудь серьёзных препятствий к сближению, а в дальнейшем и к браку нет, никаких чрезмерных требований к будущему спутнику жизни, родители вроде бы тоже не против. Фелица не была влюблена, Фелица любила Кафку; было время, когда, скованная приличиями ещё больше, чем Кафка, отнюдь не уверенная, что дело идёт к близкой свадьбе, она, по-видимому, была готова «отдаться».

Вплоть до 20-х годов в порядочном обществе путь к браку исключает предварительное сожительство. Как только вырисовывается официальная цель ухаживанья, вступает в действие ритуал жениховства: подключение семей, совместное времяпровождение, помолвка, соглашение о приданом, портниха, кольца. Наконец, публичное бракосочетание, и то, что было запретным, мгновенно превращается в обязанность, в долг. Кафку ужасал и этот ритуал, и перспектива навязанного долга.

Он считал себя созданным для семьи, но семейная жизнь его пугала, отвращала. О горячей любви, видимо, говорить не приходится, но на свой лад он любил Фелицу. В письмах Броду говорится о *безграничном восхищении*, о покорности и даже сострадании. *Как прекрасен взгляд её умиротворённых глаз, открытость женственной глубины.* И тут же начинается разговор о сомнениях, о страхе перед устойчивой связью. Он называет себя *алчущим одиночества*, *gierig nach Alleinsein*, — достаточно трезвое суждение. Летом 1916 г. в Мариенбаде живут в одном отеле — разумеется, в разных комнатах. По-видимому, его приводит в ужас возможность постучаться ночью в комнату невесты. Конвенция, не допускающая телесной близости жениха и невесты, служит ему оправданием.

Кафка не юлит, дипломатия ему чужда, как чужд и всякий расчёт. Он всегда искренен — и предельно, до мучительства, откровенен. Весной 1913 г., не прошло и года со дня их знакомства, обескураженная Фелица читает такое письмо:



*Что меня, собственно, пугает, — ужасней того, что я сейчас хочу тебе сказать, а ты — услышать, наверное, не бывает, — так это то, что я никогда не смогу тобой обладать, что в лучшем случае придётся ограничиться тем, что я, как потерянный, как верный пёс, буду целовать руку, которую ты рассеянно мне протянешь, и это не будет знаком страстной любви, но всего лишь выражением отчаяния того, кто обречён на вечное отъединение, вечную безъязыкость зверя. Меня пугает, что я буду сидеть подле тебя и, как уже случилось, чувствовать дыхание и жизнь твоего тела, а по сути видеть тебя ещё дальше от меня, чем теперь, когда я сижу в моей комнате. Что я никогда не сумею привязать к себе твой взор — и окончательно потеряю его, когда ты будешь смотреть в окно или закроешь лицо руками; что на людях мы будем демонстрировать наш союз — душа в душу, рука об руку, — а на самом деле — ничего подобного...»*

Телеграмма Фелицы: «Franz, das sind Bilder, nur Bilder». (Это воображение, одно воображение.)

Ответ Кафки: *Нет, Фелица, это не воображение. Это факты.*

Предположение об импотенции слишком напрашивается, чтобы быть правильным. Но он отдавал себе отчёт в том, что его трудная, подчас кошмарная внутренняя жизнь, до крайности интровертный характер плохо приспособлены для счастливой совместной жизни. А главное, он понимал, что писательство пожрёт и любовь к женщине, и профессию, и вообще всё, что не работает непосредственно на литературу. Кафка был приговорён к литературе.

*Ещё одно письмо к Фелице. Вступив со мной в брак, Вы просто окажетесь в одиночестве, когда по меньшей мере несколько месяцев в году муж, вернувшись с работы в половине третьего или в три, обедает, потом укладывается спать до семи или до восьми, потом снова наскоро перекусывает, идёт на час прогуляться, после чего садится за стол и до часу или двух ночи пишет.*

Кафка был евреем — как его русские современники Мандельштам и Пастернак, как почти все писатели пражского анклава немецкой литературы, как уроженцы восточных окраин Австро-Венгерской империи Шульц, Канетти, Целан, Йозеф Рот, Роза Ауслендер. Сидеть в седле и оказаться под копытами, быть отсюда и ниоткуда, писать на языке своей страны не хуже, если не лучше, своих арийских коллег и остаться для них инородцем, и найти своё единственное отечество в родном языке, и уйти, как в изгнание, в литературу.

## 34

**Альбом фотографий (2).** В роман с Фелицей вторглось третье лицо. Затеялась переписка, фрейлейн Маргарете Блох взяла на себя

инициативу: *Хотя мы незнакомы, я решила Вам написать, так как принимаю близко к сердцу счастье моей подруги.* Вероятно, так оно и было. Но скоро в письмах появилось и нечто личное; похоже, что Грете не справилась с самоотверженной ролью посредницы и адвоката Фелицы; во всяком случае, не всегда действовала по её поручению. Грете моложе подруги, ей 21 год, но она активнее в отношениях с мужчинами.

А вот и снимок: совсем другой тип. Тёмные глаза, сжатые губы. Страстный и страдальческий взор. Возможно, снимок сделан позже.

Много лет спустя 48-летняя Блох прислала из эмиграции письмо одному знакомому: путаный синтаксис, рассказ о том, как она посетила Прагу. *Я побывала тогда на могиле человека, который бесконечно много значил для меня. Он умер в 1924 году, его произведения ценятся сейчас очень высоко. Он был отцом моего мальчика, умершего в Мюнхене в 21-м году, ему не было ещё семи лет. Вдали от меня и моего ребёнка, если не считать короткой встречи на несколько часов, — так как он умер от смертельной болезни у себя на родине, а я была далеко. Никогда я об этом не говорила...*

Речь идёт, конечно, о Кафке, но документальных подтверждений сказанному нет.

Мало-помалу, как из тумана, проступает его облик. Запись 1911 г.: *Главное препятствие для моего продвижения в жизни — моё телесное состояние. С таким телосложением ничего не добьёшься.* Франц Кафка был высокий, очень худой, темноглазый и темноволосый человек с лицом ассирийца, со взглядом, который на фотографиях кажется пронзительным; был по-австрийски учтив, чрезвычайно деликатен; будь он блондином, он был бы, наверное, похож на Чеслава Ожеховского. Однажды, придя в гости, он крался на цыпочках через комнату, где на диване дремал отец Макса Брода. Спящий открыл глаза. «Тс-с, — прошептал Кафка, — считайте, что я вам приснился». Этот рассказ Брода звучит как притча.

Вечно колеблющийся, мнительный, неуверенный в себе, готовый всегда себя опровергнуть, словно следуя Талмуду, где вслед за утвердительным тезисом говорится: «Но, быть может, справедливо и обратное», до самоуничижения критически относясь к своим творениям и доподлинно зная, что ни для чего другого, кроме писательства, он не создан. *Я не «интересуюсь» литературой, я состою из литературы.*

«Приговор» написан в сентябре 1912 г., почти одновременно с первым письмом к Фелице. *Рассказ этот я написал в ночь с 22-го на 23-е, в один присест, с десяти вечера до шести утра. С трудом вытянул из-за стола онемевшие от долгого сиденья ноги. Страшное напряжение и радость, когда история разворачивалась передо мной, словно двигалась в воде... Как можно всё сказать, как все мысли, са-*

*мые дикие и неожиданные, плавятся и возрождаются в великом огне... Когда служанка вошла в переднюю, я дописывал последнюю фразу. Погасил лампу, светло. Слабые боли в сердце...*

Он оставил около сорока законченных прозаических текстов и три незавершённых романа; кроме того, множество мелких отрывков и набросков, дневник — 3400 страниц — и полторы тысячи писем. В ящике письменного стола лежало письмо-завещание. О том, что Брод не выполнил его посмертную волю, рассказал сам Брод.

После разрыва с Фелицей Кафка был на короткое время обручён с Юлией Ворышек. Роману с Миленой Есенской-Поллак мы обязаны замечательными письмами. В конце жизни ему удалось оставить Прагу, он провёл с юной Дорой Димант полгода в Берлине и скончался от туберкулёза гортани в санатории под Веной, в июне 1924 года. Похоронен в Праге, ненавистной и любимой, памятник-столб стоит на еврейском кладбище в Страшнице, там же лежат и родители. Все три сестры Кафки погибли в Освенциме. В другом лагере умерла Милена.

## 35

**Оэ, или утопия языка.** (Посвящается Хорхе Луису Борхесу.)  
Чтобы предупредить возможные кривотолки, сразу скажу, что моя специальность — художественные переводы. Существует старое правило: перевод делается с чужого языка на родной, а не наоборот. Я представляю собой счастливое исключение. Владая языком оэ в совершенстве, я перевожу и с оэ на русский, и с русского на оэ. Как литератор я существую в двух ипостасях и, например, данный текст пишу сразу на обоих языках.

Прежде чем говорить о богатейшей литературе оэ, напомним, что этот язык распространён на островах небольшого тихоокеанского архипелага, известного под разными именами: острова были открыты несколько раз мореплывателями, которые подплывали к ним с разных сторон. Поэтому на старых картах можно видеть не один, а несколько архипелагов с разными названиями. Как ни странно, до сих пор это забавное недоразумение (напоминающее случай с Джомолунгмой, которую принимали за две разных вершины) нельзя считать вполне прояснённым — примечательная деталь в причудливой истории островов.

Смешению рас и совмещению разных эпох страна обязана своей уникальной культурой, из которой я — в меру моей компетенции — хочу выделить словесность; необычайная трудность языка (я говорю об общенациональном литературном языке, который в свою очередь является продуктом конвергенции и противоборства весьма разнородных диалектов) не менее, чем географическая отдалённость, ураганы и другие природные препятствия, затрудняющие регулярное сообщение с островами, способствовали тому, что лишь очень узкий круг специалистов

имел возможности прикинуть к родникам этой культуры. Да, собственно, о каком круге идёт речь? Два-три филолога в Европе, один бывший профессор университета в городке Миддлтаун в Коннектикуте и один новозеландский студент, энтузиаст-самоучка, недавно приславший мне письмо на оэ, — само собой, с множеством ошибок, — вот и весь наличный состав знатоков. Мне неизвестно ни одной кафедры, ни одного научного журнала по данной специальности. При том, что литература языка оэ, по моему мнению, могла бы занять место в ряду ведущих литератур мира.

Очевидны по меньшей мере две причины такого положения вещей. Во-первых, природа самого языка. Мало сказать, что он труден для усвоения. Язык оэ лишь условно может быть причислен к западноокеанической семье. На самом деле он не укладывается ни в одну из принятых классификаций и ставит в тупик даже очень искушённого лингвиста, вынуждая его отказаться от многих привычных категорий. Учение о словообразовании, система частей речи, синтаксис, фразеология — всё, что мы сознательно или полусознательно применяем при изучении иностранных языков, что кажется нам таким же естественным и необходимым, как функционирование нашего организма, — оказывается бесполезным, когда имеешь дело с языком островов. По преданию, туземцев обучила языку райская птица Оэ. Некоторые особенности языка оэ заставляют вспомнить эту легенду. Достаточно сказать, что в нём отсутствует различие слов и предложений (черта, отдалённо напоминающая языки аборигенов Мексики), иначе говоря, самое понятие слова становится проблематичным. Морфологии в обычном смысле этого термина не существует, а семантика в решающей мере зависит от произношения. Главной чертой фонетики оэ является то, что в зачаточной форме присуще некоторым дальневосточным языкам, — музыкальное ударение. Как известно, оно основано на различии слогов не по силе звучания, а по высоте тона на музыкальной шкале.

Поэтому разговорная речь неотличима от пения, а так как мелодия определяет семантику (от высоты тона зависит смысл того, что произносят или, вернее, поют), то это привело к тому, что словесная и музыкальная культура оэ образовала единое целое. Среди живых носителей языка оэ невозможно встретить человека, не обладающего абсолютным слухом, ибо в противном случае он просто не мог бы объясняться с соотечественниками. Представителю этой культуры кажется странным, что стихотворение может быть положено на музыку, причём разными композиторами: для него это означало бы радикальное изменение смысла стихов. Разные музыкальные версии были бы просто разными текстами. Литературные тексты изначально представляют собой вокальные партитуры. Ясно, что для того, чтобы понимать такой текст, требуется чрезвычайно изощрённая музыкальная память.

Встаёт вопрос о письме, и тут иностранца подстерегает ещё одна ловушка. Буквенное письмо и самый короткий в мире алфавит (короче итальянского), казалось бы, должны ободрить новичка, ожидающего встречи с какой-нибудь непостижимой иероглифической письменностью. Ан нет. Музыкально-вербальная семантика языка оэ обходится минимальным набором знаков, задача которых не столько зафиксировать звучащую речь, сколько расставить ориентиры: всё остальное, опускаемое на письме, нужно запоминать!

Таковы в двух словах трудности языка. Другая причина, затрудняющая знакомство с литературой оэ в оригинале, состоит в необычном характере самой этой литературы. Чтобы не утомлять читателя подробностями, скажу коротко, что её отличительная черта — универсализм. Мы в России до некоторой степени знакомы с подобной традицией, ведь и у нас художественная словесность долгое время притязала на воспитательную, просветительскую, религиозную, политическую — словом, внехудожественную роль. Однако это не идёт ни в какое сравнение с литературой языка и народа оэ, которая представляет собой не только слияние музыки и слова, о чём говорилось выше, но и синтез всех областей духовной культуры. Даже рядовой роман на языке оэ может оказаться в одно и то же время повествованием о вымышленных героях, трагедией мифа, литературоведческим исследованием, богословским трактатом и эссе, в котором всё наличное содержание подвергается скептическому пересмотру. Заметим, что разложить такую прозу на её компоненты невозможно: нельзя отграничить свободный полёт фантазии от трезвого анализа, мифологию от дискурса. Язык и стиль художественной прозы релятивирован метаязыком науки, которая, в свою очередь, служит материалом для искусства и оборачивается художественной игрой. Таков удивительный парадокс этой литературы: на вершине своего развития, разочарованная в самой себе, она возвращается к первозданной нерасчленённости.

Долголетнее сотрудничество переводчика с издательством завершается выходом в свет лучших образцов литературы оэ в десяти томах. Перед вами первый том. Биографические сведения об авторах и характеристику отдельных произведений читатель найдёт в комментариях. Позволю себе прибавить к ним несколько замечаний о моей работе. Уже из сказанного видно, с какими невероятными трудностями сталкивается литературный переводчик с языка оэ.

Отечественная школа перевода знает два направления: буквализм и то, которое именуется творческим. Очевидно, что идеал перевода, максимально близкого к оригиналу, в нашем случае достижим ещё меньше, чем в любом другом. Остаётся уточнить пределы пресловутого творческого метода. Но где найти критерий необходимого и дозволенного, как провести границу между переложением и подражанием, подражанием и свободной вариацией на заданную тему? Читатель не имеет

дела с автором, он наслаждается прозой переводчика, которого по наивности принимает за автора. Уважение к оригиналу есть альфа и омега художественного перевода, но опыт раздумий над текстами оэ внушает нечто большее — почти религиозный пиетет перед их неуловимостью, изумление перед тайной этого языка, который с равным правом можно считать и дословесным, и послесловесным и который впору было бы назвать праязыком, если бы одновременно, не утратив своё архаическое великолепие, он не достиг столь высокого совершенства. Сравнение с Эверестом не зря сорвалось у меня с языка: литература оэ высится перед нами, словно горная крутизна с невидимой вершиной, исчезнувшей в облаках. Кто в состоянии рассказать, спустившись с этих высот, что он там видел и слышал? Так Моисей, сойдя с Синая, предъявил скрижали, но никто не знает, на каком языке говорил с ним Бог.

Итак, мне не оставалось ничего другого, как отказаться и от буквального перевода, и от подражания. В меру моих сил я выбрал иной путь. Переводчик с обычных языков имеет дело с творческим результатом — готовым текстом. Он встречает автора, так сказать, на финише беговой дорожки. Я же, насколько мне позволяет моё скромное дарование, возвращаясь к истокам, я пытаюсь восстановить самый процесс творчества. Как и всякий переводчик, я постарался поставить себя на место автора — но не того, кто с чувством заслуженной гордости, усталый и удовлетворённый, вручает читателю законченный труд, и не того, кто правит, и перечёркивает, и дополняет рукопись. Нет, ещё до того, как он стал автором, я встретился с ним. Усилием воли я переселился в душу творца в ту минуту, когда она почувствовала себя беременной новым, ещё бессловесным замыслом. Вместе с художником, которого я никогда не видел, но который слился со мною и сделался мной самим, я пережил его самооплодотворение и его материнство — вплоть до родовых мук, до блаженного часа, когда дитя явилось на свет. И тогда я понял, что великий оригинал остался в своём довременном, дословесном пространстве и никакого другого воссоздателя, кроме меня, не было и нет. Ибо всякое искусство есть воплощение невидимого, и всякая литература — перевод с непереводаемого. Мне незачем добавлять, что язык, о котором я попытался рассказать в этом кратком предисловии, есть скорее догадка о языке, ибо, строго говоря, языка оэ не существует.

## 36

**Почтовые лошади просвещения.** Больше, чем к кому-либо, можно отнести к писателю максимуму Витгенштейна: *Границы моего мира суть границы моего языка.*

Художественный текст порождён языковым сознанием автора, интимно связан с языком — следовательно, *принципиально непереводаем.*

Со своим неисчерпаемым запасом средств выражения каждый культурный язык может в принципе воспринять и воспроизвести любые оттенки смысла иноязычного текста. Следовательно, он способен стать языком перевода.

Между этими постулатами реализуется работа переводчика.

Писатель делает ставку на читателя, умеющего читать на его языке. Писатель живёт в родном языке. Дело переводчика — добиться, чтобы те, кто будут читать книгу на другом языке, не заметили, что она была предназначена для читающих на языке автора. Переводчик живёт в двух языках.

Писатель, работающий с переводчиком, должен быть оппортунистом.

Писатель склонен абсолютизировать свой текст. Он не готов поступиться ни одной запятой. Даже образованный автор подчас не в состоянии понять, что абсолютно точный, ничем не жертвующий, приближающийся к буквальному перевод — не самый лучший.

Отсюда происходит то, что подразумевает итальянская поговорка: *traditore, traduttore*: переводчик — предатель.

В случае с современной русской литературой задача осложнена тем, что европейский читатель имеет дело с полужуревской страной, которая долгое время оставалась изолированной от мира. *Willst den Dichter du verstehen, mußt in Dichters Lande gehen*, хочешь понять поэта, отправляйся в его страну; двестише Гёте стало пословицей. Но большинство потенциальных читателей никогда не было в этой стране. Публика помнит Толстого, Достоевского, Тургенева и Чехова. Русскую литературу ценят по меркам, заданным классиками. Между тем Россия классиков девятнадцатого столетия — страна-фантом; если она когда-либо существовала, то теперь, по крайней мере, её давно нет.

Русский писатель сталкивается с прискорбным фактом. Почти всегда отношение к художественной литературе его страны определяется политической ситуацией. Читатель ожидает от русских авторов подтверждения или опровержения того, о чём ему уже поведали газета и телевидение. Литературный критик оценивает их произведения в зависимости от того, как и насколько они «отражают» актуальную политическую обстановку, издательские планы строятся на критериях злободневности. Прimitивный взгляд на современную русскую литературу порождает спрос на примитивные издания, и наоборот.

Встреча русского языка с иностранным отнюдь не всегда сопровождается объятиями. Чаще это холодноватое рукопожатие. Наш язык, по типу своему архаический, сохранил черты древних языков, но утратил их лаконизм и перевёл потенциальную энергию в кинетическую. Это

язык, который непрерывно размахивает руками вместо того, чтобы ограничиться движением бровей. Наш язык переполнен плеоназмами, он утомляет своим многословием. Наш язык возвращает писателя. Пишущие по-русски не замечают, что их изделия похожи на мокрое бельё, которое забыли отжать.

### 37

**Аннотация.** «С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература». Эта давняя традиция представлена в русской литературе достаточно весомо. Эссе Б.Хазанова посвящено феномену изгнания, главным образом — Третьей волне литературной эмиграции из бывшего Советского Союза

Политические перемены на родине эмигранта мало что меняют в его судьбе: «изгнание — это пожизненное клеймо». Вырваться из тисков тоталитарного государства — большая удача, но за неё надо расплатиться всей прожитой жизнью. Писатель-эмигрант лишился всего; его имущество присвоено государством, его имя вычеркнуто на родине, его произведения уничтожены. Но изгнанник уносит с собой нечто неотчуждаемое — язык. Русский язык становится для экспатрианта идеальным отечеством.

Здесь, однако, коренится новая коллизия: родной язык отгораживает писателя от чужого иноязычного мира; русский язык, малораспространённый за пределами метрополии, становится для эмигранта клеткой, в которой он, свободный и одинокий, скитается по миру. Как всякий писатель, он питается памятью, оттого в глазах окружающих, а также бывших коллег и читателей на родине, он — человек прошлого. Вместе с тем он незаметно для себя накапливает опыт жизни в свободном мире и в этом смысле идёт впереди своих соотечественников.

«Хорошо быть чужим, хорошо быть ничьим». Лишившись родины, писатель находит «приют, где есть место для всех нас». Это русская литература.

### 38

**Острова блаженных.** Одна или две. *Я хочу поставить один вопрос, — именно, едина ли русская литература?* Статья «О природе слова» написана в двадцатых годах, вопрос Мандельштама был задан по другому поводу. Он, однако, не устарел. Есть основания задавать его снова.

Вероятно, мало кто помнит, что вопрос: одна или две русских литературы? — в 70–80-х годах живо дебатировался за границей. Кое-кто



размышлял об этом и в Москве. Официальная точка зрения была — никакой другой, забугорной русской словесности нет и быть не может. В переводе с советского языка это означало, что такая литература существовала и существует.

После крушения СССР споры прекратились. Критики и редакторы, а за ними и читатели в России с некоторым удивлением узнали о том, что зачахнуть от тоски по родине — не единственная участь русского писателя в изгнании. Оказалось, что и там можно что-то делать. Обнаружилось существование даже не одного, а нескольких очагов отечественной литературы вне отечества. Всё это теперь должно было вернуться и воссоединиться.

Эмигрантам объяснили, что эмиграция потеряла смысл. В свою очередь беглецы клялись, что никогда духовно не порывали с родиной. Во всяком случае, многим показалось, а некоторые даже убедились, что ничто не мешает им возобновить контакт со «своим читателем» — там, в России. Это были дни обновлённых знакомств, узнаваний, взаимных упрёков, примирения и, наконец, братания. Вслед за тем наступили будни. Выяснилось, что читатель уже другой, и литературное начальство другое. И сами изгнанники уже не те, кем они были когда-то.

...Бежим туда, но (как во сне бывает)  
Там всё другое: люди, вещи, стены,  
И нас никто не знает — мы чужие.  
Мы не туда попали...

Похоже, что спустя полтора с небольшим десятилетия после исчезновения железного занавеса обе части некогда единой литературы русского языка так и не воссоединились. Перед нами материк и разбросанные там и сям острова.

Одна половина существует в Западной Европе, в Израиле, в Северной Америке, — если угодно, прозябает, но прозябание, не правда ли, в наше время есть нормальный способ существования серьёзной литературы. Другая процветает или якобы процветает в России. Для обитателей метрополии уехавшие — это «бывшие»; если они и живы, то ютятся на задворках. Для эмигрантов метрополия — бывшая родина, ибо пришлось убедиться, что в огромном мировом городе Россия — если не окраина, то и не центр. Из всей толпы беглецов — «домой» вернулись единицы. Ибо речь идёт не только о географии, но и о сдвиге времён. Речь идёт о жизни, а жизнь засасывает.

Мне тотчас возразят: обе половины — вовсе не половины; по крайней мере, количественно они несоизмеримы. Скажут: ведь и они там пишут по-русски. Да и пишут по большей части всё о том же, об отечестве, каким они его знали, каким покинули. Скажут — проснитесь,

«той» России больше не существует, как не существовало больше России Бунина — автора «Митиной любви» и «Тёмных аллей», как провалялась в тартарары Какания Роберта Музиля.

И, наконец, те, кто живёт на Западе, худо-бедно публикуются на Востоке, и наоборот. Тогда о чём речь?

### 39

**Федот, да не тот.** Главный поставщик сырья для литературного творчества — память. Всё остальное, фантазия, книги, свежие впечатления, актуальные события — не более чем подсобный материал. Но, быть может, справедливо и обратное: писатель впитывает и перерабатывает впечатления несущейся жизни, а память о прошлом играет подсобную роль.

Можно сказать иначе, разделив роли. Автор, живущий в своём отечестве, — по крайней мере, русский автор, традиционно не затворяющийся в своём кабинете, — питается реальной действительностью. Эмигрант черпает материал из закровов памяти.

И всё же антиномия — скорее кажущаяся, оба утверждения не так уж противоречат друг другу; у них есть общий знаменатель — жизненный опыт писателя.

В нём сплавлены давнее и недавнее прошлое, вчерашнее и сегодняшнее настоящее.

Можно прожить за границей пять, десять или двадцать пять лет, приехать погостить на родину и убедиться, что при всех огромных переменах мало что изменилось по существу: друзья, хоть и постарели, остались друзьями, переулки детства всё те же или почти те же, хоть и с новыми вывесками. Такие же дворы, такие же лица, и всё кругом говорит по-русски, смеётся по-русски, толкается по-русски. Тот же мат, древний, как сама Россия. Всё твердит паломнику о прошлом, воскрешает детство, юность; охваченный воспоминаниями, он выуживает из увиденного то, что носит в себе; ему кажется, что он бродит среди видений прошлого.

Но, как ландшафт меняется, стоит лишь солнцу скрыться за тучей, родина стремительно меняет свой облик, едва только гость погружается в реальную повседневную жизнь, занимается делами, ходит и ездит, и встречается с людьми. Он начинает понимать, что он именно гость, и относится к нему как к гостю; произошла смена местоимений: когда ему говорят — мы, у нас, то все понимают, что он исключён из этого «мы», он принадлежит «им», а не «нам». Оказалось, что за эти годы, сам того не сознавая, он превратился из иностранного русского в русского иностранца.

**Жив курилка.** Дело в том, что его житейский и жизненный опыт более не совпадает с жизненным опытом соотечественников. Хуже того: он противоречит их опыту. Ты сбежал, тебя не было с нами, когда у нас происходило то-то, совершались великие события, — вот что хотят ему сказать. Зато вас не было там, где я был, вы понятия не имеете о мире, где я живу, даже если вы и катались туристами по европам, — думает он. Мы умчались вперёд, хотят ему сказать, а ты опоздал на поезд и остался стоять на перроне. Твои часы показывают прошлый век. — Нет, это мой экспресс уже давно в пути. Это вы топчетесь на перроне.

Новый костюм модного покроя надет поверх старого заношенного белья. Ров, разделивший страны Запада и Россию, по-прежнему глубок, если не стал ещё глубже. Никто в этом не убеждается с такой оглушительной неопровержимостью, как приезжий. А язык? Пожалуй, новый русский язык более всего способствует отчуждению.

Я снова предвижу по крайней мере два возражения.

Первое: слишком много уехавших — большинство — варится в собственном соку. Так было всегда. Большинство общается только с себе подобными, презирает, тайком или вслух, страну, приютившую их, еле-еле объясняется на её языке, читает только по-русски, а теперь даже смотрит российское телевидение и — больше никакое. Короче, это классические, стопроцентные эмигранты, и живут они не в большом мире, а в тесном гетто. Какие уж там «русские иностранцы».

И второе:

Икс, уехавший в Америку много лет тому назад, регулярно публикуется в России, наезжает в Россию, порой задерживается там надолго.

Игрек, эмигрант 70-х годов, — лауреат российских премий, у него два паспорта, квартира здесь, квартира там, он вообще не чувствует себя эмигрантом.

Зет... но довольно и этих двух.

Косвенным ответом, возможно, послужил бы странный феномен неумирания экспатрированной литературы.

Семьдесят лет тому назад Ходасевич писал (в статье «О смерти Поплавского») об отчаянном положении молодого поколения писателей первой послереволюционной волны. Другая статья, «Литература в изгнании», начинается почти теми же словами, с которых я начал: «Русская литература разделена надвое», далее говорится о том, что хотя «национальная литература может существовать и вне отечественной территории» (для нас сегодня тривиальная истина), но долго не протянет. О том, что дни зарубежной русской литературы сочтены, писал постоянный оппонент Ходасевича Георгий Адамович. В этом же роде высказывался Гайто Газданов.

Но прошло сравнительно немного времени, и словесность, приговорённая к смерти, возродилась: это были писатели, оказавшиеся за кордоном во время войны. Вторая волна во всех отношениях уступала первой, но и она дала несколько важных имён, а главное, подхватила традицию независимой литературы. Казалось, и она обречена на скорое угасание. Но появилась третья волна, весьма многолюдная, и уже в самое последнее время — четвёртая.

## 41

**Литература пастеризованного языка.** Опять-таки покажется странным, что отчуждение не только не преодолено, но усугубилось.

Это отчуждение обоюдное.

Я упомянул о языке. Мы не можем пересоздавать язык, но мы можем издеваться над языком. Речь идёт об очевидном, удручающем упадке русского языка там, где на нём говорит весь народ. Блатная феня, язык подворотен — ещё недавно этими речениями кокетничали за интеллигентным столом, вроде того, как пресыщенный автор «Сатирикона» упивался жаргоном римских вольноотпущенников и черни. Теперь они обесценились, превратившись в общеупотребительную квази-нормативную речь. Инфляция привела к девальвации. Матерная лексика, этот особый, на свой лад очень выразительный, очень национальный и редкостно изобретательный языковый фонд, на наших глазах выродился, утратил свою экспрессию, а затем и семантику, превратился в систему междометий, в шаблонный набор слов-паразитов, если и сохранивших какое-то подобие смысла, то разве лишь в том, что они маркируют социальную общность участников разговора. (Жак Росси даёт оригинальное толкование словечка «бля»: *Употребляется для украшения речи*. Современный вариант — «блин».)

Нам хотят внушить: вот он, живой, всамделишный, современный народный язык. Литература не вправе его игнорировать.

Можно было бы говорить о культе *плохописи*, если бы те, кто плохо пишет, сознавали свою увечность. Языковая инвалидность российской прозы бросается в глаза: это захлестнувшая её вычурность, манерность, дурновкусие, жалкое безмыслие, невыносимое, до мучительной зевоты, многословие. Знание правильного значения слов слишком часто оказывается попросту неизвестным. По-видимому, пишущие не отдают себе отчёт в существовании различных и не допускающих беспорядочного смешения лексических слоёв, не чувствуют разницы между речью современной и архаической, между литературным языком и просторечием, общенародной речью и социолектами. Писатель, голос общественного слоя, который следует называть люмпен-интеллигенцией, хочет быть раскованным и

современным, хочет *вволю стебаться в текстах, благо великий и могучий русский язык весьма этому способствует* («Знамя», 2005, 3), и вместе с тем показать, что и мы не лаптем щи хлебаем. Он груб и циничен, и тут же — псевдоучёная речь, плохо понятые специальные термины, модные западные имена, шикарные американизмы.

Мы слышим эту замусоренную речь, когда гости из России появляются на улицах западных городов. Слава Богу, никто, кроме бывших россиян, не внемлет их языку.

Я прекрасно понимаю, что претензия хранить «чистоту русского языка» в эмиграции смешна. Она была утопией и три четверти века назад. Вопрос не снят с повестки дня. В конце концов, каждый русский писатель решает его сам для себя. Но ни тот, ни другой ответ — единая литература? две литературы? — в отдельности не исчерпывают тему. Истина посредине. Мы имеем дело с диковинной словесностью. У неё одно тело и две головы.

## 42

**Критик (1).** Писатели редко питают к критикам тёплые чувства. *Писатель — это рабочая лошадь, которая трудится, пашет землю. Критики — оводы, которые её кусают.* И правда: статьи Михайловского, Скабичевского, Протопопова и т.д. о Чехове не назовёшь блестящей страницей русской литературной критики; мало кто из современников понимал, с кем он имеет дело, никто или почти никто не догадывался, что речь идёт о гениальной прозе и драматургии. Любопытно, что эта традиция непонимания жива до сих пор.

Писатели испытывают к критикам амбивалентные чувства. Если критик тебя похвалил, ты остаёшься недоволен тем, что он похвалил тебя не так и не за то, что, по твоему мнению, заслуживает особой похвалы. Если он разнёс твоё творение, ты чувствуешь в нём личного врага. Казалось бы, самое лучшее — чтобы он вовсе оставил тебя в покое. Так нет же, если он обходит твоё имя молчанием, ты оскорблен вдвойне. Ты видишь в этом знак пренебрежения твоей работой и упрекаешь критика в кумовстве: он-де пишет только о своих собутыльниках и раздаёт лавры друзьям.

Теодор Фонтане (который был не только романистом, но и критиком и рецензентом): *Мы здесь не для того, чтобы при всём народе раздавать billets doux (любовные записочки), а для того, чтобы говорить правду — или хотя бы то, что мы полагаем правдой. Ибо мы не настолько самонадеянны, чтобы считать себя высшей и непогрешимой инстанцией... нет, кто читает внимательно наши статьи, будет то и дело натывать на выражения вроде: «мне кажется», или «у*

меня впечатление, что...», или даже «предоставляю на ваше усмотрение». Это не язык всезнайки. Да и ремесло наше таково, что угодить всем и каждому невозможно.

Конечно, критик в первую голову — педагог. Не столько по отношению к пишущим — и даже совсем не для пишущих, — сколько для читающих или тех, кого он надеется приохотить к чтению. Критик учит хорошему вкусу. В обществе, где доля литературно образованных людей неуклонно снижается, так что можно предположить, что лет через двадцать число любителей художественной словесности сравняется с числом филателистов или собирателей винных этикеток, критик просто напоминает публике о существовании литературы.

Но он не только информирует, но и произносит суд. Критик может быть литературоведом, герменевтом, комментатором, законодателем мод, — одно для него невозможно: он не в состоянии взять на себя роль читателя — ни «рядового», ни «идеального». Почему это так, объяснил когда-то Ролан Барт. Потому что критик не ограничивается потреблением, то есть чтением. Критик сам *пишет*, а это значит, что он вступает в особые отношения с разбираемой книгой.

Само собой, критика может попасть в смешное положение, оказаться комичной, как это случалось не раз, как в наши дни произошло в случае с московскими концептуалистами, при которых учёные комментаторы состояли в должности придворных ткачей, фабрикующих на пустых станках новое платье для голых королей.

До сих пор, по-видимому, сохраняет актуальность старинное разделение критики на социальную и эстетическую; мы можем говорить о критике *интерпретирующей* и критике в собственном смысле, то есть критике литературного произведения как такового. Правда, второй род признанием не пользуется. Ты читаешь обзор современной прозы, статью о писателе или разбор книги — критика занимают два вопроса: о чём это и как это соотносится с сегодняшней ситуацией в стране. Замечает ли он, что книга рассматривается как симптом чего-то? Как занимательная иллюстрация к чему-то, о чём толкуют социологи, распинаются политики, судачат газеты? Анализ сводится к оценке героев, их поступков, их «позиции». Стилистика, поэтика, структура произведения, философия литературного творчества критика не интересуют, у него нет собственных взглядов на эти предметы; возможно, он вовсе не подозревает об их существовании. В искусстве его интересует message. Одним словом, это всё тот же метод, который превращает художественное произведение в предмет для использования, делает книгу *трофеем армии истолкователей*, как выразилась однажды Сузан Зонтаг.

Целые трактаты посвящены истолкованию мотивов поведения Раскольникова. Князь Мышкин с Настасьей Филипповной, Митя Карамазов с Грушенькой и tutti quanti перекочевали из романов в статьи,

чтобы стать в свою очередь их героями. Интерпретатор отодвигает в сторону романиста, чтобы сказать то, что, по его мнению, недостаточно ясно сказано в романе. Само собой, мало кто обходится без пережёвывания старой жвачки, без напоминаний о том, что Достоевский (именуемый по-приятельски не иначе как «Фёдор Михайлович», словно чай вместе пили) — провозвестник единospасающей веры, пророк трагического будущего России и т.п.

Нелегко избавиться от мании интерпретирования. Незаметно для самого себя толкователь перекрашивает писателя в проповедника и превращает литературу в повод для чего-то другого. Отсюда один шаг до худшего сорта критики — идеологической.

### 43

**Критик (2).** Хочется всё-таки уяснить себе, что ты от него ждёшь. Ибо если критика не существует без писателей (хотя как сказать!), то и писатель чувствует себя, вопреки всему, сиротой без критика; писатель мечтает о критике, как мечтают о женщине, которая тебя «поймёт». И в конце концов, разве критик и писатель не созданы друг для друга. Зачем нам читатель?

Хочется любви. Не любви к нашему брату — какое там. Хочется, странно сказать, чтобы критик любил литературу. Георг Лихтенберг, прославленный автор афоризмов, изрёк: *Любовь литературного критика к литературе подобна любви к детям у похитителя детей.* Нет, пусть он любит её, как любят природу и отечество — но отечество более просторное: хочется, чтобы критик любил и знал не одну только русскую литературу. Никто не может объять необъятное, но у читателей критической статьи должно возникнуть убеждение: этот человек читал всё. Иначе мы получим то, что с детской непосредственностью демонстрируют девять десятых литературно-критических статей в ведущих толстых журналах: автор то и дело изобретает велосипед. Он с апломбом рассуждает о том, что в лучшем случае подразумевается само собой. Ему невдомёк, что об этом уже сказано, и сказано много лучше.

Его духовный горизонт, словно горизонт человека на Луне, — рукой подать. Его суждения наивны. Мысль о том, что русская литература была и остаётся партнёром западных литератур и от этого сожительства никуда не денешься, что простое сопоставление сходных литературных явлений избавило бы критика от банальностей, сообщило бы его суждениям новое измерение, сделало бы его оптику стереоскопической, — мысль эта остаётся для него абстракцией. Ему кажется, что русские классики сказали всё; отечественная литература в его представлении есть нечто самодовлеющее.

А ещё хочется, мечтается, чтобы критик умел взглянуть на явления литературы глазами человека, не чуждого другим искусствам. Прежде всего, не чуждого музыке. Очевидно, что ориентация в мире музыки важна для собственно литературной критики, то есть для анализа литературы как таковой, — и не имеет никакого значения для критики социологической и интерпретаторской. Музыка в нашем отечестве, не правда ли, — род улицы с односторонним движением. В то время как русские композиторы соревновались в использовании сюжетов и мотивов отечественной литературы, дали вторую жизнь русской поэзии, — в сознании писателей, а там и в сознании критиков серьёзная музыка часто как бы вовсе не существует. Это «не наша сотня». И если вы станете утверждать, что чувство композиции, понимание того, как устроен роман, невозможны без знания того, как построена симфония или соната — музыкальные аналоги европейского романа, — в ответ пожмут плечами. На вас посмотрят как на чудака, если вы осмелитесь заметить, что музыка выражает всю полноту внутренней жизни человека — то есть на свой лад осуществляет высший проект литературы — и что нельзя прикоснуться к истокам литературного творчества, невозможно заглянуть в тёмную глубину, где сплетаются корни искусства и философии, без знакомства с историей итальянской, немецкой, французской, русской музыки.

И, наконец, хочется, чтобы критик сам умел писать. Если не отменным слогом, то хотя бы приличным русским языком. Знать грамматику, владеть основами синтаксиса, иметь представление о знаках препинания и так далее; это — далеко не общий удел. Плохой язык — нечто вроде незастёгнутых штанов или скверного запаха изо рта. Странное дело. Ты читаешь этих остряков-комментаторов, профессиональных забулдыг, которые так лихо чешут на жаргоне пивных и подворотен, — талантливые ребята, — и от твоего демократизма, твоей терпимости, твоего желания шагать в ногу с веком и сегодняшним днём не остаётся и тени, тебя не покидает чувство, что ты оказался в дурном обществе. И крадывается мысль: это они не нарочно. Просто они по-другому не умеют.

Писатель *не знает*, для чего он пишет; критик — знает. Журнальная критика не «обслуживает» литературу. Во всяком случае, обслуживает её не более, чем литература обслуживает критику. Литературная критика есть сознание литературы, вынесенное за пределы её собственного организма.

Критика не реформирует литературу, но она её формирует. Если она при этом воспитывает и читателя, честь ей и хвала, но её миссия выходит далеко за пределы дидактики. Это относится и к тем, кого критика удостаивает своим вниманием, к самим писателям. Смешно учить писателей писать. Но можно поговорить о том, как *не надо* писать. В



лице писателя критика имеет дело с субъектом и заносчивым, и крайне не уверенным в себе; критика ободряет пишущего, критика ставит его на место. Критика убеждает писателя, что то, чем он занимается, — не блажь и не хобби, а нечто важное, может быть, самое важное на свете; что, *вопреки всему*, в пику гнусному времени и нарастающему, как океанский вал, варварству, литература всё ещё кому-то нужна. Поэтому критика имеет терапевтическое значение.

Только с помощью критиков ты начнёшь понимать, что стал участником (или свидетелем, или изгоем) литературного процесса, хотя бы тебе и казалось, что в своём неисцелимом одиночестве, одиночестве писателя, ты сидишь за своим столом, как на скале посреди пустынного моря. Литературный процесс не есть вполне объективное явление, этот конструкт создаётся не сам собой. Литературный процесс артикулирует или, что то же самое, создаёт литературная критика. Однажды изобретённый, он становится объективным фактом.

В эпоху, когда рефлексия о прозе составляет интегральную часть самой прозы, столь же привычную, как в минувшем веке описания природы, когда автокомментарий превращается во внутренний метаязык литературы, — критика становится её внешним метаязыком, третьим полушарием её мозга. *Критик* может ошибаться. *Критика* непогрешима.

## Понедельник роз

*Dennoch die einsamste Rede des Künstlers lebt von der Paradoxie, gerade vermöge ihrer Vereinsamung, des Verzichts auf die eingeschliffene Kommunikation, zu den Menschen zu reden<sup>1</sup>.*

Т. Адорно. Философия новой музыки.

*У вас сумятица в голове, время течёт вспять (роман «Антивремя»), и небо оказывается почему-то под ногами («Нагльфар в океане времён»). Логику заменяет музыка.*

Дж. Глэд — Бор. Хазанову.

**К**ак это бывало со мной при чтении каждой новой книги, я решил, прочитав первую часть «Фауста», создать что-нибудь подобное, если не лучше. В моем мозгу клубился замысел мировой драмы, список действующих лиц состоял из исторических и легендарных персонажей всех народов и эпох. Главный герой должен был прожить

---

<sup>1</sup> И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям (*нем.*).

жизнь, равнозначную истории человечества. Попытка состязаться с Гёте свелась к тому, что я сочинил короткую сцену, откровенное подражание Сну в Вальпургиеву ночь. «Фауст» был снабжен комментарием. Я тоже написал комментарий к своему творению, оказавшийся втрое длиннее основного текста. Похоже, что все предприятие было затеяно ради этого комментария.

К этому времени — мне было 14 лет — в моем портфеле находилось подражание «Евгению Онегину», начало поэмы, похожей на «Домик в Коломне», и многое другое в этом роде, но критика, предисловия, введения и то, что называется аппаратом художественной литературы, мне казались не менее интересными, чем сама литература. Шла война. Я писал дневник, издавал газету и вел литературную переписку с двоюродным дядей, который сам писал стихи, переводил французских поэтов и выразил некоторое удивление, узнав, что я взялся заново учить забытый немецкий язык.

Может быть, во мне говорит наследие предков, составителей комментариев к священной книге и комментариев к комментариям; может быть, античная филология приучила меня не видеть ничего противоземного в том, что две строки классического автора сопровождается страница примечаний. Считается, что мания рассуждать о литературе, вместо того чтобы «просто писать», свидетельствует о творческой немощи, подобно тому как слишком пространные рассуждения о Боге изобличают недостаток веры. Возможно, правы те, кто говорит, что мы живем в александрийское время, что словесность, размышляющая и разглагольствующая о самой себе, — это и есть нормальная литература нашего века. Как бы там ни было, я возвращаюсь к отроческим развлечениям. Я отлично понимаю, что пример некоторых знаменитых писателей — критиков и комментаторов собственного творчества — не может служить для меня оправданием. Отечественная традиция приучила нас видеть в пространных диатрибах о себе нечто нескромное. Вдобавок они чаще всего недостоверны. Как сказал Д. Г. Лоуренс, верьте художнику, а не его рассказу. Если книжка не говорит сама за себя, никто за нее этого не сделает. И, наконец, то, что происходит у нас на глазах — тихая катастрофа литературы, — заведомо обрекает все подобные упражнения на невнимание и провал.

\*

Приступы литературной болезни начались у меня лет с девяти или десяти, когда я создал некий прообраз Самиздата — киностудию «Самфильм», где я был одновременно сценаристом, художником и кинемехаником. На рулонах бумаги, разграфленной на кадры, студия фабриковала исторические и приключенческие фильмы. Была лента под на-

званием «Загадочный портрет», фильм «Верденская мельница» о мировой войне, которая тогда ещё не называлась Первой, и проч. Несколько позже писательство приняло более регулярный характер, я предпочитал солидные жанры: эпическую поэму, роман. Кроме того, я писал ученые трактаты, составлял Краткую Астрономическую Энциклопедию, сочинял литературоведческие статьи и прочее, о чем уже упоминалось. Самый вид литературного текста восхищал меня: строфы или главы, помеченные римскими цифрами, тире, которыми обозначаются реплики персонажей; меня пленяла пунктуация XIX века, точки с запятой где надо и где не надо, вопросительные и восклицательные знаки посреди фразы. В конце войны, когда я был рабочим на газетно-журнальном почтамте на улице Кирова, я кропал лирофилософские поэмы (например, стихотворение о Шопенгауэре, где была странная строчка: «Пред ним молчит надменный Шеллинг»), это была дань возрасту; были еще попытки обдумать свое отношение к музыке и какие-то поползновения создать собственную метафизическую систему. В 16–17 лет огромное значение приобрел германский мир. Все это странным образом сделало меня абсолютно нечувствительным ко всеобщей ненависти к Германии и даже к смутным известиям о том, что немцы уничтожают евреев. Кроме того, я пришел к выводу, что мы сами живем в фашистском государстве. Ленин, правда, сумел продержаться несколько дольше Сталина, который рухнул, подняв пыль, зато я помню, как я объяснял одному приятелю, усатому мальчику, приехавшему из Киржача, что марксизм — ошибка: совершив революцию, рабочий класс сам захватит себе все блага.

В университет я поступил в год окончания войны, это было время, когда все писали и читали друг другу стихи. В полуподвальных коридорах клуба на Моховой стояли под тусклыми лампочками кучки мальчиков и девочек и кто-нибудь в середине рубил кулаком воздух. Но сам я почему-то уже не занимался сочинительством. Дневник, где вождю и советской власти воздавалось по заслугам, был порван и выкинут в уборную после ареста Семьи Виленского, в ожидании, когда придут за нами. Что в конце концов и произошло. Нас было четверо — три еврея и один русский, он оказался доносчиком; три к одному — довольно обычная пропорция для тех лет. Наш товарищ был студентом закрытого военного института иностранных языков, был сыном «сотрудника» и упражнялся в своей будущей профессии разведчика. Меня арестовали в ночь на 28 октября 1949 года, когда я был уже на пятом курсе классического отделения; я находился под следствием во Внутренней тюрьме и Бутырках и весной следующего года, получив восемь лет, был отправлен в Унжлаг. Как известно, то были другие времена — арестованный исчезал бесследно. Так как здесь речь идет о литературе, можно упомянуть о том, что некоторую роль в моем деле сыграли роман Ганса Фал-

лады «Каждый умирает в одиночку» и чрезвычайно крамольный 66-й сонет Шекспира, который следовательно счёл моим собственным произведением. В некотором высшем смысле он был прав.

В лагере я предавался мечтам о книгах, которые напишу, если когда-нибудь выйду на волю. Как-то раз по дороге в жилую зону, когда колонна, несколько сотен человек вместе со смертельно уставшим конвоем, в сумерках месила ногами снег, я придумал целую повесть, действие которой происходило на солнечном морском пляже. Позже я ее написал и вообще писал что-то, если позволяли условия; были неприятности по поводу одного рассказа, жалкого сочинения, найденного у меня, в котором случайно упоминалась витрина Военторга (на бывшей улице Калинина), описанная без должного пиетета перед символами вооруженных сил. Вообще же времена были разные — плохие и хорошие. Я вынырнул из уголовного мира благодаря тому, что был зачислен на лагерные курсы бухгалтеров, после чего у меня появилась возможность более основательно заняться бумагомаранием. Хотя население наших мест почти сплошь состояло из полуграмотных или просто неграмотных людей, мне встречались изредка люди не чуждые искусству и литературе. Я буду помнить до конца моей жизни литовца Антанаса Криштопайтиса, художника, и его приятеля поляка Чеслава Ожеховского, оба помогли мне.

На другой день после того, как радио гробовым голосом сообщило, что Великий Ус отбыл к праотцам, один мой приятель показал мне под большим секретом свою оду «На смерть тирана». Этому человеку было лет 35; как и другие, он казался мне стариком. Странно подумать, что когда-то — и в школе, где я просидел восемь лет вместо десяти, и в университете, и в заключении — я был моложе всех окружающих. Как бы ни насмеялась надо мной судьба, у меня в кармане было бессмертие. Сейчас из десяти встречных девять младше меня. У меня была тетрадка, сшитая из оберточной бумаги, собрание моих лагерных рассказов; каким-то образом она сохранилась, засунутая в книжку, но была найдена и изъята при обыске спустя двадцать пять лет. Была еще пьеса, которую я сочинял на лесном складе; была какая-то хаотическая поэма, написанная белым стихом, с рифмами в финале и, само собой, крамольного содержания («огромным лагерем встает Россия...»), врученная с просьбой вывезти одному товарищу, который ее выкинул, к счастью для нас обоих.

\*

Я был выпущен «условно-досрочно» весной 1955 года, после чего литература провалилась под землю. Лагерь вылечил меня от многих болезней — как казалось, навсегда. Я смотрел с отвращением

на книжки, оставшиеся дома после моего ареста, словно меня предал не товарищ студенческих лет, а греческие и римские классики и некогда нежно любимый Шопенгауэр. Все же я не удержался и зашел на наш факультет. В коридоре висело расписание лекций и практических занятий, какой-то семинар по Маяковскому... Глядя на все это, можно было только пожать плечами. Крысиный марш заключенных из рабочего оцепления в зону по шпалам узкоколейки, по четыре в ряд, крики конвоя, едва поспевающего за колонной, вожделенный лагпункт впереди, вышки и прожектора... — и семинар по Маяковскому. Мертвый храп зимней ночью в бараке, где под чахлой лампочкой за столом дремлет дневальный, — и вся эта чушь, эта херня, которую обсасывали доценты и их питомцы. Сто лет назад Московский университет и Владимир-на-Клязьме, куда упекли Герцена, еще кое-как уживались друг с другом. Университет и лагерь не могут сочетаться никогда. Там, где существует одно, не может быть другого. Дело не только в том, что на университете, кишевшем стукачами, стояло большое черное пятно. Дело было в абсолютной несовместимости «культуры» с русской жизнью, с той подлинной жизнью, которой жили и продолжают жить десятки миллионов людей. И с этой точки зрения и Маяковский, и Пушкин, и Гораций — все едино: глуповатый поэт революции, и *Eheu fugaces*, и «Друзья мои, прекрасен наш союз» равно незаконны. Шлиссельбургский узник Морозов додумался до того, что античного мира не существовало: вся эллинская и римская словесность, оказывается, была сочинена средневековыми монахами. Таким фантомом кажется вся русская литература. Не зря непозволительность умственных и эстетических упражнений, «когда народ страдает», — старый топос русской мысли. Чувство незаконности духовной культуры в нашей стране и этот урок жизни, который твердит тебе, что книга есть не что иное, как дезертирство из мира действительности, бегство от проклятия труда, от всеобщего убожества, от мрачного и враждебного народа, а если ты занимаешься искусством, литературой, философией, то это значит, что за тебя должны вкалывать другие, — это чувство и этот урок я не забыл по сей день.

Вообще же восстановить тогдашнее настроение теперь уже не так просто, не впадая в некоторую стилизацию; настала оттепель, что-то вроде отпускной поры; я был уверен, что, когда она пройдет — не может же она длиться вечно, — меня снова посадят, и надо было успеть приобрести хотя бы начатки какой-то реальной профессии, чтобы не оказаться во второй раз голым среди волков. Был такой случай: вскоре после возвращения кто-то дал мне почитать роман Набокова «Лолита» по-французски. Книжка вызвала у меня отвращение, это была истинно буржуазная литература, нечто такое, что сочиняется для чтения лежа на диване после сытного обеда.

По необъяснимому недосмотру КГБ и местного начальства я выдержал приемные экзамены в медицинский институт в Калининне, был прописан в этом городе, занимался с энтузиазмом, с отчаянием, был лучшим студентом и окончил институт с отличием. Принимая во внимание мою национальность, я был отправлен в глухой район. Эта ссылка меня не огорчала. Напротив, работа врача в деревне восхищала меня, медицина казалась единственной достойной профессией; немалое значение имело и то, что я по-прежнему носил в кармане волчий билет. Об этом никто не знал; никто не видел мой паспорт; попавшись однажды в военкомате на том, что в моих бумагах имеются расхождения, я сочинил себе липовую биографию. Я испытывал потребность уйти от луча, то самое желание укрыться в глубинке, о котором сказано в одном малоудачном рассказе Солженицына, или опуститься «на самое дно реки», как говорит Лаврецкий в «Дворянском гнезде», в воспитательной XX главе, — и с веселым сердцем прибыл в замшелую земскую больницу, где мне всё нравилось. Впервые в жизни у меня была собственная квартира и выдавший виды медицинский фургон военного времени. Жена моя еще оставалась некоторое время в городе. И вот однажды, после чтения воспоминаний Сомерсета Моэма, очаровавших меня своим слогом, поздней осенью, когда я шел пешком из села в свою больницу, ко мне вернулась старая болезнь. Темными вечерами, недели за две, я написал некое полубеллетристическое и полуавтобиографическое произведение под названием «Там я среди них» (Мф. 18, 20: «...где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»). Подразумевался, не без некоторого sacrilège, провокатор в нашей компании.

С тех пор, словно нарушивший зарок наркоман, я уже не мог остановиться. Я лечил больных всех возрастов, от ветхих стариков до грудных младенцев, колесил по снежным или залитым грязью дорогам, занимался и внутренними болезнями, и хирургией, и педиатрией, и рентгенологией, делал вскрытия, добывал лекарства, построил водопровод и провёл электричество, был и швец, и жнец, и в дуду игрец, но в печенках у меня сидела литература. Я насиловал свое перо так и эдак; однажды мне пришла в голову мысль, показавшаяся многообещающим открытием: можно писать, не раздумывая над тем, что пишешь, а просто фиксируя на бумаге все, что приходит в голову; идея автоматического письма, очередное изобретение велосипеда, почти не оставившее следов в моем писательстве. Зимой морозы доходили до 44 градусов. По вечерам мы сидели вдвоем в натопленной комнате за чудовищно изобильным ужином. Под Новый год у нас стояла осыпанная разноцветными лампочками елка, я притаскивал ее из леса. Это было лучшее время моей жизни.

К концу 1963 года, когда меня зачислили, тоже по какой-то случайности, в медицинскую аспирантуру, я был автором экзистенциали-

стской пьесы, нескольких псевдостихотворений в раешном стиле и десятка рассказов, среди которых можно упомянуть «Дорогу на станцию», первое произведение, которое понравилось мне самому; я писал его с большим волнением. Приобретение пишущей машинки было торжественным событием, словно примерка свадебного платья для невесты. В Москве, получив временное право жительства, я в первые же недели начал сочинять повесть о деревне. Самое лучшее в ней был прекрасный, благоуханный отрывок из Аксакова, служивший эпиграфом; отсюда же было почерпнуто и заглавие: «Белый день». У меня не было читателя и советчика, и я сам себе был врач. Среди моих знакомых не было ни одного писателя. И тогда, и позже у меня было чувство, что в писательстве есть нечто постыдное и недостойное мужчины, вроде вышивания или, пожалуй, тайного порока. Если бы нашли мои писания, я бы сгорел от стыда. В лагере я давал себе слово: если когда-нибудь выйду на волю, то никогда и ни за что на свете не буду больше работать; эта аннибалова клятва осталась невыполненной. У меня не было времени, я должен был подрабатывать, не говоря уже о диссертации, и литературой мог заниматься лишь урывками. Я учился писать и с великим трудом, медленными шажками, но все же делал кое-какие успехи; этот период учебы занял десять лет.

\*

К тому времени, когда я почувствовал, что научился отличать хорошо сделанную фразу от плохой, меня поработила лагерная тема; не меня одного, как потом обнаружилось. В Калинин, где мы снова поселились, и затем в Москве я писал повесть «Запах звезд», мысль о которой возникла неожиданно после чтения одного рассказа Юрия Казакова. В лагере мне довелось работать одно время, после того как я был расконвоирован, хозвозчиком, я научился обращаться с лошадьми. «Запах звезд» — история коня, у которого был прототип. Вместе с тем это было, кажется, первое мое произведение, где угадывался некоторый мифологический фон. Громадный белый конь стар и, кажется, едва стоит на ногах, но все еще тверд духом, вынослив и могуч. Этот одёр, прошедший огни, воды и медные трубы, старый артиллерийский конь-доходяга, чья фантастическая худоба вызывает смех, привезен в лагерь, чтобы закончить свои дни на лесоповале и отправиться, подобно всем своим товарищам, в последний путь по кишкам заключенных. Его безжалостно эксплуатируют, истязают, как только в неволе люди могли истязать рабочих лошадей; он чуть не погибает в болоте и ненароком топчит возчика, жалкое получеловеческое существо, — но каким-то чудом выкарабкивается из трясины и стоит, покрытый грязью, в виду далеких лагерных огней. Этот образ жуткого и величественного бессмертия — если хотите, образ российского народа, это сама страна.

То, что описано в «Запахе звезд», случилось со мной, я сам однажды чуть не погиб в болоте поздним осенним вечером со своей лошадкой и лагерьной вагонкой, особым устройством для езды по круглолежневым дорогам, но все же выбрался и пошел на лагпункт звать подмогу, почти уверенный, что потерял коня. На обратном пути из темноты выставилось какое-то чудовище: это был он, весь облепленный грязью. Он тоже вылез и брел навстречу по разбитой дороге, волоча обломки оглобель.

На другое утро я отказался выходить на работу, надеясь, что начальство распорядится, наконец, починить лежневку, и был посажен в трюм, лагерьную тюрьму, — но это уже выходит за рамки моей фабулы. Вообще, повествуя о лагере, я не имел намерения писать о себе, задача была другая. Русский словарь загажен не меньше, чем русская природа, и ни один порядочный человек не осмелится больше назвать себя патриотом: это слово звучит непристойно. Как инородец я легко могу подать повод упрекнуть меня в презрении ко всему отечественному. Мой ответ — эта повесть. Я любил этого коня и чуть не плакал от сострадания к нему, заканчивая мою повесть. Впоследствии я ее несколько раз перерабатывал. У меня было ощущение, что вместе с ней закончился целый этап моей жизни. Я почувствовал опасность работы с автобиографическим материалом, но познал и литературную свободу: оставаясь учеником, почувствовал себя все же хозяином своего материала. В эти годы я написал еще несколько рассказов о лагере. Разумеется, не обошлось и без «влияний», но если когда-то, очень давно, меня гипнотизировал Мопассан, а в деревне — Чехов, Хемингуэй, отчасти князь Лампедуза, автор романа «Леопард», то теперь тон стал задавать Фолкнер, а в рассказике «Частная и общественная жизнь начальника станции», по-видимому, дало себя знать присутствие Франца Кафки.

Экзистенциализм, тогда новый в России, носился в воздухе; казалось, его продуцирует сама наша действительность, и можно было удивляться тому, что философия эта была сформулирована не у нас. До чего-то подобного дошел и я, еще живя в лагере; например, до идеи безнадежного, но необходимого сопротивления. Презумпция сопротивления содержится в формуле Спинозы, одной из тех фраз, которые застревают в памяти с юности: «Сила, с которой человек отстаивает свое существование, ограничена, и сила внешних обстоятельств бесконечно превосходит ее». То есть корабль идет ко дну — и ничего не поделаешь. Что бы мы ни предприняли, корабль идет ко дну. Но какой флаг взвывается на мачте, зависит от нас. Абсолютная беспощенность морали, чье единственное основание, единственный смысл и резон — достоинство человека в абсурдном мире. В мире, похожем на тот, который мог бы создать психически поврежденный Творец. Эти настроения сказались в повести «Час короля», о ней будет речь ниже.



С другой стороны, меня преследовала навязчивая мысль о том, что лагерь отнюдь не принадлежит прошлому; скорее это пророчество о будущем. Тотальная регламентация жизни, культ производства и «плана», ставший чем-то вроде религии. (Здесь было какое-то пересечение с «Рабочим» Эрнста Юнгера, о чем я вовсе не подозревал.) Лагерь, созданный как инструмент террора, но уже в тридцатых годах превратившийся в инструмент экономики и постепенно ставший ее главным рычагом, — без него невозможно было бы построить социализм, что бы ни подразумевали под этим словом. Лагпункт, окруженный высоким тыном, с рядами колючей проволоки и сторожевыми вышками, охраняемый собственными вооруженными силами, с его начальником-Вождем, тайной полицией (оперуполномоченный), тюрьмой (штрафной изолятор), службой пропаганды (КВЧ, «культурно-воспитательная часть»), с радиоточками в каждом бараке, лозунгами, развешанными в рабочем одеянии и над воротами зоны, с его великой целью выполнения плана, с его системой снабжения и распределения, наконец, с неизбежной для этого общества строжайшей социальной иерархией, с поистине кричащим социальным неравенством, с серой массой рабочих, бюрократией и паразитической элитой, — таков был социализм концлагеря: лагерьный пункт с населением в тысячу человек представлял собой миниатюрную копию 200-миллионного советского общества и государства. Он казался прообразом будущего, быть может, не только русского. Самочувствие и самосознание одинокого и беспомощного человека в обществе, устроенном по образцу лагеря, — вот что казалось единственным, о чем стоило писать.

Человек этот не был интеллигентом. Интеллигент пришел в мою литературу гораздо позже и с другими темами. А это был человек, из каких состояло девяносто девять процентов крысиного коллектива лагерных мест и девять десятых населения страны; человек — ходячий позвоночник; темный, упорный, необычайно живучий, подозрительно-недоверчивый, вечно ожидающий подвоха, не верящий ни в кого и ни во что, ненавидящий просвещение и культуру, — и поделом культуре! Словом, «простой человек». Человек, которому не на кого надеяться: ни на друга, который предаст, ни на Бога, который молчит; только на самого себя; человек, который «лежит, спиной накрылся»; человек, у которого два главных врага: напарник, пыхтящий с ним в одной упряжке, и грозное абстрактное государство, таинственные *они*, начальство. И так, прочь от стихов и книг, от немецкого идеализма, которым я кормился в 17 лет, от романтики и любви. Кто однажды отведал тюремной баланды, будет жрать ее снова. Чем хуже, тем лучше. И чем лучше, тем хуже: ближе расплата. Только таким мироощущением и может питаться литература. Мне казалось, что в благоустроенных странах, без войны и нищеты, без тайной полиции, литература должна задохнуться: о чем писать?

После изнурительных хлопот, писания заявлений и обивания порогов нам разрешили жить в Москве, моя молодая жена бросилась целовать чиновницу, сообщившую нам об этом милосердном решении, затем начались поиски работы, при которой можно было бы надеяться получить жилье. Один старый товарищ познакомил меня с писателем Борисом Володиным, пожелавшим прочесть мою прозу; однажды вечером я позвонил к нему в дверь, вручил папку и ретировался. Встреча с ним имела для меня большое значение, он ободрил меня.

\*

Я корпел над своими фразами, пользуясь каждым проблеском свободного времени, как китаец старается обработать каждый свободный клочок земли; я работал где угодно: в больнице на ночных дежурствах, в поликлинике, в гудящей, как улей, полуподвальной комнате Центральной медицинской библиотеки на площади Восстания, где я за 60 копеек в час подвизался в качестве устного переводчика иностранной научной литературы для сочинителей диссертаций; со своей рукописью, в углу, ждал очередного клиента. Я погружался в свою литературу, словно нырял в воду, и сидел там на дне, среди чудных водорослей и проплывающих мимо рыб. Никакой надежды напечатать свои сочинения у меня не было, но не было и охоты. Если желание публиковаться естественно для писателя, то не менее естественно, я думаю, и нежелание быть опубликованным. О том, что моя продукция ни при какой погоде не могла быть обнародована в этой стране, нечего и говорить. Все же Борис Володин предложил мне написать что-нибудь о медицине для детского журнала «Пионер» и представил меня дамам из редакции; первый в моей жизни гонорар, равный месячному заработку врача, я получил за статейку о переливании крови. Я был командирован журналом в Киев, в Институт археологии, где держал в руках только что найденную на окраине Днепродзержинска тяжёлую золотую пектораль скифского вождя и написал о ней рассказ для детей. Кроме того, я писал статьи об алхимии, об истории естественных наук и о знаменитых химиках и медиках для научно-популярного ежемесячника «Химия и жизнь». Покушался даже на science fiction и сочинил повесть под названием «Ганнибал», не без влияния Михаила Булгакова, ставшего тогда очень модным. Ганнибал было имя горной гориллы, которой пересадили в научно-экспериментальном институте мозг человека; она подметала двор в институте, но однажды, услышав с улицы военную музыку, сбежала. Спустя некоторое время Ганнибал, сменив дворницкий фартук на роскошный мундир с эполетами и орденами, совершил военный переворот в каком-то африканском государстве и стал там президентом.

Повесть была с негодованием отвергнута ответственным секретарем «Химии и жизни» как порочащая освободительную борьбу народов Африки против колониализма.

Впоследствии я писал этюды о врачевании для журнала «Знание — сила» и приобрел некоторый опыт в области околонучной эссеистики. Бенедикт Сарнов, у которого я впоследствии многому научился, натолкнул меня на мысль написать книжку о медицине для детей, что я и сделал, слабо веря в успех этого предприятия. В 1975 г. книга, где в некоторой мере отложились мои медицинские и деревенские годы, мое преклонение перед трудом врача и медицинской сестры, наконец, многолетнее увлечение историей медицины, вышла в свет; она называлась «Необыкновенный консилиум». Мы придумали для автора псевдоним: Г. Шингарёв, в честь земского и кадетского деятеля, убитого матросами в 1918 г., чей дневник (подаренный мне Александром Межировым) я читал незадолго до этого.

Занятия психиатрией (не клинические, а литературные, если можно так наименовать мои переводы огромного вороха психиатрической литературы, которые записывались на пленку, были отпечатаны на гектографе и служили пособием для врачей в Институте психиатрии), а также один рассказ Фазиля Искандера, где было употреблено выражение «комплекс государственной неполноценности», вдохновили меня на рассказ или новеллу, которая стала для меня некоторым образом вехой. Там разработана тема страха, точнее, двух модификаций страха, обычно обозначаемых как Furcht (конкретная боязнь чего-то или кого-то) и Angst (метафизическая тревога Хайдеггера): страх перед вездесущими Органами превращается во всеобъемлющий ужас бытия. Рассказ так и называется «Страх». Его сюжет вымышлен.

Я всегда чувствовал себя отверженным в стране, где я родился и вырос. Это связано не в последнюю очередь с тем, что я русский интеллигент и еврей, то есть более или менее ненавидимое существо; с ненавистью, подобной запаху, о котором не знают, откуда он взялся; с чувством стеклянной стены, о которую то и дело ударяешься лбом. Я был изгнанником задолго до того, как покинул страну. История моей жизни, а значит, и писательства, мне кажется, подтверждает это.

Я никогда не забывал и не забуду до конца жизни, что я бывший заключенный. Это все равно, что бывший люмпен или граф. Чувство это не покидает меня и сегодня, когда я сижу в моей комнате в Мюнхене, в белый февральский день, немецкий Rosenmontag<sup>1</sup>, и пишу эту литературную автобиографию. Можно быть кем угодно: служить в банке, сочинять романы или развозить по домам глаженое белье — и при этом

---

<sup>1</sup> «Понедельник роз», последний понедельник масленицы.

ни на минуту не забывать, что ты граф. Лагерь есть принадлежность к особому сословию. Лагерь есть особого рода расовая принадлежность. Или профессия, которую можно слегка подзабыть. Но разучиться ей нельзя, она остается с тобой навсегда. Лагерь был нашим истинным отечеством, вся же прочая жизнь представлялась поездкой в теплые края, отпуском, затянувшимся оттого, что всеильные учреждения перегружены делами и до тебя просто еще не дошли руки. Если мою удачу заметят, я пропал, как сказано в одном стихотворении Брехта: Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Мы все остались в живых по недосмотру начальства.

И я всегда буду помнить это отечество, эту истинную Россию, потому что только такое отечество у нас и было. У меня всегда было чувство, что если я жил в московской квартире, и был счастлив с моей женой и сыном, и ходил свободно по улицам, и притворялся свободным человеком, то это был всего лишь отпуск, это было попустительство судьбы, чье терпение однажды иссякнет. В любую минуту меня могут разоблачить. Почему бы и нет? Ибо на самом деле я переодетый граф, я кадровый заключенный, мое происхождение никуда от меня не делось, мои бумаги всюду следуют за мной, и моя пайка, место на нарах и очко в сортире — за мной, — лагерь где-то существует и ждет меня, как ждал в сорок девятом году.

\*

Случилось так (по инициативе Володи Лихтермана), что я занялся переводом писем Лейбница для задуманного в одном издательстве пятитомного издания. Я принялся за работу, имея самое общее представление о философии Готфрида Лейбница, но постепенно вошел в мир его мысли, и, хотя обещанное вознаграждение было ничтожным, хотя я трудился несколько лет, не получая за это ни копейки, а позже должен был долго и унижительно выколачивать свой гонорар, я не жалел о том, что взялся за это. Я перевел французскую переписку с Бейлем, Мальбраншем, Ник. Ремоном, Бернетом де Кемни, с подружкой Джона Локка леди Мешэм (а заодно и ее английские письма), несколько обширных полемических трактатов и многое другое, всего около 25 печатных листов; работал я над этими переводами, как всегда, на ходу, то на ночных дежурствах, то пристроившись на подоконнике в школе рисования, куда я возил своего сына. Издание сочинений Лейбница в СССР было по тем временам чуть ли не революционным начинанием — принимая во внимание злосчастное увлечение основателя нашего государства философией: мимоходом он успел заклеить и Лейбница. Спустя десять или двенадцать лет сочинения все же начали выходить в свет, но к этому времени дела мои шли уже так плохо, что только в первом томе успела

проскользнуть моя фамилия. Скорее всего ученые редакторы вычеркнули её, не дожидаясь, когда поднимется угрожающий перст госбезопасности; обычная советская низость.

Лейбниц ввел меня в XVII век, «столетие гениев», и я расхрабрился написать для журнала «Химия и жизнь» популярный очерк о споре двух создателей дифференциального исчисления. Достаточно авантюрное предприятие, учитывая, что у меня нет физико-математического образования (если не считать одного семестра, который я провел в Высшем техническом училище в последний год войны, перед тем, как стать рабочим на почтамте). Но изделие это понравилось Борису Володину и впоследствии было расширено для одного из сборников «Пути в незнаемое». Д. Данин, пролагавший эти пути, изобрел «научно-художественную литературу» (забыв о существовании *vie romanis e* Андре Моруа), и его теория замечательно оправдала себя на практике: произведения этого жанра оплачивались по тарифам художественной литературы.

В дальнейшем, осмелев, я сочинил еще несколько этюдов о науке этой головокружительной эпохи, верившей в то, что изучение природы доказывает существование Творца убедительней всех ухищрений схоластического богословия; с увлечением писал о Гуке, о Бэконе и других, публиковал переводы старинных текстов (для чего вместе с Борей мы основали специальный раздел в «Химии и жизни») и, наконец, написал для детского издательства биографию Исаака Ньютона. Г. Шингарёв делал успехи: это была уже вторая его книжка. Третья, тоже популярного характера, но написанная для взрослых на необычную в СССР тему философии врачевания и медицины (она называлась «Следствие по делу о причине»), с комическими усилиями пробивала себе путь и погибла в последний момент, когда была уже набрана: я собрался поднять якорь. Это было позже. Между тем сама медицина, некогда утешавшая меня, наполнявшая тайной гордостью мою душу, все больше отодвигалась в тень. Я ушел из старой больницы в Очакове, где заведовал отделением, в поликлинику, надеясь иметь больше свободного времени, а затем получил предложение работать в вышеупомянутом журнале; это значило: ходить на службу два раза в неделю, а остальные дни сидеть дома.

Сидеть дома и заниматься литературой! Об этом можно было только мечтать. Постепенно литература пожрала все вокруг себя. Все остальные занятия — работа, переводы, статьи — были способом зарабатывать на жизнь, числиться где-то и маскировать главное: литературу. Я был подпольным писателем, потому что писать и не печататься, писать и не состоять служащим литературного ведомства, писать, не числясь писателем, означало заниматься противозаконной деятельностью. Не говоря уже о том, что я не мог преодолеть внут-

ренного барьера — не то гордости, не то стыда. Свои работы можно показывать только тому, кто интересуется ими. Но заинтересоваться может лишь тот, кто знает об их существовании. Я был глубоко за-конспирированным сочинителем, и о моих упражнениях было известно трем или четырем людям; я твердо усвоил с самого начала, что литература есть занятие одиночек.

Три пары глаз, не более, прочли рукопись под титлом «Дебет-скребет», нечто вроде очерка моей жизни. В это же время или, может быть, немного раньше я принялся писать повесть «Час короля», которая вначале была рассказом; я несколько раз возвращался к ней.

Ее «идея» все еще продолжала старые экзистенциалистские вдохновения; это была философия абсурдного деяния, изложенная кратко, но довольно ясно в самом тексте и подкрепленная эпиграфами из Мигеля де Унамуно и Альбера Камю («Письма к немецкому другу»); в перевод этих коротких текстов я вложил столько же страсти, сколько и в текст моей повести. Разумеется, в режиме, который устанавливают в маленьком северном королевстве завоеватели, невозможно было не узнать режим другой страны; узнали и те, кто позже конфисковал эту повесть у автора. В собственно литературном смысле она была для меня новым шагом. Я окончательно отказался от популизма, от имитации народного мировоззрения и языка. Кажется, в одной не имевшей для меня никакого значения книжке я вычитал легенду о короле, который украсил себя звездой Давида. В датском гимназическом учебнике истории я нашел фотографию 70-летнего Кристиана X на прогулке, верхом на коне. В пьесах Шварца, в каких-то детских грезах живет образ северной провинциально-протестантской столицы. Этим ограничивались «реалии», использованные в моей сказке, которую мог бы поставить кукольный театр.

(Легенда родилась во время войны и была основана на сообщении одного современника, будто в частном разговоре король заявил, что, если евреев, граждан его страны, заставят носить желтую звезду, он надеет ее первым. Через много лет я познакомился в Германии с родственником немецкого торгового атташе в оккупированной Дании Георга Фердинанда Дуквица, в сентябре 1943 года предупредившего датчан о готовящейся депортации еврейской общины. Удалось спасти семь тысяч членов общины: их тайно переправили на рыбацких лодках в Швецию. В Яд-Вашеме, в роще Праведников народов мира, Righteous Among the Nations, стоит дерево в честь Дуквица.

Я побывал, наконец, и в Копенгагене, одном из прекраснейших городов, какие мне посчастливилось видеть, но внимательный читатель заметит, что действие моей повести происходит не в Дании. Добавлю еще, что в Германии «Час» был истолкован, в частности, как притча о гражданах неповиновении.)

Повесть представляла собой пародию на ученый исторический труд. Это дало мне возможность опосредовать несколько сентиментальный материал существенной дозой иронии.

Есть там такая сцена: монарх играет в шахматы со своим врачом. Король проигрывает. Но, в отличие от гибнущего в честном, хоть и неравном бою на доске белого короля, реальный король все еще пытается приспособиться к обстоятельствам, вместо того чтобы быть самим собой. Может быть, здесь имела место бессознательная ассоциация с анекдотом из времен Столетней войны, о Карле VII, которого схватил в бою английский солдат, крикнув: король взят! На что монарх ответил: «Ne savez-vous pas qu'on ne prends jamais un roi, même aux échecs?» (Ты что, не знаешь, что короля не берут даже в шахматах?) Я прилагал старания к тому, чтобы не впасть в плоский аллегоризм; если это и удалось, то все же не вполне. Однако игрок, склонившийся над доской, на которой стоит он сам посреди своих деревянных сограждан, был не только метафорой двойного существования монарха в качестве символа и человека, — этот образ потом трансформировался в размышления о ситуации романиста в его творении, о времени персонажей и божественном антивремени демиурга.

Внешняя судьба повести «Час короля» была следующей. В 1972 г. физик Александр Воронель основал самиздатский машинописный журнал «Евреи в СССР». Я познакомился с Воронелем в связи с путешествием в Донецк, которое года за два до этого мы совершили с Беном Сарновым: он — в качестве журналиста и корреспондента «Литературной газеты», я в роли эксперта-медика; речь шла о разоблачении некоего невежественного доцента, заведующего кафедрой в местном медицинском институте. Это забавное похождение напоминало сюжет «Ревизора». У доцента, который собирался стать профессором, было много врагов, притащивших к нам в гостиницу целую кучу историй болезни, при помощи которых он сляпал свою диссертацию; главный антагонист доцента был приятелем Воронеля. В седьмом выпуске «Евреев в СССР» редактор поместил мою статью «Новая Россия». По правилам журнала анонимные или псевдонимные материалы не публиковались. Тем не менее, не желая подвергать меня (и себя) слишком уж очевидному риску, редактор сделал автором статьи человека, до которого, как предполагалось, КГБ уже не дотянется. Это был инженер по имени Борис Хазанов, не имевший отношения к литературе, подполью и диссидентству, к тому времени уехавший в Америку. Если когда-нибудь он прочтет эти строки, пусть примет мои извинения. Так родился мой псевдоним, который в дальнейшем ко мне прилип. Псевдоним — не только способ скрыться за вымышленным именем, но и самоотчуждение; я до сих пор не привык к нему. Моей следующей публикацией в журнале был «Час короля».

Публикация — так это называлось. Незачем повторять, что со-ваться в настоящую литературу, предлагать свои вещи издательст-вам, выпускавшим сотни книг, и журналам с тиражами в десятки, сотни тысяч экземпляров, было бессмысленно и бесполезно. Эта тема вообще не обсуждалась. Но что значит «настоящая» литерату-ра? Для нас настоящей, единственно заслуживающей внимания была литература подпольная.

\*

Если верно, что в основе некоторых мифов лежат действитель-ные события, то подоплекой великого русского мифа о воле нужно считать побег «с концами». Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, побег с каторги по славному морю глухой неведомой порою, звериной тайною тропой, бегство из лагерной зоны, из оцепления, из таежного, заполярного, степного и пустынного края: исчезнуть, слинять, сорваться! Поистине мы впитали эту идею с молоком мате-ри. Жуки на булавках, мы все лелеяли эту мечту. Наконец, кому из сидевших не приходилось слышать дивную повесть о беглеце, кото-рый сумел обмануть всесоюзный розыск и уйти в полном смысле слова с концами — за границу?

Настало время, когда побег из страны, отравленной дыханием ла-герей, предстал перед многими уже не только как романтическая греза. Старый товарищ и бывший однокурсник, ныне покойный, убеждал ме-ня, что евреям в России больше делать нечего, он был первым челове-ком, которого я знал, собравшимся отвалить в Израиль. Мысленная контроверза с ним, а лучше сказать, с самим собою, была побудитель-ным мотивом для статьи «Новая Россия» с ее абсурдно-провокативной концовкой. Он уехал, выдержав неизбежную борьбу и связанные с ней унижения. Отбыл спустя некоторое время и Воронель — и захватил с со-бою несколько моих манускриптов. Они составили сборник, который вышел в Тель-Авиве незначительным тиражом на средства какого-то доброхота; книжка была озаглавлена «Запах звезд», по названию включенной в нее повести о белом коне.

Мое двойное существование, Doppelleben Готфрида Бенна, приоб-рело новое качество. С одной стороны, я был сотрудником редакции на-учно-популярного журнала, занимался правкой или переписыванием статей по медицине, истории естественных наук, науковедению, пере-водил и редактировал научно-фантастические повести и т. п. С дру-гой — царапал свою прозу и стал нелегальным литератором в прямом смысле слова. Журнал «Евреи в СССР», чуть ли не самый долговечный в тогдашнем машинописном Самиздате, был задуман его основателем как собрание «свидетельств»: его материалы должны были иллюстри-



ровать духовную, психологическую и социальную ситуацию советского еврейства, точнее, русско-еврейской интеллигенции, будто бы поставленной перед дилеммой: окончательно зачахнуть или эмигрировать в Израиль. При преемнике Воронеля Илье Рубине горизонт расширился, сборник приобрел характер литературно-философского журнала. Его тираж был 20 или 25 экземпляров. Илья жил и дышал журналом, неустанно собирал материалы, мотался с набитым крамолой портфелем по тусклым московским окраинам и путешествовал по городам. Журнал был его дитя, был единственный свет в окошке. Илья говорил мне, что ведет фантастическую выморочную жизнь, и в самом деле кажется удивительным, как могли взрослые люди жить этой игрой в публицистику и литературу, рискуя своим и без того сомнительным благополучием. Но невозможно забыть азарт и веселье, и чувство освобождения, и предвкушение чего-то захватывающе интересного, с которым брали в руки толстую кипу листков папиросной бумаги с обтрепанными уголками и полуслепой печатью.

(Впоследствии я сделал редактора «Евреев в СССР» героем романа «После нас потоп», но, как сказано в посвящении, это «другой Рубин».)

Илья Рубин уехал, едва не угодив в тюрьму; он писал, что из окон его дома видна апельсиновая роща. *Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?..* Через одиннадцать месяцев он умер от инсульта, тридцати шести лет от роду, и был похоронен в песке на краю Иудейской пустыни. Перед отъездом Илья просил меня «не оставлять журнал». Я состоял квази-литературным консультантом при двух следующих редакторах до конца журнала, то есть до его окончательного разгрома; Борис Хазанов был довольно быстро разоблачен, несколько статей я поместил под другим псевдонимом.

Осенью 77 года ко мне пришли с обыском. В те времена любимым занятием подводного общества было строить гипотезы, объясняющие те или иные зигзаги в тактике Органов; я думаю, что никакая бюрократия не заслуживает попыток отыскивать в ее деятельности скрытую логику, в особенности та, что медленно и неотвратно надвигалась на нас, чье мертвящее дыхание мы чувствовали на каждом шагу. За обыском, как водится, последовал вызов в прокуратуру, а затем на Кузнецкий мост в КГБ к субъекту в штатском, вероятно, майору или полковнику, который старался убедить меня в том, что автор найденной у меня, вышедшей в Израиле книжки Б. Хазанов — это я. Кто сидел, знает, что тактика в этих делах может быть только одна: глухая несознанка. Некоторое время спустя нашу квартиру взломали, унесли какие-то пустяки, например, мелочь из копилки моего двенадцатилетнего сына; приходила милиция, честно или для видимости искавшая преступников; вторжение было предпринято с

целью установить подслушивающее устройство. Само собой, прослушивался и телефон. Несколько лет я официально числился состоящим под следствием по делу о нелегальном журнале «Евреи в СССР». Правда, с работы меня почему-то не выгнали.

\*

Когда я вспоминаю Россию, то вспоминаю тесноту. Воистину это была главная черта нашего образа жизни. Езда одной ногой на трамвайной подножке, другая нога на весу, одна рука схватилась за поручень, другая обнимает висящего рядом, — только тот, кто так путешествовал по городу, понимает смысл метафоры Мандельштама «трамвайная вишенка». Теснота, оставлявшая детям грязные задние дворы, пьяницам и влюбленным — холодные подъезды. Переполненные тюремные камеры, товарные поезда, до отказа набитые людьми, клетки столярских вагонов, где в каждом отсеке по восемнадцать, по двадцать душ, и так, друг на друге, день и ночь под перестук колес, долгие сутки и недели; теснота пересылок и лагерных барачников; теснота любого человеческого жилья, любого селения; стиснутая деревенская жизнь, изба, куда входят согнувшись, чтобы не расшибить лоб о притолоку, дорога, где не разведешься с встречным, тропинка, на которой не разойдешься — или сходи с дороги в грязь выше щиколоток и в снег по колено. А вокруг бескрайние просторы.

Мы жили в огромной стране, где было поразительно мало места, в стране все еще почти девственной, где плотность истории на единицу географии представляет ничтожную величину, и вместе с тем перенаселенной, как Бенгалия. Мы жили в стране, где всего не хватало и только люди, человеческий фарш, были в избытке. Не повернуться, не протолкнуться, не продохнуть; яблоку негде упасть, плюнуть некуда... В тесноте, да не в обиде! Не зря, должно быть, наш язык так богат этими выражениями. Теснота и скученность городов, теснота автобусов, вагонов метрополитена и железных дорог, очереди, в которых выросло несколько поколений, толпы людей с узлами на вокзалах, точно вся страна куда-то бежит, теснота магазинов, теснота больниц, теснота кладбищ; и, как пролог всей жизни, теснота коммунальной квартиры, где прошло мое детство.

Эту квартиру я сделал местом действия маленького романа, для которого выбрал несколько претенциозное название из Иоанна: «Я Воскресение и Жизнь». Я писал эту вещь в те времена, когда мы жили сначала в Свиблове, а затем в Чертанове, где вели изнурительное существование, тратя много часов на езду с работы и на работу в утренней и вечерней мгле, в переполненном метро и автобусах, которые брались штурмом.

Некоторые элементарные мысли могут приобрести неожиданную новизну. Я помню, что намерение написать эту повесть забрезжило в моем сознании при чтении одного из романов Франсуа Мориака; я подумал, что не жизнь общества и «народа», а жизнь семьи, взаимоотношения родителей и детей, жены и мужа — королевский домен литературы. Другая мысль была подсказана книжкой Януша Корчака «Как надо любить детей». Мне как-то вдруг стало ясно, что ребенок — человек не будущего, а настоящего. Не тот, кто еще будет, а тот, кто есть. Ребенок, не знающий страха смерти, не поработенный будущим, — это особый и притом более совершенный человек, чем взрослые, окружившие его; это человек, живущий более полной, гармоничной и осмысленной жизнью. Детство есть подлинный расцвет жизни, за которым начинается деградация. Непосредственным материалом для «Воскресения» в значительной мере послужило мое собственное детство и отчасти детство моего сына. (Несколько времени спустя я получил записку от Марка Харитоновна, похвалившего эту вещь; неожиданная поддержка, о которой я никогда не забуду.)

В этом произведении имеется одно очевидное противоречие. Повествование ведется из перспективы взрослого, который вспоминает себя шести — или семилетним ребенком и как бы формулирует его собственные мысли и чувства на своем взрослом языке. Но роман кончается самоубийством мальчика. Я не хотел и не мог исправить эту несообразность, так как смерть героя все же носит до некоторой степени символический характер; гораздо позже одна читательница решила этот вопрос так: ребенок умирает, и рождается взрослый.

Флобер называет себя в одном письме к Луизе Колé «вдовцом своей юности», *veuf de ma jeunesse*; с еще большим правом каждый из нас мог бы назвать себя сиротой своего детства. Нет другого времени, которое я не вспоминал бы с такой ясностью. Я помню наш быт до мельчайших подробностей и мог бы составить детальный обзор нашего жилья, описать все вещи; я помню ощущение ползания по полу, сидения под столом, беготни по двору, стояния на цыпочках в полутемном коридоре, задрав голову, перед счетчиком Сименса—Шуккерта, где за темным стеклом мелькала красная метка вращающегося диска; помню захватывающий интерес, который вызывали мельчайшие впечатления жизни, времена года, книжки, приход гостей. Как и герой «Воскресения», я рано лишился матери и провел годы детства с отцом; как и мой герой, я был воспитан домработницей, простой женщиной, любившей меня, которую всегда буду помнить, — правда, в церковь она меня не водила и не рассказывала эпизоды из Евангелия. Была ли эта повесть попыткой создать беллетризованные воспоминания, набросать детский автопортрет? Скорее можно сказать, что я распорядился материалом своего младенчества, распорядился самим собой для целей искусства,

которые не могут быть определены и, во всяком случае, носят вневичный характер. Кажется, впервые, работая над этой вещью, я получил представление о том особом и кардинальном свойстве литературы, которое следует назвать беспринципностью; оно состоит в том, что все на свете, собственная жизнь и жизнь близких, тайны тела, сны и явь, и мифы, и сказки, и философия, и вера представляют собой лишь материал; в ту минуту, когда жизнь становится сырьем и материалом для искусства, не более, но и не менее, чем материалом, — собственно, и начинается литература.

Если мальчик в этой повести — автопортрет, то такой же, каким был образ белого коня в «Запахе звезд» или орла-холзана в рассказе под названием «Апофеоз». Один натуралист подсмотрел гибель старого орла, которого живьем расклевало воронье. Я не был стар, когда писал и переписывал этот рассказ, но меня не оставляла догадка, что на самом деле я сочиняю притчу о самом себе.

\*

Несколько новых знакомств — с Евг. Барабановым, с Сергеем Алексеевичем Желудковым, с Юлием Шрейдером, Григорием Померанцем и профессором В. В. Налимовым — приобщили меня к другой части полуподпольного диссидентского мира, не ориентированной на отъезд из страны и проявлявшей большой интерес к религиозности, христианству, отчасти христианской гностике. Деспотизм истины, будь то истина о Боге или истины философии, а может быть, и устойчивое идейное варварство русской интеллигенции, о котором когда-то писал Федор Степун, вновь, хоть и в мягкой форме, давали о себе знать; представление о независимой ценности искусства, внутри которого все другие истины и ценности приобретают условный характер, о праве литературы на особое своеобразие в обращении с любым авторитарным дискурсом — было более или менее чуждо моим друзьям, сознавали они это или нет; сам же я, как мне кажется, многому у них обучился. Я переводил разные, главным образом теологические тексты для Самиздата, переписывался, на манер Гершензона и Вяч. Иванова, с Ю. А. Шрейдером («Письма без штемпеля»), участвовал в обмене посланиями, которым руководил отец Сергей Желудков, один из самых светлых людей, каких я встречал; бывал я и на так называемых школах теоретической биологии, где собиралось пестрое общество, от профессиональных ученых до адептов всевозможных оккультных сект, где выступали с докладами Юрий Лотман и Лев Гумилёв, но появился и астроном Н. А. Козырев со своей теорией времени как особой материи; в редакции я давно привык выполнять всю работу за два присутственных дня, остальное время

принадлежало мне. В августе 1977 г. я начал сочинять роман, не имея в голове определенного плана: как-то раз, перед тем как идти на работу в редакцию, лег на диван и написал первую страницу.

В последние недели лета, в остервенелую жару я уходил с утра в чахлую рощицу неподалеку от нашего дома (к этому времени мы уже переселились в долгожданную квартиру на Юго-западе) и писал там эту книгу, о которой, как уже сказано, имел крайне смутное представление. Сперва я как будто собирался написать историю жизни партийного функционера; это намерение быстро испарилось; понемногу стала наигрывать в ушах интонация, своего рода музыка прозы, предшествующая «сюжету»; стал вырисовываться не то чтобы замысел, но какой-то контур — жизнеописание молодого человека. Рассказ надлежало довести до того момента, когда герой втягивается в рискованную игру, малопомалу обретающую расширительный и символический смысл. Эта неясность и вдохновляла, и приводила в отчаяние. Я листал Гессе, Музиля, чтение поддерживало покидавшую меня бодрость.

Наконец, облака разразились дождем, смутные наметки опустились на уровень более или менее конкретного материала, я начал обживать свой мир; в качестве главной темы романа выдвинулась память. Память, собственно, и есть герой книги. Жизнь человека, от чьего имени ведется рассказ, есть продукт памяти. Этот человек пытается восстановить прошлое, другими словами, отыскать в нем смысл и порядок. Внести смысл в бессмысленно-хаотичную жизнь — задача искусства. Функцию памяти можно сравнить с функцией романиста, а в метафизической перспективе — с функцией самого Творца. Память действует вопреки времени и как бы в обратном направлении; память — не столько «обретенное время» Пруста, сколько обретение обратного времени.

Так я набрел на мысль, которая превратилась в основной миф, организующий все повествование. Это миф об антивремени. На склоне лет рассказчик вспоминает свою жизнь, точнее, ее главную пору — детство и юность. Время состоит из двух потоков, оно течет из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Антивремя есть истинное время литературы, время Автора, который пребывает в будущем своих героев, подобно богу, которого никогда нет, но который всегда будет, чья область существования — будущее: ибо он не «сущий», а «грядущий». Божественное антивремя несетя навстречу нам из будущего и превращает жизнь из хаоса случайностей в реализацию некоторого Плана. Эту фантазмагорию я отчасти излагал, поясняя свой замысел, в написанных позже, весьма неуклюжих статьях «Опровержение литературы», «Мост над эпохой провала» и «Сломанная стрела», а также в предисловии к «Антивремени», как был потом, в Мюнхене, озаглавлен этот роман (в немецком и французском переводах название сохранено).

Каждый человек, припоминая свою жизнь, убеждается, что ее важнейшие повороты были результатом случайности, и в то же время испытывает смутное чувство, что существовала какая-то нить, держась за которую он шествовал сквозь обстоятельства. Метафора двух потоков примиряет судьбу и случай.

Вторая тема — два отца, принадлежность к двум народам, еврейское зеркало России. Принцип зеркальности проведен, может быть, несколько нарочито, через всю книгу: люди и события перемигиваются, глядя в собственное отражение; брат и сестра — два человека, но как бы и одно лицо, и зовут их одинаково; два отца — и одно отечество; газеты, которыми торгует Павел Хрисанфович Дымогаров, и крамольная газета, нацарапанная на стене уборной. Сам П. Х. — некое олицетворение судьбы, стукач и псевдочуждый, его «метаастрология», очевидно, не что иное, как пародия на учение о предопределении; если угодно, пародия на центральный миф романа. (Некоторые немецкие критики увидели в ней пародию на марксизм, хотя это не входило в замысел автора.)

Что касается собственно материала, то он, как водится, был собран с миру по нитке; кулисы вновь были взяты напрокат; как и прежде, для постройки прозы была сворована арматура моей собственной жизни. Лесная школа-интернат, где я провел полгода накануне войны, жизнь в сорок пятом году, работа на газетно-журнальном почтамте, описанная довольно точно, и университет на Моховой, с комически-непристойным памятником Ломоносову, со знаменитой, незабываемой баллострадой, с лестницей, стеклянным небом, колоннами из поддельного мрамора и циклопическими гипсовыми статуями вождей, осенявшими всех, кто вступал в эту маленькую отчизну нашей юности. Довольно бесцеремонный плагиат у действительности представляют и такие мелочи, как упомянутая стенная газета в университетском сортире; правда, пародию на советскую газету я начертал на бумаге, а не на стене, портрет голого Вождя, разумеется, выдумка (кажется, он слегка напоминает «Генерала», статуэтку Дж. Манцу).

Был и продавец газет, коему вдобавок придано сходство с человеком, которого я знал, заведующим «культурно-воспитательной частью» на лагунке Пбж. Квартира в Лялином переулке, где живет рассказчик, отчасти напоминает нашу квартиру в Большом Козловском (она же описана в «Воскресении»). История с письмом, которое мальчик получает от родителей, с извещением, что его отец — не настоящий отец, воспроизводит известный эпизод из биографии Фета. Облик Вики в минуту его первого появления в сумраке у колонны, в вестибюле университета, может напомнить рисунок Верлена: семнадцатилетний Рембо с трубкой в зубах. Философствования Вики о неродившихся детях — реминисценция Шопенгауэра (из знаменитой главы 2-го тома — «*Metaphysik der Geschlechtsliebe*»). Главный женский образ и мотив

противостояния «ясности» и «музыки» в XVIII главе отдаленно связаны с романической историей университетских лет. Рассказ старика о встрече с царем я услышал из уст одного моего пациента, бывшего дирижера, ребенком отданного в школу военных капельмейстеров, а кое-какие частности длинного монолога, который произносит в конце книги вернувшийся из ссылки отец, заимствованы из неопубликованных «Тетрадей для внуков» покойного Михаила Байтальского, небольшая часть которых была помещена в журнале «Евреи в СССР». (Объяснять, что ночная исповедь вернувшегося отца — отнюдь не кредо автора, очевидно, нет необходимости.) Метаастрология, гороскоп младенца Иоанна Антоновича и проч., разумеется, плод фантазии, как и весь сюжет.

Два обстоятельства чисто литературного свойства стоит упомянуть. Сочиняя «Антивремя», я учился музыкальному построению прозы. Музыка, будь то «увещанная погремушками колымага джаза», прелестная «Дюймовочка» Грига или органная пьеса Дитриха Букстехуде, звучит в самом романе; о музыке говорится, что это «память о том, что не сбылось», «мумифицированное будущее»; была даже мысль использовать для романа взамен эпиграфа нотный пример из Бетховена — тему первой части Четвёртого фортепьянного концерта с ее стучащим ритмом, ту самую, которая обнаруживает неожиданное и трудно объяснимое сходство с начальными тактами Пятой симфонии; тема эта преследовала меня во все время работы. Но речь не об этом или не только об этом. Принцип музыкального построения состоит в том, что несущими конструкциями прозы служат не столько элементы фабулы, сколько сквозные мотивы, которые вступают в особые, не логические, а скорее ассоциативные отношения друг с другом, видоизменяются и вместе с тем остаются теми же на протяжении всей вещи. Поэтому все происходит как бы одновременно. Читатель должен держать в уме всю композицию, лейтмотивы постоянно отсылают его к прочитанному, к тому, на что он, возможно, не сразу обратил внимание, и помогают «узнавать» то, о чем говорится дальше. Можно добавить, что попытки перенести приемы музыкальной композиции в литературу (я говорю, разумеется, о прозе) чужды русской литературной традиции, самому климату нашей словесности, — что и было, возможно, одной из причин, заведомо обрекавших автора на неуспех.

Второе — это вопрос о точке зрения. Он давно меня занимал. Традиционная точка зрения абсолютного повествователя, флюберовского *Dieu dans la nature*, автора-небожителя, чье присутствие ощущается везде, но которого никто не видит, который делает вид, что его попросту нет, изжила себя вместе со всей концепцией реалистической литературы. Встал вопрос о градациях авторства и авторской ответственности за достоверность рассказа. Кто автор «Бесов»? Достоевский совершил революцию, введя условного повествователя, у которого нет никакой сю-

жетной функции и который, однако, выполняет важнейшую функцию; который не является ни всеведущим автором-богом, ни персонажем-рассказчиком, а скорее представляет собой персонифицированную молву; это, если угодно, выродившийся потомок хора в греческой трагедии. Не странно ли, что скептик и вольнодумец Флобер выступает в качестве литературного Фомы Аквината, а создатель «Бесов», этот, как принято думать, апостол политического и православного консерватизма, — в эстетическом смысле революционер и безбожник; все действительные или мнимые пророчества относительно мрачного будущего России, которые охотно вычитывают из этой книги, мало чего стоят в сравнении с ее собственным разрушительным новаторством. Это атеизм истины: в романном мире отсутствует всеведущий Бог. Другими словами, романист предлагает не факты, заверенные в высшей инстанции, а всего лишь версии. Вера в единую, всегда равную самой себе и абсолютную истину безнадежно подорвана; действительность, как в квантовой физике, неотделима от ее оценок; совокупность версий — вот, собственно, что такое действительность.

Вернусь к произведению, где множественности времен (время жизни героев, антивремя воспоминаний, время квази-автора, записывающего эти воспоминания) отвечает неоднозначность точки зрения. Избрав форму повествования, близкую к Ich-Erzählung, я довольно скоро почувствовал недостаточность этого тона, всегда соблазняющего своей кажущейся естественностью. (В «Бесах» даже г-н Г-в кое-где оказывается несостоятельным, и приходится нарушить принятую повествовательную систему, призвав на помощь отставного всевидящего автора.) В «Антивремени» по меньшей мере два угла зрения: из времени действующих лиц и из перспективы старика; но и эту двойственность нужно было чем-то отгнать. Я почувствовал необходимость в дополнительной квази-истине и ввел в роман сны.

«Сны, — говорится в главе XXXVI, — озирали мое существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной по сравнению с собственным моим разумом <...>, но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. И лишь на одно мгновение <...> туманное око этой безличной субъективности, око божественного идиота, вперялось в мои глаза, сливалось с ними, и я как будто постигал то, что невозможно постигнуть, ибо невозможно облечь в разумные слова то, что существует до всякого слова».

Сны в моем сочинении не предсказывают будущее и не содержат иносказаний. Поэтому они не нуждаются в толковании. Сны воспроизводят то, что происходит наяву, но на свой особенный лад. Это вторая субъективность, в которую погружен рассказчик, высшая по отношению к его личному сознанию и вместе с тем первобытно-алогичная. Может быть, позади этой книги, тема которой — навяз-



чивое стремление человека преодолеть страшное подозрение, что его жизнь была хаосом бесплодных случайностей, стремление убедить себя в том, что это не так, применив старый, как мир, прием беллетристического упорядочивания воспоминаний, — может быть, позади нее стоит представление об иррациональном божестве, для которого смысл и бессмыслица — одно и то же.

\*

Этот роман был почти готов (девятнадцать отпечатанных набело страниц, остальное — ворох неудобочитаемых рукописей), когда гости явились ко мне снова. Гости — так это называлось, так было принято, выбежав на улицу, из телефонной будки оповещать друзей о только что состоявшемся обыске; было это в первых числах мая 1980 года. Они знали, когда я бываю дома, и, возможно, дожидались момента, когда *corpus delicti*, как плод на ветке, достигнет стадии восковой спелости. Отняли все до последнего листочка. Как и три года назад, операция была произведена прокуратурой, филиалом Органов. В доме, где мы жили (Ленинский проспект, 154), короткий полутемный коридор был отделен от лестничной площадки стеклянной дверью на запоре; когда я вышел, за стеклом стоял человек в милицейской фуражке. Проверка паспортов. Тридцать один год тому назад тот же пароль, произнесенный вполголоса, раздался ночью под дверью, когда пришли за мной. Жизнь, как видно, ничему нас не научила. Вместо того, чтобы вернуться домой и выбросить рукопись на балкон нижележащего этажа, я открыл дверь, тотчас из лифта выскочили восемь человек. Все это вместе с милиционером, обгоняя меня, запыхавшись, ввалилось в квартиру, где сразу стало тесно.

Памятником этой потери был небольшой текст под названием «Памяти одной книги», впоследствии вошедший в сборник «Идущий по воде». Несколько месяцев я вел бюрократическую войну с карательным ведомством, делая вид, что верю в законные формы, которыми оно изо всех сил старалось декорировать свою деятельность; в этой неравной борьбе обе стороны показали истинно российское понимание закона. *Закон есть система правил, по которым надлежит творить беззаконие.* Думаю, что такую формулу можно было бы ввести в юридический обиход. Я доказывал, что меня ограбили не по правилам. (На этой тактике, кстати, основывалось все правозащитное движение.) Мне удалось добиться некоторых успехов, я получил назад кое-какие книги, почти все свои бумаги, тщательно пронумерованные, и — совсем уже невероятное дело — пишущую машинку. Но роман со всеми черновиками погиб. Меня известили о том, что роман арестован: Главлит признал его антисоветским. В этом был известный резон, так как в той не-

значительной части моего произведения, которая была отпечатана на машинке и могла быть прочитана, находилось описание алебастровых статуй Ленина и Сталина, поданное в эпатазирующе-мифологическом освещении. Я по-прежнему числился находящимся под следствием. Вся эта комедия продолжалась полгода. В начале следующего, 81 года я заболел, после мучительного обследования меня собрались оперировать, но на столе у меня исчезло артериальное давление, и я чуть не отдал концы. Врачи отказались от операции, я был с позором выписан из больницы; наступила пауза. (Носил ли этот эпизод следы КГБ?) Я снова пытался писать, ибо горбатого исправит только могила. Сочинил повесть под названием «Бешт, или Четвертое лицо глагола» — чрезвычайно неудачный гибрид автобиографического повествования с трактатом о литературе. О нем можно вспомнить (он был напечатан в израильском журнале «22») разве лишь потому, что он тянул за собою хвост мыслей, изложенных выше.

Это четвертое лицо нет-нет да и возвращается. Мы должны вернуться к размышлениям о «точке зрения», чтобы осознать простую истину: тривиальность в литературе есть синоним неправды. Я не могу читать иные свои сочинения. Меня воротит от псевдоклассической манеры, от беллетристического *bon ton*, от этой самоуверенности автора, взошедшего на вершину, откуда он якобы обзревает правду жизни; на самом деле он обзревает тривиальную действительность. Этот автор живет даже не в девятнадцатом веке, он живет в докритическую эру. Другими словами, он видит жизнь с точки зрения усредненного сознания. Между тем «жизнь как она есть» — неправда. В поле обыденного сознания вещи приобретают вид *second hand*. Их уже кто-то носил.

Но и повествование «глазами такого-то» отзывает рутиной, даже когда эти глаза принадлежат самому экзотическому существу. Изношенность литературной точки зрения фатальным образом тривиализует ее носителя — субъекта повествования. Нужно создать мир высшей, внесубъектной субъективности, если угодно, субъективности Бога. Действительность погружена в мир всеобъемлющего сознания, потому что только такой она и бывает. (Можно согласиться с Сузанной Зонтаг, что искусство — это «воплощенное сознание».) Существует великая мечта о синтетической прозе, философская мечта о действительности; к попыткам осуществить эту мечту я только лишь приступаю.

Вскоре был арестован Виктор Браилловский, последний редактор «Евреев в СССР», к этому времени уже приказавших долго жить. Я часто бывал в его доме. Когда, отсидев месяцев десять в уголовой камере, он был сослан, я отправился навесить его в Западный Казахстан. Ехал с грузом продовольствия, никто не мог мне точно сказать, где моя остановка, и ночью слез с поезда почти наугад. Поселок Бейнеу представлял собой обширный пустырь, заваленный всевозможным мусором. Хозяй-

ки выплескивали помой в двух шагах от крыльца. Тощее животное с рогами и выменем жевало газету. Что-то подобное я уже, впрочем, видел во время путешествия на целину в студенческие времена; отхожее место на станции Кокчетав представляло собой нечто незабываемое даже для того, кто сживал с дизентерийным поносом в лагерных сортирах. Из обвинительного заключения по делу Браиловского было видно, что я намечен следующим кандидатом. Я никогда не был образцовым патриотом. Тем не менее я все еще медлил, я боялся покинуть страну, где говорят по-русски, и был последним в моей семье, кто пришел к мысли, что пора поднимать парус.

\*

Моя жизнь была перерублена трижды: первый раз, когда началась война, второй, когда я был арестован, и третий раз, когда пришлось эмигрировать. Разумеется, страна лагерей была словно создана для того, чтобы бежать из нее при первой возможности, бежать, едва только приоткрылись ворота, бежать куда глаза глядят и чем дальше, тем лучше. Но понадобился ощутимый пинок в зад, чтобы это совершилось. Я потерял отечество. Я потерял его навсегда и мог бы считать, что мне неслыханно повезло. Не хочется вспоминать подробности отъезда, — виза представляла собой приказ оставить страну в считанное число дней, на сборы почти не оставалось времени, — и незачем объяснять, отчего я избрал Германию. Загадочная судьба время от времени, как глухонемой, подавала мне знаки. Эта судьба неслышно затрубила мне в уши, когда мы вышли из самолета в Вене, в солнечный день 15 августа 1982 года, и я увидел при входе в аэровокзал немецкие надписи. То было чувство прибытия в Древний Рим, — с немецким языком, священным языком юности, меня связывало многое, — и не так-то просто было освободиться от этого чувства, от привычки взирать на страну (и вообще на Европу) сквозь литературные очки, и увидеть реальность, и начать жить обыкновенной жизнью на чужбине. Моим друзьям удалось переслать мне окольными путями кое-какие бумаги из оставшихся в России, среди них — частично восстановленный роман. Я писал его заново в Штокдорфе, Веслинге и Гrefельфинге под Мюнхеном, где мы провели первые годы изгнания.

Вместе с К. А. Любарским я основал ежемесячный (позже двухмесячный, не литературный) журнал, он был назван «Страна и мир» и начал выходить в 1984 году. В нем было в разные годы помещено довольно много моих статей и переводов. Мы занимались также книгоизданием, и таким образом появился на свет упомянутый выше сборник моих этюдов под названием «Идущий по воде». Виктор Перельман издал в Нью-Йорке небольшой том моей прозы, куда вошли «Час коро-

ля», «Я Воскресение и Жизнь» и «Антивремя», и снабдил его хвалебным предисловием. Предисловие не помогло: книга не раскупалась, единственный печатный отзыв принадлежал редактору Асе Куник, которая сама же и набирала ее. (Экземпляр с дарственной надписью я послал в Москву начальнику следственного отдела прокуратуры, руководившему операцией по изъятию романа, некоему Ю. В. Смирнову. Надеюсь, он был тронут.) Другой издатель выпустил в Нью-Йорке «Миф Россия», нечто вроде большого эссе, первоначально не предназначенного для русских читателей: книжка была заказана небольшим немецким издательством в Майнце, существующим со времен Гёте; основой для нее послужили статьи, печатавшиеся в мюнхенском журнале «Merkur». Вскоре благодаря настойчивости Аннелоре Ничке, ставшей моей постоянной переводчицей, «Антивремя» опубликовала DVA (Deutsche Verlags-Anstalt), издательство, которое с тех пор регулярно выпускало мои сочинения. Германия меня не предала; я удостоился премий. Впрочем, ошибки совершает даже нобелевский синклит, значение литературных премий — кроме того, что они помогают жить и выжить, — состоит не в том, что ими отмечен якобы достойнейший, а в том, что они делают отмеченного известным.

Как бы то ни было, началась моя вторая литературная жизнь — в Западной Европе. Хотелось бы на этом поставить точку. Прибавлю, однако, несколько соображений о вещах, написанных за бугром, которые тоже стали для автора историей.

Осенью 1990 года мы врезались на большой скорости в легковую машину в районе Большого Кёльна, я был оперирован и, выйдя из больницы с парализованной рукой, просидел несколько месяцев дома; это дало мне возможность разделиться с романом, которым я занимался с конца восьмидесят четвертого года.

Роман озаглавлен «Нагльфар в океане времен» (в немецком переводе Unten ist Himmel, то есть «Небо — внизу») и оснащен тремя эпиграфами, из которых самый большой — цитата из Младшей Эдды, приведенная отчасти ради того, чтобы пояснить или напомнить, что такое Нагльфар. Это корабль, построенный из ногтей мертвецов. Нужно не забывать остричь ногти покойнику, чтобы Нагльфар был готов как можно позже, ибо тогда он сорвется с якоря в царстве мертвых, закачается мировой ясень Иггдрасил, океан зальет землю, одна за другой придут три зимы, и наступит Рагнарёк — гибель богов и мира. К содержанию романа эта мрачная мифология имеет лишь косвенное отношение. При ближайшем рассмотрении корабль Нагльфар — это дом в Москве на границе тридцатых и сороковых годов, таково место и время действия. Дом и двор похожи на дом моего детства в Большом Козловском переулке, хотя на него брошен фантазмагорический ответ.

Как и в «Антивремени», сверхгерой повествования — это сам год; главное же действующее лицо, тринадцатилетний подросток, девочка, — персонаж, в котором сосредоточен дух обновления и смерти. Дом с его обитателями погружен в подобие летаргического сна. Значительная часть действия происходит ночью. Девочка появляется в момент, когда историческое время остановилось. Мне казалось, что конец 30-х и рубеж 40-х были именно тем выморочным временем или расщелиной времен, когда революционный порыв окончательно иссяк. Казни и репрессии поухли, наступила пауза; гаснут огни; измученное общество погрузилось в спячку. Исподволь ощущается тоска по истории, ее не осознают, ее чувствуют; дальние громы приближающейся бури обещают возобновление истории; общество ждет войны. Населенный мертвыми душами корабль Нагльфар вот-вот сорвется с якоря. Дом будет разрушен авиабомбой.

Но это роман о любви. Второй протагонист, «любимец женщин», пораженный русской болезнью черных окон — чувством пустоты, — первоначально мыслился главным героем. Этот сомнительный, хоть и не лишенный привлекательности персонаж, странная смерть которого служит прологом к роману, носит и слегка видоизмененную фамилию человека, умершего от алкоголизма в 1968 году, которого я не знал, чей ярко написанный портрет привлек меня в «Снах земли» Г. С. Померанца, там речь идет о послевоенном времени. С Анатолием Бахтаревым (через «а»), талантливым парнем-пустоцветом, входит в роман тема, которая сперва мыслилась главным предметом повествования: неумирающий, но всегда какой-то полуподпольный, полусуществующий орден русской интеллигенции. Так же, как приятель Померанца сохранил в моем сочинении слегка переименованное имя, превратившись в другое лицо, так и от темы «ордена», по мере того как прояснялся магический кристалл, остались полупародийные отрешья; в книге есть эпизод, когда на квартире, превращенной в игорный притон, компания, шлепая картами о стол, философствует о судьбе России. С этой темой сплетается мотив мнимого Агасфера — старика-сапожника, проживающего в подвале.

Несмотря на очевидные промахи — быть может, есть основания говорить просто о провале, — я почти люблю эту книгу, из всех моих изданий она кажется мне наименее неудавшейся. Я вложил в нее многое. В ней использован принцип фиктивных воспоминаний, мнимой документации, наигранной серьезности, которая переходит в подлинную именно в тот момент, когда ей окончательно перестают верить; словом, принцип двойного дна. О приемах музыкального построения уже говорилось. В России роман, если не считать угрозы притянуть меня к суду за оскорбление памяти Толи Бахтырева (через «ы»), не привлек внимания, что я нахожу естественным.

Агасфера, или Вечного Жида, я сделал героем одной из моих новелл (избрав для него менее употребительное имя Картафил), над которой мучился, которую то и дело переписывал, отчего, возможно, эта вещь окончательно утратила достоинства художественного произведения; все же мне хочется о ней упомянуть. Она не публиковалась на других языках и замечена была только одним читателем — С. И. Липкиным, который поместил в газете стихотворение-отклик, посвятив его автору.

Тема этой новеллы — Освенцим. Этим названием на Западе принято обозначать голокауст. Вычитав из американских газет отвратительно звучащее русскому уху, пыльно-суконное словечко «холокост», вместо трагического *Голокауст* (Όλόκαυστος, всесожжение), невежественные журналисты не подозревали о том, что оно давно существует в русском языке и пришло к нам из первоисточника.

Освенцим, то есть то, что в еврейском литературном и духовном обиходе именуется Катастрофой (Shoah, שואה), отсутствует в сознании интеллигентной публики в России. «Не наше дело». То, что человечество живет после Освенцима и под тенью Освенцима, память о котором не зачеркнуть никакими силами, в нашей стране неизвестно, непонятно ни публицистам, ни церковникам, ни новообращённым христианам, ни фашистам. Так же как не дошло до сознания, что Освенцим предъявил страшный счет христианству, что невозможно и непозволительно перед видением Освенцима рассуждать о Христе, евреях и христианстве так, словно Голокауста не существовало.

(Пример Бориса Пастернака с его рассуждениями о еврействе в «Докторе Живаго», пример поразительной нечувствительности, — всего лишь пример. Но какой красноречивый.)

В рассказе два действующих лица, второе — Агриппа Неттесгеймский, философ, врач и астролог XVI века. Я сделал Агриппу автором «Хроники о Картафиле», манускрипта, где имеется чертеж прибора, некое достижение экспериментальной теологии: с его помощью можно воспроизвести в чистом виде «абсолютное, субстанциональное и неизменное бытие». Из объяснений ученого следует, что такого рода бытие, составляющее, как учит Блаженный Августин, прерогативу Высшего существа, есть не что иное, как актуализованная вечность, иначе говоря — вечно длящееся настоящее. Можно пересоздать время, и окажешься в будущем. Задача состояла в том, чтобы, следуя канонам научно-фантастического жанра, вернее, пародируя его, пустить пыль в глаза читателю.

Но нищему старику, незваному гостю Агриппы, эти тонкости ни к чему. Он пришел не ради того, чтобы удовлетворить свою любознатель-

ность, он смертельно устал от своего бессмертия, его интересует одно: сколько ему еще осталось скитаться? Пятнадцать веков тому назад в Иерусалиме человек, выдававший себя за Божьего сына, ложный Мессия, которого Картафил прогнал от своего крыльца, сказал ему: «Я уйду, но и ты будешь ходить до тех пор, покуда Я не вернусь».

Действие рассказа, по-видимому, происходит в год смерти Агриппы Неттесгеймского. По расчетам Агриппы, Второе пришествие должно состояться через четыреста лет. Агриппа скончался не то в Кёльне, не то в Гренобле в 1535 г. То есть явление Христа примерно совпадает с датой совещания на вилле в Ванзее, когда будет постановлено окончательное решение еврейского вопроса.

В ходе последующего опыта будущее становится для Картафила реальностью, к великому смущению экспериментатора, который охотно допустил бы, что старец попросту рехнулся. Ибо «легче предположить помрачение ума в любом из нас, нежели допустить безумие мира». То, о чем сбивчиво и невнятно рассказывает потрясенный гость, когда волшебный кристалл гаснет, — то, что он там увидел, — оказалось неожиданным не только для него, но и для футуролога-чародея: да, Иисус вернулся, но вернулся, чтобы стать в очередь перед газовой камерой.

Вечный Жид был проклят во имя торжества христианства, но он единственный живой современник Христа, единственный, кто видел Христа своими глазами. А дальше получилось так, что, произнеся проклятие над Агасфером, Христос обрек себя на вечную связь с ним. Он был жив до тех пор, пока жил Вечный Жид, и погиб вместе с ним. После второго опыта в комнате Агриппы остался лишь запах обугленных костей. Картафил, оказавшийся в XX веке, был отравлен газом и сгорел в печах, так закончились его скитания. Вместе с ним сгорел и другой еврей. Еврейство веками считалось врагом христианства. Теперь этот враг погиб. Однако он оказался условием существования христианства. Вместе с гибнущим еврейством умирает основатель христианства, умирает и все его учение. Потому что Освенцим перечеркивает проповедь Христа. Вместе с дымом печей Освенцима и Майданека улетело в небо и традиционное христианство, потому что в мире, где возможен Освенцим, для него нет места. Катастрофа еврейства, окончательное торжество христианства над иудаизмом, означает катастрофу самого христианства.

\*

Фраза, которая мне пришла в голову летом 92 года, вскоре после того, как журнал «Страна и мир» прекратился и я стал безработным, освободившись от необходимости сидеть каждый день в редакции (но не от обязанности выплачивать долги, оставленные отбывшим в Россию

коллегий), первая фраза: «город Хромов обязан своим происхождением несчастному случаю», из которой начало, как из желудя, расти дерево, — эта фраза видоизменилась: я сообразил, что не нужно вообще называть город. Заголовок «Хроника N» сулил несколько преимуществ. Не какой-то реальный город, но некий город. Туда попадают по недоразумению, но это перст судьбы. Когда же Фрося спрашивает рассказчика, она знает, что он не вернется, так как города N нет на карте.

Далее, хроника предполагает отчет о событиях прошлого, а не рассказ о герое, будь то сам «хронист» или великий таинственный муж Кузьма Кузьмич Фотиев. Рассказчик, у которого «интерес к историческому прошлому выдает желание возместить потерю собственного прошлого», то и дело вспоминает русские летописи, и они бросают на его записки отсвет вечности. Но вместе с тем это уголовное хроника.

Говоря попросту, город N — это Россия. Та Россия, «откуда хоть три года скачи». Отечественная география сравнивается с воронкой, это, разумеется, мифическая география. Мы на дне воронки. Город втягивает в себя, засасывает: город, как конус с трубкой, как яма от снаряда; город-влагалище. Одна из его персонификаций — Алевтина, кондуктор трамвая, соломенная вдова, днем похожая на замученного работой мужика, ночью женщина. Сам рассказчик, «чернорабочий любви», — лицо без определенных занятий, паспортный калека, по всему судя, вчерашний заключенный. Абсолютно одинокий человек, ищущий, куда бы прийтись, скрыться, и это сразу, чутьём простой женщины понимает хозяйка, тетя Лёля, опекающая его; но зато он должен жить с ее дочерью Алевтиной; цена этой *Geborgenheit* — новая утрата свободы.

Город, куда его забросил случай, как будто реализует «великую славянскую мечту о прекращении истории» (О. М.). Город N основан в XI веке по милости несчастного случая, охромевшим князем, позади 900-летняя история, полная ужасов, сотканная из преданий и легенд, и город не живет, а вегетирует в истории; это и позволило ему сохраниться. Символ этого растительного существования — Заречье, бывший посад.

Конечно, такое толкование — всего лишь мой собственный домысел; возможны другие; вообще же, говоря словами С. Зонтаг, у произведения не спрашивают, что оно «выражает». Манию толкований оправдывает разве только понимание того, что никакое объяснение не является обязательным. Легко заметить, что и в этом романе не обошлось без заимствований из биографии автора. Хотя фабула книги — вымысел, город N похож на Калинин, отчасти на Вышний Волочёк; жизнь в гостинице, игра в прятки с администрацией, вызов в милицию по делу о похищенной простыне, голодное созерцание жареных рыбных молók в витрине магазина, жизнь под угрозой выселения, с волчьим билетом, особой малозаметной отметкой в паспорте, — мелодические ходы моей



собственной жизни. Тверь, бывшая соперница Москвы, расположена у впадения в Волгу двух притоков, Тверцы и Тьмаки; на полуострове еще недавно стоял обломок Отроча монастыря, основанного, если не ошибаюсь, в XI веке; это сооружение при мне сначала выкрасили синькой, а затем снесли. Считается, что Спасо-Ефимьевский монастырь, куда князь Ставрогин приходит к Тихону, отчасти списан с тверского монастыря; ночной визит к капитану Лебядкину в деревянном домике за рекой происходит в местах, где я жил. Как и в моём романе, хозяйку, добрую женщину, звали тетя Лёля. Бесчеловечность, устойчивая черта русской жизни, делает незабываемыми добрых людей, тех самых праведников, без которых не стоит село.

Река, которая открывается глазам рассказчика, когда он бредет по переулку, вышвырнутый из военной столовой, — это, конечно, Волга. Наконец, главному герою, «учителю-чародею», как мне пришлось озаглавить немецкую версию романа (Zauberlehrer, по аналогии с гётевым Zauberlehrling), дана фамилия человека, которого я знал, проживавшего в Мюнхене русского православного священника, националиста и гомосексуалиста.

Город N кажется идиллическим, грибным. Вдали, на другом берегу, как видение, стоит древний белый монастырь. Но на самом деле это руина, а город кишит нищими и уголовной шпаной.

В городке Штрален (Straelen) на Нижнем Рейне, близ голландской границы, где находится Europäisches Uebersetzerkollegium, род приюта для писателей и переводчиков, в котором я бывал прежде и куда снова приехал в надежде спасти мое сочинение, обрисовалась мысль, которая в дальнейшем вела меня: мысль написать роман о возмездии. Не рассчитывая на догадливость читателя, повествователь говорит о том, что смерть обожаемого учителя есть не что иное, как возмездие. Вопрос, кто убил, должен быть заменен вопросом: за что? Ответ: *тот, кто хочет спасти мир, должен погибнуть, ибо мир не желает быть спасённым.*

Я полагал, что роман, в котором время действия весьма условно может быть отнесено к шестидесятым или семидесятым годам, а лучше сказать, вовсе не подлежит уточнению, сохраняет известную актуальность: то, что происходило и происходит в стране, после того как советская власть, как некогда царская, превратилась в ancien régime, представлялось мне историческим возмездием. В отличие от наказания, карающего виновных, возмездие настигает всех. Возмездие за претензию указывать путь всему человечеству и вести за собой человечество, возмездие за messiанские амбиции, за старый сон славянофильства, преобразившийся в коммунистическую утопию спасения. Спасать мир — с голым задом?

Ютящийся в развалинах монастыря вместе со своим «обществом охраны старины» К. К. Фотиев, чье родословие дотягивается чуть ли не

до первой жены Адама, — вокзальный нищий. Нищета, атрибут праведности, открывает ворота в уголовный мир. Но это, конечно, и пародия на демонстративную бедность Николая Федорова, бесребреника, отрицавшего всякую, в том числе духовную, собственность. Меня так и подмывало подразнить все еще не вымерших поклонников гротескной философии Общего Дела. Проект братского единения во имя общей великой цели, гибрид казармы и монастыря, смесь христианства с самым грубым натурализмом, имеет одну примечательную черту: в нем нет места женщине. Незачем плодить детей, а нужно все силы отдать воскрешению предков. Поэтому половая любовь, беременность и материнство репрессированы. Считается, что философия Федорова — это протест против смерти. На самом деле она дышит кладбищем. Ее пафос бездетности отзывает перверсией. Утопии гомосексуальны. Неясно, кто укуошил Фотиева, но если убийцей была Фрося, то это было другой стороной возмездия — отмщении женщины, из которой пытались сделать «брата».

(Между прочим, я посещал в университете факультативные занятия санскритом под руководством профессора Михаила Николаевича Петерсона, известного лингвиста, очень ученого и очень странного человека, приторно-любезного, с телосложением женщины. Он был сыном ученика Н. Федорова Николая Петерсона. Оба последователя, Петерсон и Кожевников, опубликовали сочинения учителя после его смерти; В. А. Кожевников, фантастический эрудит и поэт, перелагал учение Федорова в стихи, ему же принадлежит самый термин «философия Общего Дела».)

Два слова о «трактатах», заключающих роман: редактор предлагал их похерить. Сошлись на том, что они будут разбросаны по тексту. (В немецком издании трактаты, как и полагается, образуют приложение). Авторство трактатов остается открытым, возможно, они записаны со слов учителя: как Будда или Сократ, он сам ничего не писал. Я сочинял их с удовольствием. Мне казалось, что эти тексты с их идиотической серьезностью, в которых обыгрываются мотивы романа, создают некоторую дополнительную ироническую перспективу.

Роман «Хроника Н. Записки незаконного человека» был отнесен Беном Сарновым в редакцию журнала «Октябрь», этим объясняется странная удача — сочинение напечатали в России.

\*

В одной работе И. Н. Голенищева-Кутузова упомянут Рутилий Клавдий Наманциан, иначе Наманциан, христианский поэт V века, галл по рождению, в слезах целовавший ворота Рима перед разлукой — отъездом на родину. Я разыскал его поэму и поставил строки *Srebra*

relinquendis infigimus oscula portis... — эпитафией к роману «После нас потоп» (неудачное немецкое название «Vögel über Moskau»). Он посвящен «памяти другого Рубина», другого, потому что действующее лицо романа тоже носит имя Ильи Рубин.

Этот вымышленный Рубин, впрочем, отчасти похож на того, реального: он тоже мотается по городу с портфелем, набитым «материалами»; возится с женщинами; но не женщины занимают его ум: как и тот, реальный, он всецело поглощен своим делом. Дело это — Журнал. Что это такое, так и не проясняется до конца. Время действия — возможно, 70-е годы, но датировка дело сомнительное: многочисленные анахронизмы — отнюдь не следствие небрежности. Роман был написан в 1995–96 гг. и представляет собой еще одну отважную попытку преобразить в нечто ноуменальное бессмыслицу нашей жизни в России.

Если угодно, это попытка обнаружить в ней дыхание промысла, облагородить агонизирующую державу высшей метаисторической идеей; что, конечно, не отменяет иронию и игру. Двадцать лет тому назад раз и навсегда было разъяснено законодателем литературного постмодернизма Ж.-Ф. Льютаром, что «метапověствования» умерли. Всеобъемлющие идеи приказали долго жить. Я не внял этому увещанию, в моем романе все же просматривается сверхидея. (Мы обсуждали ее однажды с Марком Харитоновым.) Однако я полагаю, что мы имеем дело не с идейным романом — скорее, с музыкально-философским. Таков мой жанр, сколь бы претенциозным ни показалось это определение.

Мне казалось, что обвал Советского Союза, или, что то же самое, распад Российской империи, есть событие, сопоставимое с крушением Древнего Рима. Современники не отдавали себе отчета в историческом значении того, что происходило; современники вообще не в состоянии оценить по достоинству свою эпоху; самое понятие о смене эпох есть изобретение потомков. Потоп доходит до сознания *post factum*, когда прежняя жизнь оказывается допотопной. Жизнь накануне потопа: в романе это не столько идея — и еще меньше «теория», — сколько музыкальный конструкт. (Ближайшая аналогия — Малер.)

С мотивом Потопа переплетены два других: Украина и Подполье. Город, у которого, как я думаю, есть все основания не то чтобы называться Третьим Римом, но встать рядом с Первым, осажден опухолью окраин. В первом приближении это так называемые новые районы с населением, которому повествователь не умеет подыскать иного названия, нежели — в шпенглеровском смысле — феллахи. Феллахи живут на задворках истории, но сами по себе — историческое явление. Этот мотив удваивается: подобно тому как столицу теснят окраины, ядро империи окружено покоренными провинциями. Одна из них — фантастическая юго-восточная республика, откуда прибывает в Москву степной потентат — половецкий хан.

Мотив Окраины переходит в другую тональность, когда мы узнаем, что на окраинах города ютятся участники полумифического Журнала. С Журналом в роман входит третья музыкальная тема — Подполье. Опять же в первом приближении это Самиздат, нелегальная машинописная «печать», к которой я был причастен в последние годы жизни в России; Самиздат как некая окраина официальной словесности. Один из моих старых друзей и немногочисленных читателей, в прошлом заслуженный автор Самиздата, был глубоко оскорблен карикатурным — или почти карикатурным — обликом участников Журнала. Можно, однако, заметить, что существенным конститутивным признаком романа является принципиальная двусмысленность. Она, я думаю, прослеживается во всем сочинении, начиная с пролога. Образы романа амбивалентны. Это затрудняет его понимание.

Журнал, редактируемый Ильей Рубиным, для которого он без конца собирает материалы, Журнал, который вечно готовится и никогда не выходит, который сравнивается с «островами блаженных, с башней слоновой кости... с улиткой, рыцарем, черепахой...», за которым гоняются, как крысы за куском сала, чины тайной полиции и который ускользает, словно обмылок; Журнал, о котором, в сущности, ничего не известно и который в конце концов принимает совершенно неопределенные, почти мистические очертания, — чего доброго, окажется попросту чьей-то выдумкой, — этот «журнал», конечно, есть нечто большее, чем Самиздат 70-х годов, столь яростно преследуемый, объединивший под своей дырявой крышей самых разных людей, дилетантов и профессионалов, людей с неудовлетворенными литературными амбициями и самоотверженных идеалистов. Нечто большее, а может быть, и совсем иное. Одно из возможных толкований: модель катакомбной культуры.

Это — культура (конкретней — литература), которая чудом сумела произрасти поверх почвы, залитой асфальтом, культура, существующая вопреки тирании, не подвластная фашистскому государству, не встроенная в тоталитарное общество, бесстрашная, неподкупная, не prostituiрованная. Это литература кружковая, замкнутая, сектантская и задохнувшаяся в своей изоляции. Ее можно понимать и как культуру, которой в близком будущем предстоит отстаивать свою автаркию в массовом либерально-демократическом обществе, где рынок гарантирует свободу от политического гнета и преследований, но сам оказывается вездесущей репрессивной силой, враждебной духу. Культура — кастальная утопия... Уйдя в подполье, она вырождается. Ей не хватает воздуха и престога. И она совершает — в лице главного героя — самоубийство.

Книга, которая представляет собой прощание с эпохой и ушедшей страной (подобно тому как Намациан прощается с Римом), начавшись с

пролога, с налёта загадивших столицу птиц, нуждалась в эпилоге. Как ни удивительно, одним из аспектов бессмертия России по ту сторону бедствий и катастроф оказывается жуткое бессмертие тайной политической полиции. Эта гидра, у которой отрастают головы, пережила всё и всех: партию, коммунизм, советскую власть, евроазиатскую империю от Востока до заката; переживет и нас. Присутствие тайной полиции было необходимой частью сюжета, и если верно, что литература — это сведение счетов, то эпилог как будто сводит счета с монстром. Тем не менее это не публицистика и уж, конечно, не морализирование, это — «философия прогулочных дворов», у которой есть, по-моему, сюжетное, музыкальное и стилистическое оправдание.

Все остальное в романе — сам роман. В работе наступает момент, когда появляется чувство созданного тобою пространства. Начинаешь его обживать. (В одном месте Илья Рубин посещает автора. Но в пространстве прозы и автор становится персонажем.) Я воспринимал моих действующих лиц, мужчин и женщин, Шурочку, БERTУ, виконта Олега Эрастовича, банщика Лыкова, да и самого хана, и какого-нибудь случайно встреченного в метро оперуполномоченного, и какого-нибудь дедулю, ночного философа — словом, всех — как живых людей, отнюдь не только как лицедеев эпохи. Я и сейчас как будто слышу их голоса. И я слишком чувствую, что все мои объяснения мало что прибавляют к моей прозе. Между прочим, и по причине той амбивалентности, о которой только что сказано. Мотивы романа пародируются внутри самого романа, рассуждения условного повествователя носят игровой характер, мы возвращаемся к тому, от чего собирались оттолкнуться, в царство восхитительной несерьезности. Действующие лица смотрятся в кривоватые зеркала. Можно сказать, что они обретаются по обе стороны волшебного стекла.

(Опять зеркало! В романе есть сцена, когда мужчина смотрит на женщину, стоящую перед зеркалом. Он видит ее сразу со спины и спереди, чего никогда не бывает в действительности. Она же видит себя и видит его, хотя на самом деле они не рядом и даже едва знакомы. Оба оказываются в зеркальном пространстве, как во второй действительности, где все приобретает другое значение и совершается по-другому.)

\*

Научиться писать невозможно; научиться можно лишь тому, как не надо писать. Не существует ответа и на вопрос, зачем надо писать, для кого, ради чего. Завтра мы умрем, и весь ворох сочиненного нами отправится в макулатуру. Я не испытывал ни малейшей охоты быть народным писателем, популярным писателем, актуальным пи-

сателем, ангажированным писателем. Останься я в России, я и там не мог бы писать о том, что видел бы за окошком. Я полагаю, что литература всецело живет памятью и воображением.

Такое заявление в устах человека, живущего вне страны, о которой он пишет, и хорошо знающего, сколь многим литература нашего века обязана изгнанникам, звучит похвалой либо желанием оправдаться. Ведь для тех, кто остался, эмигрант всегда более или менее — человек прошлого.

Но я знаю, что проза дело нескорое и что литературе нужно долго собираться с мыслями. В результате она является к шапочному разбору. Дистанция дает ей особые преимущества. Вместе с тем она, эта отрешенность, обрекает литературу на невнимание читателя, который справедливо считает, что найдет гораздо больше занимательного в газете. Писатель не велосипедист, который изо всех сил крутит колеса, стараясь не отстать от изрыгающих газ лимузинов публицистики и журнализма, писатель — это пешеход, путник с котомкой, он не ездит по дорогам, а бродит в полях. Я полагаю также, что литературе должен быть присущ известный аристократизм. Это естественно, потому что писатель, каким бы жалким он ни выглядел, — аристократ. Это аристократизм мысли, который запрещает пользоваться шаблонами обыденного сознания, и аристократизм языка, предписывающий необходимую меру брезгливости.

...Как-то раз, это было в начале 96 года в Вейлере, на крайнем юге Баварии, в виду Альгойских Альп, где я гостил у старых друзей, профессора Гарри Просса и его жены Марианны, мне представился довольно рутинный сюжет: некто приезжает на новое место с намерением уединиться, обратиться с мыслями и подвести итог своей жизни, и с ним там что-то происходит. В данном случае новым местом была русская заброшенная деревня.

Мне не нужно было ее придумывать: я достаточно много видел таких деревень, чья неписаная история восходит ко временам Батя, жил в этих полумертвых, полурастащенных селениях, где дотягивали свой век брошенные на произвол судьбы уехавшими детьми, забытые Богом и властями старухи. Тотчас же, едва я принялся за работу, деревня приняла в моем воображении вполне конкретный и одновременно призрачно-мифический облик.

Может быть, это был первый случай, когда я в самом деле писал наугад, не только не ведая, чем должна кончиться моя история, но и вовсе без всякой истории в голове, писал куда кривая вывезет. Приезжий — очевидно, писатель, и, надо думать, неудачливый — намерен произвести детальное исследование собственной жизни, написать автобиографию. Пробыться к правде, отшвырнув всякую «поэзию». Вслед за этим потянулись мысли о литературе, о том, что

литература втягивает в себя любые попытки отрешиться от нее, превращает действительность в прозу, автобиографию — в наррацию. Повествующее Я — уже не «я сам»: незаметно для меня личность превратилась в материал, моя жизнь становится литературным текстом. (Я вернулся к этим мыслям позднее, занимаясь большой статьей «Дневник сочинителя».) Чтобы подчеркнуть эту двойственность, это перерождение «я» в автора, рассказ ведется то от первого, то от третьего лица.

Рассуждения о писательстве грозили моему детищу внутриутробной смертью. Но мало-помалу появились и предъявили свои права действующие лица, возникла ситуация, обрисовалась тройная сцена: изба, деревня и заречная даль.

В этом романе существует несколько рядов кулис, как в театре, и дальний фон — вечная, как природа, русская история. Разумеется (как и в «Хронике N»), история легендарная. О ней напоминают, ее хранят национальные святые Борис и Глеб: то на иконе в избе, где обосновался писатель, то нищими слепцами с нимбами из картона, то на конях, с копытами, в княжеском одеянии. Ночной лейтенант, который охотится за беглым кулаком, бывшим владельцем избы, готов стрелять в икону, но он сам тоже стал частью истории. К минувшему, где, как в костюмерной, каждый может выбрать подходящий наряд, тянутся, словно к убежищу, в нем хотят жить; действительность предстает скукой, запустением и кошмаром, откуда эмигрируют: одни, как мнимые помещики за рекой, в прошлый век, другие (приезжий) в словесность. Роман получился бурлескный, почти пародийный, роман-персифляж, но в нем постепенно выкристаллизовались кое-какие важные для меня представления. (Я написал также пьесу «по мотивам».)

Можно сказать иначе: эта деревня одновременно и действительность, и фантом. Как, впрочем, весь наш мир. Это довольно обычная деревня и вместе с тем морок, потустороннее царство, где навсегда остановилось время. Поэтому там все может происходить одновременно. Бывший и, видимо, репрессированный, давно и бесследно сгинувший хозяин хибары является ночью отстаивать свои права; бывшие помещики, которых можно считать и дачниками, благодушествуют в своем (бывшем) имении, а по окрестностям кочают братья рюриковичи, убитые в XI веке. Пятнадцатилетняя дочь помещиков не знает, как себя вести: то ли как современная девушка, то ли как чеховская или даже тургеневская барышня. Дуэль как будто не настоящая, а между тем приезжий едва не убит. На празднике, одновременно престольном и советском, присутствуют все: и местный бюрократ, и неудачливый писатель, и его соперник — остзейский барон и патриот, изображающий из себя русского религиозного

философа, и какой-то там старец, герой гражданской войны, и гэнэушники, которые охотятся за беглым кулаком, и сам этот так называемый кулак, и даже древнерусские святые.

Немецкая репродукция иконы XVI века с двумя всадниками на серебряном фоне, напоминающем лунную ночь, на конях, которые не скачут, а скорее танцуют, — висит в моей комнате. Эти князья, как ни странно, все еще — по крайней мере, для автора — живые фигуры русской истории и русской культурной традиции. В полумертвой деревне присутствует нечто вечное, присутствует история. В каком-то смысле она всегда одна и та же — как пейзаж, «далекое зрелище лесов». История — время, превратившееся в вечность.

Братья-мученики, о которых нельзя с уверенностью сказать, существуют ли они в земном смысле или только являются, как и положено святым, выражают ту многосмысленность, от которой я и не думаю отказываться, которая присуща всему сочинению. То они витязи в княжеских шапках, на призрачных танцующих конях, то спившиеся попрошайки, которые шатаются вокруг поместья, не то настоящего, не то воображаемого. Вот я и смотрю на них — на тех, кто висит на стене, и на тех, кто гарцует по лунному полю.

1991, 1998

## Литературный музей

Записи разных лет

*O mein Freund, wiederhole es Dir unaufhörlich, wie kurz das Leben ist, und daß nichts so wahrhaftig existiert als ein Kunstwerk. Kritik geht unter, leibliche Geschlechter verlöschen, Systeme wechseln, aber wenn die Welt einmal brennt wie ein Papierschnitzel, so werden die Kunstwerke die letzten lebendigen Funken sein, die in das Haus Gottes gehen, — dann erst kommt Finsternis<sup>1</sup>.*

Каролина Шлегель — А.В.Шлегелю. 1801 г.

**В**ремя перемешивает правду с ложью, чтобы заляпать окна истории этой мутной жижей.

Тень неизбывного прошлого накрыла нас. Нам холодно. Солнце истории не светит на нас. Вместо солнца — мутный зрак государства.

---

<sup>1</sup> Друг мой, неустанно повторяй себе самому: жизнь коротка, и лишь творение искусства обладает подлинным существованием. Критика умирает, поколения уходят в небытие, меняются философские системы, но если однажды мир сгорит, как клочок бумаги, последней живой искрой, улетающей в Дом Бога, будет произведение искусства, — и лишь после этого наступит мрак (нем.).



Оптимистическое чувство истории у Пастернака, который остался советским поэтом, сменилось скептическим и трагическим у абсолютно несоветских поэтов Мандельштама и Ахматовой. Я бы рискнул назвать Пастернака — единственного из великих — дачным поэтом. Подобно воспетой им дачной природе, существует дачное мировоззрение. Он не сельский и не городской, не идиллический и не трагический, — он дачный.

Христианский (или якобы христианский) взгляд на историю приводит его к какому-то оптимистическому фатализму, отсюда почти абсурдный замысел «Живаго», как он изложен в письме Спендеру 1959 года: «В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносющееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самоё себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий».

Поразительные слова. Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после двух мировых войн, бессмысленных разрушений и бессмысленной гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохновилась действительность. Вот что она сочинила.

В Москве я слышал, видел, обонял язык, на котором уже не говорю. Слова-окурки, язык, пахнувший выгребной ямой. Сумел бы я воспользоваться художественными возможностями языка люмпенизированного общества, если бы остался в России? Вопрос. Я житель острова, который опускается на дно. Разумеется, на смену умирающей культуре идёт другая, но ей потребуется ещё много лет, чтобы созреть.

Я чувствовал, что город меня не узнаёт, дом моего детства готов отвернуться от меня, двор не хочет меня впускать, переулок едва выносит мои шаги, окна отводят взгляд. И я хочу крикнуть: эй, вы! Неужели вы всё забыли?

Говорок, прямая речь казались самой естественной, самой нелитературной формой выражения, а теперь воспринимаются как литературщина. Нужно возвращаться к объективности, но теперь это будет идиотическая (пародийная) объективность — единственно возможная точка зрения в романе. Нечто вроде четвёртого лица глагола.

Хаос тянет в него погрузиться. Хаос освобождает от дисциплины и традиции, обещая неслыханную свободу. Соблазн передать хаос адекватными хаосу средствами. Очарование беспорядка.

Так пишутся тома, сотни томов.

Преодолеть хаос дисциплиной языка, мужеством мысли, точностью, краткостью, концентрацией. Не обольщаться иллюзией, будто в самой жизни можно отыскать некий порядок, но внести порядок в сумятицу жизни.

«Безукоризненная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устаревает — идеальное чередование света и тени, тончайшее равновесие, которое выходит далеко за её словесные пределы. Безупречно построенная фраза заряжена той же энергией, которая позволяет зодчему воздвигать дворцы, судье — различать едва заметную грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти ворота жизни. Оттого писательство остаётся высоким дерзанием, оттого оно требует большей обдуманности, сильнеешего искусства, чем те, с которыми ведут в бой полки». (*Эрнст Юнгер*)

Прекрасно, так и будем считать; но тут же — мечта о прозе, в которой отменены все правила повествования, вместо этого каприз прихотливых сцеплений, встречных образов, возвращений. Так гребец оставляет вёсла и ложится на дно лодки. И чувствует, как течение уносит его на своей спине. Усталость от регулярной прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Но не я ли твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув, словно через борт лодки, в бездну.

Задуматься снова: можно ли — если это вообще возможно — отказать от повествовательности, то есть от упорядоченной прозы? Литература есть «материализованное сознание», не так ли? Но поток сознания сам стремится упорядочить себя, есть внутренние регуляторы, существует *сознание сознания*. Значит, надо действовать так, как будто Время и Пространство — в самом деле изобретения ума (изобретения художника). Отсюда легитимность литературы, понимающей себя как средство обуздать хаос души. Укротить хаос жизни значит укротить хаос в собственной душе.

В конце концов я должен был сознаться, что меня интересует только литература, что жизнь имеет для меня ценность в той мере, в какой она может стать сырьём для литературы. Поэзия, сформулировал Жан-Поль, не хлеб, а вино жизни. Так, должно быть, казалось когда-то. Поэзия (литература) — это хлеб и вода. Жить в литературе, как живут в лесу, колоть дрова, растапливать печку.

Мне стукнуло столько-то, я думал о своей работе. Я не сумел создать роман-синтез, роман — итог и диагноз нашего времени, роман, в котором дух этого времени выразил бы себя с наивозможной полнотой. Я сумел создать фразу, абзац, самое большое — главу. Подняться на следующий уровень у меня не хватило силенок — и времени. Причина в том, что я не люблю своё время. (Или время не любит меня.) То, что я написал, имеет вид законченных вещей. Но если всмотреться, это нагромождение обломков. Я не создал себе читателя в России. (Это было бы невозможно). У меня есть или были разрозненные почитатели, дальше этого не пошло.

Чувствуешь себя вроде барышни, которая долго готовилась к танцевальному вечеру, раздумывала над каждой подробностью своего наряда, и вот она стоит у стены среди музыки и света, и никто к ней не подошёл.

Моя проза — это *poste restante*, письмо до востребования, за которым никто не пришёл.

Отталкиваясь от классики, я застрял на европейском модернизме. Авангард мне скучен, внутренне чужд. Теперь он выглядит как арьергард.

«Улисс»... переходный, пограничный роман с точки зрения литературных эпох, и ранней своею частью он принадлежит по преимуществу модернизму, тогда как поздней — постмодернизму. Пародийное выхолащиванье стилей — постмодернистский прием, и неспроста именно оно вызвало у поэта метафизический ужас: здесь две эпохи различны диаметрально. Модернизм, и с ним Элиот, — это *безграничная вера в стиль, культ стиля, мистика и мифология стиля*. Постмодернизм же — карнавальное низвержение, балаганное и хульное развенчание стиля, превращение стиля из фетиша в игрушку». (С.С.Хоружий, переводчик и комментатор Джойса.)

Надо стараться жить не в обществе и подальше от своего народа.

Надо жить не только в настоящем. Будущее рождается не из настоящего, оно рождается из прошлого.

Четыре удара судьбы в Пятой симфонии. Но судьба не стучится в дверь — она скребётся.

Выставка (в мюнхенском Haus der Kunst) фотоснимков из канадских коллекций Идессы Генделес. Мне жаль, что никто не обратил вни-

мания на то, какую роль играет фотография в романе «Нагльфар». Фотографии ушедших людей, потусторонний мир, откуда и мы когда-нибудь будем взирать на живых.

Что останется? Останется ли что-нибудь? *Vita mortuorum in memoria est vivorum*, «мёртвые живы в памяти живых». Хрестоматийная фраза Цицерона. Но «память живых» — как искра на фитиле погасшей свечи: ещё мгновение, и погасла. С последним человеком, который кого-то смутно помнит, исчезнет и вся память.

Фрагмент (от *frango*, ломаю) есть обломок чего-то; нечто случайное, начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.

Я писал о русском языке, о немецком, возражал против деклараций Бродского об английском как самом совершенном инструменте мысли (почему не греческий? См. классическую книгу Ж.Вандриеса «Язык». — Почему не японский?). И вот Чоран, для которого французский язык — «смесь крахмальной сорочки со смирительной рубашкой».

*Документальная литература.* Роман по-своему отвечает на тенденцию выгеснить fiction «человеческим документом», он выворачивает это противопоставление наизнанку. Роман — это талантливая пародия на бездарную действительность. Роман имитирует (или пародирует) письма, дневники, записки, и они оказываются убедительней всякого подлинника. Впрочем, это не новость, два самых знаменитых эпистолярных романа XVIII века — «Опасные связи» и «Вертер». Другие примеры — двадцатого века: «Мартовские иды» Т. Уайлдера, где все документы, кроме стихов Катулла, — изобретение автора, и, конечно, роман Маргерит Юрсенар «Мемуары Адриана», императора, не писавшего никаких мемуаров.

Во сне можно пережить состояние утраты своего «я», оставаясь кем-то или чем-то мыслящим и видящим. Ты очутился в странном мире, но он не кажется странным, ты действуешь в согласии с его абсурдной логикой, замечаешь множество подробностей, но сознание своей личности размыто или вовсе отсутствует. Центр, заведующий этим сознанием, отключён. Кажется невозможным лишиться «самости», сохранив все её способности, — и вот, пожалуйста. Это то же самое, что увидеть мир после своей смерти: он тот же — и неузнаваемо изменился.

Вскоре после второго обыска, когда отняли роман, я попал в больницу, после мучительного обследования меня положили на

операционный стол. Во время дачи наркоза я впал в состояние, называемое клинической смертью. Мне вкатили огромную дозу кортикостероидов.

Vita post mortem? Но когда отказало тело, исчезла и душа. Я ничего не чувствовал, время исчезло, меня не было.

Августин говорит, что он не знает, что такое *время*. Но можно попытаться представить себе, что такое отсутствие времени. Время ничего не значит для мёртвых, они находятся в области, где времени нет. Умереть, собственно, и значит освободиться от времени.

Фантомный поэт-«концептуалист» Дм. Ал. Пригов (par exemple). Трио концептуалистов. Ребята на свой салтык небесталанные. Три голых короля, и при них литературоведы-интерпретаторы, ткачихомурялы, которые ткуют на пустых станках новые одежды королей.

После вечера концептуалистов в Баварской академии изящных искусств я спросил Гейнца Фридриха, тогдашнего президента Академии, о его впечатлении. Он ответил: «У нас это было 50 лет назад».

Фантомная поэзия: покончить с поклонением Слову. Нечто с иудеохристианской точки зрения кощунственное, но в конце концов не обязательно быть христианином.

Или — может, и так: не о чем писать, а писать хочется. Нет новых идей, но ужасно хочется быть новатором.

Принцип и метод газеты — выкроить из простыни носовой платок. Превратить страницу в абзац, сократить абзац до фразы. А потом, спохватившись, что от статьи ничего не осталось, разбавить всё полуграмотной болтовнёй. Они называют её актуальностью.

Писатели ненавидели критиков, ненавидели редакторов. Но хуже всего иметь дело с журналистами.

Журнализм как антипод литературы (ср. «фельдшеризм» и медицина врачей). Функция газетного журналиста — порхать над пузырями актуальности. Посидев на таком пузыре, ждут, когда он лопнет, чтобы перелететь на следующий. Когда же приходится заниматься литературой, — а они занимаются всем, — они отыскивают у Гомера аллюзии на кампанию борьбы с атомными реакторами, провозглашённую лидером такой-то партии.

Мышление журналиста: не мыслями, а словами-паролями, словами-индикаторами (Stichwörter), маркирующими «актуальные темы», то

есть всем известное, и задача их — вести читателя-потребителя прессы как бы с помощью дорожных знаков по давно проложенной асфальтовой дороге.

Единственно достойная из журналистских профессий — это, кажется, репортёр.

То, что называлось Читателем, сейчас называется Рынок. Когда мы говорим о вымирании Читателя (писателей больше, чем читателей; общество, в котором богач так же не читает книг, как и уличный оборванец), это просто означает, что для нас закрыт Рынок.

Рынок может интегрировать и нерыночные вещи; тогда они превращаются в рыночные. Коммерция предусматривает и то, что некоммерциабельно, привлекает и приручает всевозможных *enfants terribles*, непродажность сама по себе продаётся. Коммерция охотно разоблачает сама себя — это тоже ходкий товар.

*L'art pour l'art*, искусство ни для чего: только для продажи.

Пузыри, которые вздуваются внутри текста; содержимое выплёскивается на поля. Свободно написанный текст (наподобие рассказа «Город и сны») с маргиналиями, с шифром-комментарием на полях; варианты, ссылки на другие тексты, параллели из разных областей, музыкальные цитаты, планеты, части женского тела.

Только, пожалуйста, не принимайте всё абсолютно всерьёз. То, что я делаю в литературе, есть систематическая борьба с авторитарным словом.

«Я — ложь, которая вещает истину» (*Ж.Кокто*, в письме к гомосексуальному другу Жану Марэ).

*Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption.* («Произведение — это посмертная маска замысла». *Беньямин*).

Произведение — это выbledок замысла.

Надоевшие толкования «Смерти в Венеции»: умирание культуры, исчерпанность культурной эпохи и т.д. Не в этом дело, и не о том речь. Выдержка, самообладание, мужество, дисциплина качества, которых требует от писателя его профессия; и как эти стены и контрфорсы рушатся перед видением смертоносной красоты, под натиском противозаконной страсти.

Смехотворность рассуждений о том, что литература что-то там заимствует у тривиальной литературы, напр., детективные сюжеты и т.п. Дело обстоит как раз наоборот: тривиальная литература паразитирует

на классике. Использует её открытия, перешивает мантию короля для камердинера. Доедает остатки былых пиров, допивает из бокалов. Но значение тривиальной словесности в том, что она развешивает флажки: дальше не ходить, дальше угождая пошлости.

Из неталантливового писателя превратился в талантливового неписателя.

«Женщина, размышлял он, это закрытая открытость: в своём платье она как бы без платья. То, что она скрывает, обнажено лишь до тех пор, пока остаётся сокрытым. Мужчине нечего скрывать, ибо всё известно заранее; о том, что «имеется» у женщины, ничего не известно, хотя бы вы тысячу раз видели всё это у других. Женщина оттого всякий раз другая, что она всегда одна и та же. Всякий раз все другие не в счёт — но лишь покуда занавес не поднялся. Если бы удалось раздеть её донага, вас постигло бы разочарование. Оказалось бы, что там нет ничего особенного! Оказалось бы, что там есть только то, что есть, и ничего более; оказалось бы, что разоблачённая истина уже не истина, и вы стали жертвой обмана. Потому что вам было обещано нечто иное, — что же именно? Очевидно, что обещанное, или, лучше сказать, заповеданное, можно узреть только внутренним, но не внешним оком, и достаточно отвернуться, чтобы тайна вновь засияла в своей непостижимой очевидности. Лживое откровение, думал он. Её неправда и есть её истинная правда. Её неуловимость есть не что иное, как её истина». («Акварцум»).

«Мужчина помещает женщину в основание своей фантазии или конституирует фантазию через женщину».

«Раздеть женщину невозможно» (*J. Lacan*).

Стоит и смотрит на уходящий поезд. Кругом толчея на перроне: вот-вот подойдёт новый состав.

Это, конечно, слишком поэтическая картина. На самом деле мы проводили редкую по своей гнусности, состарившуюся до полного мазама эпоху. И остались стоять на перроне.

Вождь был полководцем, государственным мужем, философом, историком, сапожником, языковедом, магом, — Вождь был всем, иначе говоря, никем. Вождь был подобен водителю тяжёлого перегруженного экипажа, старой колымаги с зарешечёнными окнами, в лабиринте огромного города; он умел крутить баранку, но не знал города и едва успевал сворачивать из переулка в переулок, повинувшись одному лишь инстинкту власти. А в колымаге, шарахаясь из стороны в сторону, сидел его народ.

Это была та самая, вонючая старость, о которой Блок писал Розанову. Но прежнее царство простояло как-никак тысячу лет. Советская власть успела одряхлеть менее чем за три четверти века. Тоталитарные государства недолговечны, так как представляют собой нечто окончательно достигнутое и рекомендуют себя в качестве таковых. «Самая счастливая страна на земле». «Где осуществились вековые чаяния». «Ликвидирована эксплуатация человека человеком». «Я другой такой страны не знаю». Думали, что режим из мрамора. На самом деле он был из чугуна, материала нековкого, твёрдого и хрупкого. Постукиванье молотком, попытки реформировать смертельно опасны. Горшок расколется. Вдруг, невероятно быстро, режим провозгласивший себя вечной молодостью мира, впал в старческий маразм, так что не было даже надобности воевать с ним. Никто и не собирался воевать. Он повалился сам собой.

Правду сказал покойный Лебедев-Кумач: широка страна моя родная. И что я другой такой страны не знаю, тоже правда. Сент-Экзюпери, как-то уж очень быстро забытый, писал, что его не интересует политический строй, его интересует тип человека, воспитанный этим строем. Замечательная черта советского строя была та, что он умел с изумительной точностью проявлять, как на фотобумаге, худшие черты человеческой природы. Поощрял и воспитывал лень, трусость, предательство, лицемерие, двоедушие, ханжество. Так возник экземпляр, называемый советским человеком.

Русский писатель — не тот, кто обязан любой ценой, *coûte que coûte*, прославлять родину, русский писатель — тот, кто сумел отстоять русский язык.

*Сон.* Что-то происходит с компьютером. Он сам включился, треск, шорох, из него лезет нарезанная узкими полосками, как лапша, бумага. Это мои сочинения, которые он истребляет и изрыгает. Что делать: выключить? Подождать, пока всё выйдёт? Наконец, он успокаивается.

«Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, daß wir träumen». (Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что мы видим сон. *Новалис*.)

Увидел чьи-то ноги за занавеской. И эти ноги вышли — одни ноги — и пошли, и было слышно, как стукнула дверь.

Ранние воспоминания похожи на сны. Их так же трудно пересказать, как сновидения. Моя мама за пианино, «Мой Лизочек» из Детско-



го альбома Чайковского. Я сижу у её ног, клавиатура, как крыша, над моей головой, я слежу, как она нажимает носком туфли на педаль. Вероятно, мне четыре года.

Память освобождается от мусора вещей, лиц, событий. Плывут мимо обломки, река очищается. И вот перед тобой прозрачная, текучая стихия чистой памяти.

*Русская баня.* Апостол Андрей Первозванный, быв в Новгороде, дивился тому, что люди секут себя в пару прутьями.

*К будущей истории нищенства.* Сбор подаяний по интернету оказался исключительно эффективным, но, к сожалению, ненадолго. Распространившись, метод довольно скоро дискредитировал себя. Образовались объединения дигитального попрошайничества, а там и фирмы-посредники, пользование сервером вздорожало, система обросла бюрократией и, подобно рекламной индустрии, стала самоцелью, способом дать работу обслуживающему персоналу. А нищий, как сидел на тротуаре, так и сидит.

Вошёл в комнату, где в углу стояли огненные часы, которые отличались от обычных огненных часов только тем, что время показывали не градуированные урны с пеплом, а языки пламени.

Вошёл в часовую мастерскую, которая сама представляла собой огромные часы; и не заметил, что оказался внутри механизма.

Вошёл в мастерскую, где висели и стояли часы без циферблатов, часы без стрелок и часы вообще без всего: одно голое время.

Знали бы вы, что это за чувство, когда всё вокруг, лица прохожих, чиновники учреждений и даже окна домов — всё твердит: катись отсюда, ты здесь не нужен.

Злодейская страна повернулась широким крупом, упёрлась передними копытами и лягнула задними, так что мы отлетели на тысячу вёрст и очутились на другой земле.

Віβλο<sup>1</sup>.

О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти всё осталось в Москве, разошлось по рукам или попросту погибло. «Старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой нельзя. В аэропорту Шереметьево-2 раздевали догола. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны неотличимы от

---

<sup>1</sup> Книги (*греч.*).

преступлений. Закон представляет собой свод инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: положено — не положено.

Карл Вольфскель (чьим именем я предложил назвать литературную премию Баварской академии), поэт из круга Стефана Георге, один из основателей минхенского «космического кружка», еврей, в 33-м бежал от наци в Италию, из Италии на Новую Зеландию. «Уж сюда-то они не доберутся». На его могиле в Окленде начертано: *Exsul poëta, poet-изгнанник*.

Это было главным и для таких, как я: бежать туда, где «они» тебя уже не достанут.

Я закрываю глаза и вижу, как на чёрном экране, страну, где говорят на моём родном языке, я вижу лагерь, далёкие леса, слышу стук колёс и голоса женщин, голоса близких, безмолвные голоса твердят мне что-то, чего я не могу понять, словно вижу немой фильм. Это — писатель в изгнании. Давно уже страна, где я теперь живу, стала домом, давно стало ясно, что изгнанием и неволей была для меня моя родина. А всё же...

Изгнание — это не наша приватная тема, твоя или моя. Это сюжет XX века.

Принимая во внимание, что это была за страна, — нужно было гордиться тем, что тебя посадили.

Нужно было гордиться, что тебя изгнали.

Тебя прогнали, чтобы ты оставался тем, чем ты не мог быть в России: русским писателем

Существование не может быть объяснено только необходимостью. В нём есть некий вызов.

Драгоценное чтение юности: глава Шопенгауэра «Von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens» («О ничтожестве и страдании жизни»). Лето 1945 года, сидел за маленьким столиком, сладость этого названия, очарование фразы — готического шрифта. Цитату из Байрона: *Our life is a false nature* и т.д., переводил со словарём.

*Nabent sua fata...* Воистину причудлива судьба книг. Эти два изящных томика с пометкой неведомого владельца 1913 года, купленные Гёрой Новиковым в букинистическом магазине в Москве (магазины ломались от награбленных в Германии книг), подаренные мне ко дню рождения, пережили годы и десятилетия, я передал их незадолго до нашего отъезда американскому студенту, и в конце концов они вернулись ко мне, вернулись в Германию.

**Спор ума с сердцем и с детородным членом,  
в присутствии философа.**

**1**

Истинная философия есть не что иное, как беседа с самим собой. Лёжа в шатре посреди военного лагеря, в варварской стране за Дунаем, император уговаривал свой дух обрести спокойствие. Отшвырни книги, хватит мучить себя, пишет он. Вообрази, что ты на одре смерти, и презри плоть, ведь в конце концов это только кости, жилы, кровь и что там ещё.

Лёжа на соломенном тюфяке в каморке у себя наверху, как Марк Аврелий в солдатской палатке, писатель предавался философическим мечтаньям и чувствовал себя, признаться, чрезвычайно уютно. Он мог оценить преимущества своего положения: никто его ни о чём не расспрашивал, никто не требовал предъявить документы, никто не покушался на его одиночество, и никто не гнал на работу. Тишина и удобная поза настроили на возвышенный лад; мысли текли, как спокойный ландшафт перед глазами путешественника, он даже задремал на короткое время, не переставая, однако, размышлять; и если не решался, в силу известного суеверия, назвать себя счастливецом, то по крайней мере понимал, в чём состоит счастье, одинаковое для улитки и человека. В том, чтобы, отряхнув всё внешнее и ненужное, обрести убежище в самом себе.

**2**

Это я, сказал ум, есть то, что ты именуешь самим собой. Твоя единственная, неповторимая, замкнутая в себе сущность. Я мыслю, я сознаю тебя как себя, я бодрствую или вижу сны, подобные вогнутым зеркалам, в которых я же и отражаюсь. Я емь сущий.

А как же, — возразил я, — моё тело?

Видимость. Оболочка. Моё инобытиё. В любом случае нечто внешнее по отношению к тому, что ты в конечном счёте собой представляешь. Разве эти кости, мышцы, внутренние органы способны мыслить? Нет, это ты — тот, кто их мыслит. Это я. Не будь меня, они были бы всего лишь костями, мышцами и так далее.

Не будь их, сказал я, не было бы и тебя.

А это мы ещё посмотрим, сказал ум.

**3**

Коснись меня, и ты почувствуешь смехотворную иллюзорность всех этих притязаний, сказал пенис. Чтобы объявить собственную плоть

своим представлением, не требуется большого ума, и нам с тобой остаётся лишь удивиться и восторгаться тем, что мы, как бы это выразиться, разумней нашего спесивого разума. Мне незачем ссылаться на зло, источником которого был этот ум, разрушивший все ценности, размывший веру и покусившийся на самую жизнь, — прикоснись ко мне. Нет, достаточно, чтобы ты просто вспомнил о моём существовании. И ты поймёшь, — если ещё не понял, — кто ты и где твоя подлинная сущность.

Так просто? — сказал я. — Член, доросший до собственной философии.

#### 4

Осторожнее с этими словами. Да, просто. Влечение к другой плоти, жажда излиться. Но на самом деле не так уж просто, совсем даже не просто, ибо скрывает в себе вселенский смысл.

Но я обращаюсь к чему-то высшему во мне — не к тебе, похабник, возразил философ.

Ты — это я, вернее, я — это ты, ответил член. Унижая меня, ты унижаешь самого себя. Однако и этот тезис — лишь первая ступень постижения истины. Рассудок — я предпочитаю пользоваться этим обозначением, хотя сам он именует себя разумом, — рассудок станет тебя убеждать, что всё твоё знание о мире есть знание о самом рассудке, чистая математика ума, которая, как всякая математика, сводится к тавтологии, к « $A = A$ », да, он будет внушать тебе, что ты заперт в твоём сознании... Я же полагаю, что утверждение ума, будто единственная реальность — это он сам, достойно умалишённых. Не ты к нему, а он сам прикован к самому себе, но даже когда он соглашается признать, что кроме него существуют ещё какие-то вещи, он тут же заявляет, что проникнуть в их природу невозможно, мы, дескать, топчемся в одиночной камере нашего интеллекта, где стены выложены изнутри зеркалами, в которых рассудок, одинокий арестант, видит самого себя, одного себя.

Э-э, пробормотал ум, легче на поворотах. Ночь разума плодит чудовищ.

#### 5

Чудовище, которое ты имеешь в виду, — это мир, которому до тебя нет дела. Но я продолжу мою мысль, сказал детородный орган. Существует возможность постигнуть мир, не прибегая к умозрительным построениям, — эту возможность предоставляет нам элементарный опыт. Опыт, на который вся ваша мудрость не обратила внимания! Воистину существует то, что не снилось вашей мудрости, — как это там

сказано? There are more things in heaven and earth... Существует тело, да, твоё собственное; и вот это тело — оно-то и есть единственная вещь, о которой ты можешь судить не только как о вещи: ты постигаешь её непосредственно. Ибо оно не только объект, то есть не только твоё представление, но и ты сам.

Мысль украдена у Шопенгауэра, заметил ум-эрудит. Впрочем, поздравляю; мы пришли к самому примитивному материализму. Да и что можно ожидать от вульгарного цирруса, этого грибка-уродца, средоточия всего низменного в человеке, проскрипел ум.

## 6

Фалл сказал:

Тело есть *ens realissimum*, высшая реальность. Предпочитаю не отвечать на инсинуации. Да, как всякий объект, тело можно описывать, расчленять, объяснять; в мире представлений оно ничем не отличается от любого другого физического тела, от этого топчана, например, на котором отдыхает уважаемый Борис Хазанов. (Кстати, откуда этот смехотворный псевдоним?) Но я продолжаю. Тело не только «представляет собой» что-то, оно *есть*. Субъект этой фразы, это самое Оно — в его внутреннем, изначальном, ни к чему более не сводимом существе, — и есть то, что находит своё высшее, огненно-сладостное завершение во мне! — вдохновенно кончил половой орган.

## 7

Человек, лежащий на топчане, промолвил: «Не понял».

На что демон низа ответил вкрадчивым шепотом:

Что же тут непонятного. (*Громче:*) Что? — тут? — непонятного? Тело есть воля, а воля есть вожделение. Франкфуртский мудрец ошибся: не воля велит, но то, что велит, становится волей. Ты выше самого себя, потому что твоё «я» — это тоже иллюзия, маска, за которой нет лица... Чувствуешь, как это «я» начинает плавиться и растворяться в любовной истоме? Это тебя зовёт лоно мира. То, что тебя влечёт к нему, поначалу выглядит простым любопытством. Думая, что ты контролируешь себя, ты разрешаешь себе сделать первый шаг. Ты говоришь себе — один шаг, и хватит, и мы вернёмся к себе, в наше «я». Но ты сам не замечаешь, что на самом деле ты уже *там*, почти там, врата расступаются перед тобой, сначала большие врата, потом малые, тебе кажется, что это ты их раздвигаешь, а на самом деле они втягивают тебя, тебе тесно, ты отступаешь, и опять возвращаешься, и так повторяется несколько раз, ты уходишь всё глубже, ты погружаешься в воронку мира, в кратер, в магму мира, как индийская соляная кукла входила в море, мучимая лю-

бопытством узнать, что это такое, а между тем вода смывала с неё частички соли, и когда от бедной куклы ничего не осталось, она сказала: «Теперь я знаю, море — это я!» Так вот. Кукла — это ты, это твоё «я». Никогда не пиши его с большой буквы. Это «я», от которого ничего не осталось, и когда ты видишь, что его нет, что от тебя ничего осталось, ты понимаешь, что на самом деле тебя и не было.

## 8

Так я и знал! — завопил разум. Берегись! Если есть на свете что-нибудь ценное, так это личность. Читайте Гёте, господа. *Höchstes Glück der Erdekinder!* Высшее счастье детей земли... Смысл бессмысленной жизни и оправдание мира. Твоя единственная неповторимая личность. И эту бесценную личность грязный сексуальный инстинкт стремится принести в жертву собственной разнузданности, утопить в тёмном вожделении...

## 9

О да, саркастически сказал демон, он тебе объяснит, что всё, о чём мы тут говорили, — туман, которым твоя фантазия окутала обыкновенный физиологический факт продолжения рода. Любопытно, как эти молодчики суетятся, как они спешат разложить всё по полочкам, — и не замечают, что со всеми своими категориями, ярлыками, классификациями, причинно-следственными связями, со всеми посылками и заключениями они только поплавок на поверхности зыбких, текучих и безграничных вод. И так будет продолжаться до тех пор, пока на стихию будут смотреть извне, сознательно закрывая глаза на то, что существует иная точка отсчёта, а именно, точка зрения самой стихии... Так будет продолжаться, пока вместо того, чтобы смотреть на мир с точки зрения того, кто представляет, не взглянут на мир с точки зрения того, *что* представляется, — с точки зрения самого этого представления. С *моей* точки зрения.

## 10

Но где же обоснование, где доказательства? Вместо доводов сплошная мифология.

## 11

А кто тебе сказал, возразил половой член, что *тó*, что ты называешь мифологией, не есть настоящая, подлинная действительность? На самом деле то, что кажется тебе действительностью, есть самая что ни на

есть мифология. Кто тебе сказал, что причина и следствие суть именно причина и следствие, — на самом деле наоборот! Ты утверждаешь, что любовь — это дымовая завеса физиологии, инструмент, которым пользуется природа, чтобы обмануть мужчину, увлечь женщину и заставить их произвести потомство, а я отвечаю, что, напротив, физиология — всего лишь средство, инструмент, которым пользуется влечение, ибо требует всё новых и новых воплощений, — и попробуй-ка доказать, что я не прав. Ты скажешь, что влечение — результат деятельности семенных желёз, так сказать, естественное стремление пружины разжаться, а я отвечаю тебе, что всё это верно лишь в категориях, с помощью которых ты мыслишь о мире, верно в тесных пределах твоего представления о нём, тогда как я... О чём бишь я хотел сказать? — спохватился демон.

Да! Тогда как я доподлинно знаю, что влечение есть именно то, что породило и эти железы, и тебя, рассуждающего о них! Докажи мне, что я не прав. Ночь мира, бушующее чёрное пламя. Ты боишься его, жалкий разум. Ты называешь его смертью... А между тем — о, погрузиться в него, умереть и воскреснуть в нём — это такое блаженство, для которого у тебя не найдётся слов!

## 12

Выслушав эту рацею, человек на топчане заложил руки под голову и устремил туманный взор к потолку, как некогда император-солдат смотрел на тёмный полог шатра, наслаждаясь теплом жаровни.

Третий голос взял слово.

Возможно, я не гожусь в собеседники, ибо то, что я собираюсь сказать, к философии не имеет никакого отношения, сказала сердце. Но я боюсь, что этот диспут не имеет отношения к жизни. А ведь это и есть главное: тепло человеческой жизни.

Кто ж его отрицает, пробормотал член.

Ну, ну, сказал разум.

## 13

Не тело, не дух, не железы, не метафизика страсти и не аскеза ума, а всё вместе, великое целое, которое выше всех своих частей и шире всех определений, — человек. Вот скажи, спросило сердце: ты доволен своей жизнью?

М-м, как сказать...

То-то и оно. Философия не приносит радости. И разврат не приносит радости. А пуще всего не бывает счастья, когда нет своего дома. Человек должен иметь свой дом. Тогда и работа, и книжки, и добрая выпивка, и жена — всё в радость. Русскому человеку и нужно жить по-

русски. Ты не просто живёшь — ты живёшь *здесь*. А это значит, что ты живёшь в своём времени — ты сам это время; ты сам этот дом, ибо ты его продолжение, а он — твоё продолжение. Ты живёшь на родине, ибо родина — большое тёплое тело; и это тоже ты.

## 14

Ну, знаете ли, это уже какой-то буддизм.

## 15

Не перебивайте. Так вот: это твоя участь. А что такое участь? — это часть, доставшаяся тебе, часть общей судьбы, судьбы народа; не бунтуй; слейся с ней: обрети участь — часть судьбы народной. Ты потерял речь, почему? — потому что ты потерял дом свой. Вместо речи природной, исконной, народной, той, что есть голос самой жизни, ты, тьфу, изъясняешься на еврейском эсперанто.

Ну, знаете ли.

Я сказал (то есть сказало, — я среднего рода): не перебивать. Кто твои друзья? Это не друзья. Асфальт — не земля. Город — это не дом. А вся эта философия...

Вот, вот; чего ж ещё было ждать от тебя, подумал тот, кто лежал на топчане. И был рад-радёхонек, что никто его не тревожит, не гонит на работу.

---

Ужасное зрелище: всё готово, великолепная узорная паутина готова, а паука нет. Весь израсходовался.

У писателя нет личности.

...И моя жизнь представилась мне маятником, чьё унылое и безостановочное качание таило какую-то угрозу; жизнь качалась передо мной, как огромный маятник над горизонтом, который удлинялся и укорачивался, возможно, оттого, что был повернут к моему взору под некоторым углом; думая об этом, я заметил, что моя мысль перестаёт меня слушаться; не я её мыслил, она — меня; кто-то другой рассуждал за меня и внушал мне мысли и образы; глядя на маятник, я испытывал всё то же чувство отделившейся от меня, хотя и собственной моей жизни; она примеряла меня так и этак, приближаясь вплотную и удаляясь, и как будто жалела о своём выборе.

Жизнь нашла меня, а не я её. И мною недовольна.



Я дружил с хозяином замечательного, пушистого и очень солидного кота, которого полагалось называть по имени и отчеству; кота звали Феликс Эдмундович. Но моя нелюбовь к нему, нелюбовь к кошкам вообще объясняется не этими именами.

Сцена в фильме Э. Рязанова «Небеса обетованные»:

— Лаврентий Павлович готов?

— Готов!

— Выпускай.

Огромный страховидный кобель Л.П.Берия выскакивает из укрытия, и мусора драпают от него.

В большом зале все лежат вповалку под одеялами, он оказался под одним одеялом с неизвестной женщиной и даже не знает, как она выглядит, придвигается к ней, оказывается, что на ней нет рубашки, ничего нет, он находит её груди, не груди даже, а маленькие, острые и мягкие бугорки; наконец, она делает необходимый жест, и таким образом он получает удовлетворение. Утро, он должен всё скрыть от своей жены, вон она там стоит, но оказывается, что это не она (то и не то, вечный мотив сна), только издали и по одежде он принял её за жену; это одинокая женщина с сильно накрашенным, кирпичным лицом, в кожаной куртке, на него — никакого внимания. Пора уезжать из этого общежития или, может быть, дома отдыха; он ищет на большой, переполненной вешалке, не может найти, он не помнит даже, вешал ли он сюда своё пальто.

Infelix in Ruthenia natus. Le malheur d'être né en Russie. Ein Unglück, in Rußland geboren zu sein. Несчастье родиться в России.

Так-то оно так.

Но вот режим рухнул, а несчастье осталось.

Несчастье или счастье родиться. Несчастье провести юность в заключении — или счастье (всё-таки не в старости). Несчастье быть эмигрантом — или счастье. Несчастье — быть писателем. Или...

Я пишу, не рассчитывая, что кто-нибудь меня прочтёт, я пишу для себя. Возможно, я один из тех, о ком здесь идёт речь, но пишу отнюдь не от имени других. Другие — сколько их рассеялось по свету? — написали бы, возможно, совсем другое.

«Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз». О нас спохватятся, когда мы умрём. «Erst auf seinen Tod warten zu müssen, um leben zu dürfen, ist doch ein rechtes ontologisches Kunststück». (Дождаться смерти, чтобы получить право жить, — какой всё-таки забавный онтологический трюк. *Музиль*.)

Роман не создаётся по плану, не строится, как дом, — или, если строится, то по методу, изобретённому в Великой академии Лагадо: начать с крыши, закончить фундаментом.

Роман растёт, как дерево, раскидывая ветви, теряя нижние, выбрасывая новые, и оттого не может быть написан быстро.

Марксизм-ленинизм, теология умершего бога. Астрология вымышленных планет. Зоология химер.

Что сукна с моей шкуры сошло! — сказал баран-горюн. Не тужи, сказал мужик, скоро самого съедим.

Голодного спросили: сколько будет единойды один? Он ответил: «Одна лепёшка» (*арабск.*).

Осла пригласили на свадьбу, он сказал: «Наверное, нужно воду таскать».

Бывали у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет.

Ладила баба в Ладугу, а попала в Питер.

Четвёркой поехал (о пьяном).

Некогда популярная эстрадная певица Клавдия Шульженко. Эстрадный испанец по имени Родриго. «Говорят, что назначена свадьба с капитаном бригантины Родрыгой». «Блеснёт Родрыги влюблённый взгляд». И — ножкой: дрыг-дрыг; туда, сюда.

Смешанный хор, мужской и женский ревёт в сто глоток на музыку Шостаковича из кинофильма «Падение Берлина»: «Черчиллю слава, навеки, навеки!..»

Хор породистых собак (грамзапись): «Смело, товарищи, в ногу!»

Тó думаешь: да пропади вы все пропадом. Какое мне дело до ваших бед, вашей грязи. А тó — уж коли родился там, никуда от России не денешься.

Музыка даёт постигнуть нечто в жизни, прожитой там, нечто такое, чего никак иначе я понять не могу. Я чувствую, что классики русской музыки нас обманывали, они пели нам о стране, которой не существует и, может статься, никогда не существовало; и только Шостакович даёт почувствовать, где мы жили на самом деле, среди какого народа, под игмом какой власти. Этот примерный член партии, народный артист и прочая, подписывавший сервильные статьи, был единственный, кто сказал о полицейской цивилизации так, как надо было о ней сказать.

Ритм русского танца в финале 3-й симфонии Брукнера. — Густав Малер: пролог к чудовищному веку. — Шостакович: *сам этот век*.

«Не стремясь поучать читателя, мы сочли бы свои усилия полностью вознагражденными, если бы нам удалось убедить его заняться тем, в чём мы преуспели: тренировкой способности смеяться над собой». (*Г.Башляр*.)

«То, о чём я собираюсь сказать, может быть, покажется несущественным и смешным, но я всё-таки выскажу свою мысль, хотя бы для того, чтобы вы посмеялись». (*Тацит*, Диалог об ораторах, 39.)

Друг мой, пусть тебе почаще приходят на ум две максимы: не всё, что говорится всерьёз, надо принимать всерьёз; не всё, что сказано в шутку, надо считать шуткой.

Вынужденный оправдываться перед самим собой, я заключил с собой некое соглашение, оно состоит из двух пунктов. Первый: ни одному моему слову нельзя доверять. И второй: всё, что я собираюсь изложить на бумаге, есть правда.

Почему в моей прозе так часто всё происходит «на грани сна и яви», — потому что такова природа психики, наша природа; мы *всегда* на грани. «Действительность», но с неизбежной примесью воспоминаний и грёз.

Смешать «объективное» с «субъективным». Стереть границу. Пожалуй, это удавалось только Малеру.

«Честный труд — путь к досрочному освобождению», повесть-сказка для детей младшего школьного возраста, Детгиз.

Глава VI. Что сказал Васе начальник лагпункта.

Вася мечтает, когда вырастет, стать проводником СРС — служебно-розыскной собаки.

И вместе с тем никто как будто даже не подозревал, что занавес вот-вот опустится над тысячелетней империей. Быть может, советская власть, коммунизм, etc. будут выглядеть лишь как краткий эпилог Российской империи, как последняя и поначалу как будто удававшаяся попытка оттянуть её крах.

Две мировых войны в будущем историописании окажутся одной Мировой войной, вроде Тридцатилетней или Столетней, которые тоже шли с перерывами. *Этот* перерыв, для нас такой важный, будет выглядеть коротким антрактом между двумя актами пьесы.

Я снова думал о том, что эпос, великая эпическая поэма могла бы вместить в себя нашу страну и нашу жизнь, могла быть единственной адекватной формой для выражения того, чем была наша история и география; но такой эпос не будет создан, «умчался век эпических поэм», точно так же, как прошла эпоха огромных монструозных государств. Поистине Чётвёртому Риму не бывать. В V веке обитатели империи тоже не подозревали, что их Риму крышка.

Эпоха великих империй миновала, как миновало время великих эпических поэм, — и, может быть, *потому* прошла, что прошло время эпических поэм.

Алкоголизм как философия жизни. Пьянство нуждается в обосновании, в почве, от которой, как Антей, набираются сил, по которой ползут. Пьющий нуждается в обуви не только для ног, но и для рук. Что за нравы, е... мать! Выхожу из пивной — наступили на руку.

Энциклопедия Женского Тела. Астрология Женского Неба. Типология, феноменология, семиотика. Коллектив, работающий над Энциклопедией: редакция, кабинеты, отделы, конференц-зал. В настоящий момент готовится к печати очередной том XXV: «По — Пу»: Подключичная ямка — Пупок. «Грудь» (отдельный том).

*Бюст великой княжны Ольги Николаевны.* В гимназическом дневнике А.Ф.Лосева длинное рассуждение о старшей дочери императора. Он добыл два портрета Ольги Николаевны.

«Формы женских грудей можно делить на эпические, лирические и драматические, причем в зависимости от преобладания логичности или экзатичности в каждом из этих трех родов можно получить целых шесть видов женских грудей. Какие груди у Ольги Николаевны? Безусловно, тут мало лирики... только созерцание в промежутке между самозабвенными экстазами. Это груди, говоря вообще и неопределенно, драматические, говоря же точнее, это груди трагически-роковые, это трагедия без действия, трагедия без сознательной воли, это трагедия рока, [она] наполняет всю ее душу и возбуждает все ее тело. Страсть — это ее рок, это ее трагедия. И вот груди Ольги Николаевны, так незаметно и низко начинаясь и будучи такими неупругими (что видно еще и от некоторой смещенности их в стороны от центра), как раз и говорят об этой трагической предназначенности ее к страсти и об ее покорном и серьезном выполнении этого рока».

(Ей 19 лет, через четыре года убита.)

Это пишет учёный мальчик. За глубокомысленными рассуждениями — мечта увидеть, потрогать.

В 1929 г. постригся в монахи. В начале 30-х арестован.

От «грудей» и метафизического эротизма Вл. Соловьёва — к...

«Гость скосил глаза на Люду, её лицо было густо напудрено, на ресницах висели крошки чёрной краски, она была в чёрном полупрозрачном шёлковом платье, под которым на чёрных бретельках лифчика покоилась и дышала, как в глубоком сне, её грудь. Заметив нацеленный на неё объектив, Людочка инстинктивно выпрямилась. Дремлющие соски услышали позывные соседа. Мы находимся в силовом поле, мы сами генераторы этого поля, которое шелестит и струится вокруг нас, и его законы можно было бы описать при помощи уравнений, сходных с уравнениями Максвелла. <...>

Глядя в тарелку, он погрузился в размышления об этой груди, которая заметно выиграла от чёрного одеяния, подчеркнувшего природную Людочкину худобу. Поистине многое меняется от того, скажем ли мы “молочные железы”, “грудь” или просто грудь: от чисто функционального, служебного обозначения мы переходим к представлению о самодостаточности и тайне этих дразнящих воображение возвышений. Грудь Людочки, неслиянные и нераздельные, жили независимо от той, кому они принадлежали, вернее, та, кому они принадлежали, была всего лишь их обладательницей, — по крайней мере в эту минуту, когда они дышали в нескольких вершках от его плеча. Всё, чем была Людочка, определялось тем, что у неё такая грудь». (*Аквариум*).

На пятом курсе — гинекология и акушерство. Наступил день, когда группа первый раз пришла на практические занятия в городской женской консультации. Пациенток предупреждают, что их будут исследовать студенты. Женщины привыкли и не смущаются. Совсем другое дело — студенты: девочки и мальчики. Больная лежит на гинекологическом кресле. Предлагается произвести вагинальное исследование. И тут всех охватил страх. Никто не решался приблизиться к креслу. Это был род священного ужаса.

Родословное древо должно быть перевёрнуто, как обычно стоит дерево: корнями книзу. Корней много, торчащий кверху ствол-фаллос — наверху.

У каждого из нас два родителя, два деда и две бабки; восемь прадедушек и прабабушек и так далее; корни ветвятся, пятьдесят лет тому назад у нас было полтораста предков, а тысячу лет назад трудилось, чтобы нам появиться на свет, чуть ли не целое человечество. (Кажется, мысль Маргерит Юрсенар.)

Не биография, а предки — наш якорь. Мы — ходячий каталог предков. Жесты, мельчайшие подробности внешности, какая-нибудь

манера выпячивать губу, причуды, вкусы, стиль мысли, строй чувств — всё это уже было. Сколько их, вложивших по кирпичику, по песчинке в то, что я считаю моей уникальной личностью.

Канализационный аспект истории: будущее в виде фаянсовой чаши. Туда проваливается настоящее. Бурлит вода, из стульчака доносится шум спускаемых масс. Sic transit...

Старый еврей сел на скамью, там сидит другой, незнакомый. Молчат. Старик вздыхает: о-хо-хо! Тот поворачивается к нему:

«И вы мне будете ещё рассказывать!..»

Русский язык, по типу своему архаический, сохранивший черты древних языков, утратил их лаконизм и перевёл потенциальную энергию в кинетическую: это язык, который непрерывно размахивает руками вместо того, чтобы ограничиться движением бровей.

Особое семейство слов — как таковое, не известное в других языках:

Осколки, обломки, отломки, обрубки, очистки, опилки, объедки, огрызки, опивки, обглодки, ошметки, огарки, обмылки, очёски, обноски, обрезки, остатки, останки, обрывки, окурки, охулки, ошибки, описки, оципки, обсевки, обойки, обжимки, обжинки, обмолвки, ошурки (выжарки сала), обмой (оглобли сохи). Сюда же: опорки, оборки, опёнки, отростки, отруби, огузки. Сюда же: отребье, отрепье, охряпье (старый хлам), отродье, охвостье.

Звучит, как стихи.

Отходы чего-то. Превосходная коллекция слов, описывающая замусоренную страну.

Если существует высший Разум, это должен быть шизофренический разум.

Если можно говорить о «задаче» романа, то это — сотворение мифа о жизни. Такой миф должен, конечно, обладать известным жизнеподобием, свой конкретный материал он черпает из общедоступной действительности (вернее, из кладовых памяти), но это лишь материал, из которого воздвигается нечто относящееся к реальной жизни приблизительно так, как классический миф и фольклор относятся к истории. В художественной прозе есть некоторая автономная система координат, как бы сверхсюжет, внутри которого организуется и развивается сюжет, напоминающий историю «из жизни». В рамках литературной действительности миф преподносится как истина, но на самом деле это игра. Игра — это и

есть истина. Истинный в художественном смысле, миф освобождён от претензий на абсолютную философскую или религиозную истинность и, следовательно, радикально обезврежен.

Чёрные клубуки пили у князя и огребли богатые дары.

Нужно отдать себе отчёт в том, что литературное творчество не есть «путь к Богу». Великие книги настояны на сомнениях и невзгодах, тёмных страстях и отчаянии.

И вообще, что может быть ужаснее православного романиста?

Мориак называл себя *chrétien écrivain*, пишущий христианин, — но не *écrivain chrétien*, христианский писатель.

Искусство — это езда мимо всего к неведомой и недостижимой цели.

Письмо Музиля 1931 г.:

«Человек без свойств — человек, в котором встретились лучшие элементы времени, встретились, но не обрели синтеза, человек, не умеющий избрать одну определённую точку зрения; он может только пытаться справиться с ними, приняв их к сведению».

Мы можем *mutatis mutandis* отнести это к роману вообще.

В искусстве, как в математике, есть представление о пределе. Этот предел — самоуничтожение; род сублимации, вроде физической возгонки. Абсолютная литература — это литература без читателей; вроде музыки, о которой говорит Леверкюн в беседе с другом: такая музыка существует как чистая структура, нет необходимости её исполнять.

## *А.И. Солженицын и далее*

### 1

Он уверен («Двести лет вместе»), что действует по справедливости, воздавая обеим сторонам (и предварительно придумав, что они противостоят друг другу), требуя признания обоюдной вины. Разделить вину между русскими и евреями «поровну». Равноправие по известному принципу: полконя — полрябчика

Он думал, что «коллективная вина» народа или общества — это правильно, что так и должно быть. На самом деле принцип коллективной вины и коллективного воздаяния — ложный, если не безнравственный. Он растворяет в общем месиве виновных и невиновных. Вина и расплата индивидуальны. Я не отвечаю за злодеяния Гитлера, если я немец, за злодеяния Сталина, только потому, что я грузин. Я отвечаю за мои собственные злодеяния.

## 2

Сон патриота. Все евреи собрались и хором: мы ужасные, мы хитрые, мы продали Христа, продали Россию, устроили революцию, убили царя, хотим покаяться. Просыпается и видит, что ничего не изменилось.

## 3

Антисемитизм не есть результат анализа фактов, но ищет в «фактах» своё оправдание. Таков Солженицын. Посмотрите, говорит он. Троцкий был еврей, Свердлов еврей, у Ленина дедушка тоже был еврей. Начальник такого-то лагеря в 30-х годах — еврей и т.д.; это что-то означает, не правда ли?

Исключительно удачный тактический ход — поместить на отдельном листе в «Архипелаге» портреты начальников лагерей: одни евреи. Теперь всё ясно.

Богров убил Столыпина, потому что на самом деле он не Дмитрий, а «Мордко»; мстил, стало быть, за евреев.

Сначала удивлялись: «великий национальный писатель» — и здасьте. Потом стало стыдно.

Национализм, не желающий помнить об Освенциме. Религиозность, похожая на катаракту.

## 4

Не исполняемый за рубежом, но известный и любимый в России композитор Георгий Васильевич Свиридов (1915–1997) может быть отнесён, если воспользоваться употребительным термином, к поздним романтикам, эпигонам классической русской музыкальной школы XIX века. Он автор музыки к спектаклям и кинофильмам, «Патетической оратории» на слова Маяковского, «Оды Ленину», «Поэмы памяти Сергея Есенина», вокальных циклов на слова русских поэтов, двух музыкальных комедий и множества других сочинений. Свиридов занимал видное положение в советской музыкальной иерархии, был народным артистом, лауреатом премий, Героем Социалистического труда. Редакция журнала «Наш современник» (2002, 9) аттестует его как русского гения, политика, критика, литературоведа, наконец, «мыслителя-философа». Свидетельством этой разносторонности служат публикуемые под рубрикой «Мир Свиридова» фрагменты «одного из наиболее ёмких источников литературного наследия» композитора — записи, которые он вёл в 1961 году, посетив Париж, и небольшое количество написанного в начале 90-х.



Париж произвел на него удручающее впечатление. Город оккупирован (как и вся страна) коварным внутренним врагом. В театре Сары Бернар гость прослушал оперу Шёнберга «Аарон и Моисей», отвратительное еврейское произведение. Публика — дельцы и дамы, увешанные драгоценностями, вне всякого сомнения, тоже евреи, «владыки мира и Парижа в том числе». Потолок расписан Шагалом (здесь, очевидно, имеется в виду панно под потолком в Оперном театре Гарнье). Свиридову бросилось в глаза «жёлтое, как яичный желток, пятно, символизирующее цвет еврейства». Вообще безобразная живопись, «уродливые, худосочные фигурки». Оно и понятно: «для еврея главное — это “знаменитость”, а совсем не глубина, не содержание, не духовный смысл и заряд искусства».

В Версале, «другом завоёванном городе», на замызганном здании висит табличка: дворец реставрирован на средства Рокфеллера. Нужны ли ещё доказательства? Экскурсоводы — еврейки. Усталого гостя согнали с дивана, оказывается, это экспонат. Везде грязь. Хотя он не знает французского и приехал на несколько дней, ситуация для него ясна: «Французы весьма цинично относятся ко всему этому, в том числе и к своей истории».

Он констатирует крах музыкальной культуры во Франции. «Дирижёрское дело, как и скрипичное, пианистическое, погибло теперь окончательно». Баренбойм — «бездарный махало» (как Шагал — художник «мазила») и к тому же отъявленный наглец. Главное, везде одни евреи. Несчастливая страна. Турист посетил «в районе Шанзелизе» заведение со стриптизом, — почему бы и нет, — и снова разочарование: «Сексуального подбодрения я не получил». Единственная радость — покупки. Мыслитель приобрёл шикарную скатерть, салфетки голландского полотна, великолепные галстуки от Диора и прочее.

Читая всё это, вдруг начинаешь понимать смысл скандалёзной публикации. По-видимому, кто-то в редакции журнала коварнейшим образом решил подмочить посмертную репутацию композитора, обнародовав записи, дорогие сердцу, не предназначенные для печати.

---

*Суть литературы, я думаю, в том, что она превращает любое «содержание» в форму; простая мысль, но её приходится повторять. Литература превращает всё что угодно, политику, историю, религию,*

мораль — в средство. Литература делает относительными любые точки зрения и любые верования. Можно было бы сказать, что она относится ко всем этим важным вещам так, как женщины относятся к разговорам на отвлеченные темы: обыкновенно женщин гораздо больше занимает, кто говорит и как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. В мире литературы за теориями и вероисповеданиями стоит нечто неуловимое — жизнь. В этом заключается принципиальная безответственность литературы: она подотчётна только самой себе.

Писателя, как и человека науки, можно впрячь в телегу, посадить за руль; подобно науке, литература может оказаться и нужной, и даже полезной, ну и что? Совершенно так же, как адекватное рассмотрение научных достижений возможно лишь в терминах самой науки, условием адекватного рассмотрения литературных явления должно быть признание автономности литературы. А там — можете вычитывать из неё что угодно.

Желая восстановить справедливость, Нобелевский комитет присуждает премии классикам. В этом году рассматривались кандидатуры Горация, Шекспира и русского поэта Михаила Лермонтова. Премию получил Гораций, что отражает консервативные вкусы членов комитета. В прошлом году был забаллотирован Джойс, из-за пристрастия к непристойностям. Отклонена кандидатура Толстого: обкакал церковь. В конце концов академики увязли в дискуссии по вопросу о том, кого считать классиком.

Русский литературный интернет переживает пубертатный период. Взрослые люди, которые притворяются недорослями, шикарно выражаются, лихо сплёвывают. Критика недорослей. Публицистика подростков. Творчество девиц, у которых только что начались месячные.

Плохо, когда писатель начинает свою творческую жизнь в компании, в кружке. Вырабатываются кружковые вкусы, возникают кружковые гении. Это оставляет отпечаток надолго. Изредка чувствуется у Бродского.

Поэтический шовинизм: с удовольствием возвращается к мысли о том, что проза есть некая второсортная словесность по сравнению со стихом. Поэзия древнее прозы.

Поэзия, сказал Пастернак, это скоропись мысли. Чоран повторяет древнее изречение: поэзия — ветер из обители богов.

Но я бы не стал настаивать на том, что поэзия — нечто скоростное, вроде авиалайнера, в сравнении с прозой, длинным, равномерно постукивающим железнодорожным составом. Дело в том, что самое понятие быстроты и краткости в прозе — иное, чем в поэзии. Другие критерии. Это вообще две литературных вселенных, с разной метрикой и разной степенью кривизны пространства. Не зря поэты чаще всего плохо справляются с прозой, хотя проза, казалось бы, освобождает от многих ограничений, от стиховой конвенциональности, от корсета. Кажущаяся, после рифмы и классического размера, свобода прозы обманчива. На поверку выясняется, что внутренние скрепы прозы не менее жёстки, дисциплина прозы такая же суровая, концентрация — в количественном выражении другая, но качественно не уступает поэтической. Музыкальные законы прозы тоньше, сложнее, неуловимей, чем пресловутая музыкальность поэтического слова. Многословная проза так же тягостна, как водянистые стихи. (По поводу того, что М.Х. перешёл от прозы к стихам. Чаще бывает наоборот: начинают со стихов, с купания в ручейке, а уж потом погружаются в море прозы.)

У прозы больше общего с музыкой (законы композиции, параллелизм жанров), чем у поэзии.

## *Маяковский*

### 1

...Вы говорите о том, как много он значил для вас в юности. В этом всё дело. Это очень важно. Это, может быть, делает всякое обсуждение излишним. Для меня Маяковский значил гораздо меньше. В разное время жизни я возвращался к Маяковскому и всякий раз думал: в чём дело?

Итак, если всё же позволено будет возражать, то вот один пункт. Ваш ответ на центральный вопрос, действительно ли канонизация «лучшего, талантливейшего» так повредила Маяковскому, точнее, был ли этот поцелуй Иуды незаслуженным, — ваш ответ кажется мне недостаточным. Смирять себя, «наступив на горло собственной песне», разрываться между лирикой и гражданственностью, чистой поэзией и поэзией ангажированной, политической, пожертвовать первой ради второй — мотив достаточно традиционный, восходящий к Гейне. Вы заостряете это противоречие, говорите о двух Маяковских, подлинном и насильственном; это меня не убеждает. Маяковский — один. Он всегда верен себе. (*Письмо к Б.С.*)

## 2

Агитационные стихи — от плакатов до поэм — сохранили, если говорить вежливо, историческое значение; проще говоря, читать их всерьёз невозможно. И не потому, что их насильственно внедряли, как картофель при Екатерине. Ведь уже народилось поколение, для которого советского литературоведения не существует. Тем не менее, и для молодёжи эти вирши в лучшем случае — медь звенящая и кимвал бряцающий. Но несчастье (если это несчастье) в том, что и в самых нежных, самых проникновенных своих, охотно цитируемых вами вещах поэт остаётся тем же поэтом — автором «Мистерии-буфф», «150 000 000», поэм о Ленине и «Хорошо!», рассказа литейщика Ивана Козырева, разговора с товарищем Лениным, стихов о советском паспорте, стихов о загранице, стихов для детей и так далее. И наоборот: почти в каждом из барабанных произведений можно найти сильные, свежие, увлекающие строчки; прочитав их однажды в юности, помнишь всю жизнь: «Сто пятьдесят миллионов — этой поэмы имя. /Пуля — ритм, рифма — огонь из здания в здание. /Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими...»

## 3

Идиотическое вероучение не было для него чем-то чужеродным, насильственно навязанным, внешним по отношению к «подлинному Маяковскому». Он и в самых своих восторженных, самых верноподданных, самых зловещих вещах был подлинным.

Та же поэтика, те же, всегда узнаваемые интонации, угловатые ритмы, обязательные неологизмы, небывалые, брызжущие, поражающие своей изобретательностью, а порой и удручающе искусственные, притянутые за уши рифмы, — а ведь поэтика, если верить Ходасевичу, — самое верное, адекватнейшее выражение души поэта.

## 4

Иногда мне даже трудно понять, что мне не нравится в Маяковском. Я думаю — всё. Притом что есть — да! — великолепные строчки. Это поэт строчек.

## 5

Глупо было бы пытаться сбросить с парохода Маяковского. Маяковский не только не умер, он, насколько мы можем заглядывать вперёд, бессмертен. Если я решаюсь повторить фразу Липкина о «крупнейшем из второстепенных поэтов», то потому, что нахожу в ней мень-

ше хулы, чем похвалы. Не будучи поэтом первого ряда (там, где Пушкин, где Лермонтов, где Тютчев, где Блок, Мандельштам, Ахматова), он занимает почётное место во втором ряду, а это, согласитесь, очень, очень много. Это особенно много для поэта, не обладавшего глубокой культурой (условие почти столь же необходимое, как и поэтический дар). Это сказалось и на той черте его поэзии, которая не может не броситься в глаза (которую отметил и Пастернак): необычайный, почти экзотический, ярчайший, порой грубо-плакатный, поразительно талантливый поэтический наряд — и бедность содержания. Бьющая через край эмоциональность, сердце, готовое вместить в себя весь мир, — и плоскость, тривиальность мысли. Маяковский был варваром с изумительной, как у ребёнка, языковой одарённостью, с неуклюжими ухватками подростка, порой нарочитыми, с этим вечным желанием кого-то запатировать, лихо сплёвывать, с зычным голосом; могучим темпераментом. Он не был поэтом эпохи, он был поэтом времени, которое оказалось очень коротким, и, более того, он был порабощён своим временем — порабощён настолько, что не сумел (да и не хотел) над ним подняться. Но его чрезвычайное значение, между прочим, состоит, как я думаю, и в том, что он был самым, может быть, талантливым в XX веке трубадуром фашизма. В известной мере это было запрограммировано в футуризме (не зря Маринетти стал личным другом дуче). Надеюсь, вы понимаете, что я употребляю слово «фашизм» не в узко политическом смысле; впрочем, и в этом смысле он по праву может быть — тут надо отдать справедливость Карабчиевскому — аттестован как певец тоталитарного режима, хотя бы и почувывший, что с этим режимом что-то не всё в порядке). (К.Б.С.)

---

Десятилетия литературной работы оставили чувство никчемности, ненужности моей работы. *Que diable allait-il faire dans cette galère?* (Кой чёрт занёс его на эту галерею.)

«Не писав, летящи дни века проводити, лучше уж...» (*Кантемир*).

Но если не писать — помрешь с тоски.

Поезд идёт с возрастающей скоростью, машинист глазами впадинами черепа вперяется в рельсовый путь. Впереди чёрный туннель, грохочут колёса, рушатся вагоны, летят обломки, вздрагивает локомотив, прожекторы посылают вперёд струи света, и всё быстрее идёт поезд.

Уже не осталось ни вагонов, ни локомотива, но поезд идёт вперёд, сияют прожектора, и по-прежнему смотрят вдаль пустые глазницы машиниста.

## Трактат об усах

Усы представляют собой культурно-исторический феномен исключительной ценности и служат рекламой эпохи не меньше, чем ордена, мундиры, дамские причёски и надгробные памятники. При этом усы и нос образуют единство, усы не существуют без носа, а нос, в том-то и дело! — нос, в сущности, невозможен без усов. Правда, некоторые эпохи не знали усов. Но безусие само по себе есть знак, говорящий о многом, вернее, об отсутствии многого. То были эпохи упадка.

Усы различают по длине, густоте, фасону и цвету.

Новое время вызвало к жизни национально-патриотические модели; в готовящемся к выпуску Альбоме усов, незаменимом пособии для историков и брадобреев, нашли место вислые, цвета гречихи, малороссийские усы, ржаные великорусские, прямолинейные нестигаемые усы Кастилии и Арагона, балканские усы в виде кренделя, эфиопские усы с колокольчиками, соплевидные à la Hitler национал-социалистические усы Третьей империи, нитевидные усы императорского Китая, а также многие другие. Усы порабощения, усы независимости, усы свободы, усы национального возрождения и возвращения к корням. Невозможно представить себе полководца, нельзя признать легитимным монарха без растительности на верхней губе, и не случайно некоторые исторические модели носят имена великих людей. Таковы военно-полевые усы Карла XII; похожие на печной ухват усы кайзера Вильгельма II; метёлкообразные, расширяющиеся на концах, длиннейшие в мире усы легендарного маршала Будённого. Можно без труда показать, что бритые бороды и усов, как правило, влекло за собой падение авторитетов и кризис власти. Вождь партии и народа — без усов? Нонсенс. («Аквариум»).

---

Кто бы мог подумать, что мы переступим порог 2000-летия, кто вообще думал пятьдесят лет назад об этих двух тысячах. Они казались чем-то астрономическим. Пятьдесят лет назад я сидел в спецкорпусе Бутырской тюрьмы, в узкой, шесть шагов в длину, полтора шага между койками, камере, которая проектировалась как одиночная, но теперь, из-за крайнего переполнения тюрем, вмещала четыре человека, иногда пять. Напротив, почти касаясь меня коленями, сидел на своей койке кинорежиссёр Иван Александрович Бондин, автор фильма «Она сражалась за родину» (или что-то такое), человек, которого арест и следствие совершенно раздавили. Перед этим он находился в тюремном психиатрическом институте имени Сербского. Его сменил студент географического факультета по имени Саша, немного старше меня, накануне ареста женившийся.

На философском факультете (этажом ниже нас) была раскрыта антисоветская организация — кружок студентов, интересовавшихся индийской философией. Ещё где-то (об этом рассказывал Саша С.) была компания весельчаков, где заводилой был парень, прозывавшийся Командор Бен. Вторым лицом был Казначей и Главный Виночерпий Большого Боцманского Сабантуя подшкипер Гарри Тринк. Обе организации были успешно разгромлены госбезопасностью. Все участники арестованы и понесли заслуженное наказание.

В «спецкорпусе», в камере 262 сидели два заслуженных большевика, оба вступили в партию в 18 году, оба были арестованы в 37-м, но остались в живых и были выпущены. Для меня это были люди из какого-то другого века, если не с другой планеты.

Каждый был втрое старше меня. Оба были евреи. Один, доктор Мазо Александр Захарович, был главным врачом ведомственной поликлиники. Он сочинял стихи о своей дочке, но чаще вспоминал девушку, с которой был связан в далёкой юности. Однажды заметил, что она побрита. Оказалось, тайком от него сделала аборт. Другой был директором завода, звали его Александр Борисович Туманов, фамилия, которую он придумал себе во время революции. Несчастье было в том, что, прежде чем вступить в ленинскую (оба, Мазо и Туманов, называли её «наша партия»), он был членом еврейской пролетарской партии Поалей-Цион, «Рабочий Сиона». — «Но мы блокировались с большевиками!» Александр Борисович был человек маленького роста, очень важный, вечно пикировался с доктором и говорил о себе: «Я не рядовой работник. Я крупный политический деятель!» Когда он усаживался поглубже на койке, ноги не доходили до пола. Подкрепившись чем Бог послал, потирал ладошки и декламировал тюремные стихи:

Я сижу и горько плакаю.  
Мало ем и много какаю.

---

Это была страна, где всё решало количество; количественная страна. Очень много земли, очень много народу. Страна, где, вопреки Гегелю, количество как-то неохотно переходило в качество. Качество не росло, оно всегда было низким: плохие дороги, плохие законы.

Некоторые считали этот режим насильственным, внешним — чужеродным. На самом деле это был народный режим. Режим, где весь народ вовлечён в практику насилия. Начальство угнетает подчинённых,

подчинённые друг друга. Верхний слой насилует нижележащий и вообще всех; нижележащий — следующую социальную ступень, и дальше вниз; низшие — ещё более низших.

«Иван Грозный превратил свою державу в смесь Византии с Монголией... Со своими десятью веками устрашения, потёмок и обещаний, эта страна больше других сумела приспособиться к ночной стороне исторического момента, который мы ныне переживаем. Апокалипсис чудесным образом идёт к ней, она привыкла к нему и даже находит в нём вкус, и упражняется в нём больше, чем когда-либо... “Русь, куда ж несёшься ты?” — вопрошал Гоголь, сумевший ещё сколько лет назад уловить тот неистовый пыл, который скрыт за её неподвижным обликом. Теперь мы знаем, куда она спешила, и более того, мы знаем, что, по образу и подобию наций с имперской судьбой, ей больше всего не терпится решать проблемы других народов, вместо того, чтобы заняться своими» (*Cioran*, «Histoire et utopie. La Russie et le virus de la liberté»).

Удивительна душа вещей, терпение, с которым они дожидаются вас там, где вы их оставили лежать. Но иногда терпение иссякает, вещи падают, ломаются, разрушаются или просто деваются куда-то.

Известность NN — лучшая, какую можно вообразить: известность настоящего писателя в узком кругу неразговорчивых ценителей. Когда NN умрёт, журналисты спохватятся, но будет поздно, невозможно будет брать у него интервью, чтобы печатать в искалеченном виде, невозможно строчить о нём чепуху в газетах, чтобы завтра же о нём позабыть, невозможно перемолоть его на жерновах массовой печати и телевидения, чтобы сыпать затем в мусорное ведро. Он ускользнул и остался тем, кем был.

Не следует путать цель со смыслом. Можно упорно преследовать некую цель — и трудиться бессмысленно, жить бессмысленно и умереть бессмысленно.

*Плóхопись.* Считалось, — вот так открытие! — что хороший писатель тот, кто хорошо пишет. Кто пишет так, чтобы мыслям было просторно, словам тесно. Но возникло предположение, что писать хорошо необязательно. Да и что это вообще означает — писать хорошо? Можно быть писателем, даже не зная как следует родной язык. Странная черта поколения, где всё-таки немало по-своему одарённых людей.



Борьба с чистотой языка: сознательная у критиков, полусознательная у писателей, бессознательная у читателей.

Язык, говоришь ты...

Набоков, при всей его любви к позе, всё же не кокетничал, сказав, что его язык — замороженная клубника. Писатель-эмигрант живёт в иноязычной среде. Оттого он тяготеет к консервации привезённого языка. Волей-неволей он становится пуристом, и его читатели (если у таких писателей вообще находятся читатели) получают от него пищу из банок. Ему кажется, что на родине его родной язык, который там не хранится, как у него, в холодильнике, — портится, разлагается, вульгаризуется, опошляется. Так было со старой эмиграцией. Происходит ли то же и с новой?

История России в XX веке — пример до слёз удручающей бесплодности жертв и усилий. Что осталось? То, что противостояло истории, сопротивлялось ей: дух, искусство, литература. Это уже кое-что. Осталась сама страна — тоже немало.

Писать о войне, — пусть даже в виде пролога, — не быв на войне?

Мне нужны были «интимная посвящённость и характерная деталь», как говорит Томас Манн в одном письме к Адорно, в связи с «Фаустусом»; нужно было получить реальное, до мелочей, представление о том, что происходило в открытом море в снежную ночь января 1945 года. («К северу от будущего».)

Утром в каютах и рубках, в помещениях для раненых и родильниц, на всех палубах, где сидели и лежали вповалку полузамёрзшие пассажиры (в день гибели температура воздуха минус 18°, ветер до семи баллов), радио транслирует речь Гитлера: «Сегодня, двенадцать лет тому назад, в исторический день 30 января 1933 года, провидение вручило мне судьбу немецкого народа».

С маршрутом не все ясно, я предполагал, что «Густлофф» направлялся в Свинемюнде; по другим сведениям, корабль шел в Киль или Фленсбург. В открытом море его должны были сопровождать три сторожевых судна, но они отстали. С наступлением темноты капитан Петерсен распорядился не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. Маринеско совершил обходный манёвр и зашёл с левой, береговой стороны, прежде чем атаковать. Последняя из трёх выпущенных торпед разрушила машинное отделение корабля, электричество погасло, и всё остальное происходило впотьмах.

Спасательные суда смогли увезти 900 человек, другие источники называют цифру 1200. На рассвете немецкий патрульный катер VP-1703 обнаружил на месте гибели, среди всплывших трупов и обломков корабля, шлюпку с двумя мёртвыми женщинами и годовалым ребёнком. Мальчик был жив, его усыновил матрос катера.

Я почувствовал, — хотя это был всего лишь пролог, — что война с Германией вновь преследует меня. Уехав (сорок лет спустя) из России, поселившись в стране, которая тогда, на рассвете самого длинного дня 1941 года, двинула трёхмиллионное войско на Советский Союз, я научился читать летопись этой войны не одним, а двумя глазами, оценивать её историю не только с одной единственной точки зрения, видеть войну не совсем так, как её видят в России.

Моё понимание войны было пониманием человека, живущего полвека спустя, человека, который бродит на пепелище, успевшем зарастить травой. Я всегда думал, что никто так мало способен разобраться в своём времени, как тот, кто в нём живёт. Мы, конечно же, не умней и не проницательней наших отцов, но у нас есть то преимущество (если это — преимущество), что мы пришли позже. Оглядка на военное прошлое, с какой приступил я к писанию, по необходимости отличалась от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан.

Сколько раз мы уверяли себя, что традиционный повествовательный принцип исчерпал себя. Невидимый и всевидящий, читающий во всех сердцах повествователь испустил дух. И, однако, я употребляю это слово «рассказ», так как был вынужден к нему возвратиться.

Спустя некоторое время я уже мог сказать о моих персонажах примерно то же, что говорил Ибсен о героях своих пьес: что видит их до последней пуговицы на куртке. Мои герои сделались для меня реальнее некогда живших молодых людей. Необходимая иллюзия романиста.

Я часто думаю о прошлом — это несчастье и привилегия старости. Но так как я занимаюсь писательством или, по крайней мере, внушаю себе, что я писатель, то мои воспоминания, весьма живые и подробные, превращаются в материал для литературы. Отсюда следует, что если я, например, обращаюсь к послевоенным временам, к Московскому университету и т.д., то получается нечто такое, что может вызвать протест у живого свидетеля и участника той жизни. Он скажет: всё было совсем не так! Химический процесс, пышно именуемый творчеством, денатурировал действительность.

*Мотив любви* в репрессивном обществе, куда, как в ворота концлагеря, вступили эти юнцы. Есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе, подобно тому, как подозрительно любое проявление независимости; при этом «низ» репрессирован с особой жестокостью. Нравственность носит полицейские черты, ханжество свирепеет; секс в этом обществе есть вторая крамола. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым дышат, входит в плоть и кровь, так воспитываются и становятся непреодолимыми стыд и скованность, пуританские нравы, какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговорённостей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, неназываемых предметов. Всё это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода.

В идеальном согласии с древней мифологией верха и низа (верхняя половина тела — местонахождение возвышенных начал, «низ» низменен; герой может умереть от раны в голову, от лёгочного туберкулёза или от разрыва сердца, но не от дизентерии или рака прямой кишки) персонажи этого искусства могли влюбляться, страдать или возбуждать ответное чувство, но спать в одной постели — упаси Бог.

Существуют работы о самодеятельной графике на стенах общественных зданий (sgraffiti), но, кажется, никому ещё не приходило в голову исследовать надписи и рисунки в отхожих местах. Никто не догадался собирать эти памятники традиционного народного творчества, а между тем заборная письменность с её жанрами представляла собой некое дополнение к высоконравственной официальной литературе и графике. Скажем так: это было её бессознательное. Потому что эстетика социалистического реализма не сводима к идеологии; её тайная психологическая подоплёка — порнографическое воображение.

Я пытался передать то особое чувство молодости, почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует — как не существует тайной полиции, доноительства, страха и нищеты.

Это поле не могло не вступить в противоречие с другим электромагнитным полем. Если бы объявился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физической), он пришёл бы к выводу, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но такого поля не было. Поле Вождя исключало присутствие каких-либо иных конкурирующих воздействий, истерическое поклонение Во-

ждю-Вседержителю, повсеместное присутствие Вождя не был просто метафорой. Надо было жить в то время, чтобы почувствовать реальность этого поля. И надо было сызнова вспомнить, как жестоко насмеялась жизнь над всеми нами.

Император Александр I, в темноте объезжающий посты, спрашивает: «Les hussards de Pavlograd?» Это подается без иронии. Это естественно. И все русские военачальники, воюющие с французами, у Толстого говорят друг с другом по-французски. Но и сражаясь с немцами, мы пользовались немецкими военными терминами, офицеры носили немецкие военные звания, полководцы пользовались достижениями немецкой стратегии и военной науки.

Органная музыка. Распахиваются скрипучие врата. Боги играют на огромных гармониях.

Une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine, знаменитый кусочек размокшего в чаю бисквита. Непроизвольная память Пруста. Для меня такую роль играют мелодии. Стоит только вспомнить какую-нибудь. Стоит простенькому мотиву, самому, без моей воли, всплыть в сознании, — а я отлично могу слышать музыку мысленно, поющий в мозгу инструмент или целый оркестр, — как встаёт целая картина, сцена прошлого. Лица, обстановка, время. И странное чувство одновременного присутствия другой памяти, внешней по отношению к воспоминанию: памяти о том, что было *потом*, знание будущего, которое теперь уже — прошлое. Этот процесс повторяется то и дело, этот механизм работает, пожалуй, тем безотказнее, чем глубже я вживаюсь в старость.

Найти в прошлом то, что привело к настоящему; найти причины настоящего — но не его оправдание.

Si on parvenait à être *conscient* des organes, des *tous* les organes, on aurait une expérience et une vision absolue de son propre corps, lequel serait si présent à la conscience qu'il ne pourrait plus exécuter les obligations auxquelles il est astreint: il deviendrait lui-même conscience, et ce serait ainsi de jouer son rôle de corps. *E.M. Cioran. Écartèlement* (1979).

(«Если бы нам удалось *сознавать* свои органы, *все* органы, мы обрели бы абсолютный опыт и абсолютное видение собственного тела, и оно стало бы для сознания таким реальным, что уже не могло бы исполнять обязанности, навязанные ему: тело само превратилось бы в сознание, которое играло бы роль тела». *Чоран, «Четвертование»*.)

*Denke daran, daß morgen heute gestern ist.* Петер Вейс, автор известной пьесы «Марат — Сад» и огромного нечитаемого романа «Эстетика сопротивления». Попробуйте-ка перевести его изречение. «Помни о том, что сегодняшний день завтра станет вчерашним». Смысл, может быть, и сохранён, зато лаконизм и забавная словесная конструкция пропали.

Похоже на наши старые латинские загадки. Эпитафия: *Tu eram ego eris.* Сперва кажется — грамматическая нелепость, а на самом деле просто: «Я был тобою, ты будешь мною».

Я получаю по электронной почте письма по-латыни от Н.К. (вместе учились в университете), отвечаю ей на том же языке или, по крайней мере, стараюсь отвечать, и делаю ошибку: английское компьютерное attachment надо переводить *appendix*, а не *adnexio*.

Профессор Борг в «Земляничной поляне» Бергмана («Wilde Erdbeeren») живёт в настоящем времени, как сидящий за рулём следит за дорогой, но думает совсем не о том, что несётся ему навстречу. В моём романе «Нагльфар...» была старуха, которую считали сумасшедшей, отчасти так оно и было, но она обладала способностью жить в разных временах. Там говорится, что это привилегия старости.

После выпуска последних известий на экране телевизора появляется бог грома и молнии. Прогноз погоды: бог сообщает о своём решении. На завтра намечена буря — ураган и град.

Посмотрим, сказал слепой. (*Mal sehen, sagte der Blinde.*)

Нельзя иметь всё что захочешь, сказал обезглавленный. (*Man kann nicht alles haben, sagte der Entköpfte.*)

Чтобы социализовать умственно неполноценных людей, устраиваются лечебные мастерские: слабоумные клеют картонные коробки и т.п., обнаруживая при этом исключительную старательность.

Чтобы дать работу садистам, создана тайная полиция: следственные управления, тюрьмы, подвалы и пр., изобретается героическая мифология бдительности, «государственная безопасность», борьба с фантомными врагами и так далее.

Социальный аспект советской литературы. Организованная литература превращает писателей в особое сословие. Они не только изображали («отображали», тогдашний термин) выдуманную жизнь,

они сами отгородились от действительной жизни. «За далью даль», поэма Александра Твардовского, демонстрирующая поразительное незнание реальной жизни страны.

*Сборник «Как мы пишем».* Невозможно не подивиться тому, что читателей 1930 года, на пороге мёртвого времени, могло интересовать, как работает литератор, составляет ли он план работы, когда пишет — утром или по ночам, чем пишет, и проч. Ещё удивительней прямо или косвенно высказанная в каждом ответе уверенность писателей в том, что публика интересуется ими, ждёт их произведений, что у людей есть время и охота их читать.

*Сборник «Как мы пишем»:* любопытно всё же взглянуть, что осталось от мастеров.

Некоторых — Тихонова, Слонимского, Ник. Никитина, Чапыгина, Лавренёва — поглотило забвение. Другие — Ольга Форш, Вяч. Шишков — стали малочитаемыми авторами. Почти то же можно сказать о Вениамине Каверине, который пережил почти всех своих современников и друзей, сумел сохранить лицо, но остался автором одного произведения — «Двух капитанов». Юрия Либединского никто ни за какие коврижки не станет читать. Федин безнадежно испортил свою репутацию, но и без того ясно, что оценка была непомерно завышена. Евгений Замятин и Борис Пильняк, вычеркнутые из святцев, вернулись, но былой популярности уже не приобрели. К Алексею Толстому, отнюдь не забытому, ставшему малым классиком, установилось насторожённое отношение, и не зря. Устояли Виктор Шкловский и Юрий Тынянов. Звезда Михаила Зощенко не только не потускнела, но разгорелась ещё ярче. Белый — классик русской литературы. Горький остался тем, чем был.

Странная компания, чем-то напоминающая коммуналку тридцатых годов, где на кухне стояли рядом потерявшая всё, кроме титула, дворянка и перебравшаяся в город дочь пастуха. Пролетарский писатель Юрий Либединский, для которого культура началась позавчера, и рафинированный интеллигент, поэт-символист и теоретик символизма, московский мистик и антропософ Андрей Белый. Поразительно, какой резкий отблеск бросает на всех время, казавшееся прологом вечности, на самом деле до смешного недолговечное. Белый, которому остаётся жить немногим больше трёх лет, заключает рассказ о своих трудах и мытарствах надеждой, что «в 2000-м году, в будущем социалистическом государстве», творчество Белого будет признано «потомками тех, кто его осмеивает как глупо и пусто верещащий телеграфный столб».

Время порабощает писателя. Даже серьёзные литераторы, дети старой культуры, культивируют простоту, понимаемую как упрощение. Драматург Борис Лавренёв, который мог бы сказать о себе, как Филипп Филиппович Преображенский: я московский студент (окончил до революции юридический факультет), в 1930 году излагает своё новое кредо: «Когда мы пишем для театра и для читателя..., мы имеем дело с рядовой массой, состоящей из сотен тысяч людей, из которых девяносто процентов никогда не соприкасались с законом конструирования литературного слова... Я считаю, что язык пьесы должен быть не выше среднего языка. Он должен быть языком простым и не выходящим за пределы понимания рядового слушателя». Зощенко: «Писателю наших дней необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее количество людей понимало его произведения... Для этого нужно писать ясно... и со всевозможной простотой».

О, не смейтесь над Либединским и прочими. Эти нищие духом — кто они такие? И кто вы? Их потомки.

Каждое утро я проезжал мимо большого здания у начала Ленинского проспекта и читал лозунг: «Выше знамя социалистического соревнования за дальнейшее повышение качества».

Я старался понять, что это означает.

Некто держит знамя — полотнище на длинной палке. Эту палку надо поднять ещё выше. На самом деле, однако, речь не об этом; никакого знамени не существует. Речь идёт о социалистическом соревновании. Но в действительности никакого соревнования нет, просто кто-то где-то работает. Хотя качество этой работы высокое, его надо сделать ещё выше. Но добиться этого тем способом, который рекомендован, то есть поднимая знамя соревнования, невозможно, так как не существует ни знамени, ни соревнования.

Фраза, составленная грамматически правильно, напоминает сложный арифметический пример с дробями и многочленами. Ученик долго решает его — в итоге получается ноль.

Решающим шагом в расшифровке экзотических письменностей была догадка, что мы имеем дело не с орнаментом, а с письмом. *Vice versa*, изречение о знамени — не письмо, а орнамент. Украшение, узор; нечто практически нечитаемое.

Рядом висел другой лозунг: «Отличному качеству — рабочую гарантию». Эта фраза ещё загадочней. Попробуйте объяснить её ребёнку или перевести на иностранный язык. Ни одно из четырёх слов не имеет реального смысла.

Впрочем, осторожней. Некогда знаменитое изречение Сталина: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира возьмут дело сохранения мира в свои руки и доведут его до конца» — пример словесной конструкции, казалось бы, начисто лишённой содержания. Ан нет. На самом деле перед вами зашифрованное сообщение, тайный язык, вроде жаргона воров: к нему нужен ключ, каждое слово требует перевода. Кроме того, есть пустые знаки-слова, назначение которых — сбить с толку дешифровщика. Фраза Вождя означала: «Надо вооружаться».

В журнале «Мурзилка» существовала Умная Маша. Мама читала книжку, а Умная Маша рисовала. Мама читала: «Солнце село». Умная Маша рисовала кресло и Солнце — круглоголового дедушку, который сидит в кресле. Но солнце — понятие такое же конкретное, как и кресло. Солнце существует на самом деле. Задача политического языка — вытеснить действительность и образовавшуюся пустоту задрапировать словами, лишёнными смысла. В слова можно верить. Не говоря о том, что словами с успехом можно заштопать прохудившуюся веру. Из слов можно соорудить систему, говорит Мефистофель.

Denn eben, wo Begriffe fehlen,  
Da stellt das Wort zur rechten Zeit sich ein.  
Mit Worten läßt sich trefflich streiten,  
Mit Worten ein System bereiten.  
An Worte läßt sich trefflich glauben...

(*Пастернак*: Бессодержательную речь Всегда легко в слова облечь. Из голых слов, ярясь и споря, Возводят здания теорий. Словами вера лишь жива. Как можно отрицать слова?)

*Холодковский*: Прекрасно, но о том не надо так крушиться: Коль скоро недочёт в понятиях случится, Их можно словом заменить. Словами диспуты ведутся, Из слов системы создаются; Словам должны вы доверять: В словах нельзя ни йоты изменять).

Перевод Холодковского лучше, *честнее*.

Во время литературного диспута на тему: «С кем и за что мы будем драться в 1929 году?» Александр Фадеев сказал: «Мы, напостовцы, представляем такой литературный отряд, который хочет быть в современных условиях пролетарскими революционерами». То есть писатели и критики не собираются сидеть в редакции журнала «На посту», а хотят шагать в виде военного формирования — отряда. Этот отряд снова совершит революцию, и не какую-нибудь, а пролетарскую.



Цитата из «Платформы крестьянско-бедняцких писателей»:

«Целый ряд товарищей, проводивших правокулацкую линию, всё ещё не отказались от неё. Комфракция крестьянско-бедняцких писателей опирается на массовое движение сознательных деревенских низов. В условиях, когда к власти пришёл пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством, идеи могут быть только пролетарскими, крестьянско-бедняцкими и батрацкими. Спрашивается: как же можно в условиях господства пролетариата и беднейших слоёв крестьянства мириться с наступлением непролетарской и небедняцкой идеологии? Наш ответ один: смертельный бой!»

Надо представить себе, чем были в действительности крестьяне-бедняки тогдашней России, какова была их житуха. В какой мере их могла интересовать литература. Надо всё это представить, чтобы убедиться: перед нами клинический документ. Его составили душевнобольные люди. Но они не были больными. Просто термины и словосочетания, которыми они жонглировали, не имели реального содержания. Это были слова-пустышки, наподобие мнимых величин в математике, над которыми производятся операции по аналогии с действительными величинами.

Фантомные понятия вроде «гегемонии пролетариата», «литературы рабочего класса», постулаты идеологической выдержанности, выпрямления или искривления партийной линии и проч. завладели умами настолько, что взрослые и серьёзные люди готовы были месяцами спорить о том, как надлежит манипулировать этими словами.

Этот язык зародился в социалдемократических кружках 90-х годов, в густом папиросном дыму ночных собраний, где лысеющие молодые люди в стоячих воротничках и женщины в пенсне и кринолинах осипшими голосами пререкались о рабочем классе и капитале, вещах, о которых не имели ни малейшего представления.

## ***Кризис эротики***

### **1**

Молодой человек Юлиус влюблён в юную девушку; наступает момент, когда надо действовать, но он ничего не предпринимает, благоговая перед её невинностью. На другой день выясняется, что она недовольна, обижена тем, что Юлиус ею не овладел.

Мы пожимаем плечами, читая о скандале вокруг неслыханной откровенности романа Фридриха Шлегеля «Люцинда».

Процесс над Флобером, над Бодлером, над автором «Любовника леди Чаттерли» кажется недоразумением. С Джойса сняты наручники. Выпущен на свободу через 185 лет после смерти в психиатрическом заточении «божественный маркиз» де Сад. Книги Жоржа Батая признаны доброкачественной литературой, о них написаны солидные труды. Лишился пикантности апостол секса Генри Миллер, увяла Анаис Нин, о многочисленных подражателях нечего и говорить.

Выяснилось, что сочинять порнографическую литературу, вообще говоря, не так трудно. Сколько шума ещё совсем недавно надедал в русской эмиграции жалкий «Эдичка»! Такие романы можно печь, как олады.

## 2

Никакая прежняя эпоха не могла похвастать такой армией похабнейших писателей, лишив их одновременно ореола недозволенности; никакая эпоха не располагала такими возможностями тиражирования порнографических текстов, никакое общество не могло помыслить о таких масштабах коммерциализации секса. То, что ещё недавно могло казаться реакцией на ханжество предшествующей эпохи, восстанием против буржуазного или коммунистического лицемерия, стало рутинной массовой потребительской культуры. Приходится признать, что колоссальные усилия, потраченные в своё время на то, чтобы разрушить заборы, которые воздвигло ханжество, пропали даром. Оставшись без всего, растабурированная, раздетая догола эротика сбежала.

## 3

С художественной истиной дело обстоит совершенно так же, как с женщиной; довольно тривиальное уподобление. Природа истины такова, что ей подобает игра с покрывалом. Истина может поразить, лишь явившись полуодетой. Больше того, лишь до тех пор она и остаётся истиной. Подобно тому, как эротично не голое тело, а способы его сокрытия, прямая речь бьёт мимо цели. Это и есть та самая «не-правда правды», о которой говорит ставший модным в России Жак Деррида (в трактате «Шпоры»). И получается, что для того, чтобы восстановить таинственное очарование наготы, ничего другого не остаётся, как захлопнуть книжку.

Язык истины, уловить которую так же трудно, как поймать в невод русалку, единственно возможный язык, который нам придётся отыскивать заново,— откровенно-прикровенен. Это — язык чув-

ственный и философский, метафорически двусмысленный, бесстрашно-уклончивый, язык, который осциллирует, как луч между зеркалами, это речь об этом и одновременно о другом.

#### 4

Порнография девственно наивна. Порнография однозначна. Вот то, что противоречит природе романа, который не знает, чего хочет, допускает бесчисленное множество интерпретаций и, в конечном счёте, уходит, ускользает от всякой интерпретации. В этом состоит источник бесконечных недоразумений между романистом и его критиками и читателями, всегда склонными вкладывать в книгу неожиданный для его создателя и, что ещё важнее, один-единственный смысл. Автор порнографических произведений не имеет оснований жаловаться на непонимание: у него никогда не бывает недоразумений с читателем.

---

Когда-то я сочинил повесть-притчу о короле карликового государства, страна оккупирована вермахтом, издаются грозные указы, небольшое еврейское население королевства подлежит изоляции. Престарелый монарх выходит на улицу, украсив себя звездой Давида, и по его примеру все жители столицы надевают жёлтые звёзды. Вы спрашиваете меня: куда всё это делось? Персонажи моих прежних сочинений, король и другие, совершали поступки в духе некоторого высокого идеала. Этот идеал соединял противостояние злу, гуманизм и религиозность, хотя бы и не прокламируемую. Почему они исчезли с моих страниц? Вместо этого я позволил себе опубликовать роман, который начинается с поистине отталкивающей сцены: столица великой страны загажена ядовитым помётом неизвестно откуда налетевших, зловещих птиц. Птичий кал шлёпается с крыш, висит на зданиях и памятниках, течёт по улицам, отравляет воду и психику людей. Что означает эта пародия на гибель Содомы? Издёвку? Над кем?

Вы говорите о трагическом недуге современной литературы, в том числе русской, и даже в первую очередь русской; вы видите во мне представителя этой литературы или, лучше сказать, делаете из меня ближайшего козла отпущения.

На ваш вопрос, что стряслось с идеалами и куда подевалась «ценностей незыблемая скала», я бы ответил так: идеалы растворились в литературе. Король Клавдий в последней сцене «Гамлета» поднимает кубок, растворив в нём жемчужину из короны датский королей. Вот так

же растворились героин-идеалисты в современной литературе. Напрасно было бы их искать: их функции взяла на себя сама словесность. Видите ли, и смысл нашей работы (если она вообще имеет какой-то смысл), и ответственность писателя (если это слово ещё что-то значит) — все эти вещи приходится постоянно обдумывать заново.

Такая литература может казаться равнодушной к добру и злу, но это не значит, что ей на всё наплевать. Я полагаю, что большая литература не вовсе иссякла и в нашем веке — и не лишилась сознания того, что она излучает некую весть, благодать и мужественную. Может быть, эту весть не так легко расслышать, это великое Подразумеваемое не так просто угадать, ибо оно не артикулируется так, чтобы его можно было без труда вычлениить и распознать, не подставляет себя с охотой религиозным интерпретациям, оно, как я уже сказал, химически растворено в прозе. Чего, однако, современная литература в самом деле лишилась, невозвратно лишилась, так это веры в абсолютную ценность бытия, в благое божество, правящее миром.

Вы говорите об отказе от «вертикального измерения», о том, что искусство отвернулось от христианства; я отвечу, что искусство — это болезненный нерв эпохи, утратившей доверие к бытию. Вот то, что невозможно отрицать, и никакие увещевания здесь не помогут. Утрачено фундаментальное доверие к бытию, нет больше этой почти инстинктивной уверенности в том, что наш подопечен некоему благому началу. Невозможно и взывать к этому началу. Художник это знает — от такого знания невозможно убежать. Что он может ему противопоставить? Литературу, которая реабилитирует достоинство человека, только и всего, и она это делает — собственными средствами, создавая свой мир, не прибегая к проповеди, не пытаясь конструировать образцы поведения, чураясь какой бы то было идеологии — и не повторяя предшественников.

Похоже, найти своё оправдание литература может лишь в самой себе.

Представьте себе: вы просидели два года над неким сочинением. Вы хотели соединить опыт собственной жизни и опыт эпохи. Образы, созданные вашим воображением, обступили вас со всех сторон. Они преследовали вас днём и ночью. Вы раздумывали над каждой фразой, набирали на компьютере и гасили; иные главы были вами переписаны 15 или 20 раз. Вы ставили перед собой задачи высокой сложности. И вот приговор: *скуотища*. Одно слово, перечеркнувшее всю вашу работу.

Я оказался в помещении, где собрался народ, это были мои персонажи. Некоторых я забыл и чуть было не спросил: кто вы такие? Они осыпали меня упрёками, угрозами, хотели убить.

Тезей отправился в лабиринт. Ушёл, и нет его. Время идёт. Ариадна начала беспокоиться, в тревоге дёргает за нить. Наконец, он появляется. «Убил?» — «Кого?» — «Да Минотавра!» — «Представляешь: не нашёл. Искал, искал...»

Вопрос: можно ли сфотографировать галлюцинацию. Да, если галлюцинирует сам фотоаппарат; такая гипотеза пока ещё не опровергнута.

Ты торопишься, ты несёшься следом за человеком, боясь потерять его, тебе ужасно хочется, чтобы, сворачивая в переулок, он обернулся, и ты боишься, что он обернётся, боишься узнать его.

Человек с неразвитым вкусом не отличает хорошую фразу от плохой; человек с испорченным вкусом отличает — и предпочитает плохую.

Вечная история: мужчина ищет обладания, а женщина — владения. Превратить в собственность всё вокруг, начиная с возлюбленного. Брак закрепляет права собственности. На этом, вероятно, и стоит мир.

Женщиной моей жизни, вероятно, стала бы моя мать. Но она умерла, когда мне было 6 лет.

В конце концов её место заняла Л. — единственная и окончательная женщина моей жизни. Без неё я бы давно уже коротал вечность на том свете, в ожидании, когда, наконец, раздвинутся чугунные врата без вывески. Рай? Ад?.. Скорее всего, это одно и то же.

Я напечатал когда-то рецензию на книгу Дж. Глэда «Russia Abroad», о российской эмиграции всех веков; рецензия называлась «Отечество изгнанных», а надо бы назвать: «Изгнанное отечество».

Эмиграция — вот что это такое: изгнанное отечество.

Сколько бед принёсло в мир разрушение благородной лапидарности латинского языка. Катастрофа языка предвещает исторические катастрофы. Варвары не сокрушили бы Рим, если бы не упадок латыни. Надо бы задуматься над ролью языка, смены языков, умирания языков в истории. Об этом вещает персонаж повести «Плюсquamперфект».

«Конечно, сказал он, многие обстоятельства споспешествовали краху, так сказать, подтолкнули падающего (мы не знали, что наш учитель цитирует Ницше). Однако, — тут он вознес палец, вперился блекло-голубыми глазами в нашу малочисленную компанию и, открыв рот, умолк на минуту, — однако главная причина была упущена исторической наукой, какая же, по-вашему? Деградация языка! — возгласил он с торжеством. — Разрушение благородной лапидарности латинского языка, неумелое использование свободного порядка слов, многоглаголание, вычурность, дурновкусие! Варвары не сокрушили бы Рим, если бы не упадок латыни, утрата чистоты, энергии, сжатости классического стиля».

Если бы я принимал вступительные экзамены в каком-нибудь Литературном институте, то первым делом спрашивал бы: читал ли Переписку Флобера? Не читал? Приходи в следующем году.

Ранняя смерть русских писателей — не одна ли из причин поспешной, стремительной эволюции русской литературы в XIX веке?

Величайший соблазн, соблазнительное величие времени заключалось в том, что оно приглашало всех соучаствовать в грандиозном и головокружительном общем деле. Идея Общего дела опьянила всех. И ринулись делать это дело, не страшась жертв. И оно, это дело, этот хрустальный дворец, волшебное чудо-юдо, росло и росло, его невозможно было доделать, ширилось, раздувалось, набухая кровью, пока не треснуло снизу доверху. И остались стоять перед околевшим вампиром, точно очнулись от угара, те, кто уцелел, и поняли, наконец, что великое дело было пузырьрём, фантомом, мифом. Это был миф обанкротившейся Истории. Оставалось доживать собственную, никому не нужную жизнь...

Сатин: «Человек — это звучит гордо!» (*М.Горький*).

Сверху, из-за облаков показывается некто или нечто. Высунулся огромный кукиш.

Гипертрофия памяти — старческий недуг наподобие гипертрофии простаты. Умение преодолевать эту агрессию памяти — секрет молодости, её защитный механизм. Умение защищаться, собственно, и есть молодость. Ибо забвение — это активная жизненная сила. Так настоящее защищается от прошлого, будущее — от настоящего, которое стремительно превращается в прошлое. Забвение освобождает от этого тяжкого бремени, освобождает, очищает от воспоминаний, которые накапливаются с годами и, как известно, откладываются в мозгу.

Копоть памяти мешает смотреть в будущее. Наши окна покрываются копотью памяти. Горб памяти мешает распрямиться. Мы молоды, пока способны забывать. Потеря способности забывать, растущий с годами деспотизм памяти — вот оно, старение, приближение к смерти. Мы умираем, когда это бремя становится невыносимым. Прошлое погребает нас. Память давит могильной плитой.

Спору нет, современная русская литература глубоко провинциальна. Но на это можно было бы возразить, что и немецкая, и американская, и даже французская литература сегодня провинциальны. Может быть, это так и есть. Столичная литература осталась где-то в далёких веках. От Пушкина до нас расстояние как до Сатурна.

«Мы, цивилизации, знаем теперь, что мы смертны». Знаменитое эссе Поля Валери написано после Первой мировой войны. — А мы теперь знаем, что смертен человеческий род.

...и оказался лишним, как шестой палец или третья половинка зада.

Существует интерес исторический — и сверхисторический. Не стоит писать ради исторического интереса.

Надо жить так, чтобы над тобой развевалось некое знамя; надо жить со знаменем. Услышать зов валторны в Первом ф.-п. концерте Брамса. Не об «идеалах» речь идёт, а о мужестве сражаться с жизнью и одолевать невыносимую скуку жизни.

В мире, куда нас занесло, безоговорочная религиозность невозможна. С этим надо жить, с этим придётся умирать.

Решил посетить Гёльдерлина в Тюбингене, поднялся на его башню, отворил дверь. Тотчас он вскочил и бросился навстречу; я понял, что он хочет бежать, боролся с ним на пороге, наконец, удалось захлопнуть дверь. Подождав, я заглянул туда, поэт лежал на полу без признаков жизни.

Знаменитая фраза Стендаля: роман — зеркало, поставленное на большой дороге. Правильно; кривое зеркало.

«Oder glaubt man etwan, daß bei solchem Streben und unter solchem Getümmel, so nebenher auch die Wahrheit, auf die es dabei gar nicht abgesehen ist, zu Tage kommen wird? Die Wahrheit ist keine Hure, die sich denen auf den Hals wirft, welche ihrer nicht begehren; vielmehr ist sie eine so spröde Schöne, daß selbst wer ihr alles opfert, noch nicht ihrer Gunst gewiß sein darf». (*Arthur Schopenhauer*. Die Welt als Wille und Vorstellung, Vorrede zur zweiten Auflage 1844.)

(Или вы думаете, что в этой сутолоке тщеславия можно будет поймать за хвост истину, до которой никому всё равно нет дела? Истина — не уличная девка, готовая броситься на шею всякому, хочет он её или не хочет; истина — это неприступная красавица, и даже тот, кто всем ей пожертвовал, не может рассчитывать на её благосклонность. — *Предисловие Шопенгауэра ко 2-му изд.*.)

Как можно было заниматься литературой, чего-то добиваться, как можно было пытаться устроить жизнь, на что-то надеяться, чего-то ждать, воспитывать сына — в этой стране. Разве не ясно, что дело не в тебе, не во мне, кто бы я ни был, — не в чьей-либо отдельной судьбе, не в том, что повезло или не повезло, — а в том, что над этой страной тяготеет страшный сверхисторический рок, дело в особом, специальном несчастии родиться и жить в России.

Досадно, что жизнь подходит к концу; я не сделал многого и, вероятно, самого главного. Это, по-видимому, довольно распространённое чувство. Но не было, кажется, ещё писателя, который был бы до такой степени пропитан сознанием своей никому ненужности именно как писателя, да и ненужности литературы вообще. Я понимаю, что напрашиваюсь на возражения. Какие могут быть возражения...

Говорится о «сегодняшнем чувстве, что мы стоим на руинах разума, на краю развалин истории и самого человека» (С.Зонтаг). Говорится об усталости от истории. Справедливо; и лучшего примера, чем Эмиль Чоран, не найдёшь. Но Чоран — это тупик. Как это ни парадоксально, наступает усталость от чувства усталости. Чоран завершает линию Кьеркегора, дневников и писем Кафки. Приближается время новой объективности. Возникает необходимость в новом, пусть и лишённом всякого оптимизма и благодушия, синтезе действительности. Это и есть задача художественной прозы, утонувшей в безбрежном субъективизме. Выкарабкаться, вынырнуть из этого омута. Если нет — плохи наши дела.

Нужна новая объективность, которая вбирает в себя всё внутреннее пространство индивидуального, солипсического, законопаченного в черепной коробке. Нужна объективность, которая поставила бы под сомнение и чистую субъективность, и самую себя. *Нужно четвёртое лицо глагола.*

Бронзовый закат. Бронзовые стволы деревьев. Вселенная из бронзы, постепенно чернеющей.



Не могу вспомнить, кому принадлежит мысль, что мир — это сновидение без сновидца, — может быть, мне самому; но не в этом дело. Мысль-то, в сущности, очень старая.

Вот я всегда считал «Аквариум» неудачей. А тут как-то заглянул, и показалось, что кое-что в нём как раз и схвачено.

Это был мой первый опыт романа в эпизодах, «фрагментах» лишённой стержня, распавшейся жизни

Наша обязанность — не описывать жизнь. Наша обязанность — добиваться, чтобы читатель не думал, что ему рассказывают о жизни.

...plus grande est la solitude d'un artiste, dans son époque, plus vive et plus féconde est sa joie à se retrouver dans le passé des parents. (A. Gide, Journal 1927).

(Чем больше одиночество художника в своём времени, тем сильнее и плодотворней его радость, когда он находит близких себе в прошлом. — Дневник Андре Жида.)

Два условия необходимы, чтобы хорошо и со вкусом чесаться: 1) три недели не мыться и 2) иметь качественные когти.

То же, *mutatis mutandis*, относится к писательству.

Двадцать первого октября этого года — сознательно ставлю дату, настаиваю на точности, — я был свидетелем следующего происшествия. В последнюю минуту перед отправлением (я сидел в вагоне) на перрон подземной станции, в этот час уже безлюдной, выбежал человек, попытался вскочить в вагон, рука с портфелем застряла в дверях — он отдернул руку — вероятно, испугался, что поезд потащит его за собой, — автоматические двери захлопнулись, он остался на перроне, что-то кричал и махал руками. Поезд шёл по маршруту, время, как уже сказано, было позднее, два-три пассажира дремали в другом конце вагона, за стёклами пошатывалось моё отражение, мелькали огни туннеля, портфель лежал на полу перед дверью. Я вышел на ближайшей станции, долго ждал следующего поезда, вероятно, последнего, поезд подошел, никто не вышел. Искать бюро находок уже не имело смысла, спросить не у кого.

Толстая пачка пустой бумаги, рукопись ненаписанного романа «Вчерашняя вечность». Значит, это был я?

В Москве, на здании главного управления тайной полиции, по распоряжению президента установлена мемориальная доска в честь дорогого учителя — министра государственной безопасности. Здание охраняется, и нет возможности забросать дерьмом эту скрижаль.

Моему сыну понадобилась заверенная копия метрического свидетельства, которое он потерял; по этому случаю мы явились в российское консульство. Я давно уже там не был. Чёрные стёкла, за которыми сидели чиновники (тебя видят, ты никого не видишь), заменены обыкновенными. В остальном ничего не изменилось; приемная битком набита людьми. Смирные деревенские бабушки в платках, очевидно, родственницы приехавших на работу в Германии, мордатые мужики, подобострастные, приниженные просители и просительницы: кто протискивается с бумагой к окошку, кто тулится за тесным столом, заполняет чудовищную анкету, ещё кто-то (сам видел двух таких) стоит за получением справки о том, что *он жив*. Островок отечества.

Чувство безнадёжной несовместимости. Университет и классическое отделение, Герцен и Огарёв — а в пятнадцати минутах ходьбы цитадель с железными воротами, подвалами, боксами-отстойниками, переполненными камерами, прогулочными дворами на крышах и кабинетами, где сидели люди, которые вчера слезли с деревьев. В лагере девять десятых обитателей едва умели расписаться, немногим образованней было и начальство. Много лет спустя я жил в Чертанове, сидел в уютной комнате за письменным столом и сочинял что-то высокоумное, цитировал Платона и Паскаля, а на лугу, превращённом в пустырь, перед бакалейным магазином, среди старых ящиков и лохмотьев обёрточной бумаги спал упившийся безногий инвалид на тележке, колёсиками вверх. Как это всё может сочетаться? Странная культура, похожая на кирпичи, по которым пробираются через лужи и разливы экскрементов.

«Я чувствую, что меня делает история» (Тынянов, со слов Л.Я.Гинзбург). А я чувствую, как меня корёжит история.

Жалкая писклявая флейта — жизнь отдельного человека — заглушается рёвом громбонов, ударами литавр. Сравнение с симфоническим оркестром как будто предполагает гармоническое со-звучие, но где тот композитор, который соединит солирующую флейту с оркестром. И этот человек должен взвалить на себя бремя истории?

Я спрашиваю себя, чьими глазами обзревается романский мир, и не могу дать однозначный ответ, так как единого повествователя нет. Если считать, что роман представляет собой жизнеописание главного героя, начиная с детства и кончая старостью, то он выступает по крайней мере в трёх лицах: некто живущий и совершающий поступки, некто вспоминающий о своей жизни и некто сочиняющий роман «по материалам» этой жизни.

Наконец, можно угадать и присутствие некоей сторонней инстанции, род сверхавтора; иногда он почти отождествляет себя с героем, иногда — существует сам по себе.

Отсюда следует, что грань прошлого и настоящего иллюзорна, подобно границе между реальностью и сновидением, и то же можно сказать о «субъективном» и «объективном» повествовании. Я отдаю себе отчёт в том, что наложение разных систем координат друг на друга затрудняет чтение и понимание книги. Я пишу не для читателей, а для *читателя*.

Это была полночь. Прошли долгие часы, брезжит рассвет. В серой мгле проступают поля чёрного праха, обгорелые пни.

Это был лесной пожар. (Я был свидетель такого пожара в лагере.) Перед лицом только что догоревшего века человечество — как муравейник на опушке леса. Жаркий ветер пожара обжигает всех и каждого. Ветер вздымает крылья Нового ангела Клее. По Беньямину, это ветер из рая. *Das, was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.* («Этот ветер и есть то, что мы называем прогрессом».)

В этом веке понимание истории сделало огромный шаг. Рухнули всеобъемлющие историсофские концепции. Радикальному сомнению и осмеянию подверглось то, что называли историческим разумом. Промысел и Абсурд: выяснилось, что это одно и то же.

Говорить о том, что герой романа противостоит абсурду, смешно: мутный поток истории сбивает его с ног. Повествование прыгает по камням, в надежде перебраться на другой берег. Этот роман порождён отчаянием. Тем не менее я прихожу к выводу, что герой ищет целостности и оправдания. Сказано: «Лишь историография творит историю». Он не историк — куда там. Но он стремится восстановить целостность своей разломанной жизни и цельность калейдоскопической истории. Он надеется вернуть ценность своему сугубо частному существованию и найти оправдание злодейской истории. Это *обретение утраченного смысла* есть не что иное, как литература. Могут ли увенчаться успехом эти попытки? That's the question.

Ночью читал вступительную статью С.Г. Бочарова в четырёхтомнике Ходасевича и задержался на странице, где говорится, что поэт *высох* (его слово) как поэт после «Европейской ночи». Сделана попытка найти объяснение, почему он перестал писать стихи. Разрыв, зазор между высотой задания и недостаточностью подъёмной силы. Шаткость философской опоры. «Демииургическая власть творца» при недостатке философской веры в своё задание и призвание обращается в злую противоположность, власть разрушать.

Это в какой-то мере обо мне. Эти строки пишет человек с разрушенным мировоззрением.

ВЕТЕР ИЗГНАНИЯ



## Жабры и лёгкие языка

**М**ежду Чистыми прудами и Садовым кольцом, в переулке, хранящем запах старой Москвы, какой она была в начале нашего невероятно длинного века, стоит диковинное полувосточное сооружение, в котором гений архитектора спорит с безвкусицей взбалмошного заказчика; до времён нашего детства дожила легенда о том, что потомок татарских мурз проиграл свой дворец в карты. Должно быть, это было уже после того, как князь убил святого старца Распутина. Вскоре начались известные события, новый владелец палат бежал вслед за старым. Дворец остался. Несколько старых клёнов простёрли свои ветки над переулком, и каждый год расточительная осень устилает жёлтыми клеёнчатыми листьями тротуар и лужайку за чугунной оградой.

Мир ребёнка не тесней, а просторнее мира взрослых; вопреки известной теории, мы живём в сужающейся вселенной; в день паломничества к местам детства, в одно ужасное утро, находишь сморщенный и замшелый город, лабиринт тесных улочек там, где некогда жилось так привольно. Жалкий дворик за чугунным узором ограды назывался в те времена Юсуповским садом. Там бродили, шуруша листьями, ковырялись в земле и прыгали на одной ножке вверх по широкой каменной лестнице, и когда возвращались парами, держась за руки, шествие возглавляла высокая белокурая дама по имени Эрна Эдуардовна, обладавшая отличным слухом. Время от времени она оглядывалась, и тот, кто всё ещё болтал с соседом по-русски, знал, что его ждут неприятности.

В большой комнате у Эрны Эдуардовны, за круглым столом пили чай из больших чашек и роняли на скатерть куски бутерброда, рисовали цветными карандашами что кому вздумается и по очереди излагали содержание рисунка на языке, который странным образом не давался только одному мальчику, — это был сын Эрны Эдуардовны. Года через два настало время идти в школу, и гулянья в саду прекратились; немецкий язык быстро испарился, осталась память о лёгком дыхании незвонкой гортанной речи; этот язык не был казнью, в отличие от игры на скрипке, мучеником которой я был пять лет, но и со скрипкой было покончено, когда призрак туберкулёза посеял панику в сердцах моих родителей, побудив их сослать меня в лесную школу. Между тем на западе клубились тучи, близость большой войны не была тайной, и всё же вой-

на разразилась в день, когда её никто не ждал. На улицах гремела музыка. В первые недели, может быть, в первые дни Эрна Эдуардовна исчезла, пропал без вести Эрик, самый стойкий патриот русского языка среди всех детей группы, ибо он так и не научился немецкому. То, что он был сыном не только тевтонской матери, но и еврейского отца, к тому времени умершего всё от того же туберкулёза, не спасло Эрика от пожизненного изгнания; много позже из тёмных слухов узнали, что оба были вывезены в Казахстан.

Дела шли всё хуже, мой отец, записавшийся добровольцем в народное ополчение, отправился на фронт, где это скороспелое войско вместе с регулярной армией угодило в огромный котёл между Вязмой и Смоленском. Немало времени протекло, прежде чем мы получили известие от отца: он был одним из немногих, кому удалось выйти из окружения. Никто не знал о том, что красноармейцы миллионами сдаются в плен, и можно было только догадываться, что немцы уже совсем близко.

Мне было четырнадцать лет, и мы жили за тысячу километров от нашего дома, переулка и Юсуповского дворца, когда под влиянием внезапной идеи, не имевшей ничего общего с войной, — при том, что фронт придвинулся к Сталинграду, — я надумал учить заново этот язык, написал письмо в Москву на заочные курсы и получил первое задание. Я ходил в сельскую школу, где тоже учили немецкий, не хуже и лучше, чем во всех школах, и довольно быстро обогнал своих одноклассников; учитель, литовский еврей, в молодости бывавший в Европе, приглашал меня к себе домой и говорил со мной на священном языке Клопштока и Гёте. Ко времени, когда мы вернулись в Москву, я сносно читал по-немецки и мог бы, вероятно, более или менее прилично объясняться, если бы мне разрешили войти во двор поблизости от почтамта, где работали пленные. Парень постарше меня, вернувшийся с фронта и работавший, как и я, сортировщиком на почтамте, называл меня Генрихом по причине, которую я не могу припомнить. Наступило изумительное время, война кончилась. Никто никогда не поймёт, что значили эти слова. В булочных продавцы наклеивали на газетный лист крошечные квадратики хлебных карточек, а букинистические магазины ломались от награбленных книг. Я выпросил у приятеля почитать «Фауста», пожухлый томик, изданный в Штутгарте в начале века, и с тех пор никогда его не возвращал. С ним я шатался по городу и, засыпая, запихивал его под подушку. В единственной на всю столицу маленькой библиотеке иностранной литературы, которую посещали интеллигентные старушки, читательницы французских романов, я взял «Книгу песен» Гейне и вернулся с ней через девять месяцев. Библиотекарша показала пальцем на соседнюю комнату,

где мне надлежало уплатить астрономический штраф. Я вышел в другую дверь и сбежал — разумеется, вместе с книгой. Осенью я поступил в университет и блеснул перед профессором античной литературы тем, что продекламировал знаменитое начало Пролога на небесах, где говорится о пифагоровой музыке сфер. А ко дню рождения дядя преподнёс мне двухтомный трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» в синих переплётках с серебряным тиснением.

Я забыл язык, ибо это была уже не та немецкая речь, на которой мы беспечно болтали за столом у Эрны Эдуардовны и от которой осталось лишь лёгкое дуновение. Это был не тот язык, что рождается заново с каждым ребёнком, когда он начинает лепетать, язык, в котором звук и образ, мысль и движения губ невозможно разъединить, потому что они представляют собой изначально целое и кажется странным, что вещи могут называться иначе и желание может выразить себя посредством других фонем. Язык живёт нераздельно во всех своих проявлениях, как тело со своими конечностями, язык пронизывает наше существо до той неуловимой границы, где действительность превращается в сон, дневной мир соприкасается с ночным; язык просачивается в бессознательное, и более того, мы вправе сказать, что язык реформирует нашу психику, ибо он существует до своих собственных проявлений, до членораздельной речи, до артикуляции, до мыслиеизъявления и рефлексии. Язык — это ровесник души. Или, если угодно, — её царственный супруг.

И вот в этот брачный союз, не терпящий посторонних, вторгается соблазнитель, и на ваших глазах, на глазах испуганной и заворожённой души происходит что-то вроде дуэли на шпагах, совершается адюльтер. Кажется, что немецкий язык наделён качеством агрессии и совращения: мужиковатый Дон-Жуан в окружении славянок, достаточно неотёсанный, чтобы предварительно получить отпор на западе от Марианны, но тем более удачливый, когда он имеет дело с душой русского языка.

Мужская природа немецкого языка проявляет себя в жёсткости его конструкций, в строгом порядке слов, этом наказании для новичка, в архитектурной грамматике, которая обходится сравнительно небольшим числом исключений и примиряет иностранца с его горькой участью. Мужская напористость этого языка сконцентрирована в его энергоносителях — бесконечно богатых и многообразных частицах, которыми обрастает глагол, но которые могут вести самостоятельное существование, ползать по фразе, сцепляться, разъединяться, становиться наречиями, могут звучать как приказы и заменять целые предложения. Ни в одном известном мне языке нет подобного арсенала частиц, с поразительной точностью выражающих направление



движения, частиц, как бы оснащающих фразу остриём и язык — крыльями. Но этот язык, умеющий быть грозно-лаконичным, язык коротких команд и стуссков энергии, машет своими крыльями, ползая по земле; воистину непостижим подвиг германских поэтов, сумевших поднять в воздух эту махину.

Мужская тяжеловесность немецкого языка проявляет себя в громоздких глагольных формах, в торжественном поезде инфинитивов, следующих, как за локомотивом, после модального глагола или глагола в сослагательном наклонении; мужское тяжелодумие языка выражается в хитроумном словообразовании, бесконечно расширяющем лексику, в пристрастии к длинным, как макароны, словам, над которыми посмеивался Марк Твен; это тяжелодумие сказывается и в неколебимой серьёзности его юмора, и в той особой, неподражаемой обстоятельности, которая делает этот язык почти не способным к эллиптическому построению фразы. Перевод русской речи на немецкий язык напоминает танец легконогой красавицы с неуклюжим полковником, который топчет сапогами и трясёт большой головой, в то время как она порхает вокруг него. Пересказанный по-немецки, русский текст удлинняется на одну пятую, на одну четверть. Мужская дисциплина немецкого языка, столь непохожая на капризно-текучую женственность русского, требует грубой словесной материи, тяжеловесных языковых масс, чтобы ворочать ими и умирять их. И, наконец, мужской дар абстракции, средневековый реализм, вошедший в плоть языка и растворённый в его лимфе, почти безграничная способность к субстантивации всех языковых элементов, всё ещё не законченное, всё ещё продолжающееся сотворение новых и новых отвлечённых понятий, в котором немецкий язык приглашает участвовать и вас, — так же хорошо известны, как и злоупотребление этими дарами; нет нужды распространяться о них.

Но до тех пор, пока вас не окунули с головой в эту вязкую стихию, пока чужой язык не залил ваши лёгкие, до тех пор, пока он не посягает на ваш ум, вашу душу, ваш пол, ваши сны, ваши обмолвки, — отношение к нему сохраняет музейную благоговейность: так созерцают природный заповедник, который не может грозить стихийным бедствием. Так язык остаётся заповедным, покада это язык кристаллизованной культуры. По крайней мере таково ощущение человека, знавшего за свою жизнь считанное число живых носителей языка: тот, кто вырос в наглухо законопаченной стране, только и мог общаться с миром священных надгробий. Настал день, когда я вылез из самолёта, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал — и это было всё равно как если бы они были начертаны на древней умершей латыни. Как если бы мы очутились в Риме Верги-

лия! Конвейер подтащил к нам три полуразрушенных чемодана, постыдное имущество беглецов, кругом кучки людей переговаривались, не обращая на нас никакого внимания.

Это была aurea latinitas, золотая латынь! Или хотя бы серебряная. Это был немецкий язык, иератическая речь, невозможная в быту, недопустимая для профанного употребления, и, однако, она звучала здесь как нечто принадлежащее всем, не имеющее ценности, словно воздух; немецкая речь, которую живая небрежность произношения, беззаботная фонетика, народный акцент делали почти неузнаваемой.

Итак, планеты выстроились в два ряда, и начало жизни повторилось полвека спустя. В два ряда, взявшись за руки, полагалось шагать за Эрной Эдуардовной, но один мальчик сгинул в Средней Азии, а для другого лёгкая речь детства стала языком изгнания. Будем откровенны, это надменный язык; и он не признаёт никаких заслуг. Ветхий старец, учивший меня другой премудрости, — мы сидели в его каморке под самой крышей старого дома на Преображенке, на мне был бархатный берет, опустошённый молью, и учитель говорил, что запрет читать Пятикнижие с непокрытой головой есть всего лишь модернистское нововведение, ему не более тысячи лет, — старик этот рассказывал о неслыханном оскорблении, нанесённом его брату. Тринадцать поколений их рода подарили своему народу тридцать учёных знатоков Талмуда и священного языка. На девятом десятке жизни рабби прибыл в Иерусалим, вышел на улицу и задал вопрос босому мальчишке, на что тот презрительно отвечивал: «Сава (дедушка), ты плохо говоришь на иврите!» Итак, приготовьтесь заранее к унижениям, которым подвергнется в этой стране ваша учёность.

Эмиграция начинается, когда мираж небесного Иерусалима исчезает в сутолоке земного Иерусалима, когда сопляк поправляет ваши глагольные формы, когда филология поднимает руки перед жизнью. Эмиграция — это жизнь в стихии другого языка, который обступает тебя со всех сторон, грозит штрафом за незаконный проезд, зовёт к телефону, талдычит в светящемся экране, языка, который высовывает язык и смеётся над тобой в маске неудобопонятного диалекта, чтобы вдруг, сорвав личину, показать, что это — он, всё тот же, чужой и не совсем чужой, свой и не свой; языка, который зовёт к себе, в неверные объятия, между тем как родная речь, старая и преданная жена, смотрит на тебя с укоризной и пожимает плечами. Эмиграция, плаванье в океане, всё дальше от берега, так что мало помалу покрываешься серебристой чешуёй, с залитыми водой лёгкими, с незаметно выросшими жабрами; эмиграция, превращение в земноводное, которое в состоянии ещё двигаться по земле, но уже мечтает о том, как бы скорей окунуться в воду...

## Ветер изгнания

*Leb die Leben, leb sie alle,  
halt die Träume auseinander,  
sieh, ich steige, sieh, ich falle,  
bin ein anderer, bin kein anderer.*

P.Celan. Aus dem Nachlaß<sup>1</sup>

### I

С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература. Основоположителем русского литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия изгнанной литературы много старше. Поистине у литературного эмигранта есть право гордиться древностью своей участи. Черета предков за его спиной уходит в необразимую даль. На берегу Понта его тень греется у огня рядом с Назоном. Вместе с Данте в чужой Равенне не он ли испытывал злобную радость, заталкивая папу Бонифация в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Александр Герцен покоится на кладбище в Ницце за три тысячи вёрст от Москвы. Немецкий поэт Карл Вольфскель писал из Новой Зеландии друзьям: «Сюда-то уж они не доберутся». Он лежит на окраине Окленда, под камнем с надписью *Exsul poeta*, «поэт-изгнанник». На могиле Иосифа Бродского, на острове-погосте Сан-Микеле в Венецианской лагуне написано только имя.

Ура, мы свободны!

«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключённый, как больной. Темна твоя дорога, странник. Польнью пахнет хлеб чужой». Это реминисценция Данте, это у него сказано о горьком хлебе чужбины (*lo pane altrui*). Предполагается, что дома хлеб сладок. Как бы не так. Ахматова не могла признаться себе, что она эмигрант в собственном отечестве.

### II

Слово *exsilium*, изгнание, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века и спустя два тысячелетия означает всё то же. Изгнать значит прогнать насовсем, чтобы духу твоего не было. Изгнанный умирает для тех, кто остался и самим этим фактом как бы приложил руку к его изгнанию. Так было со всеми; и с нами, разумеется. Между тем мы не умерли. Прошли годы, кое-что изменилось, и о нас вспом-

---

<sup>1</sup> Живи все жизни, не смешивай сны. Смотри: я поднимаюсь, смотри, я падаю. Я — другой, я тот же. (*Пауль Целан*, из посмертного.)

нили на бывшей родине, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беглецы и беженцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон, дорога «домой» открыта.

Но изгнание — это пожизненное клеймо, бывают такие неустрашимые стигматы. Изгнание, если угодно, — экзистенциальная категория. Можно объявить его недействительным, сделать его нереальным невозможно.

Византийская поговорка гласит: когда волк состарился, он издаёт законы. Разве мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажется нам прежний оскал.

Мы жили в век полицейской цивилизации. Её памятники обступают каждого, кто приезжает в Москву; только ли памятники? Но даже если бы их больше не было в помине. Даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная хранилища коррупции, дикости, привычного измывательства и произвола, — возвращение оказалось бы для изгнанника новой эмиграцией. С него хватит одной.

### III

Разумеется, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он уехал. Родина, как лицо умершей женщины на фотографии, стоит перед его глазами, какой он видел её в последний раз. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она жива, и снова замужем, и рождает детей, и даже чего-то достигла в жизни.

Всё его существо — сознаёт он это или нет — противится предположению, что «у них там» может выйти что-то путное. Не оттого что он кипит ненавистью к оставленной родине, отнюдь нет; но потому, что он так устроен. Это не должно удивлять. Это можно было легко заметить у эмигрантов первого послереволюционного призыва: будущее, на которое они так упорно возлагали свои надежды, было не что иное, как прошлое. Они грезили о стране, которой на самом деле давно не было; а та страна, которая продолжалась, казалась им безнадежной. Солдат, раненный в деле, считает его проигранным, сказано у Толстого. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит об успехах отечества, не потому, что она желает ему зла, а потому, что она так устроена, потому что обременена памятью и живёт этой памятью.

С изгнанием ничего не поделаешь, изгнание — это отъезд навсегда. Билет в одну сторону, побег с концами. Вынырнуть ночью за бортом, вылезти из подкопа по ту сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений; уйти в небытие, в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потустороннего мира в широкий мир, из рабской зарешечённой страны — на волю.

#### IV

За эту удачу нужно было платить. В сущности, за неё надо было расплатиться всей прожитой жизнью. Государство, наградившее беженца пинком в зад, вместо того, чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком подозревало хотя бы тень несогласия, — не довольствовалось тем, что ограбило его до нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его прошлое, зачеркнуть всё, что он сделал, выскоблить всякую память о нём. Отныне его имя никогда не будет произноситься. Всё, что он написал, подлежит изъятию. Его не только нет, его никогда не было.

Зато никуда не денется, никогда не пропадёт его пухлое дело с грифом «Хранить вечно». Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Авось когда-нибудь ещё удастся его сцапать.

Между тем изгнанник увозит, вместо имущества и «корней», нечто бесценное и неискоренимое. В камере для обысков в аэропорту Шереметьево-2, в последние минуты, его раздевают, как водится, догола, но самого главного не находят. Волчьи челюсти щёлкают, ловя пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с собой, — это язык.

Язык! Неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают у сброшенного со скалы, язык, не напрасно названный жилищем бытия. Язык возрождается в каждом из нас и переживёт всех нас, и через голову современников и правителей свяжет нас с традицией. Никто не относится к языку так ревниво, никто так не страдает от надругательства над языком, как эмигрант. Гейне назвал Библию портативным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное и неистребимое отечество, которое изгнанник унёс с собой, — язык.

#### V

Но ведь там, где он бросил якорь, всё называется по-другому, и даже если ему не чужд язык приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык — так, по крайней мере, ему кажется — непереволим. Благословение писателя-эмигранта, родная речь, — это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит до него, что он притащил с собой свою собственную клетку. Любой язык представляет собой замкнутый контур мышления, но русский изгнанник затворён вдвойне, он прибыл из закрытой страны, из гигантской провинции; самая ткань его языка пропахла затхлостью и неволей.

Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезённые с собой, мешают ему спокойно и с достоинством вступить в новый мир; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, ущемлён-

ного самолюбия и страха признаться самому себе, что ты не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы, то необыкновенное, неслышанное счастье, от которого рвётся грудь и о котором не имеют представления те, кто остался, — обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных faux pas, спотыканий, осечек.

О них отчасти могут дать представление первые пробы пера на чужбине и даже обыкновенные письма родным. Отчёт новосёла о жизни в другой стране — документация недоразумений. Вопреки распространённому мнению, первые впечатления ошибочны. Девять десятых того, что было написано и поспешно опубликовано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это. «Свежий глаз» наблюдает поверхность, ничего не зная о том, что под ней, он не может отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько наблюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному; свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного, не замечает главного.

## VI

Знание языка не ограничивается умением понять, о чём говорят; скорее это умение понять то, о чём умалчивают. Настоящее знание языка — это знание субтекста жизни. Неумение понять окружающих, а ещё больше непонимание того, о чём они *не* говорят, что разумеется само собой, превращает новичка в инвалида. Сочувствуя ему, с ним невольно обходятся как с несмыслёнышем. Простой народ принимает его за слабоумного.

Но и самые скромные познания в языке — роскошь для подавляющего большинства русских эмигрантов, не исключая интеллигентов. О писателях нечего и говорить. Вот одно из следствий жизни в закрытой стране. Горе безъязыкому! Он как глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключился звук. Что происходит? Действующие лица смеются, бранятся, жестикулируют. Он глядит на них, как потерпевший кораблекрушение — на островитян. Как письмо из клочков бумаги, он тщится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных налету слов. Когда же мало помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остаётся для него зашифрованным, невнятным, неизвестным; научившись кое-как читать текст жизни, он не знает контекста.

Но он — писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется вытесненным, нежели разрешённым, скрытым, чем

явным, подразумеваемым, чем произносимым. Он писатель и может писать только о том, что знает досконально. Это знание ему не приходится добывать. У него открытый счёт в банке памяти, и он может брать с него сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к прошлому, к тому, что оставили, как конники князя Игоря, за холмом.

## VII

Эмигрант переполнен своим прошлым. Он должен его переварить. Условия самые подходящие: переваривание начинается, когда процесс еды в собственном смысле закончен — когда перестают жить прежней жизнью. Забугорная словесность чаще всего не ищет новых тем. И когда она «возвращается», то кажется многим на родине устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более важное: новое зрение.

Люди, ослеплённые предрассудками или оболваненные пропагандой, думают, что изгнание обрекает пишущего на нищету. Власть, приговорившая литератора к остракизму, преуспела вдвойне, заткнув ему глотку на родине и выдворив его на чужбину. Теперь он окончательно задохнётся. Кому он там нужен? Вырванный из родной почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она радостно потирает руки. Свои грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.

Между тем ботанические метафоры более или менее ложны. Они были ложны и сто лет назад. Потому что литература — сама себе почва. Литература живёт не столько соками жизни, сколько воспоминаниями: память — её питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах: в подземелье памяти.

Если труд и талант составляют две половины творчества, то память — его третья половина. Когда независимость влечёт за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», — тогда эмиграция предстаёт перед ним как единственная возможность отстоять своё достоинство. Тогда изгнание — единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту — и это тоже часть традиции — присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а в послании». С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику — Томасу Манну: «Wo ich bin, ist der deutsche Geist».

Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.

## VIII

Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции — и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, — в противном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, — но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощённое в слове) сознание. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как *praesens praeteriti*, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература — дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека.

Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности.

Это — творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даёшься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в своё дело, чтобы всё ещё корпеть над своими бумагами, всё ещё писать — в неизвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разрежённом пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (*unus in hoc nemo est ropulo*, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чём уже сообщили газета и телевизор. Безнадёжная ситуация. И вместе с тем — вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.

## IX

Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Чёрт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живёт в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век национальной музыки.



ки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, — что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперёд, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто не хватает одного глаза.

Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, — нужны ли ещё примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.

## Х

Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было). В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». Надтреснутые чашки, как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперёд бодрее других. Во всяком случае упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы.

Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время первой Мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу — а чужак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создаётся в межвоенные годы и годы второй Мировой войны, а в огромном романе не наступила ещё и первая; действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 г., бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события — всё это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, — пишет, как в забыты, ничего не видя вокруг.

Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее — настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.

## XI

Лозунг Джойса: exile, silence, cunning. В несколько вольном переводе — изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой волны» — общеизвестный сюжет. Вопрос, который задаёт себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галерею? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.

Ergo quod vivo durisque laboribus obsto,  
Nec me sollicitae taedia lucis habent,  
Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes,  
Tu curae requies, tu medicina venis.  
Tu dux et comes es...<sup>1</sup>

То, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным — писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадежней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить — или это всё та же заносчивость отщепенцев? — можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?

## XII

Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжёлого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция — это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:

---

<sup>1</sup> Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, — тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник... *Овидий*.

Над нами небо — голубым горбом,  
За нами память — соляным столбом,  
Горит, объятый пламенем, Содом,  
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сторел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас: в русскую литературу.

## Где ты была, киска

### I

Завтра Рождество. Осёл, потерявший трудоспособность, уныло бредёт по дороге. Социального страхования не существует, пенсий не платят, он надеется поправить свои дела в славном городе Бремене. К ослу присоединяются безработный пёс и кот: на старости лет его выгнали из дому за то, что он не ловит мышей. Четвёртый спутник — петух, ему и вовсе терять нечего, хозяйка задумала сварить из него суп. Детский благотворительный концерт, во дворце Бельвю, резиденции федерального президента в Берлине. Музыка Старого Фрица — короля Фридриха Великого, выступают артисты с чтением сказок братьев Grimm. Первым читает «Бременских музыкантов» сам президент Иоганнес Рау. Он читает очень хорошо.

Вся двенадцативековая история вольного ганзейского города Бремена померкла в лучах всемирной славы, которую принесли ему четыре товарища по несчастью. На соборной площади стоит памятник ослу, собаке, коту и петуху, в центре Старого города мемориальная доска извещает о том, что на этом месте были найдены кости «того самого осла». Но все знают, что музыканты так и не добрались до Бремена.

### II

Завтра Рождество, сияют шестиугольные звёзды, вторые сутки идёт снег. Завалило базар Христа-дитяти, завалило город и чуть ли не всю страну, самолёты не взлетают, на автострадах остановилось движение, люди из Автомобильного клуба развозят горячий суп и одеяла застрявшим в пути, темнеет, с сиреневых небес по-прежнему сыплется снег. В электричке подросток с проводами в ушах слушает плеер, наверхника какую-нибудь дребедень. На полу в проходе лежит его сумка-саквояж из непромокаемой ткани, рюкзачок на коленях, поезд идёт в аэропорт. Поезд опаздывает. Где-то впереди чистят путь. Я поглядываю на подростка, он заметил это и косится в мою сторону. Старая привычка

ка: я стараюсь представить себе жизнь случайного визави, сочиняю ему биографию или несколько биографий на выбор. Куртка застёгнута направо, но овал лица слишком нежен. Чересчур независимая мина. Из-под вязаной шапки свисают пряди волос. Оказывается, это девушка. Первое в жизни самостоятельное путешествие — или, может быть, бегство? Через пятьдесят лет, когда от всех нас не останется воспоминаний, как не осталось ничего от предыдущего поколения, девочка будет дородной пожилой дамой в одеянии, которое мы не в состоянии вообразить. А может быть, пропадёт без вести, никогда не вернётся из этой поездки, и никто не будет знать, куда она делась. Я выхожу на ближайшей остановке, мне не нужен аэропорт.

### III

Тут не совсем кстати приходит на память случай в другом аэропорту, за тысячу вёрст от нас, — об этом происшествии я написал целую повесть с загадочным криминальным сюжетом и теперь могу открыть тайну, так как отдел прозы зарубил моё сочинение — похоже, не только из эстетических соображений. Вам не случалось посылать рукопись в редакцию столичного журнала, ждать долгие месяцы ответа, наконец, набравшись отваги, позвонить и узнать, что ваше изделие уже давно вкушает мир в редакционной корзине?

Таков невинный смысл этой метафоры: *зарубить*, воскрешающей образы казацкой Сечи, легендарной Конармии, а также уголовного мира: я, например, хорошо помню, как однажды вечером, в лютый мороз, зарубили именитого вора Лёху Ташкентского на крыльце лагерной столовой. Топором, который таинственным образом удалось пронести в зону, и красный лёд покрыл ступеньки.

### IV

Кстати, упоминание об уголовном мире нам тоже пригодится.

### V

Повесть начиналась с того, что некто сходит с самолёта, позади долгий путь. Там, над океаном, где солнце поднимается из-за полога ночи с необыкновенной быстротой, каждая минута поглощала огромные расстояния. Здесь уходит час на то, чтобы передвинуться на несколько шагов. Пассажир стоит в очереди перед паспортным контролем. Старинные рефлексы оживают у пришельца из прошлого, он ждёт подвоха. Задержат, арестуют; его имя в чёрном списке. Его «дело» хранится где-то. Но всё обошлось, он выходит с чемоданом в го-

род, его осаждают таксисты. Более или менее благополучное прибытие на квартиру, снятую заранее. Из дальнейшего становится ясно, что он успел позаботиться и кое о чём другом.

## VI

По законам, одинаковым для карточной игры и детективного жанра, козыри не сразу выкладываются на стол: когда на другой день приезжий ведёт переговоры по телефону, мы всё ещё не понимаем, что за дела привели его в город, где всё знакомо, где всё чужое.

С кем-то о чём-то договорились, первые впечатления от прогулки по городу, смешанное чувство узнавания и отгалкивания; через две-три страницы он попадает в квартиру, похожую на антикварный магазин. Беседа за коньячком. Хозяин — писатель почвенно-исторических романов и ценитель патриотической старины. Попугно занят каким-то бизнесом — каким же? В обмен на пачку «зелёных» гость получает от хозяина предмет, о назначении которого ничего не говорится. Путешественник возвращается на квартиру, валяется на тряпичном ложе в пыльном солнечном луче, бьющем в просвет нестиранных гардин, медлит осуществить давнишнее намерение.

## VII

Намечается, так сказать, идейно-концептуальная сторона рассказа — приезжий поработён памятью. Память ревнива и отстаивает свои права. Память сопротивляется увиденному.

Книга прошлого не подлежит редактуре; прошлое вечно, настоящее зыбко. Настоящее представляется чем-то ненастоящим. Гость брезгливо взирает на грозного маршала, который осадил каменного жеребца. Вопреки тому, что бывает на самом деле, хвост коня всё ещё развевается. Золотые двуглавые орлы, кресты, дорогостоящая безвкусица, сверкающая новизной старина вновь отстроеного тяжеловесного собора внушают отвращение. Город помолодел какой-то старческой молодостью. Подлинная история репрессирована, прошлое преобразилось в оперно-благообразный кич.

## VIII

Смешно, конечно, пересказывать собственное сочинение, но раз уж не удалось осчастливить публику... Итак: мелкие эпизоды, отвлекающие манёвры оттягивают кульминацию; тактика, напоминающая акт любви. Приезжий посетил старую знакомую, героиню юношеского романа. Постарела, но всё ещё хороша собой, чем занимается, неизвестно. Оказа-

лось, что она ничего не помнит; у неё своя жизнь, разговаривать не о чём. Сходил в Третьяковскую галерею. Там другая неожиданность, налог на иностранцев: двойная плата за вход. Поездка на Востряковское кладбище, где имеется особая достопримечательность, о которой уже заговорили за границей, — роскошный некрополь уголовных бонз. Каменная будка охраны. Аллея мраморов, золочёные надписи, высеченные в камне иконы, образцы блатной поэзии, даты и портреты во весь рост. Ни один из обитателей посмертного паноптикума не дожил до пожилых лет.

Путешественник становится зрителем торжественных похорон; конная милиция отгеснила толпу зевак. Шествие священнослужителей, родичей, соратников и слуг, грузовик с саркофагом, нос и руки в цветах, — пал в «разборке». В переводе на русский язык — в сражении с конкурирующей бандой. Духовой оркестр, ораторы, дым паникадил и древнеболгарские словеса. Салют из новейшего автоматического оружия, после чего вся компания отправляется в бронированных лимузинах на погребальный пир. Сливки общества, новый класс.

## IX

Но вот, наконец, он катит за город, выясняется мало-помалу цель полёта через океан.

В лесу, где ещё недавно собирали грибы почётные инвалиды социализма, стоят заборы с колючей проволокой, висят видеокамеры, сверкают башенки вилл, дворцы-мутанты, смесь кукольного средневековья с третьеразрядным модерном. Здесь обитают хозяева новой Москвы, отсюда, как павшие воители в Валгаллу, они переселяются в востряковский некрополь.

Здесь проживает некто Сергей Иванович, главное (как выясняется) действующее лицо рассказа. Такси разворачивается и уезжает, стражник из отряда приматов выпускает приезжего в дом без проверки, на правах старинного друга. Приехал, стало быть, повидаться. Роскошная обстановка и более или менее радушная встреча. Камердинер вкатывает на колёсиках столик с яствами и напитками. Вспоминают старые времена, дом на Моховой, лестницу и балюстраду, гипсовые монументы вождей, место встреч. Сергей Иванович — тогда он был Серёжей — приходил к другу в университет.

## X

Обвинение, предъявленное наутро после ночи ареста, без промедления, ошеломляющее всесторонней осведомлённостью Органов, включает, среди прочего, клевету на «одного из руководителей партии и государства» — так именуется тот, чьё имя, как имя Бога у ев-

реев, здесь не полагалось произносить. Вопрос о виновности есть вопрос языка. Если то, что есть на самом деле и всем известно, называется клеветой, значит, это на самом деле клевета. Неясно лишь, кому мы выкладывали свои клеветнические утверждения, кого, собственно, агитировали. Была допрошена за десять дней до ареста, с подпиской о неразглашении, свидетельница, та самая подруга-однокурсница, которую навестил приезжий накануне визита к Сергею Ивановичу. Но она не присутствовала при разговорах друзей. Лейтенант-следователь сылет именами сокурсников, приятелей, знакомых. О Серёже ни слова. Лейтенант выдал Серёжу.

## XI

Кое-что прояснилось позже. Серёжа был студентом заведения, эвфемистически называемого Военным институтом иностранных языков; институт готовил отнюдь не лингвистов. Серёжа был сыном «сотрудника» и сам стал сотрудником; это помогло ему в новых обстоятельствах стать новым русским. Серёжа был мальчиком из богатого дома, приходил в новом, с иголки костюме, был всегда при деньгах и щедро угощал друга. Теперь оказывается, что бывший друг жив. Мы начинаем догадываться, зачем он явился.

Нечто невероятное должно ошеломить читателя: товарищ юности вынимает из-за пазухи пистолет. (Купил у писателя.) Наводит на Сергея Ивановича, навинчивает глушитель.

## XII

Преступник прицелился, отвёл дуло в сторону и выстрелил. Снова навёл пистолет, теперь, наверное, прикончит свою жертву; опять в сторону. Зачем понадобился этот спектакль? Тем временем хозяин успевает нажать на кнопку, вваливаются крутые мужики-телохранители. Гость лежит на полу с завёрнутыми за спину руками. Сергей Иванович осматривает оружие: 9-миллиметровый «макаров», несколько устарелый, но в общем пистолет как пистолет.

Бывшего друга выводят, заталкивают в машину, справа и слева сидят провожатые. Так некогда он был доставлен ночью в цитадель на площади Дзержинского. Привозят на квартиру, быстренько собирают вещи. Снова ад Садового кольца, пылающее варево машин на площади Белорусского вокзала. Город смерти, думает турист, долина Иосафата.

Ленинградское шоссе, девицы на обочине в юбочках, прикрывающих пах, плакаты на полурусском языке. Экипаж несётся, попирая все законы движения. «У нас бы за такую езду...» — бормочет пассажир. Ему отвечают: «То у вас, а то у нас».

### ХІІІ

Регистрация в здании аэровокзала. Мы так и не узнали, как зовут туриста. У приезжего нет имени, он никто. До отлёта осталось ровно столько, сколько нужно, чтобы втолкнуть его в служебный сортир, избить и истоптать ногами до полусмерти. Впредь будет неповадно. После чего привести в чувство, почистить костюм и проводить на посадку.частливого пути!

И всё? Да, вся история. Тридцать пять страниц. Спрашивается, зачем надо было соваться с ней в московский журнал, да ещё такой почтённый, как «Знамя».

### ХІV

Впрочем, нет: за финальной сценой проводов следует ещё кое-что — круглый стол действующих лиц. Один за другим берут слово писатель патриотических романов, бывшая пассия американца и бизнесмен Сергей Иванович.

Все трое не допускают и мысли, что повесть, — кстати, её украшает лукавый эпитафия из Евангелия от Луки: *Сие творите в моё воспоминание*, — всего лишь плод фантазии сочинителя. Ведь думать так значило бы, что их не существует. Персонажи предъявляют автору обоснованные претензии. Так, например, Сергей Иванович справедливо указывает, что ничего бы не изменилось, если бы он тогда отказался сотрудничать с Органами: нашли бы другого. А самому Серёже пришлось бы солоно. Сергей Иванович говорит, что ему не в чем себя упрекнуть: он говорил (или писал) правду. Его приятель действительно высказывал подрывные мысли, говорил вещи, за которые, подчёркивает Сергей Иванович, в любом государстве не погладят по головке. И, наконец, легко сейчас становиться в позу обиженного и обвиняющего; а вот как бы вы сами вели себя в те времена. И вообще: чего вспоминать, было и бытьём поросло.

У женщины есть своя версия всей истории. Да, она сперва даже не узнала гостя: столько лет пролетело. Но постепенно всё припомнилось. Их было трое, в том, что случилось, виновата, в сущности, она. Оба были по уши влюблены, с обоими она кокетничала, разжигала соперничество и вражду. И вот результат: Серёжа из ревности решил погубить друга.

Третьим выступает писатель или кто он там. Всё это гнусная клевета. Он отродясь не занимался торговлей оружием. А главное, из повести ясно, как дважды два, что герой — это сам автор и этому автору всё в нашей стране не нравится. Ну, и пускай катится ко всем чертям.



## XV

Диалектика! В каждом утверждении заключено отрицание. На каждый вопрос есть два противоположных ответа. Каждый из нас прав и неправ по-своему. Убедившись, что вещь не пойдёт, я присочинил к ней ещё один текст: ответ автору из редакции.

Разумеется, чистая фантазия: никто никогда никому не отвечает. *...И в переписку по их поводу не вступает.* Вы можете прочесть это замечательное уведомление на обложке самых знаменитых отечественных литературных журналов. В переводе на нормальный язык: идите вы все, знаете куда.

Предположим, однако, что автору, в виде особого исключения, присылают ответ: пишет заместительница главного редактора. Кратко — о литературных недочётах, плохой язык, советуем учиться у классиков, то да сё; однако не в этом суть. Речь идёт об идейном и гражданском содержании повести. Да, известно немало произведений, где реальность показана глазами отрицательного героя. Право писателя — избрать любую условную точку зрения. Беда в том, что в данном случае это не условная, а собственная точка зрения автора: он разделяет чувства своего героя, согласен с его оценками, а мы с ними согласиться не можем.

В самом деле. Эмигрант возвращается в город своего детства, своей юности, и что же он видит? Грязные дворы, нищих, проституток, езду против правил. Его окружают подозрительные типы, какой-то псевдописатель, бывшая подруга сомнительной специальности. Всё новое, всё, чем украшается сейчас наша столица, размах строительства — вызывает у него злобу и насмешку. Обретение духовности, возвращение нашего народа к вере отцов, — автор видит в этом всего лишь декорации.

## XVI

Тут (продолжает заместительница) мы подходим к главной теме. Сюжет основан на том, что герой приезжает не просто так, не для того, чтобы повидать родину, поклониться могилам близких, нет. Он собрался отомстить человеку, который, как он считает, посадил его когда-то в тюрьму. Что хочет сказать этим автор? Идея совершенно ясна. Раз государство не наказывает так называемых преступников, мы должны сделать это сами, должны расчитаться с «советским прошлым».

Нам уже доводилось слышать таких геростратов, готовых перечеркнуть всю историю советских лет, обмазать дёгтем наше прошлое. Хотят внушить молодёжи, что ничего, кроме лагерей и тюрем, в нём не было. Да, были и тюрьмы, и лагеря, надо только как следует разобрать-

ся, кто там находился. Но главное — были великие социальные преобразования, была индустриализация, обеспечившая нам независимость и победу в войне. Был энтузиазм, была самоотверженность и вера в великие идеалы. Была, наконец, великая культура и самая гуманистическая в мире литература. Вы (пишет она) призываете к мести, вы сеете вражду, понимаете ли вы, что это значит? Вы, простите, не были здесь, не пережили всего того, что мы пережили за последние годы. Отдаёте ли вы себе отчёт, живя там, на благополучном, на заевшемся Западе, что такие призывы могут привести к нарушению социального мира, а внутренний мир и согласие — это для России сейчас самое главное? Возвращаю вам рукопись...

## XVII

«Но откуда вы взяли, — могла бы возразить реальная заместительница главного редактора, прочитав эту фантазию, — откуда вы взяли, что сочинение ваше отвергнуто по идеологическим соображениям, а не потому, что оно малохудожественно? Разве кто-нибудь вам сказал, что повесть непатриотична, содержит клевету на нашу родину и прочее?»

Нет, никто не сказал.

«Тогда почему вы решили?..»

На этот вопрос я не могу ответить. Просто мне так показалось.

«Клевета — ваше письмо якобы от имени редакции».

Автор пожимает плечами.

## XVIII

Русский писатель должен жить на родине. Таково убеждение известного прозаика. К сожалению, его уже нет в живых. В обширном интервью, опубликованном вскоре после возвращения из эмиграции Георгий Владимов делился впечатлениями о жизни в Германии. Его рассказ напоминает стишок Маршака: *Где ты была сегодня, киска? — У королевы английской. — Что ты видала при дворе? — Видала мышку на ковре.*

Скажут: бывшего эмигранта можно понять. А как же пресловутая всемирная отзывчивость, священные камни Европы? Послушать его, он жил на краю света, а вернулся в метрополию духа. При этом он не находит ни одного доброго слова для страны, которая как-никак его приютила, гарантировала ему безопасность, дала возможность, не отвлекаясь на зарабатывание денег, спокойно заниматься литературой.

Оставим это; вопрос не в том, где кому полагается жить. Вопрос в конечном счёте состоит в том, надо ли, можно ли возвращаться в страну, где не произведён расчёт со страшным прошлым. Где вчерашние

палачи в лучшем случае превратились в благодушных пенсионеров и стучат костяшками домино во дворе, где когда-то играли вы в детстве. Где бывший студент Военного института иностранных языков Сергей Иванович стал хозяином жизни.

## ХІХ

*Возвращение* по необходимости должно означать *забвение*. Логический ход, который может показаться странным. Тем не менее это так. Если не можешь забыть прошлое, если не желаешь примириться с ним — греби обратно, нечего было приезжать.

Возвращаться надо, чтобы «жить жизнью страны», не так ли? В конце концов страна живёт сегодняшним днём, не вчерашним.

Тот, кто живёт за бугром (в Германии, откуда вернулся Георгий Владимов), хорошо знает, что там и не могут, и не хотят забыть прошлое. У иных это вызывает глухое ворчанье: сколько можно долдонить о лагерях уничтожения? Прошлое «историзировано»; в конце концов, сменилось уже два поколения. Но попытки протестовать против каждодневных напоминаний о злодеяниях лишь компрометируют тех, кто протестует. Если бы кто-нибудь предложил учредить, как в России, «День примирения», его бы в лучшем случае подняли на смех. В лучшем случае.

А *здесь* мыслящее меньшинство, по крайней мере, значительная его часть и, кажется, вкупе с властью, вовсе не желает слышать о прошлом. Особого рода противогаз помогает дышать воздухом, где витает запах трупов: державно-православный, военно-патриотический миф.

## ХХ

Предполагается, что прошлое умерло, похоронено, и вообще... «сколько можно»? А между тем *ещё живо чрево, плодящее змей*. Фразу Брехта нужно понимать, очевидно, не только в прямом смысле (живы «кадры» и учреждение). Прошлое, как вампир, может жить после того, как оно умерло, — если вообще согласиться с тем, что оно умерло. Сколько людей так и не сумело привыкнуть к тому, что за спиной у нас — не XIX век, а Двадцатый. И мы тащим его за собой, этот советский век, хотя бы и не хотели его замечать.

Если не удаётся вовсе замолчать прошлое, его можно локализовать. Видите ли, скажут вам, тайная полиция, созданная Ильичом и Железным Феликсом, есть не что иное, как злокачественный нарост. Нарост на здоровом теле. Можно запросто называть националсоциализм немецким режимом, по сути дела так оно и есть; но попробуйте вы назвать советскую власть русской, украинской, белорусской и так далее.

Одно дело голубиная Россия, и совсем другое — стукачи, застенки, лагерь, коммунизм, ленинизм, тотальная ложь, весь этот морок. Apage Satanas (изыди, сатана)!

## **XXI**

Можно понять, отчего, после начавшихся было разоблачений, тайна вновь так тщательно оберегается. Отнюдь не из боязни посеять рознь, разжечь вражду поколений или что-нибудь в этом роде: это — пустые отговорки. Никакая правда не может нанести больше вреда, чем её утаивание. В том числе и правда о том, что великое множество сделавших карьеру людей, маститых учёных, увенчанных наградами писателей, князей церкви и так далее были платными осведомителями, контрабандниками зла.

Можно понять, почему после рассекречивания следственных дел не рассекречены «оперативные материалы». Потому что их раскрытие и беспристрастное исследование разоблачило бы сонм преступников, и отбывших к праторцам, и ныне здравствующих. Разоблачение же неумолимо ставит вопрос о каре.

Там, где зло не наказано, оно вновь, рано или поздно, поднимает голову.

## **XXII**

С этой проблемой — что делать с массой пособников преступного государства — международное правосудие столкнулось в 1945 году. Разве не было зловещей иронией то, что обвинителем с советской стороны в Нюрнберге стал генеральный прокурор Руденко, человек, которому подобало сидеть самому на скамье подсудимых? Или то, что на сессиях ООН выступал с речами бывший прокурор Вышинский, ставший министром иностранных дел?

Как бы то ни было, националсоциализм был наказан не только в общей форме, но и в лице своих заправил и пособников разного ранга. Может быть, стоит ещё раз подумать о том, почему Россия осталась глухой к этому опыту? Отчего никто не решился напомнить прихлебателям режима — просто напомнить — об их прошлом? Не говоря уже о бонзах.

## **XXIII**

Завтра Рождество, младенец вот-вот появится на свет, девушка-подросток едет в аэропорт, музыканты бредут в славный город Бремен, сыплет снег, сияют Вифлеемские звёзды. А там и Новый год.

## Любимый ученик

### Глава 1

**В** апреле на лесных дорогах в Южном Тироле лежит снег. Машина едет, описывая длинные дуги, и чем круче вверх ползёт дорога, тем выше отвалы снега вдоль обочин. На площадке в стороне от шоссе стоит каменный крестьянский дом, должно быть, воздвигнутый ещё при императрице Марии Терезии. Вылезаем. Над нашими головами, над лесом, высится и сверкает горный кряж. Такой ландшафт наводит на опасные мысли. Но, может быть, они-то и приближают нас к истине.

Сегодня *Gründonnerstag*, «зелёный четверг» — четвёртый день немецкой страстной недели, и разговор заходит о происшествии, случившемся в Палестине двадцать веков назад. В четверг 6 апреля 30 года, по иудейскому календарю тринадцатого авива, или нисана, Иисус из Назарета готовится с учениками справиться Песах, праздник в память выхода евреев из Египта под предводительством Моисея. Для гостей приготовлена комната в богатом доме в Иерусалиме. Почему в богатом? Представление об основателе христианства как о полунищем бродяге ошибочно: Иисус происходил из знатного рода, был потомком царя Давида, получил основательное образование; став главой новой религиозной школы, пользовался покровительством влиятельных лиц и дам из высшего круга, многие из них были его тайными или явными сторонниками. Владелец дома счёл для себя честью оказать гостеприимство маленькой общине учеников во главе с учителем, и ритуальная трапеза в отведённой для этой цели просторной горнице должна была совершиться в неукоснительном соответствии с религиозным и бытовым этикетом.

Сколько человек было на Тайной вечере? Считается, что у Христа было двенадцать учеников, священное число, равное числу колен Израиля. С другой стороны, ни одно из четырёх канонических евангелий не утверждает, что число учеников было постоянным; кроме поименованных в третьей главе Марка, были и другие, например, Никодим, о котором сообщает Иоанн, или Иосиф Аримафейский, упоминаемый всеми евангелистами; Лука говорит даже о семидесяти учениках. В рассказе о Тайной вечере авторы синоптических евангелий употребляют выражение «Иисус и двенадцать», но не исключено, что в это количество входил и хозяин дома, и, возможно, кое-кто из его родственников. Евангелист Иоанн вообще не называет числа.

Зато он вводит фигуру, о которой другие не упоминают: особо предпочтённый, любимый ученик, лежащий на груди у Христа. Сцена как бы погружена в полумрак; мы не различаем черты присутствующих, за исключением трёх лиц: это учитель, возлюбленный уче-

ник — принято считать, что это был Иоанн, хотя в тексте нет на этот счёт никаких указаний, — и, наконец, Иуда, которого рабби изобличает как предателя.

Мы сидим за самоваром возле кафельной печи в старом крестьянском доме в тирольских Доломитах, где проводит большую часть года протестантский теолог из Бремена пастор Вильгельм Шмидт. Рядом с гостиной помещается рабочая комната, похожая на *Studierzimmer* доктора Фауста, которому Гёте поручает труд Лютера — перевод Нового Завета на немецкий язык; на кофитре лежит огромная древняя Библия.

Верно ли, спрашивает хозяин, что «любимый ученик» есть именно Иоанн? Евангелие — не только сообщение о том, что произошло, благая весть, или, переводя буквально с греческого, «хорошая новость», — но и художественное произведение. Воздействие, которое производит на слушателя или читателя сцена предсмертной трапезы Иисуса и учеников, основано на традиционном приёме античной драматургии — конфликте двух протагонистов; остальные присутствующие играют роль хора. Третий персонаж здесь был бы излишним.

Попробуем представить себе, как реально выглядел пасхальный ужин. На память приходят известные полотна, фреска Леонардо в трапезной *Santa Maria delle grazie*. Но сотрапезники не сидели, а возлежали вокруг стола. Об этом не забывают упомянуть и евангелисты, например, у Матфея говорится: «Он возлѣг с двенадцатью учениками» (26:20). Для лежания за пиршественным столом употреблялся триклиний, нечто вроде тройной кушетки с тремя подушками; левой рукой опирались на подушку, правой брали со стола пищу и кубки. Чтобы не мешать друг другу, все три ложа, составляющие триклиний, ставились углом к столу, так что голова второго гостя оказывалась на уровне груди первого, а голова третьего — возле груди второго. Стол был квадратным. Теперь мы можем с большой долей вероятности сказать, сколько человек было за столом: двенадцать — по одному триклинию с каждой стороны. Иисус и хозяин дома — в их числе.

Далее произошло следующее: разломив хлеб и наполнив ритуальную чашу горьким напитком, учитель сказал, что за столом находится «сын погибели» — предатель. Праздничные застолья были, как уже сказано, строго регламентированы; участники располагались вокруг стола в определённом порядке. На почётном месте возлежал главный гость, слева от него — второй по рангу и так далее. Первое место за столом хозяин отвѣл для рабби. Следующим, «у груди Иисуса», как сказано в Четвёртом евангелии, — то есть на уровне его груди, — находился «один из учеников Его, которого любил Иисус» (Ин. 13: 23). Место, следующее после любимого ученика, хозяин, возможно, оставил для себя. Но кто же был этот любимец?

«...Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искаротию» (Ин.13: 25–26).

Особо приближенным учеником мог быть только тот, кому давались наиболее ответственные поручения — к примеру, хранение кассы и заведывание бюджетом странствующей общины; он был старшим после учителя, почему и удостоился второго по рангу места за столом. Имя его, сказал пастор Шмидт, нам известно. Человек этот был Иуда, лежавший у груди учителя и донёсший на своего учителя: Иуда родом из селения Кириаф-Йарим.

## Глава 2

Поговорим о предмете, который всем нам знаком, слишком хорошо знаком. Поговорим о предательстве.

Тема доноса, история тайной измены введена в сюжет о казни Христа, составляет его необходимую часть, и евангелие клеймит предательство как самый страшный грех. Доносчик не в силах снести его тяжесть и, замученный необъяснимой тоской, убивает сам себя.

Мы, однако, выросли в обществе, где предатель был такой же будничной фигурой, как парикмахер или почтальон. Где доноситељство было частью повседневной жизни, где не существовало ни одного рабочего коллектива, ни одной социальной ячейки, ни одного дружеского кружка, в котором рано или поздно не появился бы стукач. Предательство встречало нас на пороге сознательной жизни, измена сидела с нами за одним столом, смотрела нам в глаза и клялась в дружбе, и вела с нами доверительные беседы, и не оставляла нас даже по ту сторону жизни — в тюрьме и лагере. Предательство стало своего рода сублимацией страха, но было бы неправдой сказать, что страх оставался его единственным стимулом, ибо оно было и спортом, и профессией, и способом зарабатывать на жизнь, и жизненным призванием. Короче говоря, мы жили в стране доносчиков.

Люди, побывавшие в заключении, убеждались в том, что не было ни одного дела, за которым не стоял бы доноситель, более или менее засекреченный, более или менее очевидный, и сидя в переполненных камерах, в битком набитых стальной вагонах, на пересылках и карантинных лагунках, куда шли и шли этапы, текли и текли всё новые партии осуждённых, спрашивали себя: сколько же стукачей в этом государстве?

Они спрашивали себя, сколько «оперативных уполномоченных» трудилось в этом обществе, — ведь не существовало ни одной государст-

венной организации и ни одного учреждения, где в комнате за двойной дверью без вывески, в тишине и тайне, не сидел бы этот уполномоченный, насаждавший предательство.

Если бы (как в бывшей ГДР) растворились железные ворота и открылись архивы, — если бы стали известны не только «следственные», но и «оперативные» дела, — обнаружилась бы картина тотального пропитывания общества и народа особого рода фиксирующей жидкостью, и тогда бы мы поняли, почему преступление Искарриота перестало считаться здесь чем-то выходящим из ряда вон. Это было общество, отравленное дыханием лагерей и загниотизированное Органами, чьи возможности и прерогативы никому не были в точности известны и оттого казались безграничными.

Мне возразят, что всё это — вчерашний день, который никого больше не интересует; я отвечаю, что мы все наследники этого общества и что нельзя говорить о демократии там, где существует тайная политическая полиция, а она всё ещё существует. Мне скажут, что я демонизирую деятельность тайной полиции, которая в конце концов представляет собой всего лишь канцелярию. Но не нужно быть фантазёром, чтобы понять, что повсеместное присутствие органов безопасности было не чем иным, как повсеместным присутствием доносчиков. Мне скажут, что «органы» в этой стране бессмертны, подобно органам размножения, продуцирующим зародышевую плазму, — и я ничего не смогу на это ответить. Если время от времени настигает неотвязная мысль, что эта страна в каком-то общем смысле безнадежна, то отчасти потому, что Органы бессмертны.

В одном романе Набокова тюремщик вальсирует с арестантом. Мощество Органов состояло в том, что они всегда или почти всегда могли рассчитывать на готовность сотрудничать. Это было общество, сформированное тайной полицией, и общество, питавшее тайную полицию. Паразитический организм, проникший во все системы социального организма, сросся с ним настолько, что государство было не в состоянии функционировать без него, и в этом заключалось оправдание непрекращающихся криков о бдительности. Скульптору Мухиной следовало бы изобразить в качестве аллегорий, олицетворяющих государство, не рабочего с молотом и колхозницу с серпом, а оперативного уполномоченного и сексота с их инструментами — мечом и пером.

Масштабы деятельности восточногерманской Staatssicherheit, в чьи картотеки было занесено практически всё взрослое население ГДР, дают представление о Старшем брате, как открытка с репродукцией классического полотна позволяет судить об оригинале. Если бы открылись архивы и были обнародованы списки осведомителей, мы ужаснулись бы не только их количеству, мы увидели бы там имена многих неизвестных людей. Возмездие? Но трудно представить себе, как мож-



но было бы его осуществить. В обществе, где порядочность была исключением, а подлость — нормой поведения, правосудие, даже если бы оно ограничилось чисто моральными санкциями, столкнулось бы с безвыходной и безнадёжной ситуацией.

### Глава 3

В двадцатые годы прошлого века в ходу был медико-социологический термин *syphilisation de la société*. То было время широкого распространения сифилиса в странах Европы. Под «сифилизацией общества» подразумевалась мера заражённости населения. Врачи знают, что сифилис — хроническое многолетнее заболевание, проявления которого весьма различны. Существуют открытые, манифестные формы с признаками активного недуга; существуют формы, когда болезнь протекает скрыто и лишь время от времени даёт знать о себе; наконец, встречаются пациенты, которые выглядят совершенно здоровыми людьми. Лишь положительная реакция Вассермана (интенсивность которой обычно обозначается числом крестиков) сигнализирует о некогда имевшем место заражении, о том, что возбудитель всё ещё прячется в организме.

Среди нас были люди, чья причастность к Органам не вызывала сомнений: так сказать, манифестные больные. Находились такие, о которых трудно было сказать наверняка — то ли да, то ли нет. И были люди, — сколько их живёт между нами по сей день, — производившие впечатление здоровых. Какой-нибудь жрец науки, популярный режиссёр, увенчанный лаврами живописец или маститый литератор с благородной внешностью, с трубкой в зубах, в бороде патриота, — убеждённый противник коммунизма, критик западной бездуховности, христианин и ратоборец возвращения к корням. Но в крови у него — четыре креста Вассермана.

Я вспоминаю времена нашей юности, послевоенную Москву, филологический факультет университета. Перед окнами и сейчас стоят запорошённые снегом фигуры Герцена и Огарёва. Московский университет, отчизна духа, усыпальница русской свободы! Чьё сердце не забьётся при одном этом звуке... На этом университете стоит чёрное пятно. Мне вспоминаются мои товарищи, однокашники, с упоением занимавшиеся так называемой общественной работой, члены всевозможных бюро и секретари комитетов; люди, которые впоследствии сделались литературными функционерами, а в те годы бодро шагали вверх по общественно-политической, учёной и должностной лестнице. Редко какая карьера была возможна без специфических услуг, оказанных Органам, или хотя бы без согласования с Органами, без их молчаливого кивка.

Бывшие студенты помнят покойного Романа Михайловича Самарина, видного специалиста по западноевропейским литературам; молодёжь сбегалась на его лекции. Много позже и, кажется, уже после его смерти стало известно, что он был долголетним платным осведомителем тогдашнего МГБ. Весной 1950 года я встретил в Бутырках другого профессора, историка Древнего Востока. В этот день заключённых из нескольких политических тюрем свозили для объявления приговора Особого совещания. Выглядело это довольно прозаически, каждого по отдельности вводили в комнату, где сидел человек плюгавого вида в мундире без погон; он протягивал листок с уведомлением о том, что вам впаляли такой-то срок. Полагалось расписаться, после чего вас вталкивали в общую камеру. Профессор сидел в углу, опустил голову. Я сказал: «Когда-то я сдавал вам экзамен и получил тройку». Он спросил: «А сколько вы получили на этом экзамене?» Не знаю, кто заложил профессора-востоковеда, Самарин или другой коллега, сейчас это уже не имеет значения.

Как давно это было! Нас было четверо, вернее, вначале нас было трое. Мы были компанией из трёх друзей, и когда летом сорок восьмого года один из членов этой компании, начинающий поэт по имени Сёма, исчез, мы остались вдвоём и думали, что и нас вот-вот арестуют. Мы приняли меры: приятель мой, тоже поэт, уничтожил творения своей музыки, впрочем, аполитичной; я помню, как мы ходили вечером по московским переулкам, рвали тетрадки со стихами и бросали в урны. Я утопил в уборной дневник, где говорилось о том, что в нашей стране фашистский режим. Но прошли недели, потом месяцы. О нас как будто забыли. Около этого времени мы познакомились с ещё одним мальчиком, Севой Колесниковым, студентом Военного института иностранных языков. Он знал нашего сгинувшего товарища, был его закадычным другом с детских лет; память о Сёме сблизила нас.

Роман Франца Кафки «Процесс», вероятно, нигде не воспринимался так, как в России, где он кажется вполне реалистическим произведением. Есть что-то очень знакомое в рассказе о том, как некая канцелярия затевает дело против человека, которые сперва об этом даже не подозревают. Содержание процесса не оглашается, суть его неизвестна. Да и неважно, в чём его суть, ибо, строго говоря, невиновных нет и на месте следственного может оказаться любой и каждый. Вопрос лишь в очерёдности: даже такое могущественное учреждение, как разместившийся на чердаке огромного дома тайный суд, не может оформить сразу все дела. Но процесс идёт, бумаги движутся по инстанциям, визируются, подписываются, к ним подшивают новые; жертва живёт обыкновенной жизнью, а процесс идёт. Ни обвиняемый не видит чиновников, ни они его, для судей он просто папка, которую носят из кабинета в

кабинет. Но сколько бы ни тянулась бумажная волокита, финал неизбежен. Последняя подпись, печать. Папка захлопывается. И тогда за осуждённым приходят палачи и увозят его из города.

История была до смешного проста: Сева посадил своего друга, теперь он был посажен к нам. Об этом можно было бы догадаться, будь мы немного старше.

## **Глава 4**

Сева учился в закрытом учебном заведении, где на занятиях ходили в форме, а в другое время разрешалось носить штатское. Сева всегда являлся в костюме с иголки. Мы же ходили в отрепьях, на занятиях в университете я сидел в отцовской шинели, не решаясь раздеться. Сева был всегда при деньгах и щедро угощал нас. Он был весел, остроумен, неистощим на выдумки. Наша дружба крепла. Единственная странность в его поведении была та, что он никогда не приглашал к себе в гости. Он жил в красивом доме на улице Чехова. Однажды я зашёл за ним. Меня не позвали в комнаты, я стоял в прихожей; это была большая отдельная квартира — по тем временам неслыханная роскошь. Отец Севы был «сотрудником», о чём, разумеется, мы узнали много позже. Просто смешно, как всё было просто.

В ночь, когда я был доставлен в подвалы главного здания на площади Дзержинского, в боксе-отстойнике метра на полтора, уже наголо стриженный под машинку, без пуговиц, без шнурков, без брючного ремня, увидев на протянутой мне квитанции об изъятии личных вещей штамп Внутренней тюрьмы и поняв, наконец, где я нахожусь, я прислушивался к движению в коридоре и вдруг услышал, как вертухай спросил о чём-то вполголоса человека, которого только что привезли; тот ответил: «Да». Я чуть не рассмеялся, узнав голос моего товарища, меня охватила нелепая радость, и, чтобы дать знать о себе, я засвистал мотив дурацкой песни, ходившей у нас: «Или рыбку съесть...»

Итак, задача сводилась к тому, чтобы на последующих допросах не выдать Севу, последнего из нас, кто остался на воле. Но оказалось, что никаких особых стараний к тому, чтобы выгородить Севу и спасти его от ареста, не требуется. Следователь не интересовался Севой. Он даже не вспоминал о нём.

Тогда ещё меня поражало сочетание мрачной торжественности, гробовой тишины и тайны, царившей в этих учреждениях, с тоскливой прозой бюрократического бумагописания, с согбенной спиной следователя, закутанного в шинель (зимой в кабинете открывалось окно, чтобы подследственный мог основательно промерзнуть), который долгими часами уныло скрипел пером. Между тем канцелярия государственной безопасности не могла быть иной. Было бы неестественно, если бы там

трудились люди, способные к разумной, мало-мальски осмысленной деятельности. Допрос начинался на исходе дня, когда эти люди приходили на службу, и мог продолжаться до утра, фактически же занимал считанные минуты; всё остальное время следователь, лейтенант Жулидов, человек хитрый и лживый, но малограмотный, трудился над сочинением протоколов.

Этот лейтенант Жулидов прекрасно знал наш факультет. Он поражал меня (и хвастался этим), называя всех моих знакомых. Но о ближайшем друге, постоянном участнике наших крамольных дискуссий, не обмолвился за всё время следствия ни единым словом.

Это было ошибкой: он выдал Севу. Нужно было оставаться совершенным идиотом, чтобы в конце концов не догадаться, кому был объявлен своей осведомлённостью человек в зелёном мундире и золотых погонах, похожих на плавники, вероятно, бывший крестьянский сын, говоривший о себе так: «Мы, разведка».

Существует (или существовала) 206 статья уголовно-процессуального кодекса, по которой арестованный, после того как закончится следствие, должен быть ознакомлен с содержанием «дела». Органы соблюдали законность — так, как они её понимали. Другими словами, соблюдали законы, которые сами же придумали; закон, как известно, представлял собой в нашей стране систему правил, по которым надлежало творить беззаконие. Собственная полицейская юриспруденция наподобие собственной автономной электростанции. Следствие не было следствием, и ознакомление не было ознакомлением, над тобой нависал офицер, давай, давай! Раскрыть и перелистать папку толщиной, если не ошибаюсь, в двести страниц за несколько минут. Одна свидетельница показала: «Они говорят между собой по-латыни, чтобы их не поняли окружающие, и при этом издевательски называют товарища Сталина *pater noster*». Чтобы не поняли окружающие. Убедительный пример пропаганды и агитации.

Задаёшь себе вопрос, зачем всё это было нужно. Ведь судьба арестованного решена задолго до ареста, Принимая во внимание основную задачу — поставку рабочей силы для лагерей, — можно было без ущерба для дела похерить вместе с судом и всю долгую канитель мнимого следствия. Но тогда когорта следователей и этажи начальств остались бы без работы, и вообще это уже другая тема.

Лет пятнадцать тому назад, когда либеральная общественность ещё интересовалась этими предметами, а органы пребывали в растерянности, журнал «Огонёк» опубликовал фрагменты следственного дела Исаака Бабеля. Самое впечатляющее в этом досье — его рутинность. Тот же стиль, тот же словарь, то же соединение идиотической старательности с оглушительным невежеством, тот же ужасающий русский язык, которым написаны бумаги и в моём деле. И до смешного похожие

обвинения. Но есть же разница, скажете вы, между желторотым студентом и знаменитым писателем. В том-то и дело, что никакой разницы не было. И времени для этих тупиц как будто не существовало. Шли годы и десятилетия, контора меняла свои вывески, Ягоду сменил Ежов, Ежова сверг Берия, прогремела война, ушли в забвение фантастические процессы. А равномерно постукивающий, шелестящий трансмиссиями, перемальвающий кости и судьбы механизм так и постукивал; ничего не изменилось, разве только стало яснее, что вместо того, чтобы просто, выстрелом в затылок убивать в подвалах, целесообразней отправлять людей в лагеря, потому что без лагерей и дарового лагерного труда не только не доберёшься до светлых вершин, но и социализма не построишь. Годы шли, а порядок работы оставался прежним, и моё вполне заурядное дело поразительным, неправдоподобным образом напоминало дело Бабеля. Кто же стучал на Бабеля?

## **Глава 5**

Выйдя из-за стола, над которым висел портрет Железного Феликса, следователь пересёк кабинет и положил на крошечный столик в противоположном углу, где полагалось сидеть из соображений безопасности арестанту, папку с делом. Он стоял рядом, поглядывая на часы. Это и называлось — двести шестая статья.

Как уже сказано, долго читать не было времени, главное, я должен был расписаться в том, что «с делом ознакомлен», хотя опять же — кому и зачем нужна была эта подпись? Кое-что, впрочем, удалось увидеть.

Дело было оформлено так. После всяких мелких бумажек, постановления об аресте и проч. шли свидетельские показания. Очевидно, что там, где ликвидирован судебная процедура, лишается смысла и понятие свидетельства. Но порядок есть порядок. Я упомянул о свидетельнице, услышавшей, как мы называем Отца народов по-латыни «наш отец». Это было побочным украшением зловещего досье. Главными, якобы послужившими основанием для ареста были показания двух других студентов, учившихся вместе со мной на классическом отделении филологического факультета, — одной девушки и одного парня, бывшего фронтовика. Показания были получены в глубокой тайне за десять дней до ареста. Показания были сравнительно безобидны: например, говорилось, что я клеветал на советские профсоюзы. Кроме того, где-то в середине папки мне попало заявление одной студентки, сообщавшей, что я — еврейский националист. Свидетели были моими друзьями, а студентка, написавшая заявление, — одноклассницей моей сестры. Пожалуй, она была единственной, кто действовал не только из страха, но и по убеждению; она была истой комсомолкой и общественницей. То

было время знаменитой кампании борьбы с космополитизмом, государственный антисемитизм полыхал на страницах газет. Врага следовало обрядить в модную одежду.

Можно предположить, что у обоих свидетелей был биографический изъян, которым воспользовались для угроз: девушка была еврейкой или полуеврейкой и, судя по всему, происходила из неблагополучной семьи; парень носил немецкую фамилию, имел немецкое отчество, хотя говорил, что его отец эстонец. Дальнейшая судьба свидетельницы была горестной, она неудачно вышла замуж, потеряла ребёнка и скончалась психически больной. Бывший фронтовик стал заведующим кафедрой латинского языка в медицинском институте.

Могли ли эти свидетели что-нибудь сделать, допустим, предупредить тех, на кого они показывали, о грозящем аресте? Но им скорее всего разъяснили, что «следствию всё известно» и если они не хотят помочь разоблачению врагов народа, значит, они их пособники. С них взяли подписку о «неразглашении». Свидетелями правил страх. Они могли маскировать его перед самими собой, сказав себе: кто его знает, может, дело куда серьёзнее, чем мы думаем; Органам виднее. В конце концов, нет дыма без огня. Они могли сказать себе: что изменится от этих показаний? А если я откажусь, меня арестуют. И что изменится, если я их предупрежу? Предупреждай, не предупреждай, эти двое всё равно пропали.

Нечего и говорить о том, что «свидетельские показания» в этих делах — не более чем декорация. Истинным сырьём для этой промышленности служит то, что ещё в прошлом веке (не будем забывать о том, что наше отечество — страна со старыми и прочными традициями политического сыска) получило название агентурных сведений. Эти сведения, собственно, и определяют всё дальнейшее. Краеугольный камень дознания — донос. Но имена провокаторов не подлежат оглашению даже в таком сугубо секретном документе, как следственное дело. Доносы в дело не подшиваются. Они — принадлежность другого досье, так называемого оперативного дела, 206-я статья на него не распространяется. Не может быть и намёка на существование оперативных дел. О них ничего не говорилось даже в самых смелых публикациях начала 90-х годов. То, что удалось частично разоблачить, что показывали журналистам и родственникам погибших, — были только следственные дела. Вот почему никто так и не узнал, кто погубил Бабеля.

Словом, имя Всеволода Колесникова в моём деле отсутствовало. Севы как бы вовсе не существовало, и предполагалось, что я вёл антисоветские разговоры и клеветал на «одного из руководителей Советского государства» не с Севой и не в его присутствии, а с кем-то другим или с самим собою. «Следствию стало известно, что...». Предполагалось, что, изблещённый, я в своих преступлениях сознался сам.

Дела давно минувших дней. Что стало с Колесниковым? Окончив институт, он был направлен для важной секретной работы за границу. Должно быть, теперь он уже генерал. Вероятно, на почётной пенсии. Может быть, тоже проводит каникулы в Южном Тироле. Прочтёт ли он когда-нибудь эту статью? Навряд ли.

### Возвращение Агасфера

*Dieser Mann oder Jud soll so dicke Fußsolen haben, daß mans gemessen zweyer zwerch Finger dick gewesen gleich wie ein Horn so hart wegen seynes langen gehen vnd Reysen.*

«Kurze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahaßverus Welcher bey der Kreuzigung Christi selbst persoendlich gewesen» (1602)<sup>1</sup>

Дорогая! Одного хасидского цадика спросили: далеко ли находится Иерусалим? Он ответил: до нас рукой подать, а от нас — как до звёзд. Я летел к вам целую вечность. Зато возвращение в сморщенном времени над океаном, по которому Магеллан плыл три месяца, ночь длиной в полтора часа в неподвижном рокочущем самолёте, навстречу европейскому солнцу, взбегающему над чёрной крышей облаков, даёт почувствовать то, что прежде могла передать только литература: сюрреализм действительности.

Не хочу больше говорить о политике, вернёмся к нашей старой контроверзе. Для меня она, во всяком случае, не стареет. Я говорю о Катастрофе. Не знаю, как вы отнесётесь к этому письму.

Невежественные журналисты заменили слово *голокауст*, давно существующее в нашем языке, другим, отвратительно звучащим для русского уха: «холокост». Вычитали его из американских газет, никогда не слышав об эллинистическом наследии русского языка, о том, что слово это пришло к нам не через посредство английского языка, но из первоисточника, в неискажённом виде, что оно воспроизводит античное произношение и сохраняет первоначальный смысл: ведь буквально Голокауст означает «всесожжение». Я начну с одной довольно странной истории.

Она случилась давно. Знаменитый философ, маг и астролог Агриппа Неттесгеймский сидел в своей комнате, когда стукнула дверь и

---

<sup>1</sup> Говорят, у этого человека или жида были такие толстые подошвы, что, если смерить, будет толщиной в два пальца, и твёрдые, как рог, из-за долгой ходьбы и странствий. («Краткое описание и рассказ об одном еврее именем Агасферус, каковой был лично при распятии Христа», 1602 г. Орфография подлинника).

вошёл странник. Хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подаяния. Он рассказал, что с ним произошло. Он был житель Иерусалима, много лет назад занимался сапожным ремеслом. Однажды он услышал шум на улице, измождённый человек тащил на спине огромный брус с перекладной, вокруг и следом шла толпа. Человек этот выдавал себя за Мессию, объявил себя царём иудейским и был за это приговорён к смерти. Человек попросил сапожника помочь ему донести брус до места казни. Много вас таких, ответил сапожник, пошёл вон... Хорошо, сказал человек с крестом, я пойду, но и ты будешь ходить, покуда я не вернусь. Человек этот был Иисус, а сапожник, по имени Агасфер, как вышел из своего дома, так с тех пор и бродит, и прошло уже пятнадцать столетий.

«Что тебе надо?» — спросил Агриппа. Старец объяснил, что он много слышал о чудесном искусстве предсказаний, которым владеет Агриппа. «Мало ли что говорят», — заметил учёный. «А это? — возразил Агасфер и ткнул корявым пальцем в угол, где стояло некое сооружение из двух зеркал с подвешенным кристаллом. — Я хочу знать, когда Он вернётся. Хочу знать, когда кончатся мои скитания, я устал от жизни. Ты один можешь показать мне будущее; умоляю, сделай это!»

Напрасно Агриппа предостерегал гостя против опасного эксперимента, ведь увидеть будущее значит не только перенестись на мгновение в другое время, но и зажить в другом времени, и никто не знает, способен ли человек вынести это. «А чего мне бояться, — отвечал Вечный Жид, — мне терять нечего». Чародей уступил его просьбам: усадил гостя между зеркалами, прочёл молитву или заклинание; кристалл ожил, затеплился жёлтым светом, Агасфер увидел своё отражение, бесконечно повторённое в зеркальных даях, за его спиной было прошлое, спереди надвигалось будущее, приближалась желанная смерть. Очнувшись, он не мог понять, сколько времени он находился в другом времени; ибо там время текло иначе. Агриппа стоял перед ним, ожидая услышать его рассказ. Но странник не сразу собрался с мыслями.

Он стоял в длинной очереди перед приземистым зданием с кирпичной трубой; из трубы валил чёрный дым. Охранники подгоняли людей — здесь были мужчины, женщины с младенцами на руках, юные девушки, древние старики и согбенные старухи. И вместе с ними, вместе с Агасфером стоял в очереди тот, кого он когда-то прогнал от своего крыльца. Кто сдержал обещание и пришёл снова.

«Этого не может быть, — вскричал Агриппа, — ты уверен, что это был Он? Он не может умереть!» — «Я тоже думал, что никогда не умру». — «Но Он Сын Божий!» — «Это вы так считаете, — возразил Агасфер. — Он сын нашего народа». — «И стражники не пали перед Ним ниц?» — «С чего бы это. У них другие заботы...» Вечный Жид задумался, теперь он знал, чем всё кончится. Он стал просить хозяина послать его



туда снова. Опыт был повторён, и на этот раз Агасфер уже не вернулся: он сгорел в печах вместе со всеми и с Тем, который сказал: «Будешь скитаться, доколе Я не приду во второй раз».

Вы догадались, дорогая, что я просто пересказал вам рассказ, сочинённый мною когда-то. Правда, Агриппа фон Неттесгейм — лицо историческое, о нём можно прочесть в энциклопедическом словаре. Брюсов сделал его персонажем романа «Огненный ангел». Что же касается легенды о вечном скитальце, то меня поразило одно обстоятельство.

Легенда, возникшая, как считают, на исходе западноевропейского средневековья, известная во множестве вариантов, отдаёт юдофобским привкусом. Некий жестокосердный иудей осуждён вечно бродить среди чужих народов, и поделом ему: он отвернулся от Иисуса Христа на его крестном пути, не признал в нём Сына Божьего. Вечный Жид, олицетворение еврейского народа, осуждён самим Христом.

Заметьте, однако: он единственный из живущих на земле, кто своими глазами видел Христа, единственный, кто может свидетельствовать о нём. Ведь все остальные свидетели, в сущности, ими не были. Агасфер гоним и презираем, но он — доказательство, что Христос в самом деле существовал. Он доподлинно знает, что Христос, кем бы он ни был, — был. Много столетий подряд христианство было непримиримым врагом еврейства, сеяло недоверие и ненависть к евреям. Искоренить еврейство — вот к чему оно стремилось. Вот что оно проповедовало. Все христианские церкви несут свою долю вины за гонения и погромы, за то, что происходило в Средние века, и в конечном счёте за то, что случилось в нашем, уже минувшем веке: за Катастрофу. И вместе с тем — да, вместе с тем христианство приросло к своему антагонисту, как сук к дереву. Христианство исторически отпочковалось от иудаизма, авторы и персонажи Нового Завета — евреи, и народ этот каким-то чудом сохранился, пережил Священную историю и просто историю.

Странник (я возвращаюсь к моему рассказу), явившийся к учёному немцу XVI столетия, чтобы узнать, сколько ему ещё осталось бродить, представляет собой, так сказать, отрицательный полюс истины. Агриппа христианин, для него смерть Спасителя, окончательная смерть, — абсурд. Агасфер — еврей, бывший житель Иерусалима, на его глазах происходила казнь Христа. Галилеянин для него только человек, ложный Мессия, каких было немало. По логике этого взгляда, Христос, если бы он явился в эпоху Голокауста, должен был бы разделить судьбу шести миллионов отравленных газом и сожжённых в печах. Второе пришествие Христа состоялось, и когда же? — когда его соплеменники стоят в очереди перед газовой камерой. Он не может выйти из очереди, это значило бы предать обречённых. А для эсэсовцев он просто жид — как все.

Вместе с евреями погибает и христианство. Родившись среди евреев, оно вместе с ними и уйдёт.

Вы скажете: но это твоя фантазия! Верно. И... не совсем фантазия.

Вы скажете — христианство отнюдь не сгнуло. Христианство и сегодня могучая сила в западном мире. Вдобавок оно «учло свои ошибки». Ватикан в специальном документе официально реабилитировал евреев, больше не надо считать их виновными в том, что Спаситель был предан казни.

Я отвечу: спасибо. Хотя неясно, реабилитирована ли таким образом и Римская церковь.

Но это Ватикан. Зато в книгах, которые выходят сегодня в Москве с благословения патриарха, в учебных пособиях по Священной истории вы по-прежнему можете прочесть, что толпа, собравшаяся перед дворцом прокуратора Иудеи, кричала: «Распни Его!» — так повествует Евангелие — и что «кровь Его на нас и детях наших», и так далее, и что, дескать, вся дальнейшая история еврейства, его горестная судьба были следствием того, что этот народ не признал Христа и даже запятнал себя его убийством. Сами виноваты! О том, что евангельский рассказ исторически неправдоподобен, что невозможно представить себе, чтобы римский наместник советовался с толпой, как ему поступить, наконец, о сомнительности самой этой фразы насчёт «нас» и наших детей — ни слова.

А главное, ни тени сознания того, что вся эта дискуссия — распяли, не распяли — после Освенцима должна быть закрыта, вся эта «тематика» должна быть выкинута на свалку.

При исследовании останков последнего русского императора и его семьи православной церковью был «поставлен вопрос», не имело ли место ритуальное убийство. Тем, кто дал ответ на этот вопрос (слава Богу, отрицательный), как и тем, кто его задал, не пришлось в голову, что сам вопрос постыден.

Если *такое* христианство забыло о том, что произошло на глазах у ныне живущего поколения, если это христианство не хочет ничего знать о печах Освенцима, если оно думает, что может остаться прежним христианством, как будто в мире ничего не случилось, — значит, оно в самом деле мертво. Значит, оно убито вместе с жертвами в тех же самых камерах и печах.

Дорогая. Я чувствую, что вы готовы прервать меня. Освенцим, Голокауст... Но ведь это же было *там*, это были немцы, нацисты, пусть их дети и внуки сводят счёты с прошлым; а нам тут хватает своих проблем. И в конце концов, почему мы обязаны вечно заниматься евреями.

Возможно, вы нашли бы другие выражения, но ведь именно так вы подумали, не правда ли.

Я не знаю, что вам ответить, такая аргументация ставит меня в тупик.

Видите ли, мне всё кажется, что тот, кто думает: не наше дело и не наша забота, — попросту не хочет понять, о чём идёт речь. К несчастью, именно так обстоит дело в России. Сведения о Катастрофе слишком поздно проникли в Советский Союз, слишком скудно освещались в стране, где государственная цензура и народное предубеждение систематически отсекали всё, что касалось евреев; самое слово «еврей», как вы помните, стало нецензурным. В результате (но не только поэтому) Освенцим отсутствует в сознании интеллигенции, не говоря уже о простом народе. Освенцим отсутствует в сознании православной церкви, притязающей на роль духовного наставника общества, но никогда не протестовавшей против эксцессов юдофобства. Освенцим отсутствует в сознании наших писателей, не исключая, увы, самого знаменитого, — Александра Солженицына; если бы это было не так, он не решился бы петь хвалы национализму и национальным добродетелям, не был бы настолько наивен, чтобы уверять себя и других, что декларации «национального самосознания», каким оно выглядит в действительности, а не в розовых романтических мечтах, будто бы не имеют отношения к антисемитизму, не осмелился бы взять под защиту непристойные высказывания писателей-деревенщиков и т.п., не пытался бы прямо или косвенно внушать своим читателям, что евреи сами виноваты в том, что их преследуют, и постыдился делить поровну «взаимную вину» по известному принципу — полкозня, полрябчика. Он был бы по крайней мере трезвей и осторожней, если бы помнил о том, что мы живём после Освенцима.

Да, мы живём после Освенцима, и дым печей спустя полвека вызывает у нас приступы удушья: мы — астматики Освенцима. Мы его вольноотпущенники, нам удалось ускользнуть от газовых камер, мы остались в живых. Но мы не освободились от Освенцима, и, надо думать, никогда не освободимся, и с этим ничего невозможно поделать, разве только помнить о том, что многое, очень многое должно быть по меньшей мере пересмотрено, продумано заново, и что эта работа у нас на родине даже ещё и не начиналась. Нельзя, непозволительно после Освенцима вести благодушные разговоры о том, что, конечно, расизм вещь нехорошая, но ведь и Достоевский, и Розанов, и кто там ещё — были «не совсем неправы»; нельзя больше вести разговоры о Боге и о евреях, о России и о православии так, как они велись сто лет назад. Нельзя думать, что Освенцим — это проблема евреев, или проблема немцев, или ещё чья-нибудь, только не наша. Нельзя забывать, что антисемитизм — это *всечеловеческая школа зла*, и не зря многовековое обучение в этой школе завершилось газовыми камерами и печами. Дорогая, не сердитесь на меня, и — всего вам доброго.

## Буквы

Речь при получении премии «Literatur im Exil»  
(Гейдельберг, 1998 г.)

От одного старого сидельца я слышал, что Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они ещё живы, вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.

В моё время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шествие с надзирателем по галерее вдоль ограждённого сеткой лестничного пролёта, гуськом, впереди дежурный по камере несёт парашу. Никакой связи с внешним миром, ни радио, ни газет; самое существование за стенка окутано тайной. Но зато тюрьма располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ сохранялись реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.

Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение права пользоваться библиотекой. К счастью, следователи прибегали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его действенность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно острую нехватку тюремной площади, когда спецкорпус, воздвигнутый ещё при наркоме Ежове, был битком набит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей. Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные сочинения, диковинные раритеты, о которых никто никогда не слышал. Попадались даже, о ужас, произведения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загреметь туда, где обретались мы, и — получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялась за счёт литературы, изъятой при обысках и конфискованной у владельцев. Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.

Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал «Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года, перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.

С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и современное правописание высушили каким-то образом эту прозу, уничтожили её аромат. Перелитое в новые меха, вино лишилось букета. Я убедился, что печать заключает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от её содержания — я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл. Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и невозвратно оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.

В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св. Мартина начертан латинский гексаметр: *Est opus egregium sacros iam scribere libros*. Славен труд переписчика священных книг.

«Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они святые, суть постоянное напоминание о тех, кто их переписал», — говорится в написанном на переломе XV–XVI веков сочинении Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».

Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они испытали такое же чувство, как некогда учёные александрийцы третьего века, впервые увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом оформлении неуловимо искажился.

Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроческих лет меня зачаровывала фрактур, так называемый готический шрифт, я разглядывал твёрдые тиснёные переплётные и титульные листы немецких книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня немислим, невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть словно разгримированные актёры. Всё, что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который впереяется Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины — всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.

Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, воображая, что в этих письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами знаки порождают ещё неведомый смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до веры в магическую власть букв, до обожествления графики.

Из трактата *Sefer Jezira* (Книга творения), который в некоторых рукописях носит название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю евреев, хотя на самом деле был сочинён в середине первого тысячелетия нашей эры, — из этого трактата можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.

Из трёх букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека. Остальные 12 букв положили начало двенадцати знакам зодиака, двенадцати месяцам года и двенадцати главным членам и органам человеческого тела.

«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы — элементы не только всего, что существует реально, но и того, что существует потенциально. Подобно тому, как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что ещё не написаны, — в нём предопределено всё творение. Алфавит — это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приблизиться к акту творения, нужно сделать последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, — облечься в четырёхбуквенное Имя божества.

Французский писатель, нобелевский лауреат Эли Визел рассказывает легенду об основателе хасидизма, «господине благого Имени» — Баал Шем Тов, — который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий ещё не наполнилась. За своё нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоём с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражён амнезией: он забыл все формулы и слова. Я тебя учил, сказал он, ты должен помнить. Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, — всё, кроме одной единственной, первой буквы алфавита — алеф. А я, сказал учитель, помню вторую — бет. Давай вспоминать дальше. И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний, и припомнили

одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза, магическое заклинание, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришёл, но зато они могли снова мечтать и спорить о нём.

Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на камне, под которым я буду лежать, обозначат нечто большее, нежели чьё-то имя, вырезанное на нём.

## Язык

*Речь при получении Русской премии (Москва, 2009 г.)*

**П**риезжая в Москву, я слышу вокруг себя русскую речь, и она вызывает у меня двойственное чувство.

Это родной, материнский язык и в то же время не совсем родной.

Он кажется мне испорченным, но это живой, современный русский язык, и я должен признаться, что я на нём уже не говорю.

Никто, может быть, не относится к родному языку так ревниво, как писатель, ушедший в изгнание. Язык не портится, когда его хранят в холодильнике; эмиграция — это холодильник.

Проблема, однако, достаточно сложна: что значит сбересть язык, отстаивать его чистоту и неприкосновенность? Идея, не чуждая нам, как и нашим предшественникам, русским политическим эмигрантам 20-х и 30-х годов прошлого века. Их, как и нас, порой ужасал жаргон метрополии. Но язык, всякий язык, постоянно меняется, язык не может не меняться, — деградируя, одновременно развивается и на ходу меняет оттенки и знаки: то, что культурным людям сегодня кажется вульгарным, спустя одно-два поколения становится нормой. Борхес любил повторять: «Мы говорим на диалекте латинского языка». Грязный жаргон римского простонародья, язык гостей Тримальхиона, ломаная латынь провинций — предок современных высококультурных романских языков, а отнюдь не золотая латынь Цезаря и Цицерона.

И всё же, всё же... Мы не можем пересоздавать язык, который течёт мимо нас, как вечная и никому не подвластная река, между тем как мы сидим на берегу, удим рыбку или зачерпываем горстями, чтобы совершить омовение. Но ведь и твёрдый берег был когда-то текучей стихией; мы сидим на этой окаменелости языка, голыми ступнями болтая в воде. Мы не можем по своей прихоти пересоздавать язык. Но портить язык, плевать в этот поток мы можем, что и происходит каждодневно в эпоху газет и телевидения, в царстве журнализма. Остаётся лишь верить в постепенное, со временем, самоочищение языка наподобие процесса самоочищения рек.

Награда, которой я удостоен, присуждается писателям, чьё призвание и утешение — беречь и пестовать русский язык как неотъемлемое достояние мировой культуры; я горжусь тем, что причислен к ним.

ДОЛОЙ ИСТОРИЮ





## Штирлиц, или красота фашизма

**Смерть Дриё.** Хозяйка квартиры на улице Св. Фердинанда нашла записку, оставленную жильцом: «Габриэль, на сей раз меня не будите». Сам жилец сидел на кухне перед умывальником, положив локти на край умывальника, голову на руки, лицом вниз; разбудить его уже никто не мог. Газовый шланг был вырван из гнезда. Вдобавок самоубийца принял смертельную дозу люминала. Дело происходило 15 марта 1945 года, Париж полгода находился в руках союзников, де Голль возглавил новое французское правительство. Дриё должен был на другой день предстать перед судом.

**Кто он такой.** В конце тридцатых годов Пьер Дриё Ла Рошель выпустил роман «Жилье». Едва успев окончить школу, Жилье Гамбье попадает на фронт, оттуда в госпиталь. Война заканчивается. Бесконечные любовные приключения, брак с состоятельной дамой из еврейской семьи. Пожив некоторое время за её счёт, Жилье бросает жену, то же происходит со вторым браком. Жилье сблизается с группой литераторов-бунтарей, замысливших убить президента республики; издаёт журнал, в котором проповедует национальную революцию и великую народную общность, но не может вырваться из своего одиночества. Он уезжает в Испанию. Финал напоминает последние страницы романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», но с противоположным политическим знаком: Жилье Гамбье воюет на стороне франкистов. Укрывшись в развалинах, он стреляет по приближающимся республиканцам; через минуту он будет убит.

**Дебют.** Книга отчасти воспроизводит жизнь автора. Дриё был ранен под Верденом. После войны прожигал жизнь в Париже. Дважды был женат на богатых женщинах, обеих оставил. Рано добился литературного успеха (романы «Мечтательная буржуазия» и «Мужчина, увешанный женщинами»), был ослепительно красив, всегда одет с иголочки, всегда при деньгах, в отличие от своего закадычного друга Луи Арагона. Оба приятеля — усердные посетители фешенебельных публичных домов.

**Тайный отчёт.** Так называются предсмертные записки Дриё Ла Рошеля, опубликованные сравнительно недавно. Дриё рассказывает о том, как с отроческих лет он боролся с демоном: всю жизнь бежал от самого себя или — что в данном случае одно и то же — от соблазна покончить с собой. Было несколько неудачных попыток. Биография (или «патография») Дриё — в некотором роде образцовый случай, ибо здесь нас интересует не столько социальный или политический генезис фашизма, сколько его психологический резон и эстетический искуc. Чтобы сделаться идеологом «движения», надо быть психопатом. Чтобы стать его трубадуром, надо быть эстетом.

**Съезд победителей.** «То, что я увидел, превосходит всё, что я ожидал: опьяняет и повергает в трепет... Марш отборных отрядов, с головы до ног одетых в чёрное, — нечто роскошное и надменное. Со времени русских балетов я не испытывал подобного художественного потрясения. Вся эта нация погружена в стихию музыки и танца». Так он пишет к одной из подруг под свежим впечатлением от паломничества в Германию в сентябре 1935 года. Дриё, один из самых блестящих публицистов французского праворадикального лагеря, предстал перед бонзами нового режима. Ему устроили экскурсию в основанный два года тому назад концентрационный лагерь в Дахау. Закоренелый индивидуалист жаждет приобщиться к великому делу: таким причастием — высшим переживанием — оказался имперский съезд партии в Нюрнберге. Оттуда Дриё едет в Берлин, а далее в Москву, — почему бы и нет?

**Нечто роскошное и надменное.** Удивительная история. Тот, кто видел фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», знает, как выглядел этот триумф. На этот шедевр кинематографии, посвящённый нюрнбергскому съезду, невозможно смотреть без смеха. Невозможно не расхохотаться, глядя на кадры хроники, запечатлевшей вождя, его соратников и публику, совершенно так же, как нельзя не удержаться от смеха при взгляде на бесчисленные фотографии Гитлера, выполненные лейб-портретистом Гофманом, на ужимки и выпученные глаза итальянского дуче, на жирного карлика в эполетах — испанского каудильо Франсиско Франко де Баамонде, вышагивающего рядом с Адольфом во время торжественной встречи на перроне берлинского вокзала. Кого мог привести в восторг этот балаган? Между тем ни презрительный красавец Дриё Ла Рошель, ни рыцарственный граф Анри де Монтерлан, ни полубезумный Эзра Паунд, ни пророк «Третьего Завета» Мережковский, ни северный романтик Кнут Гамсун, — если называть только самых известных почитателей фашизма, — не были, кажется, людьми

примитивного вкуса.. Каждому был более или менее не чужд особого рода культ красоты, переживание истории как борьбы эстетики с безобразием, — и в этом, может быть, всё дело.

**Цветá эпохи.** Либеральная демократия девятнадцатого века изжила себя. Демократия выродилась, продана капиталу. Мир погряз в пошлости. Это ощущение заставляет вчерашних фронтовиков Мировой войны, молодых людей «потерянного поколения», искать истину на политических полюсах. Всё что угодно — только не пресловутая золотая середина, не буржуазное ожирение, не парламентская болтовня, не публичный дом либерализма. Два цвета времени — красный и чёрный: жертвенная кровь и геройская смерть. Цвета пролетарско-коммунистического и пролетарско-фашистского тоталитаризма. Призрак двух революций бродит по Европе. Ровесники Дриё видят себя на перепутье: или направо, или налево; и оба пути, как в сказке о богатыре, ведут к гибели. Волшебным блеском загораются слова «народ», «нация», «воин», «рабочий», «вождь», «революция», «кровь», «почва», «величие», «смерть». Скрип ремней и сапог, знамёна, эмблемы. Так они становятся наркоманами радикальной идеи.

**Театр смерти.** Мёртвые маршируют плечом к плечу с живыми, а живые готовы умереть. Шестьдесят пять лет назад в Мюнхене, «столице движения», при въезде на Королевскую площадь были воздвигнуты два храма с саркофагами павших борцов. Ежегодная церемония начиналась в центре города, где фюрер, в качестве верховного жреца, возлагал гигантский венок к подножью мемориала на площади Одеона — там, где 9 ноября 1923 года полиция разогнала пивной путч. Далее шествие к храмам, чёрные ряды лейбштандартов СС, «последний смотр» с выкрикиванием имён павших, громоподобный отзыв: «Здесь!» и прочее. Грандиозный кич смерти, в сравнении с которым кажутся скромными языческий мавзолей в Москве и останки, замурованные в кремлёвской стене, мрачный караул перед гробницей с половинкой вечно живого Ленина или даже улыбающийся Мао Цзэдун, засоленный целиком.

**Великое прощание.** Показанная в начале 90-х годов в мюнхенском Музее кино ретроспектива «Кинематограф диктаторов» была составлена из лент, сгруппированных попарно: «Пётр Первый» режиссёра В.Петрова и «Великий король» Файта Гарлана (о Фридрихе II), «Иван Грозный» С.Эйзенштейна и некогда знаменитый итальянский супербоевик 1937 года «Сципион Африканский» с главным героем, похожим на Муссолини. Снятое весной 1939 г.

«Пятидесятилетие Адольфа Гитлера» шло в один вечер с «Празднованием семидесятилетия Иосифа Виссарионовича Сталина», на удивление тусклым; между обеими кинолентами — десять лет и война. Изготовленное с великими трудами «Празднование» было показано имениннику, удостоилось похвалы и отправилось в архив: вождь не пожелал, чтобы фильм вышел на экраны. К сожалению, — или к счастью, — отсутствует немецкий эквивалент совместного труда корифеев советского кино Герасимова, Александрова, Чиаурели и Ромма — «Великого прощания», не успевшего выйти в свет из-за падения Берии. Существует, правда, роман, написанный после войны одним австрийским журналистом: Третья империя победила, Европа нацифицирована, приводится многостраничный газетный отчёт о торжественных похоронах престарелого Гитлера.

**Вождь и его тень.** Парад в честь 50-летия фюрера открывает кавалерия. Впереди скачет одинокий барабанщик с двумя барабанами по обе стороны седла, и то, что он проделывает со своим конём, изумительное искусство, с которым он кружится и размахивает палочками, наводит на мысль, что это выступление есть не что иное как символический эпиграф ко всему происходящему. Прочие номера обширной программы — пехота, танки, проезд Гитлера в открытой машине по проспектам предвоенного Берлина в имперскую канцелярию, встреча с соратниками и восшествие на балкон — не в состоянии затмить циркача-барабанщика. В некотором смысле это двойник того, кто стоит на балконе.

**Совет будущему властителю.** Можно было бы написать учебное пособие для желающих совершить восхождение на пик власти. Иконография фашистского диктатора, фильмы и фотоснимки — это кладёшь подробностей: как надо шагать, стоять, приветствовать. Левой рукой надо держаться за пряжку военного ремня. Вытянутая правая устаёт от продолжительного римско-германского приветствия, кинохроника показывает, как выйти из затруднительного положения. Вождь эффектно сгибает руку в локте и рывком опускает её. При позировании перед фотоаппаратом — нос кверху и несколько вбок, руки — на детородном органе. И ещё один совет будущему властителю: держаться подальше от телевизионных камер. Домашний экран с его эффектом интимности и неизбежным натурализмом разоблачает мистическую тайну, разрушает харизму. Можно предположить, что испытания телевидением не выдержали бы ни Гитлер, ни тем более Сталин. Голос вождя должен раздаваться в каждой квартире, но видеть его нужно лишь изредка, издалека.

**Сын и супруг.** Речи Гитлера, во время которых вождь впадал в иступление, демонстрируют особый аспект националсоциализма. Изнеможенный оратор сходил с трибуны словно после повторных оргазмов. Отец нации одновременно является и её великим сыном — так именовал себя сам Гитлер — и вступает с ней в инцестуальную связь. Но в таком же трансе пребывает и оглушённая, изнасилованная и ослеплённая толпа. Очевидно, что политическое и экономическое истолкование тоталитарных режимов не исчерпывает их сути; не учитывая подсознательного, сексуально-агрессивного подтекста национализма и фашизма, невозможно прочесть и «текст».

**Вторая крамола.** Вместе с тем фашизм относится к сексуальности приблизительно так же, как к религии: он видит в ней соперника. Эротика есть достояние буржуазного декаданта, расстреленного Запада. (В традиционном геополитическом раскладе немецкого национализма Германия, «срединная держава», — не Запад.) Секс отвлекает молодёжь от великих национальных задач. Рекорд ханжества поставила сталинская система, где секс был второй крамолой. Но и в нацистской Германии приоритет государства во всех сферах жизни и этика самоотречения были призваны обесценить и погасить инстинкт самореализации личности там, где личность ещё обладала свободой реализовать себя, — в интимной жизни. Сексуальность должна быть вытеснена, но особым образом: она должна быть мобилизована. Огромный голый атлет с факелом, работы скульптора Арно Беккера, называется «Партия». Другое творение мастера — «Шагающий»: махина из мрамора вдвое больше натуральной величины. Плечистый мужской торс, без головы — зачем она? — но с мощным атрибутом плодовитости. Воин-производитель.

**Чёрный орден.** За этим компромиссом просматривается ещё один слой. В год окончания первой Мировой войны вышло в свет сочинение Ганса Блюэра «Роль эротики в мужском обществе». Главная мысль: новую социальную общность и народное государство могут построить лишь сплочённые единой волей мужчины, не обременённые семьёй, отказавшиеся приносить себя в жертву женщине. Презирать слабый пол автор научился у Вейнингера («Пол и характер», 1903). Эрос должен быть возвышен и освобождён от биологической функции продолжения рода. Быть мужчиной значит быть первым в спорте и борьбе, уметь беспрекословно подчиняться старшему и уметь повелевать. Настоящий мужчина — не хлипкий интеллигент, не эстет-декадент, не буржуазный прожигатель жизни. Настоящий мужчина — это истинный немец: он бесконечно выше развратного француза, коррумпированного итальянца и, само собой, торгаша-

еврея. «Мужские союзы» Блюэра — предшественник СС. Вместе с поэзией казармы черномундирная рать переняла от них и отчётливый привкус гомосексуализма.

**Аскет-подвижник.** У фюрера, как известно, не было семьи. История с самоубийством племянницы Гели Раубал держалась в тайне. Дневник актрисы Евы Браун свидетельствует, что и она не раз помышляла о том, чтобы свести счёты с жизнью. В качестве долголетней спутницы вождя Ева появлялась лишь в интимном кругу, никогда не была хозяйкой дома ни в столице, ни в Берхтесгадене и стала официальной супругой в день совместного самоубийства. Вообще же Гитлер мало интересовался женщинами: его мистической подругой была нация. Зато Геринг и Геббельс охотно демонстрировали своё семейное счастье. Пропаганда славил семейные добродетели. Был учреждён специальный орден для многодетных матерей.

**Рур и Тевтобургский лес.** Победа Арминия Херуска над римлянами в сентябре 9 года нашей эры была одержана в лесных дебрях — недалеко от Рурской области, будущего стального сердца Германии. Легко заметить фундаментальное противоречие фашистской утопии: она устремлена одновременно вперёд и назад. Идиллия и агрессия — в одно и то же время. Восстание против «Запада», против капитализма, против космополитического города, против неизбежного вовлечения в мировую экономическую систему, одним словом, против нового времени: антимодернизм. В этом смысле фашизм «реакционен». Вместе с тем он ультра-«прогрессивен». Могучая промышленность, химия, машиностроение, авиация, новейшие виды вооружения, самое боеспособное в мире войско. Гитлер начинает со строительства автострад.

**Юный Зигфрид.** Происходит удвоение эстетики: воин и пахарь. Самая модернизированная страна Европы воображает себя нацией средневековой патриархальности. Назад, в германские леса. Здоровая деревня есть оплот нации. Популярный сюжет нацистской живописи — крестьянская невеста: косы вокруг лба, манерно-невинный наклон головы, потупленный взгляд, платице в народном стиле. Вечный архетип для всех будущих романтиков нацизма. Ибо нацизм защищает «самое дорогое» — провинциальную идиллию. Он срывает вражескую маску: враг — это инородец. Тот, кто хочет жить за наш счёт, растоптать наши национальные ценности. Здесь сами собой напрашиваются параллели: поворот к официальному национализму в СССР в тридцатых годах легко объясним поли-

тически, стратегически и так далее; но его неизбежность была связана с самой природой режима. И когда спустя полвека советский режим испустил дух, национализм выпорхнул из него, как душа из мёртвого тела. Книга корифея земной литературы Василия Белова «Лад» — это, конечно, ещё не фашизм. И в каком-то смысле «уже».

**Калиф на час, герой — на семнадцать мгновений.** Ни один телевизионный сериал в недавнем прошлом не пользовался таким успехом, как «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой. Благодарные зрители готовы были простить сценаристу и режиссёру очевидную ложь и нелепость сюжета. Фильм был создан для ничего не знающей молодёжи, но и умудрённые жизнью люди соглашались верить, что против Гитлера сражалась одна лишь Красная Армия, в то время как вероломные союзники только и думали о том, как бы получше воспользоваться плодами чужой победы. А главное, никому, по-видимому, не приходило в голову, что главный герой, правая рука шефа загранслужбы Главного имперского управления безопасности бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга, вскоре представшего перед судом в Нюрнберге, — не мог бы достичь столь высокого положения, не будучи в свою очередь нацистским преступником.

**До скорого свидания.** Но дело в том, что такой вопрос и не мог возникнуть. В данной аксиоматической системе, в рамках предложенной эстетики, вопрос: что за птица этот Штирлиц, как он достиг таких высот, почему на протяжении всех «семнадцати мгновений» он ничем другим не занят, кроме как тем, что назначает явки, завязывает тайные связи и передаёт информацию, — вопрос этот относится к разряду некорректных, то есть таких, на которые нельзя дать осмысленного ответа. Не имеет значения, что происходило до того, как хронометр начал отсчитывать эти мгновения. Неважно и неинтересно, чем он, собственно, ведал в службе безопасности с её семью отделами, которые готовили кадры для гестапо и СД, занимались контрразведкой, слежкой, истреблением коммунистов, социалистов, священнослужителей, масонов, сектантов, депортацией евреев, конструированием газовых камер и множеством других дел. Стройный, сдержанный, элегантный, мужественно-скромный, одинокий, рыцарственный, беззаветно преданный своему долгу, лишивший себя женщин, холодный и нежный, чувствительный и бесстрашный офицер-картинка, с головы до ног в чёрном, в глянцеvitых сапогах, со свастикой на рукаве, был не чем иным как олицетворённой красотой фашизма, песнью любви к фашизму, — что бы ни намеревались представить в образе Штирлица те, кто его придумал и с блеском воплотил на экране.



## Десять праведников в Содоме

### *История одного заговора*

**Игра в рулетку.** Некоторые ключевые моменты истории заставляют поверить, что миром правит случай. Столяр-краснодеревщик Георг Эльзер трудился много ночей в подвале мюнхенского пивного зала «Бюргерброй», замуровывая в основание столба, подпирающего потолок рядом с трибуной, весьма совершенную, собственного изготовления бомбу замедленного действия с двумя часовыми механизмами. Адская машина детонировала 8 ноября 1939 года, в годовщину неудавшегося путча 1923 г., в десятом часу вечера, когда в переполненном зале, внизу и на балконах, сидело три тысячи «старых борцов». Было известно, что вождь говорит как минимум полтора часов. К полуночи он должен был вылететь в Берлин. Но прогноз погоды был неблагоприятен. Аджутант связался по телефону с вокзалом, к уходящему в половине десятого берлинскому поезду был подцеплен салон-вагон фюрера. Речь в пивной пришлось сократить и начать на полчаса раньше. В восемь часов грянул Баденвейлерский марш, загрели сапоги, в зал с помпой было внесено «кровавое знамя». Гитлер взобрался на трибуну — и успел покинуть пивную за восемь минут до взрыва.

Если бы не счастливая — следовало бы сказать: несчастливая — случайность, вместе с обвалившимся потолком, с разнесённой в щепы трибуной взрыв, уничтожив оратора, утробил бы и его режим. Только что начатая война была бы прекращена. Германия не напала бы на Советский Союз, не была бы разрушена и расчленена, не было бы Восточного блока, холодной войны и так далее.

Если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры был чуть короче, история Рима была бы иной. Можно нанизывать сколько угодно таких «если бы». Стрелочник (если предположить существование подобного метаисторического персонажа) по недоразумению или капризу перевёл стрелку не в ту сторону, и поезд свернул на другой путь. Что такое случай? То, чего по всем статьям не должно было случиться. И что тем не менее случилось. Что было бы, если бы 20 июля 1944 года в Волчьей норе, ставке фюрера в Восточной Пруссии, судьба не спасла нацистского главаря, если бы он, наконец, испустил дух, вместо того, чтобы отделаться мелкими повреждениями? Осуществилась бы надежда заговорщиков отвести катастрофу, предотвратить оккупацию, сохранить суверенность страны? Нет, конечно: судьба Германии была решена. Но война закончилась бы на десять месяцев раньше. Убитые не были бы убиты, не погибли бы города, вся послевоенная история выглядела бы немного иначе.

**Сопротивление.** О партии Гитлера нельзя было сказать (как о партии большевиков в России накануне октябрьского переворота), что в марте 1933 года она представляла собой незначительную кучку фанатиков, и всё же на выборах ей не удалось собрать большинство голосов. Семь миллионов избирателей голосовало за социал-демократов, шесть миллионов за католическую партию центра и мелкие демократические партии, пять миллионов за коммунистов. То, что националсоциализм и в первые месяцы, и в последующие 12 лет «тысячелетнего рейха» встречал более или менее активное сопротивление, неудивительно: несмотря на симпатии самых разных слоёв населения, у него оставалось немало противников. И всё же это сопротивление, от глухой оппозиции до покушений на жизнь диктатора, достойно удивления, ибо оно существовало в условиях режима, казалось бы, подавившего в зародыше всякую попытку сопротивляться. Тот, кто по опыту жизни знает, что такое тоталитарное государство, знает, что значит перечить этому государству. Два фактора — между которыми, впрочем, трудно провести границу — обеспечивают его монолитность: страх и энтузиазм. Страх перед вездесущей тайной полицией и восторг перед сапогами вождя.

Заговор 20 июля, которому теперь уже более полувека, не был единственной попыткой радикально изменить положение вещей. Он был не единственным примером внутреннего сопротивления нацизму. Вскоре после капитуляции писатель Ганс Фаллада раскопал в архиве гестапо дело берлинского рабочего Отто Квангеля и его жены: оба рассылали наугад почтовые открытки-воззвания против Гитлера и войны; случай, послуживший основой известного романа «Каждый умирает в одиночку». О мюнхенской студенческой группе «Белая роза», о расправе с её участниками стало известно тоже в первые послевоенные годы. О многих других — опять-таки в самых разных слоях населения — узнали лишь в самое последнее время.

При всём том, однако, Двадцатое июля не имело себе равных по масштабам подготовки и разветвлённости. В заговоре участвовали люди разного состояния, мировоззрения, происхождения: юристы, теологи, священники, дипломаты, генералы; консерваторы, националисты, либералы, социалдемократы; выходцы из среднего класса и знать. То, что их объединяло, было важнее политических расхождений и выше сословных амбиций. Некоторые из них пережили в юности увлечение националсоциализмом. Другие не принимали его никогда. Среди многочисленных участников комплота не оказалось ни одного осведомителя — случай неслыханный в государстве и обществе этого типа. Люди 20 июля хорошо знали, что их ждёт в случае неудачи. Накануне решающего дня многих не оставляло предчувствие поражения. Хотя Гер-

мания вела уже оборонительные бои, агрессивная мощь рейха была далеко ещё не сломлена. Заговорщики знали, что они будут заклеены как изменники родины. Но, как сказал Клаус Штауфенберг, «не выступив, мы предадим нашу совесть».

**Не убий.** Истоки заговора восходят к середине тридцатых годов. Время, наименее благоприятное для успеха: режим шагал от триумфа к триумфу. Мистическая вера в фюрера стала чуть ли не всенародной. За несколько лет до нападения на Польшу и начала Второй мировой войны тайная оппозиция выработала планы будущего устройства Германии. Но похоронить нацизм могли только военные. Это означало нарушить присягу; не каждый мог через это переступить. Традиция запрещала прусскому и немецкому офицеру вмешиваться в политику. Его первой и второй заповедью были верность и повиновение. Государственными делами пусть занимаются другие; долг солдата — защищать отечество. Противоречие усугубилось с развитием событий: если страна воюет, как может он нанести ей удар в спину?

Другую этическую проблему представляло тираноубийство. Было ясно — или становилось всё ясней, — что до тех пор, пока фюрер жив или по крайней мере не обезврежен, изменить существующий строй невозможно. Убийство же, вдобавок почти неизбежно сопряжённое с гибелью других, противоречило христианским убеждениям многих участников заговора, не исключая самых видных, например, таких, как граф Мольтке. С другой стороны, начавшаяся война чрезвычайно затруднила доступ к окружению диктатора. Гитлер уже не выступал публично. Большую часть времени он проводил не в Берлине, а в надёжно защищённых убежищах, вдали и от уязвимо для авиации тыла, и от фронта. Пробриться туда мог лишь заслуженный и проверенный офицер высокого ранга. Как мы знаем, такой человек нашёлся.

**Пока лишь генералы.** К предыстории 20 июля относятся несколько неосуществлённых проектов переворота. Мы можем сказать о них кратко. В 1938 году, с мая по август, начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Людвиг Бек в нескольких памятных записках, направленных вождю и рейхсканцлеру (официальное титулование Гитлера) через посредство верховного главнокомандующего Браухича, пытался убедить фюрера и его окружение отказаться от подготовки к войне. В одном из этих писем Бек даже предупреждал, что если война будет начата, высший генералитет в полном составе подаст в отставку. Но диктаторам не дают советов. Гитлер ответил, что он сам знает, как ему нужно поступать. Что касается забастовки генералов, то осторожный Браухич предпочёл

скрыть от фюрера эту часть письма. Бек ничего не добился, кроме того, что был снят со своего поста; позже мы встретим его имя среди главных участников заговора.

Преемником Бека (с его согласия) стал генерал артиллерии Франц Гальдер, человек более решительного образа мыслей. Вместе с группой единомышленников он разработал детальный план путча.

Осенью 1938 г. ещё не все были согласны с предложением командующего третьим берлинским военным округом генерала, впоследствии генерал-фельдмаршала Эрвина фон Вицлебена физически устранить фюрера. Гальдер и офицеры контрразведки Остер и Гейнц поддержали Вицлебена. План состоял в следующем. По приказу Вицлебена части 3-го армейского корпуса занимают улицы и ключевые учреждения столицы; вместе с чинами своего штаба, под защитой офицерского отряда во главе с Гейнцем, Вицлебен снимает наружную и внутреннюю охрану имперской канцелярии, минуя Мраморный зал, через коридор проникает в комнату Гитлера. Арест вождя, после чего инсценируется незапланированное убийство: даже если отряды СС против ожидания не окажут сопротивление путчистам, Гейнц и его подчинённые организуют вооружённый инцидент, во время которого Гитлер будет убит.

План не удалось реализовать из-за приезда британского премьера Чемберлена к Гитлеру в Берхтесгаден. За этим неожиданным визитом и конференцией представителей западных держав в Бад-Годесберге под Бонном последовало Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 г.; война казалась отсроченной. Но заговорщики не оставили своих намерений. Новый проект переворота был разработан в следующем году. Генерал Гальдер, по должности многократно посещавший рейхсканцелярию, носил в кармане пистолет, чтобы собственноручно прикончить вождя. В Цоссене, к югу от Берлина, где находилось верховное командование, в бронированном сейфе хранился подготовленный Остером стратегический план восстания, текст обращения к народу и армии, состав нового правительства, список нацистских руководителей, подлежащих немедленному аресту и, очевидно, расстрелу: Гитлер, Гиммлер, Риббентроп, Гейдрих, Геринг, Геббельс.

**Крейсау.** В 1867 году Гельмут граф фон Мольтке, победитель австрийцев и саксонцев в битве под Кёниггрецом и будущий победитель во франко-прусской войне, получил от короля дотацию на приобретение бывшего рыцарского владения Крейсау близ городка Швейдниц в Нижней Силезии (ныне — территория Польши). В старинном, много раз перестроенном четырёхэтажном доме, который всё ещё по старой памяти называли замком, родился в 1907 году племянник бездетного фельдмаршала Гельмут Джеймс граф фон Мольтке-младший. После смерти отца он унаследовал поместье.

Мольтке был высокий худощавый человек северного типа, сероглазый, с зачёсанными назад светлыми волосами, с красивым прямоугольным лбом. Его дед с материнской стороны был Chief Justice (главный судья) в Южно-Африканском Союзе; внук перенял от него профессию юриста. Мольтке получил юридическое образование в Оксфорде и позднее часто бывал в Англии, стал немецким и английским адвокатом в Берлине. Во время войны служил в юридическом отделе иностранной контрразведки при верховном командовании вермахта. (Напомним, что контрразведку возглавил адмирал Вильгельм Канарис, расстрелянный как участник сопротивления полевым трибуналом СС весной 1945 г. в концлагере Флоссенбюрг).

Рейх начал Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. К этому времени относятся первые проекты свержения национал-социалистического режима, составленные Гельмутом Мольтке и отпечатанные на машинке его женой; в дальнейшем Фрейя фон Мольтке перепечатывала все документы и сумела их сохранить. Примерно с 1940 года в усадьбе Крейсау, в старом замке, а чаще в соседнем небольшом доме, который назывался Бергхауз, собирались друзья Мольтке. Встреча с дальним родственником, юристом и офицером верховного командования Йорком фон Вартенбургом положила начало регулярным собраниям. Весной, на Троицу, и осенью приезжало 10–12 человек. Гостей встречали с экипажем и фонарями на маленькой железнодорожной станции. Впоследствии в протоколах гестапо эти собрания, в которых участвовало в общей сложности около 40 человек, обозначались как Крейсауский кружок. С этим названием они вошли в историю.

**Как быть с фюрером?** Здесь нужно упомянуть некоторых участников из числа тех, кто составил ядро кружка Крейсау. Адам фон Тротт цу Зольц, потомок старого гессенского рода, учившийся, как и Мольтке, в Оксфорде, занимал, несмотря на свою молодость, один из ключевых постов в министерстве иностранных дел. Видным дипломатом был также посольский советник Ганс-Бернд фон Гефтен. Учитель гимназии Адольф Рейхвейн в прошлом состоял в социалдемократической партии и был профессором педагогической академии. Бывшим социалдемократом был Юлиус Лебер, сын рабочего из Эльзаса, во времена Веймарской республики депутат рейхстага; он успел отсидеть четыре года в концлагере, затем возобновил контакты с бывшими товарищами по разгромленной партии, связался с обоими мозговыми центрами сопротивления — Крейсауским кружком и группой Герделера (о которой будет сказано ниже), познакомился со Штауфенбергом, будущей центральной

фигурой мятежа, вместе с Рейхвейном пытался наладить связь с коммунистическим подпольем. Карл Дитрих фон Трота был референтом министерства экономики. Некогда занимавший пост заместителя начальника берлинской полиции Фриц-Дитлоф граф фон дер Шуленбург цу Циглер (племянник германского посла в Москве графа Шуленбурга-старшего, который тоже был участником сопротивления) после начала войны оставил ряды нацистской партии, был штабным офицером. Писатель Карло Мирендорф не дожил до 20 июля: он погиб во время воздушного налёта в Лейпциге. В Заксенхаузене, бывшем концлагере, преобразованном в советский лагерь для интернированных, через три года после войны, как предполагают, погиб один из активных членов Крейсауского кружка Хорст фон Эйнзидель. Гаральд Пельхау был тюремным священником в Тегеле (Берлин). Протестантский теолог Эйген Герстенмайер, деятель Исповедной церкви, оппозиционной по отношению к гитлеризму, сравнительно поздно вступил в кружок, но стал одним из его главных действующих лиц. Участниками дискуссий в Крейсау были отцы иезуиты Лотар Кениг, Ганс фон Галли и Альфред Дельп, которому предложил войти в кружок провинциал ордена Аугустин Реш. Петер граф Йорк фон Вартенбург, из семьи прусских военачальников (предок был союзником Кутузова в войне с Наполеоном), нами уже назван.

Краткая выдержка из «Принципов будущего устройства», датированных августом 1943 г., может дать представление о характере предначертаний Крейсауского кружка:

«Правительство Германской империи видит основу для нравственного и религиозного обновления нашего народа, для преодоления ненависти и лжи, для строительства европейского сообщества наций — в христианстве... Имперское правительство исполнено решимости осуществить следующие требования. Растоптанное право должно быть восстановлено, правопорядок должен господствовать во всех сферах жизни. Гарантируются свобода веры и совести. Существующие ныне законы и положения, которые противоречат этому принципу, отменяются... Право на труд и собственность берётся под защиту государства и общества вне зависимости от расовой, национальной и религиозной принадлежности».

Можно ли претворить в жизнь эти принципы, не покончив с существующим строем? Нет, очевидно. Свергнуть же этот строй невозможно, не покончив с фюрером. Тем не менее граф Мольтке, в отличие от большинства членов кружка, был против покушений на Гитлера. Мольтке считал, что после военного поражения — а оно представлялось неизбежным — убийство Гитлера и генеральский путч возродят старый миф об «ударе в спину», измене в тылу, из-за которой будто бы Германия проиграла Первую мировую войну.

**До Урала и дальше.** Одна из многих вышедших в последние десятилетия книг о Мольтке и его окружении называется «Новый порядок группы сопротивления в Крейсау». Члены кружка противопоставили будущее Германии и Европы, каким они хотели его увидеть, «новому порядку» — так именовался на жаргоне пропаганды режим поработённого Гитлером континента. Но аппетит, разгоревшийся после первых побед, не довольствовался Европой, проекты вождя, которые правильной назвать горячечными грёзами, становились всё грандиозней и теперь уже простирались далеко за её пределы. После разгрома Англии, главного врага, вся огромная и разбросанная по свету Британская империя окажется под владычеством Германии. Мир будет состоять из трёх регионов: Северная и Южная Америка под контролем США, Азия в ведении Японии, Европа, а также бывшие британские и французские колонии в Африке и за океанами — в руках Германии. Россия как самостоятельное государство не существует. Индия и Урал — граница сфер влияния Германии и Японии. Предусматриваются гигантские работы по отстраиванию столицы мира — нового Берлина, согласно проектам лейб-архитектора Шпеера. Восемьдесят четыре тысячи тонн металла должны быть поставлены для строительства величественных сооружений в «столице движения» Мюнхене, в городе партийных съездов Нюрнберге, в австрийском Линце, где вырос фюрер, и ещё в 27 городах; всё это, не дожидаясь конца войны. В 1950 году будет одержана всемирная окончательная победа. Повсеместно пройдут парады, улицы городов заполнят ликующие народные массы и так далее. Особые планы были сочинены для оккупированных стран.

Любопытно сравнить эту дикую футурологию с прогнозами немецкой прессы после 1945 года, когда все или почти все более или менее крупные города Германии лежали в развалинах. Предполагалось, к примеру, что Франкфурт будет восстановлен (если это вообще удастся) к концу века. Немецкая промышленность не возродится, Германия станет второстепенной сельскохозяйственной страной.

Вернёмся к началу войны. Абсолютной гарантией успеха в глазах Гитлера были мощь и превосходство германского оружия. Капитуляция наследственного врага — Франции, которая ещё совсем недавно считалась сильнейшим государством западного мира, триумфальный марш по странам Европы как будто оправдывали эту уверенность. Между тем военачальники и военные эксперты понимали, что географическое положение рейха в центре Европы в стратегическом отношении обещает не одни лишь выгоды. Почти неизбежная война на два, а то и на три фронта может оказаться затяжной; с Россией, страной громадных расстояний, сурового климата и плохих дорог, связываться опасно; сломить морское могущество Великобритании непросто; вступление в войну Соединённых Штатов Америки, с их неисчерпаемыми ресурсами, сделает

победу вовсе невозможной. Люди антинацистского подполья, офицеры и штатские, ясно видели, что война, так успешно начавшаяся, будет проиграна, и притом с такими потерями, которые не идут ни в какое сравнение с катастрофой 1918 года.

**Берлин.** Вторым мозговым центром заговора, как уже сказано, был кружок Герделера в Берлине. Карл Фридрих Герд(е)лер, сын депутата прусского ландтага, родился в 1884 г. в Шнейдемюле, главном городе провинции Познань—Западная Пруссия (нынешнем центре польского воеводства Пила), и был воспитан в старорежимных традициях трудолюбия, протестантской умеренности, порядочности, безупречной честности, почитания памяти Фридриха Великого и верности монархии Гогенцоллернов. Как и отец, он стал политиком либерально-консервативного толка, во времена Веймарской республики был вторым бургомистром Кенигсберга, затем обер-бургомистром Лейпцига, где его застала националсоциалистическая революция. Опыт, репутация, заслуги сделали Герделера тем, что в Германии называется *Honoratiog* (окруженный почетом общественный деятель), — отсюда до оппозиции Гитлеру был один шаг.

Летом 1936 г., когда в стране наметилась кризисная финансово-экономическая ситуация, Герман Геринг, к многочисленным чинам и постам которого присоединилась должность «имперского уполномоченного по четырёхлетнему плану», назначил экспертом Герделера. Рекомендации Герделера повергли Геринга по меньшей мере в изумление: следовать им значило круто повернуть внутриполитический курс. В это время Герделер ещё предполагал у властителей здравый смысл и честные намерения. Спустя год-другой от этих иллюзий не осталось и следа.

К концу сорок первого года — война уже пылала вовсю, армейская группа «Центр» приблизилась к Москве, миллионы советских солдат оказались в плену, японский коронный совет принял решение начать военные действия против Америки, Великобритания и Нидерландов, последовало нападение на Пирл-Харбор, после начала русского контрнаступления Гитлер сместил генерал-фельдмаршала Браухича с поста верховного главнокомандующего и назначил верховным себя, — к концу года мы находим Карла Герделера в роли одной из центральных фигур антигитлеровского комплота. Герделеру удалось наладить связь с разными ячейками сопротивления. В Берлине вокруг него сплотилась кучка единомышленников, среди них были упомянутый выше отставной генерал Людвиг Бек, дипломат, в прошлом посол в Копенгагене, Белграде и Риме Ульрих фон Гассель, прусский министр финансов Иоганнес Попиц. Возникли контакты с представителями «христианских профсоюзов» и Фрейбургским оппозиционным кружком университет-



ских профессоров. Нити от кружка Герделера протянулись к генеральному штабу армейской группы «Центр», где занимал высокий пост Геннинг фон Треско, о котором пойдёт речь особо.

**Два сценария.** Крейсауский кружок состоял по большей части из молодых людей; в берлинском кружке задавали тон «старики» — не только в прямом смысле. Между господами из кружка Герделера, которых Мольтке иронически называл «их превосходительствами», и группой Крейсау существовали значительные расхождения. Говоря схематически, берлинский кружок был консервативным и националистическим, крейсауский — либеральным, отчасти социалдемократическим и прозападным. Герделер не был приверженцем демократии — во всяком случае, в той её форме, которая в наши дни получила название массового общества. Веймарская республика, первое немецкое демократическое государство, не внушала ему симпатий. Сбросившей нацизм Германии предстояло вернуться к традициям империи Бисмарка. Её границы должны были соответствовать границам накануне первой Мировой войны, территориальные потери, нанесённые Версальским договором, — тут их превосходительства сходились с Гитлером — надлежало восстановить. Другими словами, будущая Германия должна была включать Эльзас и Лотарингию, «польский коридор», отделивший Восточную Пруссию от основной территории рейха, должен был исчезнуть с политической карты. Аннексированная в 1938 г. Австрия и населённый немцами Итальянский Тироль тоже должны были принадлежать «нам». Для немецких евреев — любопытная деталь — предлагался сионистский рецепт: «своё государство». (Ставшие известными злодеяния против евреев в большой мере определили оппозиционность Герделера — подобно тому, как они побудили Мольтке, Йорка фон Вартенбурга, адмирала Канариса, да и многих других сделать решающий выбор между конформизмом и сопротивлением.)

Таким образом, Германии, по проекту берлинской группы «стариков», предназначалось и после войны оставаться обширнейшим и могучим государством Западной Европы. В январе 1943 г. был составлен список членов будущего правительства; Бек должен был стать главой государства, Герделер — председателем совета министров. Герделер набросал проект конституции послевоенной Германии, по которому исполнительной власти — канцлеру и совету министров — предоставлялись значительные преимущества перед рейхстагом (парламентом). Существование политических партий не предусматривалось.

Впрочем, и в кружке Мольтке были люди, которым, при всём их преклонении перед британской демократией, не улыбалась многопартийная система; вместо партий предлагалось выборное представительство общин. В целом, однако, представления Крейсауского кружка о бу-

дущей свободной и децентрализованной Германии — равноправном члене европейского союза наций, может быть, даже с единой для всей Европы (но без России и Англии) валютой и общими вооружёнными силами, были, конечно, гораздо ближе к нынешнему облику и политическому курсу Федеративной республики, чем имперско-националистический проект Герделера, Бека и других. Зато одним из общих пунктов был «ордо-либерализм», под которым подразумевали частнокапиталистическую экономику под контролем государства с целью не допустить хищническое и безудержное предпринимательство. После войны некоторые идеи «ордо-либерализма» воплотились в реформе Эрхардта, с которой началось экономическое чудо.

**1942 год.** Группа «Центр» получила это название первого апреля 1941 г. с назначением взять летом Москву; командовал армейской группой генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, первым офицером (I-A) генштаба был родственник Бока, 40-летний подполковник Геннинг фон Треско(в). Прусский дворянин Треско был выходцем из военной семьи, женат на дочери военного министра. В юности он, подобно многим, сочувствовал националсоциализму, в «день Потсдама» 21 марта 1933 г., день символической встречи Гитлера с Гинденбургом, маршировал во главе своего батальона мимо нацистского вождя и престарелого фельдмаршала, последнего президента погибшей республики. Довольно скоро энтузиазм сменился глубоким отвращением к режиму убийц. С началом войны добавилось отчётливое понимание того, чего не могли не видеть высшие офицеры вермахта: во главе вооружённых сил стоит дилетант; «величайший стратег всех времён и народов» — всего лишь бывший унтер. Правда, на Востоке ему противостоял другой дилетант, вообще никогда не воевавший, и за всю войну ни разу не побывавший на фронте.

Война усилила ощущение раздвоенности. С одной стороны, Треско участвовал в разработке военных действий, восхищался тактическим гением Манштейна, творца «серповидной операции», решившей судьбу Франции; сам быстро выдвинулся, слыл способным офицером. С другой стороны — каждая новая победа была победой Гитлера. От группенфюрера СС Артура Небе, который был давним недоброжелателем вождя, Треско узнал правду о концентрационных лагерях. В Борисове, в непосредственной близости от главной квартиры, латышское подразделение СС учинило кровавую расправу над евреями, и это было отнюдь не самоуправством. К началу зимы сорок первого года Треско удалось объединить противников режима; адъютант и надёжный друг Фабиан фон Шлабрендорф был командиро-

ван с тайной миссией в Берлин — разузнать о других группах в тылу. Так возникли связи с кружком Герделера, где от проектов будущего устройства перешли к планам государственного переворота.

Павших в бою воинов уносят на крылатых конях в Валгаллу девы-валькирии. План «Валькирия» разработал генерал инфантерии Фридрих Ольбрихт. Главными очагами восстания должны были стать Кёльн, Мюнхен, Вена и, конечно, Берлин. Войска, расквартированные во Франкфурте-на-Одере, займут восточную половину столицы, дивизия «Бранденбург» изолирует ставку фюрера в Восточной Пруссии. Летом следующего, 1942 года Треско поручил своему подчинённому, штабному офицеру I-С Рудольфу Кристофу барону фон Герсдорфу заняться не совсем обычным делом — приготовлением взрывчатки. Герсдорф догадывался, с какой целью; официально считалось — для борьбы с партизанами.

**Опять повезло.** В последний день января и в начале марта 1943 года капитулировали южная и северная группа окружённых под Сталинградом и в самом городе войск; в плен попали 21 немецкая и две румынские дивизии. 150 тысяч немецких солдат были убиты, 91 тысяча во главе с командующим Шестой армией Фридрихом Паулюсом, за день до капитуляции получившим звание генерал-фельдмаршала, сдались в плен (из них вернулось домой после войны лишь около 6 тысяч). Гитлер объявил государственный траур. Геринг, патологически тучный, широкозадый и разряженный, как павлин, патетически сравнивал Сталинград с Фермопилами. Доктор Геббельс провозгласил тотальную войну. Германия всё ещё контролировала огромную территорию от греческого архипелага до Норвегии и от Пиренеев до Прибалтики; в тылу у воюющей армии находились западные и южные области Европейской России, Украина, Крым, Северный Кавказ, на Эльбрусе развеялся флаг со свастикой. Но вера в победу, прежняя вера подавляющего большинства немецкого населения, была потрясена.

В феврале и марте Гитлер совершал инспекционную поездку по ближним тылам, был в Запорожье и Виннице. Геннингу фон Треско удалось добиться, чтобы фюрер дополнительно посетил штаб группы «Центр» под Смоленском. На аэродроме Гитлера со свитой, лейб-врачом и поваром встретили Гюнтер фон Клуге, преемник Бока на посту командующего, и первый офицер штаба, теперь уже полковник Треско. После совещания с армейскими командующими и штабными чинами состоялся обед в офицерском казино. Треско намеревался застрелить Гитлера. Это оказалось невозможным. Перед возвращением на аэродром Треско попросил начальника сопровождающей команды взять с собой в самолёт пакет с двумя бутылками коньяка для одного офицера в

ставке верховного главнокомандующего. К самолёту фюрера подъехал Шлабрендорф с пакетом: в бутылках, снабжённых английским детонационным устройством, находилась смесь тетрила и тринитротолуола.

Короткие провода, Фокке-Вульф «Кондор» с Гитлером на борту и второй самолёт со свитой исчезли в облаках. Шлабрендорф (которому посчастливилось дожить до конца войны) описал подробности этой истории. Взрыв должен был произойти в воздухе через полчаса после старта. Спустя два часа поступило сообщение о том, что фюрер благополучно приземлился в ставке. Офицер, для которого якобы предназначался коньяк, не был посвящён в заговор. Полковнику Треско удалось дозвониться до начальника сопровождающей команды, произошла, сказал он, путаница и пакет не надо передавать по адресу. Шлабрендорф срочно выехал в ставку в Восточную Пруссию, передал настоящий коньяк, получил назад невскрытый пакет с адской смесью и убедился, что детонатор не сработал.

**Новые попытки.** В «День памяти героев» фюрер пожелал осмотреть выставку захваченных на русском фронте трофеев. Это было через восемь дней после неудачи в самолёте, 21 марта 1943 г. Выставка в берлинском Цейхгаузе была устроена командованием всё той же армейской группы «Центр». Вести почётных гостей и давать объяснения должен был откомандированный с фронта, упомянутый выше барон Герсдорф. Теперь он был уже посвящён в планы заговорщиков и даже выразил готовность пойти на риск погибнуть самому. В левом внутреннем кармане у Герсдорфа помещалось миниатюрное взрывчатое устройство с кислотным детонатором, рассчитанным на короткое время — 10 минут. Герсдорф предполагал, выбрав удобный момент, раздавить в кармане ампулу с кислотой, подложить бомбу поближе к своей жертве, а может быть, и взорваться вместе с вождём.

В это время в штабе под Смоленском Треско, с часами в руках, слушал по радио репортаж о праздновании в Берлине Дня памяти героев. И снова ничего не получилось. Гитлер спешил и, обежав выставку, ускользнул из Цейхгауза. Герсдорф, который уже включил детонатор, успел в уборной обезвредить бомбу.

Можно кратко упомянуть о других попытках. 24-летний, увешанный боевыми наградами капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст, ставший на фронте свидетелем того, как украинские СС в Дубно расстреляли перед заранее вырытым могильным ровом пять тысяч евреев, вызвался взорвать себя и Гитлера во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии. Заговорщики ждали этой минуты, чтобы в короткое время овладеть Берлином. Но за день до покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Бусше пригото-

вился к новому покушению — вождь неожиданно отбыл на дачу-крепость Берггоф в Баварских Альпах. Немного времени спустя Бусше был тяжело ранен на фронте, потерял ногу; заменить его должен был Эвальд Генрих фон Клейст, потомок семьи, из которой вышел великий поэт и драматург Генрих фон Клейст. Гитлера предполагалось застрелить во время совещания в Берхтесгадене. По какой-то причине в последний момент охрана не пропустила Клейста на дачу.

Неудачи не сломили волю полковника Треско, они лишь придали ей траурный оттенок героического пессимизма в духе Ницше. Что бы ни случилось — нужно шагать навстречу року. Очередной, подготовленный Ольбрихтом и другими план «Валькирия IV», предусматривал в качестве главной опоры восстания армию резерва, сосредоточенную вблизи нервных узлов империи. Были заготовлены приказы командирам частей. Оставалось устранить величайшего стратега. Фабиан фон Шлабрендорф, один из немногих оставшихся в живых участников заговора, сохранил для историков слова Треско:

«Гитлера надо попытаться убить *coûte que coûte* (любой ценой). Но даже в случае неудачи нужно тем или иным путём осуществить государственный переворот. Дело не только в том, чтобы найти практический выход из тупика, дело в том, что немецкое движение сопротивления должно ценой жизни совершить этот прыжок. Всё остальное несущественно... Бог обещал Аврааму не уничтожить Содом, если там найдётся десять праведников. Будем надеяться, что благодаря нам Господь не испепелит Германию. Все мы готовы к смерти».

**Армия и режим.** Года за два до описанных событий на горизонте появился майор Шенк фон Штауфенберг.

Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 года. В конце XVII столетия баварская линия рода получила баронские привилегии, двести лет спустя Штауфенберги стали графами. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 году в Йеттингене, родовом поместье между Ульмом и Аугсбургом. Его брат-близнец умер на другой день после рождения; младшие братья были тоже близнецами. Мать Клауса была балтийской дворянкой, праправнучкой прусского полководца Гнейзенау. Отец — шталмейстер и камергер, впоследствии обергофмаршал вюртембергского двора. Можно добавить, что Клаус Штауфенберг приходился двоюродным братом графу Йорку фон Варгенбургу, одной из главных фигур Крейсауского кружка.

Восемнадцати лет Штауфенберг поступил в конный полк, затем окончил кавалерийскую школу в Ганновере. Несколько позже, в числе многообещающих молодых офицеров, с перспективой карьеры в генеральном штабе, он был направлен в берлинскую военную академию.

Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный, тридцатилетний темноволосый и синеглазый молодой человек, светски воспитанный, производивший впечатление одновременно мужественное и девическое, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и нищепанца с даром предвидения, сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь.

Граф Штауфенберг мог презирать, с высоты своего дворянско-офицерского достоинства, вульгарную демагогию, плебейские манеры и отвратный немецкий язык фашистского вождя, мог брезгливо отстраняться от людей этого сорта, но активного протеста переворот 1933 года, — как и то, что за ним последовало, — у Штауфенберга не вызвал. Считалось даже (до недавних пор), что он был в молодости горячим сторонником Гитлера. Исследования опровергают эту версию. Верно, однако, что он разделял взгляды и настроения своей касты.

У Веймарской республики было гораздо меньше сторонников, чем врагов. Офицерство чуть ли не по определению было её недругом. Ненависть к демократии и демократам, воинственный национализм, дух агрессивной молодости и дисциплинарный пафос, призывы к национальному сплочению, решимость свести счёты с внешними и внутренними врагами за все потери, за унижение немецкого отечества, потерпевшего поражение в 1918 году, как хотелось верить, не на поле битвы, а в результате предательства, покончить с Версальским договором, в самом деле кабалным, — весь этот набор нацистских лозунгов, вся эта фразеология не могли не вызвать в той или иной мере сочувствия в офицерской среде. То, что в первые же недели националсоциалистической революции были ликвидированы политические партии, отменены гражданские права, учреждена свирепая цензура, политические противники заключены в срочно созданные концлагеря, не слишком волновало этих людей; об антисемитизме и говорить нечего — в большей или меньшей степени его разделяли многие; хаотическую книгу Гитлера «Моя борьба», где ещё в 1924 г. была выдвинута программа уничтожения евреев, вообще никто не читал. Когда же с помпой провозглашённая Третья империя (первая — средневековая Священная Римская империя, вторая — империя Гогенцоллернов) аннулировала в одностороннем порядке 160 статью Версальского договора и принялась накачивать военные мышцы, когда была введена всеобщая воинская повинность, — к 1939 г. вермахт должен был насчитывать 36 дивизий, свыше полумиллиона солдат, соответственно предполагалось приумножить командный состав, для десятков тысяч откроются возможности карьеры, а там и вдохновляющее видение новой, на этот раз победоносной кампании, — сердца вояк были отданы новому режиму. Мы видели, что волчий облик режима и действительность войны радикально отрезвили многих — одних раньше, других позже.

**Рубикон.** Штауфенберг участвовал в «польском походе», в разгроме Франции; был откомандирован на восточный фронт, где состоялось знакомство с подполковником Треско; в дни сталинградской катастрофы безуспешно пытался склонить в Таганроге командующего войсковой группой «Дон» Манштейна (изрядно разочарованного в Гитлере) к участию в антигитлеровском заговоре. На вопрос, что делать с самим диктатором, Штауфенберг ответил: «Убить!».

Приехав домой с фронта в трёхнедельный отпуск, он узнал, что его переводят в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера I-A.

Когда Африканский корпус Роммеля, прославленного «лиса пустыни», был остановлен на границе Ливии и Египта войсками фельдмаршала Монтгомери, начались затяжные бои. Как-то раз Штауфенберг, объезжая позиции, ночью, в кромешной тьме был обстрелян: оказалось, что он попал в расположение противника. Громко, по-английски он отдал приказ прекратить огонь. Решив, что в машине сидит высокий британский чин, солдаты расступились, Штауфенберг пронёсся мимо и, обернувшись, крикнул: «Можете продолжать».

Армия отступала; за месяц до капитуляции немецко-итальянской группы войск в Тунисе (в плен попало около 200 тыс. человек, больше, чем под Сталинградом), в начале апреля 1943 г., случилось несчастье: штабную машину 10-го дивизиона в открытом поле атаковал на бреющем полёте американский бомбардировщик. Этот был тот самый участок близ Меццуны, в пятидесяти километрах от побережья, где на другой день, прорвав фронт, соединились английские и американские части.

Из развороченного бомбой автомобиля извлекли полумёртвого Штауфенберга. Он выжил; ему ампутировали правую руку до плеча и два пальца на левой руке; он потерял левый глаз. Штауфенберг выписался через три месяца из госпиталя в Мюнхене и остался на военной службе. Только так он мог осуществить своё непреклонное намерение покончить с Гитлером. Зимой была налажена связь с Герделером и его людьми. Наступил 1944 год. В Крейсау граф Мольтке говорил друзьям: «Какой год нам предстоит! Если мы останемся в живых, все остальные годы пойдут перед ним...». Действительно, медлить и выжидать больше было невозможно. В конце концов все обсуждения и приготовления свелись к одному: спасти гибнущую Германию.

**Зарницы.** На самом деле то, что «предстоит», было совсем рядом. Утром 19 января 1944 года в берлинскую контору Гельмута фон Мольтке явились гости из гестапо, он был арестован и увезён в подвалы главного комплекса зданий тайной полиции на Принц-Альбрехт-

штрассе, нечто подобное московской Лубянке. Арест, судя по всему, не имел отношения к собраниям в Крейсау. Узнав стороной, что за одним из его знакомых, который позволил себе крамольные высказывания, ведётся слежка, Мольтке счёл своим долгом предупредить его об опасности. Долг долгу рознь: на Мольтке в свою очередь был сделан донос; ему вменялось в вину «забвение долга». Две-три недели спустя он был переведён в тюрьму при лагере Равенсбрюк в Мекленбурге. Жена посещала Мольтку, он содержался в относительно сносных условиях; после 20 июля всё изменилось.

Тучи сгустились и над Карлом Герделером. Просочились сведения о том, что готовится арест. В чём дело, о чём могло разнюхать гестапо, оставалось неизвестным. Герделер уехал к родителям в Восточную Пруссию, где скрывался вплоть до 20 июля и ещё некоторое время спустя.

**Доложите обстановку.** Положение на фронтах к середине июля 1944 года было следующим.

На юге генерал Александер, командующий силами союзников в Италии, с боями продвигаясь вверх по Аппенинскому полуострову, овладел Вечным городом и приблизился к Пизе и Флоренции. На Западе немногим больше месяца тому назад, после многомесячных бомбардировок транспортных артерий во Франции и Бельгии, английские, американские и канадские части под началом Эйзенхауэра высадились в Нормандии — открылся давно обещанный второй фронт (фактически третий). Теперь союзники находились на подступах к Нанту и Руану. За три дня до покушения на Гитлера генерал-фельдмаршал Роммель, назначенный командиром армейской группы «Б» в Северной Франции, был тяжело ранен, его место занял Клуге, не обладавший военным гением Роммеля.

Капитальную угрозу, однако, представлял восточный фронт, где Красная Армия, терпя большие потери, наступала на всех важнейших участках; тридцать восемь дивизий вермахта были перемолоты в короткое время; лишь на севере немцам удалось остановить дальнейшее продвижение. Линия фронта проходила вдоль бывшей границы с Эстонией, через Латвию, готовилось вторжение в Восточную Пруссию (20 июля бои шли приблизительно в 200 километрах от ставки). Началось наступление на Варшаву, Люблин, Львов; на юге войска 2-го и 3-го украинских фронтов заняли часть Молдавии и перешли румынскую границу.

Еженощно союзная, главным образом английская, бомбардировочная авиация громила немецкие города, еженощно под развалинами гибли тысячи жителей; тяжёлые разрушения понесли Гамбург, Берлин,



города Рурского угольного, железорудного и промышленного бассейна. Начались систематические налёты на румынские нефтяные прииски, главный источник горючего для промышленности, авиации и танков.

**Волчья нора (1).** Задача — убить сразу трёх: Гитлера, Гиммлера и Геринга; после этого одновременно во многих местах должен вспыхнуть мятеж. Возможность представилась 6 июля, когда полковнику генерального штаба графу Штауфенбергу надлежало принять участие в двух обсуждениях обстановки на фронтах в альпийской крепости Гитлера Берггоф в Берхтесгадене. Штауфенберг прилетел с бомбой в портфеле, но Гиммлер и Геринг не явились. Через пять дней подоспел новый случай, Штауфенберг был снова вызван в Берггоф. Адьютант приготовил машину и самолёт, с тем чтобы тотчас после включения детонатора Штауфенберг мог вернуться в Берлин, центр восстания. Начальник общевойскового управления верховного командования генерал инфантерии Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, Йорк фон Вартенбург — знакомые нам лица — ждали сигнала. Но Гиммлер снова отсутствовал, и снова Штауфенберг предпочёл отложить покушение.

Наконец, 15 июля Гитлер прибыл в Растенбург (ныне Кентшин, Польша), уездный городок с военным аэродромом, некогда цитадель Тевтонского ордена; вокруг — густые хвойные и лиственные леса, камышёвые озёра, обычный ландшафт Восточной Пруссии. В шести километрах от аэродрома находилась главная штаб-квартира верховного главнокомандующего, так называемая Волчья нора, обширная, отгороженная со всех сторон площадка. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера под бетонным покрытием толщиной в семь метров; бункер гарантировал полную безопасность в случае воздушного налёта. Несколько поодаль стояли дом для адъютантов и барак, где происходили совещания. Внутри барака коридор, комнатка дежурного, рабочее помещение и просторная (60 кв. метров) комната в пять окон с массивным, шестиметровой длины прямоугольным столом на двух тумбах. В углу справа от входа — круглый столик стенографиста. Барак был деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.

Итак, снова назначено совещание, Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии (которую предполагалось ввести в действие в случае вторжения русских на территорию рейха), прилетел для доклада в Растенбург из столицы, где он жил в квартире своего брата Бертольда и работал в генштабе сухопутных сил на Бендлер-штрассе. Вместе с одноруким полковником прибыл генерал Фридрих Фромм, посвящённый в заговор. Несколько заградительных оцеплений и постов охраняли дорогу к ставке. На самой территории, перед входом в барак —

но не внутри — стояли телохранители вождя. Штауфенберг оставил портфель с бомбой в большой комнате. На этот раз он решил выполнить свой план, даже если бы оказалось, что Гиммлер и Геринг не участвуют в совещании. Сообщили, что шеф тайной полиции наверняка будет здесь; но до половины третьего, когда всё закончилось, он так и не приехал; не было и Геринга.

Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного командования (повешенный по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1946 г.), пожелал предварительно ознакомиться с докладом; речь шла о подготовке пятнадцати «народно-гренадёрских» дивизий, укомплектованных юнцами из нацистской «Гитлер-югенд» (аналог комсомола). Затем все трое — Кейтель, Фромм и Штауфенберг — вышли из барака. Вскоре из бункера появился Гитлер. Сохранилась фотография: фюрер пожимает руку кому-то из генералов, рядом, вытянувшись в струнку, стоит граф.

Покушение и на этот раз не состоялось. Уже в ходе совещания выяснилось, что Штауфенберг должен докладывать последним; успеть включить зажигательное устройство и покинуть барак не было никакой возможности. Он вернулся в Берлин. Через несколько дней пришёл новый приказ из ставки: явиться для доклада 20 июля.

**Новый Сулла.** Капитан вермахта Эрнст Юнгер, прозаик, эссеист, диарист, философ, самый значительный немецкий писатель из тех, кто не эмигрировал после 1933 года, находился с начала Второй мировой войны на западном фронте, участвовал в походе на Францию и провёл, если не считать коротких отпусков и командировки на Украину и Северный Кавказ, два года в оккупированном Париже при штабе командующего оккупационными силами во Франции генерала Карла-Генриха фон Штюльпнагеля. Юнгер дружил с Штюльпнагелем, знал о том, что тот примкнул к заговору с целью совершить государственный переворот, знал других участников сопротивления, но сам к нему не присоединился. В дневниках, составивших книгу «Излучения», имеется запись (от 29 апреля 1944 г.), из которой видно, что Юнгер скептически относился к этой аванюре. Движущей силой заговора, по его мнению, является «моральная субстанция», религиозные и нравственные убеждения участников, тогда как успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал».

Таким Суллой, замечает новейший биограф Юнгера П. Ноак, мог бы стать Роммель. Но в апреле 1944 г. Роммель занят подготовкой к отражению угрозы вторжения, а вскоре после этого, как мы знаем, выходит из игры.

Прав ли был Юнгер? Какой смысл имел заговор, стоивший жизни всем или почти всем его непосредственным участникам? Это были люди, прекрасно осведомлённые о ситуации; на что они рассчитывали? Приходится снова задать себе этот вопрос.

Некоторые из них, например, Герделер, всё ещё думали, что можно будет заключить сепаратный мир с англичанами и американцами и остановить русских; большинство сознавало иллюзорность этих надежд. Ещё в январе 1943 г. конференция западных союзников в Касабланке завершилась тем, что Рузвельт выдвинул, с общего согласия, требование безоговорочной капитуляции. Заговорщики пытались сложными путями установить с союзниками связь (мы на этих попытках не останавливались). Ничего не вышло: их никто не хотел слушать.

Задав вопрос о смысле «авантюры» (была ли она всего лишь авантюрой?), приходится согласиться, что побуждения участников заговора носили в первую очередь моральный характер. Убрать Гитлера значило уничтожить, как сказал на суде один из заговорщиков, «полномочного представителя Зла в истории». Прекратить войну значило предотвратить дальнейшие бессмысленные жертвы. Покончить с нацизмом означало спасти честь страны. В том, что эти люди были в гораздо меньшей степени политиками, чем защитниками нравственного закона, который восхищал Канта, состояла их слабость. В том, что, вопреки всему, они предпочли действовать, состояло их величие.

**Молчание.** Спросим себя (несколько раздвинув тему), что делать честному человеку перед лицом преступного режима. Коммунистические идеалы были во многом противоположны идеалам немецкого националсоциализма, противостояние двух режимов заслоняло от многих сходство этих режимов, впрочем, бросающееся в глаза; осознание подлинного характера советской власти, понимание того, что тоталитарная партия и созданная ею в первые же недели после захвата власти тайная политическая полиция по самой своей природе являются преступными организациями, — сравнительно поздно пришло даже к тем, кто честно стремился разобраться в происходящем. Тем не менее, по крайней мере в тридцатых годах, не говоря уже о более позднем времени, советский режим показал себя во всей красе; слепому было ясно, в каком государстве мы живем. Что можно было сделать, можно ли было вообще что-то делать? Эмигрировать было поздно. Любые формы открытого протеста были исключены, самая мысль о свержении существующего строя казалась абсурдной. Убить вождя-каннибала мог лишь тот, кто имел доступ к нему. Как и в Германии, эту задачу могли взять на себя только военные. Но ничего подобного Двадцатому июля не было в СССР; до сих пор мы не слышали о каких-либо признаках активного сопротивления, о

каких-либо мятежных замыслах в ближайшем окружении Сталина или в военной среде. Многочисленные «враги народа» были изобретением тайной полиции. Архивы, которые могли бы кое-что прояснить, остаются под спудом либо уничтожены; в отличие от Германии, где националсоциализм был разбит кувалдой войны, а позднейшие годы стали временем радикального расчёта с прошлым, в России аналогичного сведения счётов не произошло, и до сих пор, по-видимому, значительная часть народа не отдаёт себе отчёта в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.

Протест, сказали мы, был невозможен. И всё же кто-то протестовал. Автору этой статьи известны группы молодёжи, студенческие кружки, робкие попытки объединиться, чтобы совместно уяснить себе ситуацию, а там, быть может, и перейти к более активным действиям. Эти мальчики и девочки исчезли бесследно, система тотальной слежки и доносительства не пощадила никого. Но они были, и, может быть, их одинокое возмущение в какой-то мере искупило молчание взрослых.

**Волчья нора (2).** Гитлер имел обыкновение ложиться перед рассветом. До десяти часов утра никто не имел права будить фюрера. На лифте в спальню подавался завтрак. Это было как раз то время дня 20 июля 1944 г., когда военный самолёт, в котором сидели полковник Штауфенберг и адъютант Вернер фон Гефтен, приземлился на аэродроме Растенбург. Там ждал «мерседес» с шофёром.

На пути в ставку нужно было миновать три контрольных поста. Штауфенберг имел при себе портфель с бумагами. Адъютант держал на коленях другой портфель, где находилась упакованная в бумагу тетриловая бомба английского образца размером с толстую книгу, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения.

Дежурный первого поста проверил документы. При въезде во вторую оцеплённую зону Штауфенберга встретил командующий военным округом генерал Тадден, решили вместе позавтракать. Миновав последний контрольный пост, въехали во внутреннюю зону. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он должен вернуться на аэродром.

Три четверти часа ушло на предварительную беседу с Кейтелем. Из бункера позвонил камердинер фюрера Линге: в связи с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини совещание переносится на полчаса раньше. Тем лучше. Штауфенберг попросил адъютанта Кейтеля майора Фрейэнда показать ему туалетную комнату: нужно привести себя в порядок после дороги. «Поторопитесь, Штауфенберг!» — крикнул майор. Штауфенберг вошёл в соседнюю комнатку, где его поджидал адъютант Гефтен. Привезённое с собой находилось в двух пакетах, каждый весом

в килограмм. Один пакет успели переложить из сумки Гефтена в портфель Штауфенберга, когда неожиданно вошёл дежурный фельдфебель, чтобы сказать полковнику, что ему звонил из бункера Фельгибель. (Генерал разведывательной службы Эрих Фельгибель был тоже посвящён в заговор.) Фельдфебель заметил, что полковник и его адъютант возятся с каким-то предметом. Второй килограммовый пакет остался в портфеле Гефтена. На часах была половина первого. Гитлер вошёл в барак.

**Совещание началось.** «Иду, иду...» — сказал Клаус Штауфенберг, тремя пальцами искалеченной левой руки, с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой, вставил ампулу в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором. С портфелем под мышкой он вошёл в комнату, где уже началось совещание. Его сопровождал ни о чём не подозревавший майор Йон фон Фрейэнд. «Будьте добры, — проговорил Штауфенберг, — позаботьтесь, чтобы для доклада мне уступили место поближе к фюреру...».

На большом столе была разложена карта. Очевидец оставил подробное описание, где кто стоял. Гитлер в центре, напротив входа, за длинной стороной стола. Слева от него Кейтель, справа основной докладчик, генерал-лейтенант Адольф Хейзингер. Остальные вокруг стола и позади стоящих за столом; всего присутствовало 24 или 25 человек.

Доложили о приходе полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Гитлер взглянул на полковника, кивнул в знак того, что знает его, и повернулся к столу. Он был близорук и должен был разглядывать карту через толстую лупу; все бумаги для фюрера печатались на машинке с крупным шрифтом. Хейзингер докладывал общую обстановку на фронтах. Фрейэнд помог изувеченному полковнику встать справа от докладчика, принял у Штауфенберга портфель и поставил его под стол. Штауфенберг передвинул портфель так, чтобы он никому не мешал, — и поближе к себе и Гитлеру. Теперь портфель стоял, прислонённый к правой тумбе, к её наружной стороне, так что между бомбой и Гитлером находился только Хейзингер. Сам Штауфенберг — справа и несколько позади от Хейзингера, с левой стороны от Штауфенберга полковник Брандт, который год тому назад участвовал в неудачной попытке Геннинга фон Треско взорвать самолёт диктатора при помощи мнимого коньяка.

Несколько минут спустя Штауфенберг пробормотал что-то вроде того, что ему надо срочно позвонить по телефону. Хожение во время доклада не возбранялось, никто не обратил внимания на то, что полковник вышел в соседнюю комнату. Фуражка и портупея Штауфенберга остались в углу на стуле в большой комнате, это значило, что он сейчас вернётся.

У аппаратов сидел вахмистр. Штауфенберг снял трубку, поднёс к уху, положил трубку обратно, вышел и быстро зашагал к адъютантскому дому, перед которым ждал кабриолет с Гефтенем. Штауфенберг сёл впереди рядом с шофёром. «Вы забыли фуражку», — сказал шофёр. Штауфенберг отвечал, что он спешит; на часах было 12.40. Машина подъехала к вахте внутреннего оцепления, когда за деревьями взвилось облако дыма и грянул гром.

**Обратный путь.** Сигнал тревоги ещё не успел поступить на вахту. Очевидно, в суматохе не знали, что делать. У сидящих в машине были безупречные документы. Уверенный вид и величественная осанка штабного полковника с чёрной повязкой на глазу, с пустым правым рукавом, с Рыцарским крестом на шее произвели впечатление, машину пропустили.

У второго контрольного поста дежурный фельдфебель отказался поднять шлагбаум. Штауфенберг повысил голос, это не помогло. Он вышел из машины и связался по телефону с комендатурой. Ротмистр Меллендорф снял трубку. Очевидно, он тоже ещё не слышал о том, что произошло. Ротмистр знал полковника. Дело уладилось, кабриолет с поднятым верхом понёсся дальше по лесной дороге, между озёрами, но шофёр заметил в боковом зеркале, что Гефтен выбросил из окна пакет. Это была вторая, неиспользованная половина заряда.

Миновав на большой скорости уединённое поместье Вильгельмсдорф, оставив позади третий пост, достигли аэродрома. Шофёр развернулся и поехал обратно. В 13 часов 15 минут трёхмоторный Хейнкель-111 поднялся в воздух и взял курс на Берлин.

**Мятеж.** В начале второго — самолёт в Растенбурге только что стартовал — в генеральный штаб, пятиэтажное здание на Бендлерштрассе (ныне улица Штауфенберга, между Тиргартеном и набережной реки Шпрее), где собрались заговорщики, поступило первое известие из Волчьей норы — телефонограмма от Фелльгибеля, краткая и маловероятная:

«Случилось нечто ужасное, фюрер жив».

Это звучало двусмысленно: ужасно, что хотели убить фюрера, или ужасно, что он не убит? Но главное, оставалось неизвестным, что предпринять. Надо ли что-нибудь предпринимать? Неясно было, что с графом Штауфенбергом. Новых сообщений не поступало. Первым опомнился полковник Альбрехт рыцарь Мерц фон Квирнгейм. Не дожидаясь указаний от своего начальника генерала Ольбрихта, он поднял по тревоге пехотное и танковое училища и отдал приказ по военным округам привести в исполнение 1-ю (подготовительную) ступень плана «Валь-

кирия». Тем временем самолёт со Штауфенбергом и Гефтенем приземлился на берлинском аэродроме Рангсдорф. Адьютант позвонил с аэродрома на Бендлер-штрассе и сообщил, что покушение удалось.

Наконец-то! Ольбрихт распорядился приступить ко 2-й ступени: непосредственное осуществление государственного переворота. Начальники округов, а также дислоцированных вокруг столицы учебных и резервных частей получили следующую депешу:

*«Фюрер Адольф Гитлер мёртв!*

*Клика партийных руководителей за спиной у воюющей армии попыталась использовать власть в своих корыстных целях. Правительство империи, с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение и передало мне вместе с командованием вермахта исполнительную власть.*

*Приказываю:*

*Власть в районах страны, где идут бои, вручается главнокомандующему армией резерва генерал-полковнику Фридриху Фромму, в оккупированных областях вручается... (далее перечислялись имена командующих армейскими группами «Запад», «Юго-запад» и «Юго-восток», а также командующих войсками на Украине, в Прибалтике, в Дании и Норвегии). Немецкий солдат стоит перед исторической задачей. От его энергии и выдержки зависит спасение Германии.*

*Подпись: Верховный главнокомандующий вооружёнными силами генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен».*

Никакого правительства восставших пока ещё не существовало. Одновременно был разослан приказ занять главные здания радио, телефона и телеграфа, арестовать всех министров, гаулейтеров (партийные заместители, нацистский аналог секретарей обкомов), командиров СС, начальников полиции, гестапо, СД (служба безопасности), обезоружить охрану концентрационных лагерей и так далее. Под приказом стояло имя генерала Фромма, хотя сам Фромм о нём не знал.

**Он прибыл.** Штауфенберга всё ещё не было: машины, заказанной для него и адъютанта, не оказалось на аэродроме. Между тем генералу Ольбрихту удалось связаться по телефону с Волчьей норой. Кейтель подтвердил: да, имело место покушение на фюрера. Но фюрер жив, он отделался лёгкими повреждениями.

В половине четвёртого в здании на Бендлер-штрассе, иначе Бендлер-блоке, появился, наконец, Штауфенберг. Он взбежал по лестнице, распахнул дверь своего кабинета — там его *Игра в рулетку*.

Некоторые ключевые моменты истории заставляют поверить, что миром правит случай. Столяр-краснодеревщик Георг Эльзер трудился

много ночей в подвале мюнхенского пивного зала ждали брат Бертольд Шенк фон Штауфенберг, Фриц-Дитлоф фон дер Шуленбург из окружения Мольтке и ещё несколько человек — и с порога, не здороваясь:

«Он умер. Я видел, как его вынесли».

В присутствии Ольбрихта он подтвердил это Фромму. Тот покачал головой: Кейтель заверил его в противоположном.

«Фельдмаршал Кейтель лжёт, как всегда. Я сам видел, как Гитлера вынесли мёртвым», — сказал Штауфенберг.

Ольбрихт объявил Фромму, что приказ о начале мятежа уже отдан. Фромм, побледнев, спросил, кто отдал приказ. Ольбрихт ответил: «Мой начштаба, полковник Мерц фон Квирнгейм». Фромм велел вызвать Квирнгейма: «Вы арестованы».

«Господин генерал-полковник, — возразил Штауфенберг, — я включил взрыватель во время совещания с Гитлером. Взрыв был как от 15-сантиметровой гранаты. В комнате никого не могло остаться в живых!»

«Граф Штауфенберг, покушение провалилось. Вы должны немедленно застрелиться», — сказал Фромм.

«Я этого не сделаю».

Ольбрихт напомнил Фромму, что пора действовать. Промедление грозит гибелью отечеству.

«Значит, и вы, Ольбрихт, участвуете в путче?»

Ольбрихт отвечал, что он лишь представляет тех, кто берёт на себя руководство Германией.

«В таком случае я объявляю вас всех троих арестованными!»

«Ошибаетесь. Это мы вас отправляем под арест».

Фромм замахнулся на Ольбрихта, тут появились Клейст и Гефтен. Под дулами пистолетов генерал был препровождён в соседнее помещение. Его пост должен был занять генерал-полковник Эрих Гепнер, уволенный в своё время из вооружённых сил за то, что отдал приказ об отступлении под Москвой.

Людвиг Бек, который должен был стать будущим главой государства, — о Беке говорилось в начале этой статьи, — явившись в Бендлер-блок, сказал, обращаясь к заговорщикам (эти слова сохранил очевидец):

«Господа, мы на развилке истории. Положение на всех фронтах безнадежно. Долг всех мужчин, всех, кто любит эту страну, — из последних сил добиться нашей цели. Не получится, — ну что ж, мы, по крайней мере, не будем мучиться сознанием нашей вины. Для меня этот человек всё равно мёртв. Доказательства, что он не убит, не подменён двойником, могут придти из ставки только через несколько часов. До этого мы успеем взять в свои руки власть в Берлине».



### **Фанера, стекловата.** Что произошло в Волчьей норе?

Массивный стол был расщеплён и обрушился, стулья поломаны, на месте, где стоял портфель Штауфенберга, в полу зияла широкая дыра. Стёкла всех пяти окон вместе с рамами вышибло взрывной волной. Почти все, кто находился в бараке, оказались сбиты с ног, но никто не был выброшен наружу. Четверо человек были тяжело ранены и скончались на месте или в тот же день. Остальные получили лёгкие ранения, вполне невредимым остался только шеф верховного командования Кейтель. Среди хлопьев полуобгорелой бумаги и стекловаты, обломков мебели, осколков стекла сидел Гитлер. Его брюки и кальсоны были порваны в клочья, на левом локте небольшой кровоподтёк, на тыльной стороне ладони несколько ссадин. Лопнули обе барабанные перепонки, но слух не пострадал. Придя в себя, он забормотал: «Так я и знал... Кругом измена!»

Спрашивается, почему он уцелел. Несколько обстоятельств могут это объяснить. Во-первых, удалось использовать только половину приготовленной взрывчатки. Во-вторых, портфель был оставлен с наружной стороны тумбы, это уменьшило опасность. В-третьих, и это главное, стены барака были из слишком лёгкого материала, что ослабило взрывную волну; если бы совещание проводилось в бункере (на что надеялся Штауфенберг), не уцелел бы никто.

Только спустя два часа подозрение пало на одностороннего полковника. Вахмистр Адам доложил, что видел, как полковник без фуражки и без своего портфеля поспешно покинул барак. Шофёр, доставивший Штауфенберга и адъютанта Гефтена на аэродром, сообщил, что из окна машины выбросили какой-то предмет. Ввиду особой важности его показания шофёр был препровождён к «секретарю фюрера» и начальнику партийной канцелярии Борману. Спецподразделение службы безопасности разыскало пакет. Но далеко не сразу гестапо сообразило, что дело идёт не об одиночном покушении и даже не о попытке путча узкого круга высших офицеров, а о разветвлённом заговоре.

**Судороги мятежа.** К шести часам вечера в Берлине караульный батальон «Великогермания» оценил правительственный квартал, полковник Ремер, командир батальона, собирался арестовать Геббельса. Министр пропаганды, занимавший одновременно посты гаулейтера Берлина и рейхскомиссара обороны, находился у себя на квартире на Герман-Геринг-штрассе. Геббельс выглянул в окно, увидел фургон с солдатами и по телефону поднял по тревоге лейб-штандарт СС «Адольф Гитлер». Кроме того, Геббельс связался с Волчьей норой и говорил с

фюрером. Но до открытого столкновения с караульным батальоном не дошло. Ремер сумел повернуть дело так, что он хотел-де защитить правительство от мятежников.

Один за другим в Бендлер-блок прибыли представители разных групп сопротивления, среди них Герстенмайер от Крейсауского кружка, Отто Йон и Ганс-Бернд Гизевиус из контрразведки. Бек был в штатском. Вицлебен представлял граф Шверин. Затем явился и сам Эрвин фон Вицлебен, в парадной форме, при орденах, с фельдмаршальским жезлом. Реальными действующими лицами оставались, однако, офицеры средних рангов — прежде всего тот, кто уверял, что Гитлер погиб.

Он не отходил от телефона. Йон слышал, как он звонил в разные концы. «У телефона Штауфенберг... Приказ командующего резервной армией... Вы должны занять все пункты связи... да, всякое сопротивление должно быть сломлено... Приказы из главной ставки фюрера недействительны. Вермахт взял на себя всю исполнительную власть. Вицлебен назначен верховным главнокомандующим, совершенно верно... Государство в опасности... Немедленно приступить к...»

В Париже генерал Штюльпнагель приступил к действиям весьма успешно. Известие о государственном перевороте пришло в отель «Мажестик», резиденцию командующего оккупационными силами, в 16 часов. По приказу командующего были арестованы командиры парижских СС и СД, а также чины гестапо; вооружённые отряды остались сидеть в казармах. Но в 20 часов Штюльпнагель был вызван к фельдмаршалу Клуге, который сообщил, что, по только что полученным сведениям, покушение на фюрера не увенчалось успехом.

На другой день Штюльпнагель получил приказ из Берлина срочно прибыть «для доклада». Он ехал в машине с двумя унтер-офицерами. В долине Мааса, недалеко от Вердена, генерал вышел из автомобиля, велел сопровождавшим ехать вперёд, после чего выстрелил себе в голову. Он был доставлен в ближайший госпиталь, остался в живых, но ослеп.

**Полночь.** Поздно вечером 20 июля на Бендлер-штрассе генерал-полковник Фромм, выпущенный из-под стражи офицерами из штаба Ольбрихта, арестовал руководителей путча: Бека, Ольбрихта, Гепнера, Мерца фон Квирнгейма и Штауфенберга вместе с адъютантом Гефтенном. Вицлебен успел покинуть здание.

Бек попросил разрешения воспользоваться оружием, как он выразился, «для личной надобности» и, приставив пистолет к виску, выстрелил, пошатнулся, опираясь на Штауфенберга, выстрелил ещё раз, но всё ещё был жив. Клаус Штауфенберг не мог придти в себя от гнева. Глядя на Фромма, стоявшего в дверях, он коротко заявил, что берёт всю ответственность на себя: остальные лишь выполняли его приказы.

Фромм велел адъютанту вызвать расстрельную команду из десяти человек. Арестованных вывели во двор, где стояло несколько штабных машин. Шоферам было приказано включить фары.

Первым упал Ольбрихт. Следующим был Штауфенберг, он успел крикнуть: «Да здравствует святая Германия!». Хефтен бросился к нему, был сражён залпом, предназначенным для Штауфенберга, следующий залп настиг самого Штауфенберга. Бек, смертельно раненный при попытке покончить с собой, был добит. Затем расстреляли Квирнгейма.

Фромм, стоя на сиденье открытой машины, произнёс речь перед солдатами, трижды рявкнул: «Хайль Гитлер!» и поехал к Геббельсу.

**Эпилог.** Так закончилась эта история. На другой день после покушения Гитлер выступил по радио. «Фюрер полон решимости искоренить всю эту генеральскую клику...» — записал в своём дневнике доктор Геббельс. Не сразу, однако, гестапо сумело докопаться, что заговор представляли не только военные. По иронии судьбы именно тайная полиция положила начало изучению истории Двадцатого июля; ныне это актуальная глава историографии века, тема университетских курсов, предмет многочисленных исследований.

Кроме тех, кто был расстрелян во дворе, в тот же вечер в Бендлер-блоке были схвачены Гепнер, Йорк фон Вартенбург, Фриц-Дитлоф Шуленбург, Герстенмайер и ещё несколько штатских лиц. Из них пережил конец войны только Эйген Герстенмайер, впоследствии один из основателей партии Христианско-демократический союз. Был казнён заодно с Шуленбургом и его дядя, бывший посол рейха в Москве; арестован и расстрелян брат Клауса Штауфенберга Бертольд.

В разное время многочисленные участники заговора предстали перед так называемым народным судом в Берлине под председательством небезызвестного Роланда Фрейслера, которого Гитлер называл «нашим Вышинским». В конце войны этот Фрейслер погиб в подвале суда во время бомбёжки.

В Плецензее, на территории нацистского исправительного дома, где сейчас находится Мемориал героев сопротивления, были повешены 8 августа 1944 г. первые восемь осуждённых, в их числе Вицлебен, Йорк, Гепнер. Казнь снималась на киноплёнку для Гитлера. Все вели себя мужественно. В последующие месяцы были повешены Мольтке, Гефтен, Тротт цу Зольц, Лебер, Дельц, Гассель, Попиц и другие.

Слепого и изуродованного Штюльпнагеля палач вёл под руку к виселице. Треско застрелился в Белостоке на следующий день после покушения. Герделера разыскали и казнили весной следующего года.

Канарис и Остер были расстреляны в концлагере Флоссенбург в Баварии. Там же и в один день с ними, незадолго до прихода американцев, был убит близкий к кругу Мольтке известный протестантский теолог Дитрих Бонгёффер.

Шлабрендорф был подвергнут пыткам, но остался жив.

Фельдмаршал Роммель, знавший о заговоре, был вылечен, после чего ему предъявили ультиматум: судебный процесс или самоубийство. Он предпочёл принять яд.

Фромм, расстрелявший Штауфенберга и других, в свою очередь был расстрелян в марте 1945 г.

Всего из 600–700 арестованных было казнено не менее 180 человек. Последняя расправа произошла над тремя участниками заговора в берлинской тюрьме на Лертер-штрассе в ночь на 24 апреля 1945 года, за две недели до конца войны.

### **Творческий путь Геббельса**

**Е**сть что-то извращённое в том, что наша память прикована к именам этих людей. Страшный век, оставшийся позади, — для нас это век двух самых разрушительных войн, век концентрационных лагерей, век тайной полиции, век Сталина и Гитлера.

Поистине великим унижением нашего времени было то, что на ролях всесветных владык оказались люди низкие и бессовестные, умственно ограниченные, люди примитивного образа мыслей и невысокой культуры. «Руководство, — заявил в одной из своих речей Геббельс, — имеет мало общего с образованием». Он был прав. Можно сколько угодно говорить о выдающемся коварстве Сталина, дивиться его инстинктивному пониманию методов и механизмов неограниченной власти, — достаточно прочесть сочинения вождя, чтобы оценить его убогий интеллект. Можно отдать должное дару гипнотизировать толпу, которым владел Гитлер, — его хаотическая книга оставляет такое же прискорбное впечатление, как и труды Сталина. Ничего общего с величием — речь идёт о выдающейся низости.

Власть развращает её носителя, власть даёт возможность развернуться вволю его низменным инстинктам. Но существует обаяние власти. Власть, и тем более — всеильная власть, бросает особый отсвет на всё, что творит властитель. В устах тирана банальности начинают казаться прозрениями, пошлость преобразается в глубину мысли, площадной юмор становится тонким остроумием. Жестокость, подлость, аморализм — воспринимаются как веления высшей необходимости. Аура всемогущества заставляет рабов романтизировать властителя, по-

клоняться божественным сапогам. Этим объясняется желание видеть в диктаторе, вопреки очевидности, великого человека, на худой конец представить его демоном, возвести в ранг Антихриста. Мысль о том, что нами правил карлик, невыносима.

Ни один русский самодержец не пользовался властью, сравнимой с властью Сталина, никакой временщик не обладал столь неограниченными возможностями злоупотреблять властью. Что касается Гитлера, достаточно будет напомнить о специальном решении рейхстага (превратившегося, подобно Верховному Совету СССР, в машину для аплодисментов) о праве фюрера распоряжаться судьбой каждого гражданина страны, игнорировать любой закон.

## 1

Пауль Йозеф Геббельс находился — вместе с Германом Герингом, Мартином Борманом и Генрихом Гиммлером — на высшей ступени у подножья вождя. Геббельс был куда более яркой фигурой, чем хвастливый солдафон Геринг, непроницаемый Борман и страшный, но безликий Гиммлер. Низкорослый, щуплый, припадающий на левую ногу человек, наделённый к тому же отнюдь не арийско-нордической внешностью, был снедаем неутолимой жаждой деятельности, обладал способностями незаурядного оратора; он был единственным в нацистской верхушке человеком пера — писателем и публицистом — и одним из редких в этой среде интеллигентов.

Сохранилось большое количество фотографий Геббельса, почти все они (как и кадры киноплёнки) тщательно отобраны, процежены, почти все носят парадно-показушный характер. Но, в отличие от множества документов такого рода, среди них нет обычных для тоталитарной пропаганды фальсификаций. На многое из того, что в те времена делалось и воспроизводилось напоказ, теперь невозможно смотреть без смеха и отвращения; фильмы и фотографии, которые должны были внушать благоговение и восторг, обладают разоблачительной силой похлеще всяких карикатур. Это в равной мере относится к иконографии главарей, к документально-пропагандистским лентам наподобие фильмов Лени Рифеншталь и, конечно, к псевдохудожественной продукции. Правда, среди увенчанных наградами творений государственных живописцев («Знаменосец» — рыцарь с лицом Гитлера, в латах, на коне, с кроваво-красным стягом, «Рейхсмаршал Герман Геринг на охоте» и т.п.) полотен с Геббельсом не было.

Много снимков жестикулирующего Геббельса, с разверстым ртом, с вздытыми кулаками или растопыренными пальцами перед грудью, — он на трибуне. Поясной фотографический портрет начала сороковых

годов представляет имперского министра народного просвещения и пропаганды и председателя Палаты по делам культуры в минуту импозантной задумчивости. Он в двубортном полушпиджаке, полумундире, в шёлковом галстуке, на правом рукаве красная повязка с белым кругом и свастикой, на груди круглый золотой значок партии. Тёмные волосы без пробора зачёсаны назад. Геббельсу 44–45 лет. Довольно правильные черты лица, которым, однако, убегающий назад лоб и выступающая верхняя челюсть придают нечто крысиное; беспокойный взгляд, напряжённое выражение, словно он проглотил комок слюны, глубокие складки на щеках и вокруг рта — следы государственных забот. Общее впечатление нервного и даже несчастливого субъекта.

Любопытная фотография начала тридцатых годов: «эпоха борьбы». Власть ещё не завоёвана. Геббельс — ему 34 года, — улыбаясь, выходит из помещения избирательного участка. Длиннополое пальто-макинтош не может скрыть недостатка его фигуры, он коротконог. Отчётливо видна увечная левая ступня. После переворота 1933 г. этот слишком реалистический снимок не публиковался.

Ещё одна фотография. Главный уполномоченный по ведению тотальной войны, в длинном кожаном пальто, в орлиной фуражке, непомерно большой для его маленькой головы, с римским жестом — хайль Гитлер! — вышагивает вдоль шеренги солдат на площади маленького городка в Восточной Пруссии. Март 1945 года. Из рядов на Геббельса смотрят пожилые люди с плохой выправкой, и среди них мальчик лет двенадцати с Железным крестом на груди, в огромном шлеме, который ему тоже слишком велик. У министра пропаганды грозно-решительное лицо, провалившиеся глаза. Геббельсу остаётся жить два месяца.

Последний фотоснимок сделан в Берлине во дворе имперской канцелярии в первых числах мая 1945 г. Среди груды кирпичей лежит что-то страшное, видна скрюченная обгорелая рука. Штамп по-русски: «Совершенно секретно! Оглашению не подлежит!»

## 2

Как все или почти все руководители Третьей империи, он был выходцем из мещанской среды. Его отец, в юности — мальчик на побегушках, выбился в служащие чулочной фабрики. Мать, наполовину голландка, была малограмотной служанкой. Геббельс родился в октябре 1897 г. в городке Рейдт, который ныне является районом города Мёнхенгладбах, в Рейнской области. Происхождение его увечья остаётся неясным. Косолапость (*pes varus*, подвёрнутая внутрь стопа) почти всегда бывает врождённой, чаще встречается у мальчиков. Но все врождённые или наследственные недуги и деформации с точки зре-

ния нацистской антропологии — признак расовой неполноценности. В «Листках воспоминаний», предваряющих дневники Йозефа Геббельса, он довольно невразумительно рассказывает о костном заболевании, долгом и безуспешном лечении. Инвалидность отгородила юного Геббельса от сверстников («мои одноклассники меня никогда не любили»), лишила возможности заниматься спортом, позже сделала непригодным для военной службы.

Случай Геббельса — пример психологического явления, называемого компенсацией. Я для вас инвалид, не мужчина, неполноценный человек, — так вот же, я вам покажу. Геббельс, единственный в многодетной семье, поступает в гимназию, прекрасно учится и заканчивает школу в числе лучших. Учитель словесности, еврей, опекает его, находит у него блестящие способности.

Геббельсу было 17 лет, когда началась Мировая война, он записался в армию добровольцем, был забракован врачебной комиссией (позже он рассказывал, что хромает из-за ранения, полученного на фронте), спустя три года имматрикулировался в Бонне, сменил несколько университетов: Фрейбург, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт, Берлин, ютился в дешёвых комнатухах. После первого семестра ему пришлось просить католическое общество поддержки неимущих студентов о финансовой помощи. Геббельс удостоился похвальных отзывов. Он закончил учёбу в Гейдельберге, под руководством известного германиста Гундольфа, как на зло тоже еврея, защитил диссертацию о немецком драматурге XIX века Вильгельме Шютце и получил возжеланный докторский титул.

### 3

Он был влюбчив, «вечно бегал за юбками», по словам товарища школьных и студенческих лет Фрица Пранга. «Видимо, инвалидность и маленький рост пробуждали у женщин материнские чувства. А затем, — добавляет Пранг, — он переходил в наступление». Самое стойкое увлечение этой поры — Анка Штальгерм, прототип героини романа «Михаэль»; ей адресованы горы писем и посвящено немало выпретенных, патетически-прочувствованных и слюнявых страниц в «Листках воспоминаний». Но у него есть соперник. Геббельс одерживает победу. В летний день на луту под Фрейбургом, в стоге сена происходит великое событие.

В конце концов фрейлейн Штальгерм оставила Геббельса, но десять лет спустя произошла новая встреча. К этому времени Анка пережила неудачный брак, развелась с мужем, бедствовала; она обратилась за помощью к могущественному министру пропаганды. Геббельс устроил её в редакцию женского журнала. При этом случилась неприятность: бывшая возлюбленная не умела держать язык за зубами. Разнеслась

весть о том, что Геббельс когда-то преподнёс ей «Книгу песен» Гейне с красноречивой дарственной надписью. Того самого еврея Гейне, которого он, в первые же недели после своего назначения министром, распорядился включить в списки книг, подлежащих публичному сожжению, чей памятник в Дюссельдорфе был разрушен.

Преемницей Анки Штальгерм стала знакомая Пранга (вступившего в это время в нацистскую партию), молодая учительница по имени Эльза, девушка из состоятельной семьи и, увы, дочь еврейской матери, как выяснилось позже, к великому разочарованию поклонника. Поистине злой рок преследовал молодого Геббельса. Между тем состоялась помолвка, которая длилась пять лет, нарушаемая бурными ссорами и вновь скрепляемая клятвами в верности. Геббельс гол как сокол, родители Эльзы решительно против их брака; так ничего и не вышло.

#### 4

О ранних литературных опытах Геббельса имеются общие сведения: он писал рассказы, драмы в прозе и стихах («Скиталец», «Одинокий гость», «Кровавый посев»; последние две пьесы были поставлены в маленьком берлинском театре в 1927 и 1929 гг.), сочинил стилизованную биографию некоего Михаэля Фоормана, своего alter ego. В студенческие годы Геббельс много и жадно читает, его интересуют Маркс, Ницше, Шпенглер, он в восторге от Достоевского, в котором видит национального пророка, мистическую душу России. Жизнь не ладится, родители едва в состоянии наскрести денег на учёбу. Рестораны, пикники и путешествия оплачивает подруга. Окончив курс, новоиспечённый доктор философии остался без работы, пришлось вернуться в Рейдт. На дворе — двадцатые годы.

Республика, сменившая монархию, имела своей столицей, как и прежде, Берлин, но называлась Веймарской в честь городка в Тюрингии, где некогда жили Бах и Лука Кранах-старший; миниатюрная столица Гердера, Виланда, Шиллера и Гёте. Здесь в августе 1919 г. Национальное собрание приняло новую конституцию страны. Предыдущее государство не сумело прожить и полвека. Веймарская республика погибла на 14-м году своего существования; чтобы понять, отчего это произошло, полезно кое-что вспомнить.

На исходе Мировой войны (которая тогда ещё не называлась первой) Германия, как ни удивительно, стояла на пороге победы. Никогда военно-стратегическое положение не выглядело столь блестящим. На востоке армия занимала линию от Эстонии до Ростова-на-Дону. Западный фронт находился вдали от границ рейха. Было решено закончить войну одним ударом. Весной 1918 г. немцы прорвали фронт в Арден-



нах. Последовали ещё два рывка вперёд; снова, как в начале войны, победоносная рать докатилась до Марны. Но затем наступательный порыв иссяк. На помощь французам и англичанам пришли американцы. Германия была истощена четырёхлетней войной. Голодало не только население в тылу, но и воюющая армия. Вступление в войну Соединённых Штатов окончательно отняло шансы на победу.

Монархия рухнула, в мае 1919 г., республиканскому правительству был представлен проект Версальского мирного договора; он вызвал гнев и отчаяние. К урону, нанесённому войной, присоединилась перспектива новых долговременных жертв и унижений. Договор предусматривал потерю территории, на которой проживала десятая часть населения страны, потерю трёх четвертей запасов железной руды, четверти запасов угля и одной шестой посевных площадей. Восточная Пруссия была отделена от остальной Германии так называемым Польским коридором. Германия лишилась всех своих колоний в Африке и других частях света; все заграничные вложения подлежали конфискации. У неё был отнят торговый флот, все главные реки страны и Кильский канал были интернационализированы, предусматривалась оккупация рейнского Левобережья и правобережной части нескольких крупных городов на Рейне, страна не имела права производить оружие, иметь военную авиацию и военно-морской флот, вооружённые силы (рейхсвер) не должны были превышать численность, необходимую для подавления внутренних беспорядков. Специальная статья Версальского договора возлагала на Германию всю вину за Мировую войну. И, наконец, предстояло выплачивать миллиардные контрибуции.

Договор был подписан, воцарился мир; как мы знаем, он длился недолго. Впервые за всю историю, если не считать короткого эпизода революции 1848 г., в Германии был провозглашён республиканский строй. Но это была, как кто-то съязвил, республика без республиканцев.

## 5

Драма Веймарской республики состояла из трёх актов. Первый — смутные годы становления демократии и одновременно годы, когда казалось, что демократия себя дискредитировала: экономическая разруха, уличные бои, нищета, голод, фантастическая инфляция; к концу 1923 г. доллар стоил 4 миллиарда 200 миллионов марок, деньги стали во много раз дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. Акт второй: по контрасту, как и полагается в театре, сцена залита ярким светом — «золотые двадцатые». Фактически всего четыре года,

с 1924 по 1929. Стабилизация, упрочение валюты, приток иностранного капитала, подъём немецкого экспорта, время относительного благополучия, даже расцвета, эра фокстрота и экстравагантных мод; время, когда крайние антиконституционные партии и группы ненадолго теряют престиж. Последний акт — крах нью-йоркской биржи и мировой экономический кризис, поразивший все европейские страны, особенно Германию. Тут-то и ожила партия, о существовании которой все забыли: в точном соответствии с кривой роста безработицы (в 1929 г. 1,8 млн. безработных, в 1932 — пять с половиной миллионов) идёт нарастание националсоциалистического «движения». Когда мы в сотый раз задаём себе вопрос, как могло случиться, что в Германии воцарился каннибальский режим, нам приходится принять во внимание целый клубок обстоятельств.

Кризис разорил предпринимателей и растравил старые раны. Людям казалось, что они со всех сторон окружены врагами. Враги гнездились и внутри — возродилась легенда об ударе ножом в спину: если бы не измена в тылу, доблестная армия одержала бы победу, не было бы Версаля и так далее. Общая нестабильность подорвала доверие к правительству и государству, у республики снова не осталось приверженцев. В читающей стране писатели и публицисты внушали мысль о том, что буржуазный либерализм, парламентская демократия, многопартийная система изжили себя. Расцвёл миф о новом справедливом мире, который строится в Советский России. Умножились ряды коммунистической партии. С другой стороны, ожил национализм, который всегда был силен в этой стране: так называемое национальное самосознание стало приобретать агрессивно-злокачественные черты.

Задолго до того, как Йозеф Геббельс стал одним из тех, чья нравственная и политическая физиономия сформировала отвратительный лик эпохи, современность наложила резкий отпечаток на его судьбу. Путь Геббельса, полунищего студента, антикапиталистического бунтаря неопределённой ориентации, субъекта с истерическими наклонностями, с уязвлённым честолюбием, крикуна, патриота, антисемита и, наконец, фанатика-националсоциалиста, — путь этот, при всём том, что он привёл Геббельса на высоты власти, весьма типичен.

## 6

Первые пробы пера малоудачны, попытки пробиться в журналистику и литературу безуспешны, статьи, которые он рассылает в редакции, возвращаются, пьесы никто не хочет читать. Это не смущает автора; он уверен, что его час придёт. Геббельс захвачен революционной идеей. Эта идея в известной мере сближает его с так называемой Консервативной революцией, широко распространившимся в двадцатые

годы и достаточно неоднородным идейно-политическим течением, которое возглавили блестящие умы; Геббельс — их карикатурное повторение. Он ещё не нацист, он станет им завтра.

Время от времени удаётся найти работу то там, то здесь: мелким служащим в кёльнском филиале Дрезденского банка, на кёльнской бирже; его не берут в сотрудники берлинской газеты, не принимают в театр, зато удалось устроиться секретарём депутата рейхстага от мало-влиятельной правой партии. Геббельс печатается в партийной газетке. Важное знакомство: на молодого человека обратил внимание гаулейтер округа Рейн—Рур и предложил работу в своей канцелярии.

Старинное, вышедшее из употребления слово Gau возродилось в нацистском лексиконе: территориальная единица во главе с местным партийным руководителем. Партия, ещё очень немногочисленная, начала распространять своё влияние за пределы Баварии. Вскоре Геббельс выдвинулся как оратор на митингах и автор зажигательных статей в только что основанном журнале «Националсоциалистические письма». К этому времени он уже состоит в партии. Многообещающего активиста представляют самому Гитлеру, выпущенному на поруки из крепости в Ландсберге близ Мюнхена, куда фюрер угодил после провалившегося путча 1923 года. В феврале 1925 г. запрещённая партия, как птица Феникс, восстала из грязного пепла. В июле вышел первый том «Моей борьбы». Вскоре после личного знакомства состоялась вторая встреча с Гитлером на партийном слёте в Бамберге.

Это начало карьеры Геббельса. Дневники второй половины 20-х годов дают представление о бурной деятельности этих лет: собрания, пропагандистские акции, метания по стране, нередко вместе с вождём. Всё чаще на фотографиях той поры он стоит позади Гитлера. Геббельс надрыдается на митингах, сам становится гаулейтером Берлина с собственным штатом, основывает (июль 1927) газету «Атака» под девизом: «За угнетённых! Против эксплуататоров!». Сначала газета выходит один раз в месяц тиражом 2000 экземпляров, потом дважды в неделю и, наконец, ежедневно. В каждом номере — передовица редактора, грозные инвективы против веймарского режима, агрессивное юдофобство и воспевание героических деяний партии. В следующем, 1928 году Геббельс избран депутатом рейхстага (один из 12 мандатов, добытых партией на выборах) и получает от Гитлера назначение возглавить всю партийную агитацию и пропаганду.

И, наконец, ещё одно событие: чрезвычайно выгодная женитьба. Магда Квандт, разведённая жена фабриканта — высокая светловолосая дама северного типа, с хорошими средствами, горячая поклонница фюрера и образцовая мать: в браке с Геббельсом родилось шесть детей, все дети (как и сын от первого брака) получили имена на букву Г (нем. *H*),

ту же, с которой начинается фамилия вождя. Гитлер выразил желание быть свидетелем на бракосочетании и почётным гостем пышно отпразднованной свадьбы.

## 7

Роман «Михаэль. Немецкая судьба в листках дневника», самое крупное художественное произведение Геббельса, был написан в 1921–22 годах. Все издатели, которым автор разослал книгу, отвергли её. Роман вышел лишь в конце двадцатых, в издательстве Eher, которое с 1920 г. принадлежало нацистской партии и в 1925–26 годах выпустило оба тома «Моей борьбы» Гитлера. После захвата власти Eher превратился в могущественный концерн, к концу войны контролировал сбыт четырёх пятых всей немецкой газетно-журнальной продукции. Но мы пока ещё в Веймарской Германии.

Авторское предисловие к роману даёт представление о его слоге. «Дневник Михаэля — это памятник немецкого горения и самоотдачи, который потрясёт и утешит. В его скромном зеркале зеркально отражены все те силы, которые сегодня формируют нас, молодых, для единой мысли, а завтра — для власти. Вот почему жизнь и смерть Михаэля — больше, чем случай и слепая судьба. Это знак времени и символ будущего... Сегодня юность исполнена жизни больше, чем она думает. Юность всегда права перед лицом старости. Мы ждём, когда придёт день, который несёт ветер бури».

(Дневниковый жанр — не случайность: дневник был для Геббельса многие десятилетия главной формой литературного самовыражения и самолюбования. Геббельс начал вести его школьником; в военные годы рейхсминистр диктовал свой дневник секретарям; последняя запись сделана в день смерти.)

Весна. Герой романа возвращается с фронта. Он едет в поезде. «Под бёдрами у меня уже не фыркает кровный жеребец, я не сижу больше на пушечных лафетах, не ступаю по глинистому дну окопов. Давно ли я шагал по широкой русской равнине или по безрадостным, изрытым снарядами полям Франции. Всё прошло! Я восстал из пепла войны и разрушения, словно Феникс. Родина! Германия!»

Михаэль становится студентом в Гейдельберге. Что он изучает, не так уж важно. Профессора-педанты, студентки — синие чулки, подготовка будущих учёных сухарей, всё это не для него. Главное — стать мужчиной и новым немцем. Он слушает лекцию о прародине германцев. Какое счастье узнать, что наши предки жили на Нижнем Дунае и берегах Чёрного моря. Знакомство со студентом Рихардом, тот рассказывает о марксизме: скука, голый рационализм, деньги, желудок и никаких идеалов.

Дружба с девушкой Гертой, гуляния, разговоры. «Сегодня для молодого немца есть только одна профессия: защищать Германию». Она — ему: «В вашей душе живёт поэт и солдат». На прощанье дарит ему гвоздику. В дневнике Михаэля появляется запись: «Герта Гольк, я люблю тебя!!!»

Герой уезжает в Мюнхен, новое знакомство: русский студент Иван с несколько несурзной фамилией Винуровский. Он даёт Михаэлю читать Достоевского. Михаэль перечитывает письма Герты и упивается Достоевским. «Вспыльчивая, резкая, бесцеремонная, вечно что-то замышляющая, полная ожидания, надежды, бесконечно злая и бесконечно добрая, полная глубочайших страстей, добросердечная и нежная, фанатичная во лжи и в правде, юная, нетронутая и при этом богатая глубиной, радостью, юмором, болью и тоской, вот она, душа славян, душа России». Возвращение и долгожданная встреча с Гертой. Первый поцелуй, за которым следует шеренга восклицательных знаков. Ночью под окном у Герты; он кладёт на подоконник букет красных роз и слагает стихи. На другой день возлюбленная появляется с розой на груди. Не правда ли, это что-то означает? И сколько можно ждать. Вечер вдвоём. Герта (наконец-то!) «одаряет своими дарами».

Излияния перемежаются с раздумьями. Михаэль размышляет о евреях. Его национальное и политическое самосознание крепнет под влиянием этих мыслей. «Еврей противоположен нам по своей сущности. Он осквернил наш народ, замарал наши идеалы, парализовал силу нации. Он неспособен к творчеству. По своей сущности он предрасположен к торгашеству. Он торгует всем: тряпками, деньгами, акциями, лечебными средствами, картинами, книгами, партиями и народами».

Михаэль встречает вождя. Гитлер не назван по имени, но читатель догадывается, о ком идёт речь. Глаза фюрера подобны двум голубым звёздам. Он произносит речь. Михаэль в экстазе, он чувствует себя бойцом: «Я надеваю шлем, опоясываюсь мечом... Быть солдатом! Стоять на посту! Солдат на службе революции...» Мысли о пролетариате. «Рабочему классу предстоит выполнить свою миссию — и прежде всего в Германии. Он должен освободить немецкий народ внутренне и внешне. Это всемирная миссия. Если Германия погибнет, погаснет свет мира».

Между тем герой снова в Мюнхене. Письмо от Герты: оказывается, и она здесь. Вместе гуляют по городу. Швабинг, квартал художников и писателей: сволочной народ. Все оторвались от почвы; разлагают нацию; давно пора их отсюда вытурить. Несколько времени спустя происходит размолвка. Герта ревнует Михаэля к политике. Он пылает огнём не к ней. Прощальное письмо. Она больше

не верит в его любовь. Русский друг Иван возвращается в Россию, где его ждёт большевицкая пуля. Михаэль идёт работать на шахту и гибнет от несчастного случая на производстве.

Идейно-сусальное творение Геббельса не имело успеха. Серьёзная критика его не заметила.

## 8

«...Всё — словно сон. Вильгельм-штрассе принадлежит нам. Фюрер уже работает в Имперской канцелярии. Мы стоим наверху у окна, сотни и сотни тысяч людей в блеске пылающих факелов проходят мимо престарелого президента и молодого канцлера, восклицая слова благодарности и восторга... Вот он, взлёт нации! Германия пробудилась!»

Дневниковая запись приводится в книге д-ра Геббельса «Из отеля Кайзергоф — в рейхстаг», датирована 30 января 1933 г., когда 85-летний президент республики фельдмаршал Пауль фон Бенекендорф унд фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Подробности захвата власти стилизованы в привычном для Геббельса истерически-выспреннем стиле; многостраничное изделие украшает надпись: «Эту книгу я посвящаю ф ю р е у».

При дележе постов и привилегий так называемые старые борцы, обладатели партийных билетов с номерами до 100 тысяч, те, кто имел право носить золотой значок партии, — были вправе рассчитывать на благодарность вождя. В марте 1933 года «имперский руководитель пропаганды Националсоциалистической германской рабочей партии и гаулейтер Берлина» занял пост министра народного просвещения и пропаганды. Весьма скромный подарок. Другим соратникам достались более важные министерские портфели: оборона, иностранные дела, внутренние дела, финансы, юстиция. С самого начала своей карьеры Геббельс был фанатичным приверженцем вождя. (Слово «фанатичный» в нацистском обиходе употреблялось в положительном смысле, близком к «беззаветно преданному» в советском политическом языке.) Теперь он чувствовал себя обойдённым. Его старания дискредитировать Риббентропа, заключить соглашение с Герингом против Бормана, позднее, в союзе с Герингом, оттеснить тройку Ламмерс (начальник имперской канцелярии) — Борман (начальник личной канцелярии фюрера) — Кейтель (шеф верховного командования вермахта), имевшую право каждодневного входа к Гитлеру, — составляют особую главу его биографии; мы не станем на ней останавливаться. Тем не менее очень скоро стало ясно, что его ведомство по степени важности и влияния отнюдь не уступает другим высшим учреждениям нового государства.

Компетенция шефа пропаганды в нацистском рейхе была чрезвычайно широка. Мало сказать, что министерство выполняло функции, аналогичные тем, которыми в СССР ведали Отдел пропаганды ЦК, министерства народного образования и культуры, комитеты по делам искусств и кинематографии, Главлит и ещё множество учреждений. Пропаганда, по убеждению Геббельса, не обслуживает власть, но сама есть форма проявления государственной власти, больше того, пропаганда — синоним власти; это было его открытие, правоту этого взгляда он подтвердил на деле. Министерский штат насчитывал около 1000 сотрудников, по большей части молодых людей и, само собой, членов партии. Министерство состояло из 10 отделов: административно-юридического, пропаганды, радио, печати, кино, литературы, театра, музыки, изобразительных искусств и иностранного отдела.

Вот когда развернулись во всём блеске его способности. Нигде необычайная энергия Геббельса не проявилась так ярко, как на этом посту. Никогда его непомерное тщеславие не получало столь полного удовлетворения. В импозантном кабинете с огромным глобусом, с портретами вождя и Старого Фрица рейхсминистр отдаёт распоряжения, восседая за необъятным столом. Этот стол меньше циклопического рабочего стола фюрера в новой, гигантской, воздвигнутой лейб-архитектором Шпеером имперской канцелярии, где надо было прошагать пешком 300 метров, прежде чем попасть в зал, который служил Гитлеру рабочим кабинетом; но и стол министра пропаганды предназначен для той же цели: это символ бюрократического могущества.

Тщеславие Геббельса не принимало таких гротескных форм, как у Геринга, люди, знавшие Геббельса вблизи, подчёркивают относительную скромность его образа жизни; он избегал показной роскоши, разве только в загородных поместьях позволяя себе жить на широкую ногу. Тем не менее стоит упомянуть о том, что высокий пост изрядно обогатил имперского шефа пропаганды. Финансовые документы, обнаруженные в его бумагах, позволяют судить о его доходах. В 1933 г. доктор Геббельс заработал сравнительно немного — 33367 рейхсмарок, зато в следующем году — уже около 135 тысяч. Сюда не вошли его литературные доходы; астрономические авансы, которые он получал за сборники речей и другие сочинения, в 1936 г. составили 290 тыс. марок. В 350 тысяч обошлось казне строительство личного бомбоубежища Геббельса под его берлинской квартирой.

Покровитель искусств сумел в полной мере реализовать и другие свои наклонности. Сексуальный энтузиазм д-ра Геббельса не угасал с годами, его приключения с актрисами кино и театра, с секретаршами, с полудевами из разных слоёв общества были постоянной темой кра-

мольных анекдотов, которые в Третей империи рассказывались так же охотно, как в Советском Союзе. В 1936 году Геббельс познакомился с 20-летней чешской киноактрисой Лидой Бааровой, успевшей сняться в паре со знаменитым Густавом Фрелихом. Загородный дом Фрелиха, где жила Баарова, на речном острове Шваненвердер под Берлином, находился по соседству с виллой министра пропаганды. История получила широкую огласку, Магда Геббельс собиралась возбудить бракоразводный процесс. Связь была прекращена по требованию Гитлера и едва не стоила Геббельсу карьеры. Фильмы с Лидой исчезли с экранов.

## 9

Не прошло и месяца после переворота, не успел ещё рейхсминистр разместиться в здании новообразованного министерства в правительственном квартале на Вильгельмштрассе, как в гостиницу Кайзергоф были созваны видные представители немецкого кино (в 20-х годах лидирующего в Западной Европе). Геббельс поделился своими соображениями о будущем киноискусства в новом государстве. Кино должно оставаться свободным, «но обязано приучить себя к определённым нормам». Вопреки заклинаниям искоренить «культуру-большевизм», он назвал, ко всеобщему удивлению, в числе своих любимых фильмов прогремевший незадолго до этого во всём мире «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна. Удивляться, впрочем, не приходится.

Когда в сентябре 1933 г. была учреждена имперская Камера (палата) культуры с Геббельсом в качестве президента, она стала чем-то вроде второго министерства внутри главного министерства. Она должна была монополизировать позиции Геббельса в сфере культуры, поставив его выше министра внутренних дел Вильгельма Фрика и главного идеолога партии Альфреда Розенберга (оба казнены в 1946 г. по приговору Нюрнбергского трибунала). Высшая задача Палаты состояла в том, чтобы положить конец независимой творческой деятельности в любых её проявлениях. Членом Палаты должен быть не только каждый писатель, художник, артист, режиссёр, музыкант и т.д., — это уж само собой, — но и каждый книготорговец, издатель, владелец кинотеатра или художественной галереи, даже изготовитель радиоаппаратуры и музыкальных инструментов. Для разных профессий существуют специальные отделы — отдельные камеры.

Далее министр пропаганды обнародовал закон, регламентирующий работу редакторов и журналистов: работник печати приравнен к государственному служащему, критика режима исключена, пресса контролируется и направляется государством. При этом каждый журналист обязан представить свидетельство об арийском происхождении для себя и своей жены.



Несколько позже это правило было распространено и на деятелей искусства. Для всемирно известного кинорежиссёра Фрица Ланга, автора «Нибелунгов» и «Метрополиса», ветерана первой Мировой войны, который был сыном еврейки, могущественный шеф пропаганды сделал исключение, разрешив ему не представлять арийское свидетельство. Он даже предложил Лангу высокий пост. Ланг уклонился от этой чести и эмигрировал в США.

Нужно заметить, что фильмы, которые откровенно, в лоб пропагандировали идеалы националсоциализма («Юный гитлеровец Квекс» Ганса Штейнгофа, «Штурмовик Бранд» и тому подобные изделия, немедленно появившиеся на экранах), в общем ставились редко, исключением на этом фоне были высоко оценённые Гитлером квазидокументальные пропагандистские киноленты Лени Рифеншталь «Победа веры» и «Триумф воли», «Праздник народов» и «Праздник красоты», которые можно отнести к числу шедевров фашистского киноискусства (что не мешало Рифеншталь враждовать с Геббельсом, на которого Лени сумела найти управу у самого фюрера). Чаще, однако, публике предлагались псевдоисторические фильмы, весьма похожие на героико-монументальные произведения кинематографии в СССР, вроде «Петра Первого» В. Петрова или «Александра Невского» С. Эйзенштейна. Основную же массу кинопродукции составляли развлекательные фильмы, которым министерство пропаганды придавало, особенно во время войны, большое значение: музыкальные, комедийные, мелодраматические, любовно-сентиментальные, народно-почвенные на сюжеты в стиле так называемой деревенской литературы; нацистский дух этих фильмов не давал себя знать столь назойливо. И подобно тому, как залитая солнцем река, по которой идёт белый теплоход, и радостные песни Дунаевского в исполнении Любви Орловой в фильме Григория Александрова «Волга-Волга» шли на незримом фоне Большого террора 1937–38 годов, так чарующие ландшафты Германии, песни и танцы Марики Рёкк, Ильзе Вернер, Зары Леандер, лучистый взгляд и смущённая улыбка Кристины Зедербаум в по видимости аполитичных кинобоевиках нацистского производства должны были заслонить действительность лагерей массового уничтожения, вне которой они, однако, были немислимы.

## 10

Важнейшими каналами пропаганды оставались, однако, печать и радио. Ежеутренне в конференц-зале своего министерства Геббельс давал руководящие указания редакторам крупных газет и радиокорреспондентам. Гитлер не зря сказал однажды: «Дух сопротивления уничтожен нами при помощи радио». Был выброшен лозунг: радиовещание в

каждой семье! Промышленность получила государственный заказ на изготовление дешёвых радиоприёмников. (Народ прозвал их Goebbels-Schnauze, «глоткой Геббельса».) Уже к 1934 году было выпущено 6 миллионов приёмников, спустя четыре года в стране было 9 с половиной млн. радиоточек.

Картина «националсоциалистически ориентированного» живописца-лауреата Пауля Маттиаса Падуа «Говорит фюрер» даёт представление о том, чем должно было стать (и отчасти стало) домашнее радио: семья рабочего собралась вокруг ящика с затянутым материей круглым окошком для рупора. В центре сосредоточенно внимающий отец семейства. Жена, погруженная в эротический экстаз. Младшая дочурка у неё на коленях не сводит глаз с матерчатого экрана. Зачарованные лица старших детей. На стене портрет того, чей голос витает над всеми.

Само собой, не упускал любого повода выступить по радио и министр пропаганды. Два столпа пропаганды — прославление и разоблачение. Режим утверждает себя в борьбе с врагами и чахнет без врагов. К числу особо выдающихся достижений Геббельса нужно отнести знаменитую мюнхенскую выставку 1937 года «Искусство вырождения», истребление картин и сожжение книг.

Термин «искусство буржуазного вырождения», упадочное, антинародное искусство, порождённое якобы гибнущим капитализмом, широко применялся, как мы помним, и в советском искусствоведении. И там, и здесь под ним подразумевались школы и направления изобразительного искусства конца XIX и начала XX в., порвавшие с художественным натурализмом, — проще говоря, всё то, что не соответствовало канонизированному режимом идеалу красоты и мещанскому вкусу вождей. Немецкие музеи располагали богатейшими собраниями произведений парижской школы, мастеров немецкого и зарубежного экспрессионизма и пр. Представительные образцы были свезены в «столицу движения» и город искусств Мюнхен. Экспозицию (позднее дополненную выставкой «Вырождение музыки») в только что сооружённом Доме немецкого искусства, с пояснительными щитами, фотографиями, изречениями вождя, посетил Гитлер, посетили соратники и три миллиона экскурсантов, всё это сопровождалось шумной кампанией в прессе, после чего несколько тысяч полотен были публично уничтожены в Берлине.

Там, где горят книги, будут сжигать людей. Сколько раз потом вспоминалась эта фраза Гейне. «Союз немецких студентов» учредил под покровительством Геббельса собственное Главное ведомство печати и пропаганды. Оно и взяло на себя акцию символического сожжения книг в стране, где было изобретено книгопечатание. Дело поставили на широкую ногу. Вредная литература по тщательно составленным спискам изымалась из публичных библиотек. Празднество состоялось 10

мая 1933 года во всех университетских городах в присутствии ректоров и профессоров. Автофургоны сгружали книги на площади. Хор ревел песню о Хорсте Весселе. Деятели студенческого союза выкрикивали лозунги, в Берлине священнодействовал лично доктор Геббельс. Зачитывались «Двенадцать тезисов против антинемецкого духа». Этим духом были проникнуты книги писателей-эмигрантов, евреев, ветеранов Мировой войны, «оплевавших фронтовое братство», писателей левых убеждений. В огонь полетели романы Генриха Манна, Лиона Фейхтвангера, Эриха Марии Ремарка, сочинения Маркса и Фрейда, публицистика Тухольского и Осецкого и многое другое. Оскар Мария Граф, романист и поэт, баварец с головы до ног, который в это время находился в Вене, опубликовал открытое письмо властям Третьей империи под заголовком «Сожгите и меня!»

## 11

Литература была предметом особого попечения Геббельса — в конце концов, он сам был писателем. В докладе «Умственный работник в борьбе за судьбу державы», произнесённом в актовом зале Гейдельбергского университета в июле 1943 г. (и включённом в сборник «Крутой подъём»), Геббельс рассуждает о вреде интеллектуализма — излюбленная тема нацистской публицистики, где слово «интеллигент» было бранным. До сих пор привилегией руководить нацией пользовался слой богатых и образованных. Но революция опрокидывает старые алтари и воздвигает новые. Не интеллект, а железная воля, сильный характер и руководство — вот что необходимо. «Мы все состоим на суровой службе во имя исторической задачи, и суд грядущих поколений о нас и нашей эпохе будет зависеть от того, оказались ли мы на уровне этой задачи, выполнена ли она нами в том стиле и с тем успехом, которые обеспечат нам восхищение потомков».

В читающей стране проводником нового общеобязательного мировоззрения, инструментом индоктринации становится литература. Партия придаёт литературному делу первостепенное значение. Тотальный контроль над литературой в нацистском государстве осуществлялся по хорошо известному нам в СССР рецепту: многоступенчатая лестница цензурно-бюрократических сит и шлюзов, с одной стороны, и поощрение преданных режиму работников на всех этажах — с другой. Но система надзора не была единой; в известной мере она отражала борьбу за первенство в кругах, близких к вождю; кроме министерства пропаганды, литературой занималась и Комиссия партийного контроля, и ведомство Розенберга — имперское управление поощрения немецкой письменности. Одно лишь перечисление всех этих канцелярий говорит о масштабах бюрократического дирижирования литературой. В то же

время сложность контрольного аппарата оставляла возможность лазеек и уловок разного рода, оставляла шансы, пусть незначительные, для появления ненацистских и даже антинацистских произведений: как крайнее исключение можно упомянуть роман Эрнста Юнгера «На мраморных скалах», вышедший в самом начале войны.

Всё же первую скрипку играло министерство Геббельса. Первым делом надо было перетряхнуть состав литературной секции Прусской академии искусств. Почти сразу после переворота писателям было предложено сообщить в президиум академии, хотят ли они оставаться «в рядах». Если да, они подписывают обязательство впредь воздерживаться от критики правительства и заявляют о готовности сотрудничать с новым режимом. Девять из 27 членов литературной секции, в том числе Томас Манн, Альфред Деблин и Якоб Вассерман, отказались поставить подпись под этой бумагой. Исключительно резко и смело ответила Рикарда Хух. Она заявила, что уходит из академии. Вслед за ней ушли или были изгнаны братья Манн, Деблин, Вассерман, Франц Верфель, Леонгард Франк, Бернгард Келлерман, Фриц фон Унру, Рене Шикеле — цвет тогдашней немецкой литературы; мы назвали далеко не всех. Существовавший в Германии Союз защиты прав писателей был прибран к рукам и в дальнейшем преобразован в филиал вышеупомянутой Палаты культуры — имперскую Палату письменности. Немецким писателям вменялось в обязанность дать письменную клятву верности фюреру и его режиму. Результат всех этих мероприятий было легко предвидеть: выдвижение на руководящие посты бездарных сочинителей, оттеснение лучших, запреты, преследования и массовая эмиграция писателей — евреев и неевреев.

## 12

Геббельс оставил обширное творческое наследие. Кроме художественных произведений, о которых говорилось выше, кроме объёмистых, в значительной части сохранившихся и ныне полностью изданных дневников (имеется русский перевод фрагментов), его перу принадлежат сборники статей, речей, пропагандистские брошюры, антисемитские памфлеты. Всё это теперь, за исключением дневников, — раритеты.

Вершина карьеры Йозефа Геббельса как политического писателя и самое знаменитое из его выступлений — речь о тотальной войне в пятницу 18 февраля 1943 г. в берлинском Дворце спорта.

После поражения Красной Армии под Харьковом летом 1942 года немцы двинулись к Дону, одна группа наступающих войск повернула на юг, к Кавказу, другая устремилась к излучине Волги. К исходу октября передовые части вермахта овладели большей частью Сталинграда. Поч-

ти все жители города погибли (приказом Сталина эвакуация мирного населения была запрещена), вместе с ними потери обороняющихся приблизились к двум миллионам. В конце ноября VI армия генерала Фридриха Паулюса в результате искусного маневра была окружена между Волгой и Доном, попытки прорвать кольцо не увенчались успехом.

Посланная в Берлин 31 января 1943 г. из подвала универмага на бывшей площади Героев революции, в центре разрушенного Сталинграда, радиোগрамма командования Шестой армии заканчивалась словами: «Выслушав воззвание фюрера в нашем бункере, мы единодушно вскинули руки для немецкого приветствия, быть может, в последний раз». Армия капитулировала. К этому времени от 250-тысячной рати в живых осталось 90 тысяч, вернулось из плена после войны восемь тысяч.

Был объявлен трёхдневный государственный траур. По распоряжению Геббельса газеты вышли в чёрных рамках. Радиопередачи начались с глухого барабанного боя. Спустя короткое время шеф пропаганды возвестил о тотальной войне.

Нужно сказать, что с самого начала у Геббельса — об этом свидетельствует дневник — были серьёзные сомнения насчёт перспектив военной кампании на два (а впоследствии на три) фронта. Стремительное продвижение вермахта вглубь России как будто развеяло эту неуверенность. «Фактически мы уже победили», — записал он осенью 1941 г. В дальнейшем главной задачей министра пропаганды было убедить немецкое население, постепенно терявшее веру в победу, что у него нет другого выхода, как напрягать все силы, мобилизовать все резервы, принести любые жертвы — во имя собственного спасения. Тут говорилось и о великой миссии германского народа, и об исторической схватке с врагом человечества — мировым еврейством, которое одинаково правит Москвой, Лондоном, Вашингтоном, англо-американской плутократией и русским большевизмом, — и о защите Европы от азиатских орд. Идеи Геббельса не отличались новизной, но виртуозность, с которой он манипулировал ими применительно к обстановке, твердил сегодня одно, завтра другое, препарировал действительность, препарировал историю и лгал, безоглядно, непрерывно, самозабвенно, — виртуозность эта поистине достойна удивления.

Нечего и говорить о том, что Геббельс (как и сам фюрер) никогда не ораторствовал «по бумажке». Всё же его выступления не были импровизациями. Поведение этого макабрского клоуна на трибуне, жестикация, владение голосом, риторические вопросы, рассчитанные паузы — выдают в нём профессионала высокой квалификации. Он внимательно прослушивал записи своих речей, прежде чем пускать их в эфир, вставлял дополнительные овации там,

где они казались ему недостаточными, и не упускал случая похвастаться перед самим собой в дневнике своим успехом у публики. Успех, надо сказать, был немалый.

Ораторская манера министра пропаганды отличалась от стиля выступлений обожаемого вождя. Поведение Гитлера на трибуне могло навести на мысль о большом истерическом припадке. Отчасти это было в духе времени, пафос с клиническим оттенком не вызывал улыбок. Фашистские режимы отличаются каменной серьёзностью. Вот запись митинга на Королевской площади в Мюнхене, февраль 1934 года. Гул толпы. Срывающийся голос Рудольфа Гесса: «Адольф Гитлер!!! Это!!! Германия!!! А Германия!.. Это!.. Адольф...» Затем наступает тишина, шелестит пространство, и мы слышим другой голос, сначала негромкий, потом всё выше, доходящий до визга. Во время своих больших речей обливающийся потом фюрер терял в весе несколько килограммов и сходил с пьедестала в состоянии, близком к изнеможению после полового экстаза. Гитлер, что называется, самозаводился. Геббельс, по всей видимости, был актёром с головы до ног, — что не исключало искренней, поистине беззаветной преданности режиму и харизматическому вождю. Геббельс был фантастическим луном, атеист — он уснащал свои речи религиозной терминологией, враг большевизма — восхищался в своём дневнике диктатурой Сталина; но, оставаясь лицедеем, он не был лицемером.

### 13

Армия на Волге зажата в клещах, транспортная авиация не справляется со снабжением окружённых войск, тысячи солдат ежедневно гибнут от холода, недоедания и артиллерийских обстрелов, но Геббельс всё ещё убеждён — так он пишет в своём дневнике, — что «благодаря фюреру и храбрости наших войск вновь удастся справиться с кризисом. Вот почему, — продолжает он, — было бы хорошо, если бы мы воспользовались нынешней обстановкой, чтобы в широчайших масштабах осуществить тотальное ведение войны...»

«Фюрер прислал ко мне Бормана, чтобы обговорить всесторонне вопрос о тотальной войне. При всей серьёзности обсуждаемой темы для меня это — настоящий триумф: я констатирую, что все мои мысли и пожелания, которые я неустанно выдвигаю вот уже полтора года, теперь одним толчком предстоит воплотить в действительность».

В январе 1943 г. Гитлер возвестил о тотальной мобилизации всех материальных и людских ресурсов для окончательной победы. Спустя полтора года (только что произошло неудавшееся покушение Клауса Штауфенберга на Гитлера в Волчьей норе; Красная Армия подошла к границам Восточной Пруссии, вторглась в район восточнее Варшавы и

бывшую Галицию; союзники высадились на французском побережье; англо-американская авиация планомерно бомбит немецкие города; американцы продвигаются вверх по итальянскому сапогу) Геббельс был официально назначен главным имперским уполномоченным по ведению тотальной войны.

«Тотализация» войны — программа, намеченная ещё классиком военной науки Карлом фон Клаузевицем и героем первой Мировой войны генералом Людендорфом, но осуществлённая лишь во время второй Мировой, сперва в СССР, а затем в Германии. Конкретно в интерпретации Геббельса тотальная война означала, в числе других мероприятий, всеобщую трудовую повинность для мужчин и женщин в тылу, мобилизацию рабочей силы из оккупированных стран, народное ополчение (фольксштурм, вооружённые отряды не подлежащих призыву гражданских лиц), летучие полевые суды для «элементов, разлагающих вооружённые силы», арест родственников солдат, сдавшихся в плен без сопротивления, отряды-«оборотни» для продолжения войны за спиной у врага, всякого рода кампании, утешительные новости и подбадривающие лозунги («победа или смерть», «крепость Европа», мнимые или действительные разногласия в лагере союзников, новое, якобы припрятанное на крайний случай чудодейственное оружие и проч.). Тотальная война означала войну, в которую вовлечены все без разбора; её жертвой становится всё население.

Грандиозный спектакль во Дворце спорта начался в пять часов вечера. В зале находилось 14 тысяч человек. Широкий проход, трибуна, флаги со свастикой, над головой оратора лозунг во всю стену в стиле новояза Оруэлла: «Тотальная война — кратчайшая война!»

Речь Геббельса продолжалась два часа. В восемь, через час после её окончания, она была передана по берлинскому радио, но так, как будто трансляция шла непосредственно из зала; в предварительном сообщении не говорилось, в каком часу начнётся выступление министра пропаганды, — вероятно, для того, чтобы союзная авиация не помешала Геббельсу (как это случилось незадолго до того с Герингом, чья речь было прервана из-за воздушной тревоги). Текст речи Геббельса о тотальной войне поступил на радио накануне, с указаниями министра, как надлежит её подать. Речь сохранилась в виде звукописи и частично — на киноплёнке. Зал неистовствовал, это была демонстрация преданности, восторга, полной потери человеческого достоинства. Успех в равной мере объяснялся специфическим подбором публики и взвинченностью оратора, который превзошёл самого себя. «Я думаю, — записал Геббельс на другой день, — Дворец спорта никогда ещё, даже в годы борьбы, не видел подобных сцен».

Речь преследовала разные цели. Прежде всего она должна была поднять настроение, упавшее после катастрофы под Сталинградом.

Речь была предназначена обосновать разработанные шефом пропаганды чрезвычайные меры, — для этого, между прочим, требовалось подавить сопротивление конкурентов Геббельса в высшей партийной и государственной бюрократии, оказать давление и на самого фюрера; речь должна была укрепить позиции Геббельса. И, наконец, она очевидным образом имела целью повлиять на западных союзников: авось угроза большевизма ослабит их волю сокрушить Германию.

Под рёв зала речь была закончена патетическим возгласом: «Хотите ли вы тотальной войны?»

— Да! Да! Да!!!

Они её получили.

## 14

К концу января последнего года войны русские овладели Краковом, Лодзью, осадили Кенигсдорф, отрезали Восточную Пруссию от остальной Германии, вышли на Одер между Франкфуртом и Кюстрином. Начиная с 16 января Гитлер находился в Берлине; 31 января он назначил Геббельса начальником обороны Берлина. Это означало, что Геббельс, никогда не воевавший, не имевший военного звания, должен был стать во главе вооружённых сил, которым предстояло защищать столицу. Это значило также, — известие, с ужасом воспринятое населением четырёхмиллионного города, — что Гитлер готов сделать Берлин ареной боёв. Доктор Геббельс обзавёлся офицерской фуражкой, но форма, которую он носил, была по-прежнему формой нацистской партии (он оставался гаулейтером Берлина). Партийные бонзы, становясь военачальниками, всё же не получали воинских званий, не носили погон. В феврале здание министерства пропаганды дважды подверглось налётам с воздуха. Весь штат перебрался в бомбоубежище, частью разместился в апартаментах рейхсминистра на Герман-Геринг-штрассе.

В личном бункере Гитлера под зданием имперской канцелярии Геббельс звучным голосом читает диктатору «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля, страницы, где рассказано о том, как вслед за ослепительными победами в Семилетней войне наступили тяжелейшие дни, одна весть хуже другой приходит к королю, теснимому со всех сторон вражеской коалицией. В последний момент провидение спасает великого короля, неожиданно умирает в Санкт-Петербурге императрица Елизавета Петровна, главный враг Пруссии. Новый царь Пётр III протягивает Фридриху руку мира.

Находящийся в ведении Гимmlера особый «исследовательский отдел» получил задание составить гороскопы вождя и рейха. Потрясающий результат: оба гороскопа указывают на победу во второй половине апреля, после серии тяжелых неудач. Под вечер 13 апреля Геббельс



прибывает в Кюстрин, городок у впадения Варты в Одер, разбитый снарядами; там находится штаб IX армии. Огненная речь перед штабными офицерами. Геббельс ссылается на исторический прецедент — внезапный поворот Семилетней войны в 1762 году. Кто-то из слушателей осторожно спросил, какая царица может сейчас умереть в Москве, чтобы счастье повернулось лицом к немецкому отечеству. Геббельс не нашёлся что ответить, но в тот же вечер приходит ошеломительное известие. Геббельс, вернувшийся в Берлин, на который вновь сыплются бомбы — большой налёт английской авиации, — приказывает подать шампанское и приглашает Гитлера в кабинет, где накрыт стол. «Мой фюрер! Произошло чудо. Бог не оставил нас. Судьба сокрушила нашего опаснейшего врага. Умер Рузвельт!»

## 15

Последняя большая речь Йозефа Геббельса по радио была произнесена 19 апреля, накануне дня рождения Гитлера. «В годину войны, в момент, когда, быть может, — хотелось бы верить, — в последний раз силы ненависти и разрушения сошлись на наших фронтах с запада, востока, юго-востока и юга, чтобы прорвать их и поразить империю смертельным ударом в сердце, я выступаю, как всегда это делал начиная с 1933 года, в канун 20 апреля перед народом, чтобы говорить с ним о фюрере...»

Фюрер к этому времени окончательно заперся в подземелье. Огромное сооружение, находившееся, как уже сказано, под зданием рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе в центре Берлина, по соседству с Тиргартеном и Бранденбургскими воротами, представляло собой комплекс официальных, жилых и служебных помещений: два конференц-зала, гостиная, кабинет и спальня Гитлера, спальня Евы Браун, врачевный кабинет и комнаты для двух лейб-врачей, пункт неотложной помощи и экстренной телефонной связи, секретариат, комната дежурного, помещение для охраны СС, силовая станция и прочее. Через узкую трёхмаршевую лестницу можно было незаметно выбраться из убежища в сад позади канцелярии.

Превосходно предполагалось, что фюрер оставит бункер и осаждённый город, чтобы укрыться на юге, в Зальцбургских Альпах, и продолжать борьбу из «Альпийской крепости». Геббельс убеждал его оставаться в Берлине, если надо — погибнуть, защищая столицу. Гитлеру исполнилось 56 лет. В бункере собралось руководство Тысячелетнего рейха: Геринг, Геббельс, Гиммлер, Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп и высшие чины вермахта. Явилась и Ева Браун. Поздравления, ответное слово именинника, в саду канцелярии фюрер обошёл строй подростков,

бойцов отряда гитлеровской молодёжи. Это последние, хорошо известные кадры киноплёнки, запечатлевшие Гитлера, измождённого, с трясушимися руками. После именинного обеда Гиммлер, Риббентроп и почти все военачальники покинули бункер. Их ожидала колонна грузовиков. Незаметно исчез Борман. Распрощался с вождём и рейхсмаршал Геринг: его ждали «неотложные задачи на юге». Геббельс остался.

Геббельс, его жена Магда и шестеро детей выехали в двух машинах из городской квартиры в пять часов пополудни 22 апреля. Рейхсминистр пропаганды, главный уполномоченный по ведению тотальной войны и начальник обороны Берлина переселился с семьёй к Гитлеру, в его убежище. С отъездом Геббельса персонал министерства разбежался. Весь правительственный квартал представлял собой нагромождение руин. В этот день Гитлер собрал свой штаб — тех, кто ещё остался, — для «обсуждения обстановки». Обсуждение было прервано взрывом дикого гнева. Вождь, с вылезшими из орбит глазами, сотрясаясь всем телом, буйствовал три часа, он обвинял коварного врага, изменников-подчинённых и не достойный своего фюрера немецкий народ. Все тупо ждали, когда кончится припадок. Внезапно Гитлер умолк. Затем он командировал Кейтеля на Эльбу, где XII армия генерала Венка шла на помощь Берлину. Она никогда не пришла. Четыре дня спустя снаряды советской артиллерии уже рвались в саду имперской канцелярии.

Последние дни обитателей подземелья описаны много раз. 29 апреля Геббельс был официальным свидетелем на бракосочетании Гитлера и Евы Браун. Гитлер продиктовал своё политическое завещание («Прежде всего, как самое важное, я обязываю руководство нации и подчинённых неукоснительно соблюдать расовые законы и продолжать неуклонное сопротивление мировому отравителю всех народов — международному жидовству») и назначил Геббельса своим преемником. На другой день фюрер и Ева покончили с собой. На одни сутки Йозеф Геббельс стал главой более не существующего государства. Вечером 1 мая 1945 года, между половиной девятого и девятью, Геббельс подписал приказ взорвать бункер. Магда Геббельс приготовила ампулы с цианистым калием для всей семьи. На рассвете русское подразделение ворвалось в сад. С автоматами в руках обследовали развалины бомбубежища. Затем поднялись наверх и только тогда увидели обгорелые трупы министра пропаганды, его жены и детей.

## **Лени Рифеншталь**

**В**опрос стоит так: киноискусство на службе у тоталитарного режима — или режим на службе у искусства. В первом случае это будет однозначный приговор, нестираемое клеймо на Сергее Эйзенштейне

(«Октябрь», «Александр Невский», первая серия «Ивана Грозного»), на Дзиге Вертове («Три песни о Ленине», «Шестая часть света»), на Файте Гáрлане (экранизация романа Л.Фейхтвангера «Еврей Зюсс»), на старейшине нацистских кинорежиссёров Карле Фрёлехе («Родина») и, разумеется, на Лени Рифеншталь. Во втором случае мы получим ответ-отповедь: да, это искусство расцвело под эгидой фашистского или коммунистического государства, но это — искусство. Властители приходят и уходят, искусство остаётся; Эйзенштейн, Рифеншталь — прежде всего художники, мастера и новаторы. Их роль в истории кино невозможно переоценить, их влияние на кинематографию всех стран чрезвычайно велико, и так далее... Фашистское искусство «тоже» имеет право на существование (на самом деле — не имеет). Фашистская эстетика в конце концов не хуже всякой другой (на самом деле хуже, и ещё как).

Лени Рифеншталь не забыта. Какое там. К нашему позору, она сделалась в России культовой фигурой. Но ведь и сбросить её начисто со счетов тоже невозможно. Автор тщательно документированной, в сущности, первой в Германии фундаментальной работы о Рифеншталь «Совращение таланта», киновед Райнер Ротер (R. Rother. Leni Riefenstahl. Die Verführung des Talents. München 2002) отнюдь не склонен безоговорочно реабилитировать Лени. Скорее он тяготеет к чему-то напоминающему физический принцип дополнительности. Таков ныне преобладающий, достаточно двусмысленный подход к наследию первой дамы националсоциалистического кино.

Перед нами фотография 1936 года: фрау Лени Рифеншталь на съёмках фильма «Олимпия. Часть 1: Праздник народов. Часть 2: Праздник красоты». Волевая молодая женщина в брюках и спортивной блузке устремила взгляд на объект. Ниже голова оператора Вальтера Френца, он застыл перед камерой. Снятый по заказу министерства пропаганды, огромный по тем временам (три с половиной часа) фильм об олимпиаде вышел на экран ко дню рождения Гитлера в апреле 1938 г.

Что происходит в эти годы? Международные Олимпийские игры — зимние в Верхней Баварии, летние в Берлине. Четырёхлетний план развития и милитаризации экономики, аналог советских пятилеток. Вступление немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область. Съезд партии в Нюрнберге. Гражданская война в Испании; аэропланы легиона «Кондор» бомбардируют Гернику. Выставка «Искусство вырождения» в только что воздвигнутом Доме немецкого искусства в Мюнхене: под гром и гогот пропаганды демонстрируются подлежащие изъятию и уничтожению либо продаже за границу картины художников парижской школы, немецких экспрессионистов и пр. Оккупация Австрии; восторженный отклик-воззвание немецких кинематографистов, среди подписавших — Рифеншталь. Речь Гитлера перед высшим военным командованием: будущий «величайший полководец всех времён и наро-

дов» излагает план завоевательной войны. В Мюнхене подписано знаменитое соглашение между Англией, Францией и Третьим рейхом; вернувшись в Лондон, Чемберлен возвещает, что мир в Европе спасён. Вермахт оккупирует Чехословакию. Операция «Хрустальная ночь»: по всей Германии отряды СА громят синагоги, еврейские магазины и дома общин; аресты и убийства. Вводится знак «J» (Jude) в паспортах немецких евреев. Рейх заключает пакт о дружбе и взаимопомощи с Советским Союзом; секретный протокол предусматривает раздел Польши. Уже сняты и прошли по экранам страны фильм «Победа веры» о первом после захвата власти партийном съезде в Нюрнберге и короткометражка «День свободы: наш вермахт». Вышел фильм «Триумф воли». Рифеншталь получает призы в Париже и Венеции, триумфальная поездка за океан, чествование в Голливуде...

Гелене Берта Амалия Рифеншталь, прожившая необычайно долгую жизнь, родилась в Берлине в 1902 г., была танцовщицей, спортсменкой; получив травму колена, обратилась к кинематографии, стала известной киноактрисой и режиссёром; до переворота 1933 г. ставила видовые и почвенно-романтические фильмы по собственным сценариям (самый известный — «Голубой свет»).

Две картины о съездах нацистской партии — «Победа веры» и в особенности «Триумф воли», самое знаменитое творение Рифеншталь, — производят сильное впечатление до сих пор, чему не мешает даже то, что иные кадры невозможно смотреть без смеха. Эффект «Триумфа воли» и есть, собственно, то, чего добивалась Лени Рифеншталь, — окончательное слияние эстетики с идеологией; таким образом, антиномия, о говорилось в начале этой статьи, лишается смысла. И, хотя автор упомянутой книги решительно возражает против сравнения двух выдающихся современников-киноэстетов — Рифеншталь и С.Эйзенштейна («русские революционные кинематографисты, — пишет Ротер, — отнюдь не отрицали, что они заняты политической пропагандой»). Как будто разница так важна!), мы можем сказать, что совершенство фашистской эстетики, достигнутое в «Триумфе воли», сравнимо лишь с оперным — и для сегодняшнего зрителя достаточно пародийным — великолепием некоторых сцен в созданном почти в это же время советском патриотическом боевике «Александр Невский». Аромат фашизма достаточно ощутим и там, и здесь.

Важная черта кинематографического стиля Рифеншталь — одна из её новаций: соединение документального (псевдодокументального) кино с приёмами нарративного игрового фильма. «Триумф воли», 114-минутная звуковая лента 1935 года, с объявлением во весь экран: «Im Auftrag des Führers» (По заказу Вождя), открывается кадрами не менее знаменитыми, чем детская коляска Эйзенштейна. С небольшой высоты мы видим залитый солнцем средневековый Нюрнберг, город изуми-

тельной красоты, каким он был до войны. Огромная тень скользит по крутым крышам, башням и шпилям церквей — фюрер летит в самолёте на всеимперский партийный съезд. Зловещее пророчество. Девять с половиной лет спустя, 2 января 1945 г., союзная авиация разрушила девять десятых Старого города.

Секвенция съёмов, сделанных движущейся камерой (главным образом с автомобиля), проследивает путь вождя от приземления на аэродроме до появления в окне отеля. Это вдохновенный рассказ о Пришествии и Явлении народу. За исключением панорамных кадров — кортеж машин вдоль всей улицы, — Адольф снят снизу, он велик и величествен (и необыкновенно смешон), ликующие массы сняты сверху. Он — над нами. Мы под ним. Весь вступительный эпизод имеет внятный сексуальный подтекст. Лица крупным планом — это женщины и девушки. Мать с ребёнком на руке протягивает фюреру цветы. Зритель не видит реакции Гитлера, вместо этого — смеющееся лицо девочки между двумя амбалами в форме СА. Снова мать и ребёнок, букет вручён. Бравурная музыка. Так начинается этот шедевр, который здесь нет нужды далее пересказывать.

Сравнительно недавно был снят документальный фильм — интервью с 95-летней, прекрасно сохранившейся Рифеншталь. Она восхищается кадром из «Триумфа воли»: шеренга чёрных мундиров спускается с широкой парадной лестницы нюрнбергского стадиона. Каждый шаг сверкающих сапог в точности совпадает с ритмом барабанного боя. Лени Рифеншталь всё та же: ни малейших сожалений о прошлом. Как и прежде, она решительно отмечает упрёк в том, что служила верой и правдой Гитлеру; как и прежде, категорически отрицает какую-либо связь своей кинопродукции с идеологией и практикой нацизма. Бедную женщину оболгали, оклеветали. Лени скончалась в 2003 году, в возрасте 101 года.

Некогда красовавшееся во всех кинотеатрах нашей страны изречение Ленина изумляет своей пронизательностью: действительно, никакой другой род искусства не оказался таким полезным «для нас», как кино. Экран словно создан для броневой тоталитарной пропаганды. Именно эта пропаганда в её модельных образцах предписывает особую насторожённость к современным средствам массовой информации, которые так легко превращаются в средства индоктринации. Урок фашизма, который не стоило бы так быстро забывать.

ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ



## Ночник и молния

### 1

Роман 17-летнего Блока и жены действительного тайного советника Ксении Михайловны Садовской начался в Бад-Наугейме, продолжался и в Петербурге. Ситуация повторяется в опере Рихарда Штрауса «Кавалер роз».

Вы помните, друг мой, эту арию в первом акте. Супруга фельдмаршала, стареющая любовница юного графа Октавиана, поёт о неудержимо бегущем времени.

Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.  
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.  
Aber dann auf einmal,  
da spürt man nichts als sie...

«Странная вещь — Время. Оно — ничто, когда живёшь просто так, ни о чём не думая. Пока вдруг не почувствуешь: ничего нет, кроме него».

«Оно вокруг нас, оно в нас самих. Оно струится по лицам, струится в зеркалах. В висках я слышу его ток, и вот опять оно меж нами, между тобой и мной, неслышное, как в песочных часах. О, Кен-Кен! Иногда я встаю среди ночи и останавливаю все часы...»

### 2

Остановить часы. Не в этом ли, в конце концов, суть писательства. Не есть ли «время», точнее, преодоление времени — кардинальная тема и конечная цель художественной словесности.

Разумеется, первое, что приходит в голову, — *mémoire involontaire*, «непроизвольная память» Пруста, постоянно цитируемый пассаж в первой части первого тома «В поисках утраченного времени». Холодный ненастный вечер, Марсель, усталый и удручённый, вернулся домой, присел к столу выпить горячего чаю и внезапно, ощутив вкус размоченного в чаю бисквита, почувствовал себя счастливым, увидел себя ребенком в Комбре, и тётя Леони летним воскресным утром потчует его липовым чаем с бисквитным пирожным «мадлен», — а там и улица, куда выходят окна гостиной, и колокольня церкви св. Илария, и весь городок, и дальние прогулки, и цветы в саду перед домом Свана. И лента воспоминаний разворачивается всё дальше и шире, превращается в роман.



### 3

Азбучной истина: главный ресурс писательства — память. Но память — не то же самое, что воспоминание; роман демонстрирует эту разницу, если не противоположность. Вспоминая какой-нибудь эпизод, мы его беллетризуем. Почти невольно мы упорядочиваем прошлое, мы хотим рассказать (другим или самим себе) «всё по порядку». Эта насильственная процедура, собственно, и превращает память в воспоминание. Между тем изначально память не признаёт никакой последовательности, противостоит математическому времени, игнорирует хронологию, а вместе с ней и логическую последовательность. Не останавливает часы, а разбивает их.

Освобождение от вериг времени происходит перед отходом ко сну, когда в вечерней тиши, в зеленоватом свете ночника, утревшись в постели, мы остаёмся один на один со своим внутренним миром: хотим подумать о жизни, о делах и заботах прожитого дня, но тотчас память, выпущенная на свободу, затевает свою игру: цепляется за что попало, за случайные эпизоды близкого и далёкого прошлого. Всплывают полузабытые лица, юность, детство — всё сразу. Словесные или образные ассоциации — единственное, что правит хаосом памяти, поддерживает кое-какую её цельность.

### 4

Ты думаешь о чем-то, например, о яблоках, которые забыл купить, к этой мысли прицепляется образ коня в яблоках, конь тащит за собой легендарного героя Чапаева с саблей, на картине в школьном коридоре, слышен шум, ребята вываливаются из класса, что-то глядит на тебя из окон, являются странные привязки, необъяснимые сближения — спохватываешься: о чем же я думал? — мысли приняли неуправляемый, абсурдный оборот — по-видимому, я на грани засыпания — пробую прокрутить плёнку назад, разматываю клубок. Оказывается, это цепь прихотливых сближений, исчез тот самый порядок, подобный порядку романного повествования, где одно вытекает из другого. Способна ли проза передать этот хаос, не беллетризуя изначально стихийность памяти?

Во всяком случае, то, о чём здесь идёт речь, — не память Пруста, которая на самом деле — воспоминание и для которой необходим внешний сигнал.

### 5

Для литературы воспоминание — это одновременно инструмент и материал. Вспоминая, литература денатурирует память, как кислота — белок: из аморфной, колышущейся, ускользающей массы получается твёрдое тело. Нечто непередаваемое преобразовано в текст, изделие

языка. Не будь этой химии, мы получили бы словесный детрит, нечто такое, что происходит у больных с распавшейся психикой. Но, быть может, здесь скрывается обещание приблизиться к последней реальности души; соблазн изначального, подлинного чарует и манит писателя.

Нет, я не думаю ни о фрейдизме, ни даже о чём-нибудь более новом. Меня занимает всего лишь мой собственный путь, хотя бы и оказалось, что кто-то здесь уже побывал. Грёзы о Памяти, попытки отдать себе отчёт о её внутренней природе осаждают много лет; приходится то и дело возвращаться к этой фундаментальной теме, чувствуя всякий раз, что грубыми своими лапами касаешься неких таинственных недр души.

Чисто технически дело идёт о задаче, которую всякий раз нужно решать заново. Можно её игнорировать. Но скучно читать современных русских писателей и критиков, для которых эти предметы, весь этот круг вопросов и представлений вовсе не существуют. Кажется, что наша литература утратила европейское измерение. Разучилась, отказалась от попыток взглянуть в интимную внутреннюю жизнь человека, утратила интерес к автономной личности, к «просто человеку», этому *Menschliches*, *allzu Menschliches*, к человеку, который скрылся под панцирем массовидного представительства, социальной адаптации, эфемерной актуальности, всего того, что в конечном счёте оказывается внешним, аксессуарным – если не просто тухлой.

## 6

Будем считать, что под воспоминанием подразумевается нечто двойное: и процесс припоминания чего-либо, и результат этого процесса. Воспоминание — это романизованная память. Воспоминание — враг памяти.

Я далёк от желания выступать с литературными манифестами. Просто я почувствовал, что увяз в рутине. Задача в том, чтобы преодолеть искусственность воспоминания, вернуться к истокам. Или, скажем иначе, взорвать конвенцию повествовательной прозы, чей принцип — пресловутая нить рассказа и краеугольный камень — сюжет. Переступить границу, к которой классический европейский роман, поработанный позитивистской психологией, отважился подойти лишь в истекшем столетии.

Подчас начинает казаться, что сюжет пожрал всё — и прежде всего реальную жизнь человека, его «самость», его самостояние в мире, куда он заброшен, если воспользоваться старинным словечком экзистенциалистов. А ведь нас угораздило жить в эпоху, в высшей степени враждебную человеку: никогда ещё «политика», «общество», «нация», «история» не умели так назойливо вмешиваться во все дни и уголки человеческого существования.

Поистине дурацкая история: сюжет, закруглённая повествовательность — оказываются литературным аналогом этого порабощения.

Итак, долой искусственность, долой шаблон, «литературу» в верленовском смысле; долой воспоминания, да здравствует девственность памяти! Но вы сейчас же меня призовете к порядку. Ибо едва только окажешься внутри литературы, вступают в действие её собственные игровые правила, начнешь додумывать и выдумывать, какая-то тень сюжета навязывается, и — опять на зубах оскомины рутинны. Что делать, куда деваться...

Вы усмехнётесь: утопия. И в самом деле речь идёт о чём-то едва ли возможном. Мы упираемся в грамматику, преодолеть которую означает разрушить язык. Речь идёт о соблазне приблизиться к краю бездны. Так в детстве, лазая по крыше московского дома у Красных Ворот, мы подходили к кромке брандмауэра и с замиранием сердца заглядывали вниз.

## 7

Большое слово «спонтанность» грозит опрокинуть всё здание мира. Или, что то же, храмину литературы. Революционная проза XX века недаром стала ровесницей квантовой механики, радикально меняющей, отменяющей привычные представления об однонаправленном линейном времени, о причинно-следственном детерминизме. Как физическая теория, чтобы стать верной, должна была — по известному выражению — быть безумной, так литература должна заразиться безумием, чтобы стать правдивой.

Память возвращает нас в мир, где ещё не побывал Кант. Память игнорирует ту упорядоченность, которую интеллект привносит в окружающий мир непроницаемых вещей в себе. А ты, писатель, намерен реконструировать именно то состояние, когда хомут ещё не успели натянуть на лошадь. Конечно, это утопия: такая проза невозможна, чему свидетельство — тупик, в который упёрся Джойс — со своей разбитной бабёнкой Мэрион, с великолепным «потоком сознания». Но попробовать надо, — приходится пробовать. Не подражая кому-либо, но пользуясь только собственным, неповторимым опытом. Познай самого себя!

Всё же небесполезно оглянуться на кое-кого. Не только на Бергсона и «внутреннее время», но, например, и на автора «Истории вечности». Память вернула минувшее с такой убедительностью, что «тогда» и «теперь» оказались тождественными, время дискредитировано. Такова «бедная вечность» Борхеса.

## 8

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно.

Память, которая прихотливо носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется, как репей, за что попало, меняет места и времена — у неё нет времени задерживаться на чём-нибудь одном, для неё нет важного и неважного; споткнувшись о случайное словцо, уловив мело-

дию, цвет, учуяв запах, она перескакивает, как летучий огонь, от одного к другому, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, закоулки.

И, как многие до меня, я мечтаю о раскрепощённой прозе. Мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования; вместо этого — каприз случайных сцеплений, встречных образов, непредсказуемых поворотов. Так гребец оставляет вёсла, ложится на дно лодки и чувствует, как течение вращает и уносит его на своей спине.

Друг мой, вам это знакомо: чувство усталости от прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Увы, своеволие заряжено анархией, уж мы-то это знаем. Не ты ли, художник, твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? Вернуться к истоку — не значит ли убить литературу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в пропасть. Накалённые солнцем крыши нашего детства: карабкаешься вверх по железной лестнице, бежишь по громяющей кровле, добираешься до брандмауэра и, подойдя к самому краю, боком, искося заглядываешь вниз. И видишь себя самого, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

## **Гёте и девушка из цветочного магазина**

**К**ристиан Август Вульпиус, личный секретарь некоего барона в Нюрнберге, написал письмо тайному советнику, министру Саксен-Веймар-Эйзенахского герцогства Иоганну Вольфгангу фон Гёте с нижайшей просьбой о помощи. Некогда Гёте оказал ему содействие. Теперь Вульпиусу грозит увольнение, барон подыскал на его место другого кандидата. Письмо было послано младшей сестре Вульпиуса Кристиане в Веймар для передачи его превосходительству.

Городок Веймар, столица герцогства на реке Ильм в Тюрингии, «зелёном сердце Германии», между Тюрингским лесом и Гарцем, в конце XVIII века насчитывал семь с половиной тысяч жителей. Кристиана Вульпиус проживала в домишке на Лютергассе, работала в мастерской при магазине искусственных цветов и содержала отца, мачеху и кучу маленьких братьев и сестёр. В субботу 12 июля 1788 года в парке над Ильмом Кристиана, которой было 23 года, встретила тайного советника на прогулке и вручила ему прошение брата. Подробности неизвестны; по всей вероятности, в ночь на воскресенье Кристиана стала любовницей Гёте.

Если, как утверждал Шопенгауэр, жизнь ещё не зачатого ребёнка вспыхивает в тот момент, когда будущие родители впервые видят друг друга, то можно с таким же правом сказать, что ещё не написанные

произведения зарождаются в ту минуту, когда поэт встречает свою подругу. В компендиумах истории литературы следовало бы предусмотреть главы о Маше Протасовой, Наталии Гончаровой, Марии Лазич, Елене Денисьевой, Наталии Волоховой, Лиле Брик, о девочке-подростке Софи фон Кюн, с которой был обручён Новалис, о невесте Клейста Вильгельмине фон Ценге, о «чёрной Венере» Бодлера — Жанне Лемер-Дюваль.

Но Кристиана?

«Мамзель Вульпиус», как именовало её за глаза благовоспитанное общество в Веймаре, *Bettschatz* (постельное сокровище), *un bel pezzo di carne* (кусочек красивой плоти), как аттестует Кристиану Томас Манн в известном эссе о Гёте, добавляя: «маленькая цветочница, весьма хорошенькая и вполне невежественная». Можно ли считать её «музой»? В телевизионном фильме режиссёра Э.Гюнтера «*Die Braut*» («Невеста»), где главную роль играет популярная актриса Вероника Феррес, есть такой эпизод: Кристиана, нарумяненная, с подвесками в ушах, в парике и пышном платье сидит в своей комнатке в доме Гёте, из гостиной доносятся голоса: общество собралось на вечерний раут у тайного советника. Но Кристиану никто не зовёт. Никто ею не интересуется. Да она и не была невестой. Что же она собой представляла?

О том, как она выглядела, можно судить по описаниям и сохранившимся портретам, в том числе по рисункам самого Гёте. Кристиана была невысокого роста (как и сам поэт), круглолицая, черноглазая, с пышными тёмнокаштановыми локонами, с склонностью к полноте, очень живая, очень миловидная, смешливая и немного неуклюжая. Её характер виден из писем, которые она посылала часто отлучавшемуся из Веймара Гёте: простота, естественность, никакого жеманства, умение видеть в людях прежде всего их хорошие свойства, оптимизм. Вероятно, эти качества не меньше, чем эротическое очарование Кристианы, привлекли Гёте, которому их как раз и не доставало: это был ипохондрик, страдавший от приступов меланхолии и неудовлетворённости собой. То, что вначале могло показаться интрижкой, превратилось в прочную связь. Из садового домика, где Гёте, который был старше Кристианы на 16 лет (и на 16 лет пережил её), поселил свою подружку, она переехала в просторный дом на Фрауэншлан, тот, который сейчас показывают туристам. Довольно скоро Гёте перестал прятать свою любовницу, появлялся вместе с ней на людях, ездил с ней в открытом экипаже, сидел рядом с ней в театральной ложе. Кристиана сажала овощи в огороде, ухаживала за садом, вела домашнее хозяйство. В её бесконечной преданности Гёте не приходится сомневаться, но и ответные письма, которые она получала из Силезии, куда Гёте отправился со своим герцогом на манёвры прусской армии, из Франции, Италии, Швейцарии, с театра военных действий против Бонапарта, свидетельствуют о прочной и верной любви.

О том, что так омрачало её жизнь с Гёте в затхлом, не столько аристократическом, сколько филистёрском Веймаре, узнать из писем Кристианы невозможно. Мы знаем об этом из других источников. Гёте познакомился с «цветочницей», Blumenmädchen (это слово, употреблённое Томасом Манном, — реминисценция последней оперы Вагнера «Парсифаль», намёк на волшебный сад Клингзора с хоромом девушек-цветов, которые должны соблазнить девственного отрока Парсифаля), через три недели после возвращения из Италии. Путешествие, больше напоминавшее побег — бегство от светских и государственных обязанностей, бегство с туманного германского «севера» на солнечный латинский юг, бегство от госпожи фон Штейн с её идеалом «совершенной любви» без близости — превратило Гёте в другого человека. Фаустина, героиня двадцати четырёх «Римских элегий», написанных вскоре после возвращения, — видимо, реально существовавшая девица; впрочем истинным адресатом восхитительных элегий была, возможно, сама Кристиана. Восторженно-чувственные, стилизованные в античном вкусе и вместе с тем трепещущие жизнью и страстью, смелые по тому времени элегии (не все из них Гёте решился напечатать) не оставляют сомнений в том, что поэт не прошёл мимо соблазна — в отличие от Парсифаля.

Тут нелишне будет заметить, что прежние увлечения Гёте, девушки, о которых мы знаем, — дочь пастора Фридерика Брион, кратковременная невеста Лили Шёнеман, Минхен Герцлиб, Шарлотта Буфф, прототип Лотты в «Страданиях юного Вертера», — не были «его женщинами». Любовь, свободную от секса, недвусмысленно предложила ему и веймарская придворная дама, супруга герцогского шталмейстера баронесса Шарлотта Эрнестина Альбертина фон Штейн. Изнурительный бестелесный роман длился добрый десяток лет. И вот теперь фрау фон Штейн вместе со всем порядочным обществом узнаёт о том, что её поклонник завёл себе подружку, открыто живёт с ней и воспевает её в весьма компрометантных стихах. Неудивительно, что дамы во главе с Шарлоттой Штейн и её подругой Шарлоттой фон Ленгефельд, избранницей Шиллера, годами третировали Кристиану: она и необразована, и безнравственна, и слишком толста, короче, во всех отношениях недостойна Гёте, к этому хору присоединился и Шиллер. Однажды дело дошло до скандала: гостившая в Веймаре Беттина фон Арним (впоследствии выпустившая известную «Переписку Гёте с ребёнком») якобы назвала подругу Гёте «кровяной колбасой» и в ответ получила от Кристианы увесистую затрепану.

Социально-юридическое положение невенчанной жены было весьма шатким. Случись что-нибудь с Гёте, Кристиана очутилась бы на улице. Социального страхования в те времена не существовало. Горькая судьба ожидала и ребёнка, родившегося в конце декабря 1789 года.

Герцог Карл Август, скорее младший товарищ Гёте, нежели его повелитель, согласился было стать крёстным отцом, но при крещении не присутствовал; мальчика назвали в честь правителя Августом, он оставался, однако, бастардом, незаконнорождённым и бесправным «сыном демуазель Вульпиус». Он был единственным из пяти детей Кристианы и Гёте, дожившим до сорока лет: два мальчика и две девочки умерли вскоре после рождения.

После разгрома прусской армии в октябре 1806 г. под Иеной и Ауэрштедтом маленькое герцогство Саксен-Веймар было оккупировано, французы вступили в столицу. Город был отдан на разграбление. Дом на Фрауэнплан вначале пощадили: в нём должен был остановиться маршал Ней. Но маршал запаздывал. Явились эльзасские солдаты, смертельно усталые, и сразу же повалились спать. В полночь раздались удары кулаками и прикладами в дверь, это были мародёры, сперва их кое-как удалось успокоить, Гёте, поднятый с постели, в своём знаменитом фланелевом халате, выпил вина с солдатами, — в конце концов он был почитателем Наполеона. Дальнейшее известно главным образом из рассказа Римера, поэта и филолога, воспитателя сына Кристианы и Гёте; Ример жил в доме Гёте.

Пьяные солдаты вломились в кабинет Гёте и угрожали ему оружием. Но тут выступила на сцену разъярённая Кристиана. Она готова была, защищая 57-летнего Гёте, собственноручно расправиться с ними, и, по-видимому, её решительность и отвага произвели впечатление. Кристиана втолкнула насильников в комнату, отведённую для маршала, наутро прибыл Ней и вышвырнул их вон; перед домом был выставлен часовой.

Через несколько дней, 18 октября, вечером, Гёте пригласил к себе близких друзей и в присутствии Кристианы произнёс короткую речь. Он сказал, что благодарит свою подругу за верность, проявленную в эти трудные дни. «Завтра в полдень, — добавил он, — если Богу будет угодно, мы станем мужем и женой». После восемнадцати лет свободного союза Иоганна Кристиана София Вульпиус сделалась законной супругой, тайной советницей и матерью Августа фон Гёте.

Бракосочетание, состоявшееся в ризнице церкви св. Иакова перед немногими свидетелями, ничего не изменило в повседневной жизни Гёте и Кристианы, не увеличило и не уменьшило их привязанность друг к другу. Кристиана осталась изолированной в Веймаре, всё чаще в её письмах проскальзывают жалобы на одиночество, всё чаще она недомогает физически, хоть и старается скрыть свои хвори от мужа, которому всегда должна казаться весёлой и жизнерадостной.

Читала ли она Гёте? Едва ли. Любят ли женщину за образованность и начитанность? Принято ссылаться на письмо жены французского посланника в Касселе от 1807 г., где приведены слова, будто бы ска-

занные посланнику самим Гёте: «Из всех моих сочинений моя жена не прочла ни строчки. Царство духа для неё закрыто, домашнее хозяйство — вот для чего она создана». Но биограф Кристианы фон Гёте Э.Клесман ссылается на переписку Гёте и Кристианы: многочисленные цитаты свидетельствуют о том, что Кристиана вовсе не была так уж безнадёжна. Она читала стихотворения, читала роман «Избирательное родство», была в курсе творческой работы мужа. Орфография её писем весьма причудлива и хранит следы её родного диалекта. Но в начале XIX века немецкая орфография вообще оставалась ещё очень шаткой.

За полтора года до смерти Кристиана перенесла церебральный инсульт, от которого довольно быстро оправилась. Но затем развились явления острой почечной недостаточности. Умирала она мучительно и в одиночестве; муж, по всей видимости, при её агонии не присутствовал. Кристиана скончалась в веймарском доме в полдень 6 июня 1816 года.

Гёте и Кристиана прожили вместе 28 лет. В эти годы были созданы «Римские элегии», «Торквато Тассо», «Избирательное родство», «Герман и Доротея», «Годы учения Вильгельма Мейстера», была закончена и вышла в свет первая часть «Фауста». Жизнь Кристианы Вульпиус прошла бы, не оставив следа, если бы за ней не стояла колоссальная тень Гёте, если бы её не овеяло дыхание великой, навсегда ушедшей эпохи.

## Чёрное солнце философии: Шопенгауэр

Измучен жизнью, коварством надежды  
Когда им в битве душой уступаю,  
И днём, и ночью смежаю я вежды  
И как-то странно порой прозреваю.

И так прозрачна огней бесконечность,  
И так доступна вся бездна эфира,  
Что прямо смотрю я из времени в вечность  
И пламя твоё узнаю, солнце мира.

**Я** получил в подарок ко дню рождения два изящных томика — трактат Артура Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung»; мне было 17 лет. Станным образом эти книжки уцелели во всех передрагах моей жизни.

Стихи Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...» можно напомнить каждому, кто хотел бы познакомиться с философией Шопенгауэра, вернее, со стилем его мышления. Фет, как известно, переводил Шопенгауэра. Стихи в свою очередь снабжены эпиграфом из «Parerga und Paralipomena», сборника небольших произведений с



трудно переводимым греческо-немецким названием, что-то вроде «Написанное между делом и то, что осталось», — философ издал его незадолго до смерти. Эпиграф по-русски звучит так: «Равномерность течения времени во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один и тот же сон, и более того, что этот сон видит Одно существо».

Я не приглашаю читателя логически продумать эту мысль, хотя она сформулирована по правилам логики. Достаточно, если он заглянет в неё, как заглядывают с обрыва в воду, и почувствует головокружение. Можно ли представить себе более ошеломляющую идею, чем онтологизация сна, предложение взглянуть на действительность из сна, из опрокинутого мира представлений, чтобы убедить себя, что именно он реален, а то, что считают реальностью, — сон?

А вот другая цитата: «Понять, что такое *вещь в себе*, можно только одним способом, а именно, переместив угол зрения. Вместо того, чтобы рассуждать, как это делали до сих пор, с точки зрения того, кто представляет, — взглянуть на мир с точки зрения того, *что* представляется». Вещь в себе, понятие, обычно связываемое с именем Канта, означает реальность, о которой мы можем судить, но которую мы не в силах постигнуть, запертые в клетке нашей субъективности. Все попытки прорваться к действительности наталкиваются на эту преграду. Шопенгауэр предлагает не заниматься бесплодным сотрясанием клетки, но посмотреть на неё *оттуда*, глазами мира, о котором мы лишь грезили *здесь*.

И ещё один образец такого же образа мыслей: метафизика любви. Так называется знаменитая 44 глава второго тома «Мира как воли и представления». «Воля к жизни, — говорится там, — требует своего воплощения в определенном индивидууме, и это существо должно быть зачато именно этой матерью и только этим отцом... Итак, стремление существа ещё не живущего, но уже возможного и пробудившегося из первоисточника всех существований — жажда вступить в бытие — вот то, чем в мире явлений представляется страстное чувство друг к другу будущих родителей, тех, кому предстоит дать ему жизнь и для которых ничто другое уже не имеет значения». Томящееся небытие стучится в мир, точно в запертую дверь. Но это *жаждущее быть* небытие — есть не что иное как сверхреальность.

Никогда больше перемена точек отсчёта не станет таким откровением. Ни в каком другом возрасте всё это мирочувствие, вся эта мифология, в сущности, очень древняя, не способны так одурманить и заморозить, как в юности. Томас Манн был прав, говоря, что Шопенгауэр — писатель для очень молодых людей. Ведь он сам был молод, когда пригубил от волшебного напитка его философии, — как молод был и тот, кто изготовил это питьё.

Шопенгауэр родился в Данциге двести с небольшим лет назад, он был сыном богатого и просвещённого купца, который ненавидел Пруссию и переселился в Гамбург, когда Старый Фриц получил во владение Данциг в результате второго раздела Польши. В Гамбурге Шопенгауэр-старший погиб от несчастного случая (возможно, покончил с собой), оставив сыну приличный капитал. Хотя впоследствии часть состояния пропала из-за того, что прогорел банк, это было всё же завидное время, когда можно было спокойно прожить целую жизнь на отцовские деньги в достатке и независимости, презирать политику и не пускать к себе на порог хищное государство, как не пускают сомнительного визитёра. Шопенгауэру исполнилось тридцать лет, когда он предложил издателю Брокгаузу в Лейпциге рукопись трактата, сочинённого в два или три года в порыве необычайного воодушевления. Это было в марте 1818 г.

Он обещал издателю верную прибыль. «Мой труд — это новая философская система, то есть новая в полном смысле слова... ничего подобного ещё никогда не приходило в голову ни одному человеку». Гонорар, который он требует, — сущие пустяки: 40 дукатов.

Книга была отпечатана под новый 1819 год, и за полтора года удалось продать сто экземпляров. После чего, как было сообщено автору, спрос прекратился. Тираж пролежал без движения пятнадцать лет и, наконец, пошёл в макулатуру. Шопенгауэр пытался состязаться с Гегелем в Берлинском университете и вновь потерпел фиаско: на лекции Гегеля студенты валили толпами, а на курс, объявленный Шопенгауэром, записалось два или три человека. Пережив несколько более или менее неудачных романов (некая горничная даже родила ему ребёнка, который вскоре умер), съездив дважды в Италию, рассорившись с матерью, раззнакомившись с Гёте, философ в конце концов обосновался во Франкфурте и жил там до самой смерти, одинокий и обозлённый на весь мир; гулял с пуделем и восхищался его интеллигентностью, играл на флейте, обедал в лучшем ресторане и совершенствовал свою систему. Он хотел быть похожим на Канта, которого ставил очень высоко — на второе место после Платона, — но Кант не был мизантропом, не был пессимистом, сладострастно расписывающим мизерию человеческой участи, и не был сибаритом, как Шопенгауэр; Кант вставал до рассвета и умел обходиться очень немногим; что же касается собственно философии, то, выйдя в общем и целом из Канта, Шопенгауэр ушёл от него достаточно далеко, и притом не «вперёд» и не «назад», а в сторону, точнее, на Восток: к индийской Веданте.

Всё же он дожил до дней своей славы и сравнивал себя с рабочим сцены, который замешкался и не успел вовремя уйти, когда поднялся занавес. Бывают люди, оставшиеся в памяти молодыми, несмотря на то, что они дожили до седины, а других помнят стариками, словно у них никогда не было юности. Шопенгауэр, чьё имя ставят обычно рядом с

именами Ницше и Вагнера, воспринимается как их современник, между тем его система — ровесница совсем другой эпохи. На немногих дагерротипах он выглядит старцем с недобрый прокурорским взглядом, с двумя кустами волос вокруг лысины и белыми бакенбардами, и этот образ привычно связывается с его сумрачной философией, которая на самом деле была продуктом весьма небольшого опыта жизни и отнюдь не стариковского ума.

Кое-что помогло этому позднему театру славы: разгром революции 1848 г., крушение надежд (русский читатель вспомнит Герцена), конец революционной, юношеской эпохи в широком смысле слова, закат гегельянства, утрата интереса к политике, упадок веры в историю. Но главным образом сработали качества его прозы, необычный для академической немецкой традиции литературный дар «рациональнейшего философа иррационализма», как назвал его Томас Манн, блеск стиля, похожий на блеск чёрных поверхностей, контраст между тёмно-влекущей мыслью и классически ясным языком. Да и просто то обстоятельство, что второй том «Мира как воли...», выпущенный спустя четверть века после первого тома, оказался более доступным для публики, вроде бокового входа, через который пускают экскурсантов во дворец. Метафизика гениальности, метафизика пола, смысл искусства, учение о музыке — сюжеты, которые вновь обрели притягательность в эпоху позднего романтизма. Всё это сделало Шопенгауэра властителем дум на многие десятилетия; и ледяное дыхание этого демона доносится до нашего времени.

Успех «Parerga» и особенно «Афоризмов житейской мудрости», книги, которую теперь уже мало кто читает, превратил одинокого мудреца в салонного оракула. Не остался незамеченным особый неуловимый эротизм этой философии, к которому общество становилось восприимчивей по мере того, как близился закат столетия, *fin de siècle*. Атака на женщин и ненависть к университетским профессорам принесли философу почти скандальную популярность. «Только мужской интеллект, опьянённый чувственностью, мог назвать прекрасным этот низкорослый, широкобёдрый, коротконогий пол...» и т.д. «То, что скоро моё тело будут грызть черви, с этим я ещё могу смириться; но вот то, что мою философию начнут глотать профессора, — от этой мысли меня бросает в дрожь».

Чуть ли не все комментаторы считали своим долгом указать на несоответствие возвышенного духа этой философии человеческому облику её создателя; однако я подозреваю, что противоречие не так уж велико. В том, что он производил впечатление малопривлекательной личности, сомневаться не приходится. Кое-какие истории приводятся в качестве улик. В Берлине, в начале 20-х годов, философ повздорил с соседкой, сорокасемилетней швейей, дело дошло до руко-

прикладства, кажется, он спустил её с лестницы. Суд оштрафовал его на 20 талеров. Швея, однако, утверждала, что получила увечье. Адвокат раздул дело до каких-то невероятных масштабов, на банковский счёт Шопенгауэра был наложен арест, кончилось тем, что он должен был выплачивать этой даме пожизненную пенсию. Когда через двадцать лет она скончалась, он записал в приходно-расходную книгу двойной латинский каламбур: *obit anus, abit onus* (старуха померла, свалилось бремя), прелестно венчающий всю историю. Можно вспомнить ещё несколько подобных анекдотов, не свидетельствующих о примерном поведении. Но что они доказывают? Люди всегда судили об этом человеке со стороны. Одиноким в жизни, он был одинок и в историческом смысле, как подобает мыслителю, обогнавшему своё время. Одиночество приводит в согласие, что бы там ни говорили, его жизнь и его мысль.

Устарела ли философия Шопенгауэра? Не более, чем устарел весь XIX век. Не больше, чем устарели Гёте и Толстой. Две черты обличают в Шопенгауэре «классика» — другими словами, делают его философию принадлежностью прошлого: системность и тотальность. Притязание на всеобъемлющую и окончательную истину, уверенность мыслителя в том, что в его руках — универсальный ключ к миру. Система Шопенгауэра — воспользуемся современным термином — это *метанаррация*, грандиозное мегаповествование. К такой серьёзности мы больше не способны.

Философия эта изложена в первом томе «Мира как воли и представления», отчасти в книге «О воле в природе». Второй том и всё остальное — лишь дополнения, так или иначе развивающие интеллектуальный миф; автокомментарий, мысли по разному поводу, громы и молнии, стариковское брюзжание, облачённое в изящный литературный наряд.

Что такое мир, что мы можем о нём знать? Всё сущее вокруг нас есть, собственно, не сам мир, не вещи сами по себе, а наши представления о них. Восприятие неотделимо от того, что воспринимают, субъект и объект не существуют друг без друга. Никуда из этого круга не вырвешься. Утверждение, будто единственная реальность — это моё «я», достойно умалишённых, что же касается его противоположности, материализма, то и он попадает в ловушку. Философ-материалист берёт как некую изначальную данность материю, прослеживает её развитие от низших форм к высшей — человеческому разуму, и тут до его ушей доносится хохот олимпийцев, заставляющий его очнуться, как от наваждения, от своей на вид такой трезвой и реалистической философии: ведь то, к чему он пришёл, чем он кончил, — познающий интеллект, — было на самом деле исходным пунктом его рассуждений! Ум, интеллект — вот кто придумал материю и всё прочее. Итак, представ-

ление есть первый и последний философский факт, и пока мы остаёмся на позициях представления, мы не прорвёмся к первичной, подлинной действительности.

Но есть выход. Существует возможность постигнуть мир, вырвавшись из замкнутого круга представлений, и эту возможность предоставляет нам элементарный опыт, на который вся мудрость мира не обратила внимания. Философия приковалась к интеллекту, как Нарцисс — к зеркалу вод; для Декарта мысль — венец бытия, Спиноза, вслед за Ветхим Заветом, даже акт любви величает познанием. У Канта ограниченность разума — клетка, из которой он жадно взирает на мир: неудачный роман с действительностью, неутолённое вожделение интеллекта. Между тем есть одна вещь, о существовании которой мы можем судить непосредственно, вне связи с интеллектом: это наше тело. Моё собственное тело. Оно не только объект, доступный для меня, как все объекты, в акте представления. Но оно в то же время — и я сам. Тело есть *ens realissimum*, наиочевиднейшая реальность.

Как всякий объект, его можно описывать, анализировать, объяснять; в мире представлений это физическое тело. Но, как уже сказано, эта реальность — не только объект. Она не только «представляет собой» что-то, не просто что-то «означает», — она *есть*. Постигаемое в этом качестве, изнутри, по ту сторону всех представлений, моё тело, средоточие желаний, влечений, вожделений, оказывается не чем иным, как *волей*. Воля — вот волшебное слово.

Далее следует мыслительная операция, известная под названием «умозаключение по аналогии». Здесь уместно вспомнить восходящее к поздней античности сопоставление микро- и макрокосма. Микрокосм, или малый мир, — человек — есть отражение макрокосма, то есть Вселенной. Постигание сущности собственного тела — ключ к познанию мира в целом. Как и тело, мир дан нам в представлении. Как и тело, мир должен быть чем-то ещё кроме нашего представления о нём. Чем же? Бесконечное разнообразие объектов, множественность живых существ, небо созвездий — таков этот мир, но лишь как объективация некоторой сущности, ни к чему не сводимой, вечной, не имеющей начала и конца. По ту сторону представления, за порогом иллюзии, под переливчатым покрывалом Майи — мир всегда и везде один и тот же, мир — «то же, что ты»: воля.

Всякий объект подчинён «четвероякому закону достаточного основания»: чтобы существовать, объект должен *быть* (находиться в пространстве и времени), подлежать закону *причинности* (быть следствием или причиной чего-либо), должен быть *познаваемым*, наконец, если это живое существо, должен подчиняться закону мотивации. Но всё это относится лишь к миру объектов. Вещь в себе — воля — не нуждается ни в каких *raisons d'être*, ничем не обусловлена и не обоснована.

Она сама — условие и основа бытия, вернее, она и есть бытиё. Мировая воля не знает ни времени, ни пространства, беспричинна, неуправляема и всегда равна самой себе. В таком понимании воля не совсем то или даже совсем не то, что обычно подразумевают под этим словом: не устремлённость к какой-то цели, не свойство кого-то или чего-то, человека, зверя или божества. Воля есть тёмный безначальный порыв — воля к существованию.

С этого момента вдруг становится ясно, что все предыдущие рассуждения — искусно построенные леса, скрывающие сооружение, ради которого они были сколочены. Логическое предварение философско-музыкального мифа. Во всяком случае, для многих, кого увлекла и очаровала метафизика Шопенгауэра — а список этот велик, от Вагнера и Ницше до Пруста, Томаса Манна, Беккета, Борхеса, в России к нему надо прибавить Фета, Льва Толстого, Андрея Белого, Юлия Айхенвальда и мало ли ещё кого, — она была не столько рассудочным построением, сколько авантюрой художественного ума, переживанием, близким к тому, которое производит искусство.

Вместе с философом вы стоите на берегу чёрного океана, вы впяетесь в бездонную первооснову мира. Вас окружает «пылающая бездна», как сказано в одном стихотворении Тютчева, написанном в 1830 году, когда никому не приходило в голову ничего подобного, разве что философу-мизантропу, о котором наш поэт в те годы, конечно, не знал, хотя оба какое-то время жили в одном городе (Мюнхене).

Вы живёте сверхжизнью вашего подсознания; вы находитесь в пространстве сна и постигаете то, о чём не ведают в дневном мире: что этот сон и есть последняя, безусловная действительность. Ночь мира, бушующее чёрное пламя, безначальная воля своевольна, неразумна и зла. И если в уме человека эта воля достигла самосознания, то лишь для того, чтобы втолковать ему, что он безделка в её руках, что его существование бессмысленно, безрадостно, безнадежно. И вообще лучше было не родиться, это знали ещё древние — Феогнид и Софокл. Жизнь — это смена страдания и скуки, скуки и страдания. *Our life is a false nature*, говорит почитаемый Шопенгауэром лорд Байрон. Наша жизнь — недоразумение. И даже самоубийство не обещает никакого выхода.

И всё же есть возможность *уйти*. Есть даже две возможности. Одно из решений — погасить в себе волю, отказаться от всех желаний, иллюзий, надежд. Погрузиться в нирвану, как учил Сиддхарта, прозванный Буддой. Об этом поёт Брюнгильда в финале тетралогии «Кольцо Нибелунга», когда горит дом богов Валгалла и надвигаются сумерки мира. Известно, что Вагнер переписал конец. Первоначально в тексте либретто стояло: «Племя богов ушло, как дыхание; я оставляю мира без властителя... Ничто не дарует счастья. И в скорби, и в радости блаженство — только любовь». Эти слова Брюнгильды были заменены другими.

Я не веду больше на пир Валгаллы!  
Знаете ли вы, куда я иду?  
Я покидаю дом желаний,  
я навсегда уйду из мира наваждений,  
врата вечного возрождения  
я закрываю за собой.  
В заветный край, где нет обольщений,  
к цели всех странствий,  
покончив с круговращением жизни,  
ныне устремляется Видящая.  
Блаженный итог всегдашнего, вечного, —  
знаете ли вы, как я его достигла?  
Горчайшая мука любви  
отверзла мне очи. И я увидела,  
как гибнет мир.

Но и это ещё не венец всех рассуждений; главное, по закону художественной композиции, припасено под конец. Другая, кроме аскезы, возможность вырваться из-под ига мировой воли — та, которую выбрал сам Рихард Вагнер, к которой приблизился и Шопенгауэр: художественное созерцание, искусство. Несколько неожиданно философ, который развенчал человеческий разум, низведя его до лакейской роли прислужника воли (мы бы сказали — исполнителя велений подсознания), возвращает человеку его достоинство. Философия, которая хочет не объяснить мир (и уж тем более — не переделать его, как требовал Маркс, — мир не переделаешь), но постигнуть его, не могла не увидеть в искусстве своего рода герменевтику бытия, однако дело не только в том, что взгляду художника открывается то, что недоступно науке, — «чистая объективация воли», платоновская идея. Дело в том, что художественное созерцание превращает человека в *незаинтересованного зрителя*. Художник обретает свободу. Не от государства, не от общества — всё это пустяки, — свободу от злосчастной воли. «Он их высоких зрелищ зритель».

Теперь — и в заключение — нужно сказать о музыке. Насколько Вагнер превозносил философию Шопенгауэра, настолько её творец пренебрёг музыкой Вагнера. Отверг преданнейшую любовь. Это бывает. «Поблагодарите вашего друга за то, что он прислал мне своих Нибелунгов, но право же, ему не стоит заниматься музыкой. Как поэт он талантливей... Я остаюсь верен Россини и Моцарту!» Эта отповедь была передана через третье лицо. На склоне лет франкфуртский философ играет почти исключительно вещи своего любимого композитора: у него имеется полное собрание сочинений Джоакино Россини в переложении для флейты. Кажется странным, что источником высоких вдохновений и материалом, из которого возникла составившая 52 параграф I тома и дополнение к нему — главу 39 второго тома — метафизика музыки, был всего лишь «упойтельный Россини». Почему не Бетховен? Но Шопен-

гауэр разделял вкусы своего поколения; он был не намного моложе Стендаля, который хотел, чтобы на его могиле было написано: «Эта душа обожала Моцарта, Россини и Чимарозу».

В самой природе музыки есть нечто напоминающее философию Шопенгауэра, рациональнейшего из иррационалистов. Вечно живой миф музыки облечён в строгую и экономную форму — пример высокоупорядоченной знаковой системы, где по строгим правилам закодировано нечто зыбкое, многозначное, не поддающееся логическому анализу, не сводимое ни к какой дискуссии. О чём он, этот миф?

Ему посвящены вдохновенные страницы. Музыка стоит особняком среди всех искусств. Музыка ничему не подражает, ничего не изображает. Если другие искусства, поэзия, живопись, ваяние, зодчество созерцают личины мировой воли, её маскарадный наряд, если, прозревая за эфемерными масками воли вечные объекты, очищая их от всего суетного, художник — поэт или живописец — лишь воспроизводит их, если словесное или изобразительное искусство возвышается над жизнью, но остаётся в мире представления, если ему удаётся лишь слегка приподнять покрывало Майи, — то музыка сбрасывает покрывало. Музыка — это образ глубочайшей сущности мира. «Не идеи, или ступени объективации воли, но *сама воля*». (Не правда ли, можно усмотреть некоторое противоречие в том, что философ, рисующий самыми мрачными красками стихию мира — злую, неразумную, неуправляемую, вечно неутолённую, — находит её адекватный образ в жизнерадостной, стройно-гармоничной и ласкающей слух музыке Россини.)

Если музыка в самом деле говорит нам о сущности мира и нашего существа, то она оправдывает эту сущность. Недоступное глазу зрелище, о котором невозможно поведать никакими словами. То, о чём не можешь сказать, о том надлежит молчать, изрёк один мудрец, мало похожий на Шопенгауэра, но и не такой уж далёкий от него: Витгенштейн. А музыка может.

## Вейнингер и двойник

*«Об одном хочу тебя попросить:  
не старайся слишком много узнать обо мне».*

### 1. Инцидент

Полиция обнаружила в доме № 5 на улице Чёрных испанцев, в комнате, где умер Бетховен, прилично одетого молодого человека с огнестрельной раной в области сердца. Он скончался на пути в больницу. Самоубийцей оказался доктор философии Венского университета Отто Вейнингер, евангелического вероисповедания, двадцати трёх с полови-



ной лет. Вейнингер жил с родителями, respectable четою среднего достатка, с сёстрами и братом. Он оставил два завещания. Одно их них было написано в феврале 1903 года, за восемь месяцев до смерти, другое — в августе, на вилле Сан-Джованни в Калабрии. В завещаниях содержались распоряжения об урегулировании мелких денежных дел; друзьям Артуру Герберу и Морицу Раппапорту он оставил на память маленькую домашнюю библиотеку и две сабли. Кроме того, просил разослать некоторым известным людям — Кнуту Гамсуну, Якобу Вассерману, Максиму Горькому — экземпляры своего трактата «Пол и характер». В бумагах умершего нашлась загадочная запись, сделанная перед смертью: «Я убиваю себя, чтобы не убить Другого»<sup>1</sup>.

## 2. Подробности

Жизнеописание Отто Вейнингера можно уместить на одной страничке: родился в Вене в апреле 1880 года, проявил раннюю умственную зрелость, необычную даже для еврейского подростка. В университете изучал естественные науки, переключился на философию и психологию, слушал курсы математики, физики, медицины. В двадцать лет это был эрудит, прочитавший всё на свете, серьёзно интересующийся музыкой, владеющий древними и новыми языками. О своих способностях он был высокого мнения и однажды записал: «Мне кажется, мои духовные силы таковы, что я мог бы в известном смысле решить все проблемы». Оставалось свести все знания и прозрения в единую всеобъясняющую систему, решить загадку мира и человека. Что он и сделал.

По совету профессора Йодля, своего университетского руководителя (который, правда, советовал убрать «некоторые экстравагантные и шокирующие пассажи», а в частном письме признавался, что автор при всей своей гениальности антипатичен ему как личность), Вейнингер углубил и расширил свою докторскую диссертацию. Шестисотстраничный труд под названием «Пол и характер. Принципиальное исследование», с предисловием автора и обширными комментариями, был выпущен издательством Браумюллер в Вене и Лейпциге весной 1903 года.

В день защиты диссертации Вейнингер принял крещение. Переход евреев в христианство был довольно обычным делом в католической Австрии, но Вейнингер крестился по лютеранскому обряду, что во всяком случае говорит о том, что он сделал это не ради карьеры, выгодной женитьбы и т.п.. Летом 1903 г. он совершил поездку в Италию, в конце сентября вернулся в Вену и, проведя пять дней у родителей, снял на одну ночь комнату в доме Бетховена. На рассвете он застрелился.

---

<sup>1</sup> Все цитаты в переводе автора статьи.

### 3. Человек. Его привычки

Две сохранившиеся фотографии Вейнингера — два разных человека, хотя их разделяет всего несколько лет. Зная о том, что случилось с Вейнингером, легко поддаться искушению прочесть в этих портретах его судьбу. Смерть в ранней молодости бросает тень на прижизненные изображения, смерть вообще меняет фотографии человека, об этом знала Анна Ахматова.

Первый снимок сделан где-то в парке, на скамье сидит юноша, почти подросток, темноглазый и темноволосый, с большими ушами, в сюртучке, в высоких воротничках и белом галстуке, и смотрит вдаль; немного похож на Кафку.

На второй фотографии (поясной портрет, сделанный в ателье, вероятно, в последний год жизни) Вейнингер выглядит старше своих лет. Узкоплечий, одет более или менее по моде: белый стоячий воротник с отогнутыми уголками, сюртук, жилет, видна цепочка от часов; широкий галстук повязан несколько криво. Он в очках, некрасивый, как молодой Ницше; короткая стрижка, жидковатые усы. Вейнингер как будто вот-вот усмехнётся, поймав на ошибке невидимого оппонента; взгляд человека настырного и несчастного.

Сохранились и кое-какие воспоминания. Стефан Цвейг учился в университете в одно время с Вейнингером. «У него всегда был такой вид, словно он только что сошёл с поезда после тридцатичасовой езды: грязный, усталый, помятый; вечно ходил с отрешённым видом, какой-то кривой походкой, точно держался за невидимую стенку, и так же кривились его губы под жидкими усиками...»

Похожее описание внешности покойного друга студенческих лет сделал Артур Гербер, человек ничем не знаменитый. Отто был худ, неловок, небрежно одет, в движениях было что-то судорожное; ходил, опустив голову, неожиданно срывался и нёсся вперёд. «Никогда я не видел его смеющимся, улыбался он редко». Вечерами, во время совместных прогулок по тусклым улицам, Вейнингер преображался. «Он как будто становился выше ростом, — пишет Гербер, — увлечённый разговором, фехтовал зонтом или тростью, как будто сражался с призраком, и был в эту минуту похож на персонаж Гофмана».

Круг знакомств юного Вейнингера был, по-видимому, крайне узок. Нет никаких сведений о его взаимоотношениях с женщинами, никаких следов невесты, подруги. Похоже, что он никогда не пережил страстной любви. Если же и случалось что-нибудь подобное, то это были, надо думать, неудачи.

#### 4. Его фантазии

После Первой мировой войны Артур Гербер опубликовал заметки и письма Вейнингера — книжка, ставшая раритетом. Во вступительной статье рассказано несколько мелких эпизодов из жизни Вейнингера. Дождливый днём, поздней осенью 1902 г. друзья едут в трамвае в Герстхоф, весьма отдалённый по тем временам городской район. На Вейнингере зимнее пальто, но он мёрзнет. «Я чувствую холод гроба». Входят в комнату, спёртый воздух. «Пахнет трупом — тебе не кажется?..» Вейнингеру остаётся жить меньше года, Гербер пишет о нём спустя два десятилетия, густая тень будущего лежит на его воспоминаниях. Другой рассказ. Приятели шатаются вечером вокруг какой-то церкви, потом Отто провожает друга домой. Потом Артур провожает Отто. Поздно ночью, наконец, прощаются, на улицах ни души, Вейнингер вглядывается в глаза другу и — шепотом:

«Тебе не приходила в голову мысль о двойнике? Вдруг он сейчас появится, а?.. Это тот, кто всё знает о человеке. Даже то, о чём никто не рассказывает».

Гербер не знает что ответить. Вейнингер поворачивается и уходит.

#### 5. Книга

Надо же, выбрал место: дом с комнатой, где угас Бетховен. Любил ли он Бетховена? «Истинно великий музыкант, — говорится в книге Вейнингера, в главе «Дарование и гениальность», — может быть таким же универсалом, как поэт или философ, может на своём языке точно так же измерить весь внутренний мир человека и мир вокруг него; таков гений Бетховена». Всё же Вейнингер, вероятно, предпочёл бы, если б мог, свести счёты с жизнью не в родном городе, который он не любил, а в Венеции, во дворце Вендрамин-Калерджи, где скончался Вагнер, «величайший человек после Христа».

Мориц Раппапорт, другой сверстник и друг, привёл в порядок его рукописи и опубликовал их (в 1904 году) под общим названием «О последних вещах». Это выражение — «последние вещи» (*die letzten Dinge, ultimae res*) — отсылает к христианской эсхатологии, учению о конце света, о смерти и воскресении из мёртвых. Позднее, как уже сказано, Гербер подготовил к печати немногочисленные письма и расшифровал стенографические заметки из записной книжки Отто. Всё это могло привлечь внимание лишь на фоне оглушительной славы, которой удостоились «Пол и характер» сразу после их появления. Вейнингер успел услышать первые трубные звуки этой славы; да он и не сомневался в том, что будет признан великим философом и психологом, первооткрывателем последних тайн человеческой природы.

Книга давно уже не переиздаётся. Две-три строчки в энциклопедических словарях — вот, собственно, вся память о Вейнингере. Написанная сто лет назад, книга стала малочитаемой, если не вовсе забыта, но невозможно забыть «случай Вейнингера», не раз бывший предметом социально-психологических и психоаналитических толкований; чем больше его разгадывали, тем он казался загадочней. В короткой жизни Отто Вейнингера самоубийство поставило не точку, а многоточие. Книга Вейнингера заслонена им самим. Утратив — или почти утратив — самостоятельное философское и тем более научное значение, она осталась в равной мере документом его эпохи и его личности, она стала иероглифом судьбы. Перечитывая книгу, понимаешь, что тот, кто её написал, не мог не истребить себя.

## **6. Почитатели**

Сто лет прошло, миновал новый *fin de siècle*; невыносимой тяжестью висит у нас на плечах ушедший век. Что-то похожее на этот груз, должно быть, ощущали на себе европейцы, провожая девятнадцатое столетие. Не потому ли тянет вспоминать о некоторых современниках той поры, что они, как и мы, смутно чувствовали вместе с концом века близость какого-то другого финала? Можно сказать, что имя Отто Вейнингера переживает ныне чахлое, осторожное возрождение; пожалуй, это скверный симптом. О Вейнингере написан роман, его судьба привлекает интерес в Израиле, лет десять тому назад в Вене была поставлена пьеса под названием «Ночь Вейнингера». Мрачная история — и лучше было бы вернуть дело Вейнингера в архив. Но не получается.

Два или три десятилетия, прежде чем сочинение Вейнингера перекочевало в библиотечные фонды редко востребуемых книг (а в бывшем Советском Союзе — в спецхран), оно успешно конкурировало с самыми модными новинками. За первые десять лет книга, что совсем необычно для учёного труда, была переиздана 12 раз. К началу тридцатых годов она выдержала около тридцати изданий. Книга была переведена на все языки, включая русский (два издания). Это был одновременно и рыночный бестселлер, скандальный до неприличия, и серьёзный труд, с которым полемизировали, которым восторгались, чьему влиянию поддались прославленные умы. Под двусмысленным обаянием Вейнингера чуть ли не всю жизнь находился Людвиг Витгенштейн. О Вейнингере уважительно писали Николай Бердяев в книге «Смысл творчества» (что, возможно, следует сопоставить с его позднейшими профашистскими симпатиями) и — чему совсем не приходится удивляться — Василий Розанов («Опавшие листья», короб I). Роберт Музиль испытывал к Вейнингеру отчуждённый интерес — как и к психоанализу Фрейда. Автор «Пола и характера» стал чуть ли не главной

фигурой в нашумевшей книге Теодора Лессинга «Ненависть евреев к себе» (1930); самый термин *Selbsthaß* был, по-видимому, заимствован у Вейнингера. Мы не станем останавливаться на попытках оживить интерес к Вейнингеру в нацистской Германии (некий доктор Центграф выпустил в Берлине в 1943 г. брошюру «Жид философствует»). Но женоненавистничество Вейнингера вызвало, например, живое и понятное сочувствие у Августа Стриндберга: «Станный, загадочный человек этот Вейнингер! Уже родился виноватым — как и я...» Великий швед нашёл в мальчике родственную душу.

## 7. Наука и ещё что-то

Через два года после появления книги «Пол и характер» Эрнест Генри Старлинг ввёл в биохимию человека понятие о гормонах — веществах с мощным физиологическим действием, выделяемых железами внутренней секреции. В 1927 г. было показано, что гормоны передней доли гипофиза регулируют деятельность половых желёз; в 20-х и 30-х годах химически идентифицированы мужские и женские половые гормоны, ответственные за внешний облик и сексуальное поведение индивидуума. Об этих открытиях здесь стоит упомянуть, так как некоторые идеи Вейнингера их отчасти предвосхитили.

Трактат «Пол и характер» (*Geschlecht und Charakter*) стал библиографической редкостью, и нелишне будет кратко пересказать его содержание, вернее, главные положения. Книга состоит из двух частей. Первая, медико-биологическая часть именуется подготовительной и озаглавлена «Сексуальное многообразие».

Разница между мужчиной и женщиной не ограничена первичными и вторичными половыми признаками, но простирается на все клетки и ткани организма. Можно говорить о двух биологических началах, мужском (*М*) и женском (*Ж*). Оба начала сосуществуют в каждом индивидууме; нет ни стопроцентных мужчин, ни абсолютных женщин. Другими словами, у каждого мужчины и каждой женщины имеет место та или иная степень недостаточности определяющего начала; решает дело лишь преобладание *М* над *Ж* или наоборот.

В этом смысле каждый человек бисексуален. Тезис Вейнингера согласуется с позднейшими данными эндокринологии: в организме мужчины вырабатываются вместе с мужскими половыми гормонами женские, и наоборот, в женском организме можно обнаружить присутствие мужских гормонов.

Далее формулируется (и выводится с помощью математических выкладок) «закон полового влечения»: оно тем сильнее, чем полней недостаточный мужской компонент мужчины компенсируется добав-

лением мужского компонента женщины, а недостающий женский компонент у женщины — женским компонентом мужчины. Слабый мужик тянется к сильной бабе, сильного мужчину привлекает слабая женщина. Когда же обе чаши весов, *М* и *Ж*, приближаются к равновесию, мы получаем интерсексуальный тип — мужеподобную женщину, женственно-го мужчину. Субъекты промежуточного типа играют заметную роль в некоторых общественных движениях, например, в феминизме — борьбе за женское равноправие, бессмысленной, по мнению Вейнингера. Так намечается новый аспект истории и социологии — гендерный. Близким к соотношению 1:1 сочетанием противоположных начал объясняется и гомосексуализм, который, по Вейнингеру, столь же легитимен, «нормален», как и нормальная половая жизнь.

### **8. Женщина. Её рабство**

Во второй, главной части — «Сексуальные типы» — биологические начала *М* и *Ж* превращаются в характерологические. Два пола — две разные психические конституции, два разных характера. Женская душа всё ещё окружена ореолом таинственности; все заслуживающие внимания описания женского характера — в научной литературе, в романах — принадлежат мужчинам и далеко не всегда достоверны. По существу психология женщины не расшифрована. Автор собирается это сделать.

Никакой тайны, впрочем, тут нет: ключ к женской душе, как и к физической природе женщины, лежит в её сексуальности. Сексуален, разумеется, и мужчина. Но его сексуальность — довесок к его личности. Сексуальность женщины тотальна. Пол пронизывает всё её существо. «*Ж* есть не что иное, как сексуальность; *М* — сексуальность, но и кое-что другое». Анатомия демонстрирует эту несимметричность: половой аппарат женщины скрыт в её теле, половые органы мужчины остаются снаружи как некий придаток к его телу.

Отсюда вытекает принципиальная противоположность мужского и женского сознания: одни и те же психические содержания принимают совершенно разный вид. Мужчина преобразует их в чёткие представления и логические понятия, у женщины всё остаётся в диффузной форме, «мысль» и «чувство» нераздельны; мужчина способен психологически дистанцироваться от сексуальности, женщина — никогда, ибо она вся — воплощение своего пола. Женщина — раба самой себя. Женщина лишена дара рефлексии, не в силах подняться над собой, ей незнаком универсализм — условие гениальности. Гений может быть только мужчиной.

Здесь нужно сделать одно замечание. «Женщина» в немецком языке обозначается двумя вокабулами: *Frau* и *Weib*; автор трактата

«Пол и характер» пользуется почти исключительно вторым словом. В современном употреблении Frau — нормативное слово, звучащее нейтрально. Weib вытеснено в нижний слой языка и звучит скорее презрительно («баба»), но имеет и другие коннотации. Этимологически оно связано с глаголом, означающим «закутывать»: у европейских народов индогерманской языковой семьи покрывалом прикрыта невеста. Немецкое слово Weib воспринимается как устарелое, риторическое и выражающее женскую суть. Все эти коннотации, очевидно, присутствуют у Вейнингера.

## 9. Существо, для которого не существует логики

В нескольких главах (вызвавших наибольший интерес у серьёзных читателей) рассмотрена связь между самосознанием, логикой и этикой мужчины и женщины. Здесь — та же самая несимметричность *М* и *Ж*.

«Итак, всё наше достоинство состоит в мысли (Toute notre dignité consiste donc en la pensée). Будем стараться мыслить правильно: вот основа морали». Так заканчивается знаменитое рассуждение Паскаля о мыслящем тростнике. Вейнингер не ссылается на Паскаля (бегло упоминает о нём по другому поводу), но, в сущности, подхватывает этот тезис. Логика, разум — основа нравственности. Не сердце, не интуиция диктуют нравственный закон, а логически упорядоченная мысль. Человек морален, поскольку он одарён способностью логически мыслить. «Вопрос в том, признаёшь ты или не признаёшь аксиомы логики мерилом ценности своего мышления, считаешь ли ты логику судьёй твоих высказываний, ориентиром и нормой твоих суждений». Вопрос, который бессмысленно ставить перед женщиной. Ибо женщине всё это попросту недоступно. Ей «не достаёт интеллектуальной совести». Женщина безответственна, бесчестна и лжива.

«Существо, не понимающее или не желающее признать, что *A* и не-*A* исключают друг друга, не знает препятствий для обмана; существу этому чуждо самое понятие лжи, так как противоположное понятие — правда — для него не закон; такое существо, раз уж оно наделено даром речи, лжёт, даже не сознавая этого...»

Вейнингер придаёт особое значение закону исключённого третьего ( $A=A$ ), так как в итоге дальнейших рассуждений делается вывод, что закон этот имеет фундаментальное значение для самосознания личности. Он означает: *я емь*. Я — это я, а не кто-то другой или что-то другое. Верность самому себе, искренность и правдивость по отношению к себе, вот основания единственно мыслимой этики. Такова этика мужчины, но не женщины.

## **10. Величие и одиночество**

После этого (завершая главы об этике) следует любопытное высказывание, пассаж, который перебрасывает мост от Паскаля через Канта к французскому экзистенциализму, к завету героического одиночества перед лицом абсурда; неожиданная, гордая и горестная человеческая страница, лучшая, может быть, во всём сочинении.

«Человек — один во вселенной, в вечном, чудовищном одиночестве. Вне себя у него нет цели, нет ничего другого, ради чего он живёт; высоко взлетел он над желанием быть рабом, над умением быть рабом, над обязанностью быть рабом; далеко внизу исчезло человеческое общежитие, потонула общественная этика; он один, один!

Но тут-то он и оказывается всем; и потому заключает в себе закон, и потому он сам есть всецело закон, а не своевольная прихоть. И он требует от себя повиноваться этому закону в себе, закону своего существа, без оглядки назад, без опаски перед будущим. В этом его жуткое величие — следовать долгу, не видя далее никакого смысла. Ничто не стоит над ним, одиноким и всеединым, никому он не подчинён. Но неумолимому, не терпящему никаких компромиссов, категорическому призыву в самом себе — ему он обязан подчиняться...»

## **11. Эмансипация наоборот**

Женщина — сфинкс? Смешно... «Мужчина бесконечно загадочней, несравненно сложнее. Достаточно пройти по улице: едва ли увидишь хоть одно женское лицо, на котором нельзя было бы сразу прочесть, что оно выражает. Регистр чувств и настроений женщины так беден!»

Существует два основных типа поведения женщины, к ним, собственно, всё и сводится. Ж — это или «мать», или «шлюха», в зависимости от того, что преобладает: установка на ребёнка или установка на мужчину. Проституция — феномен отнюдь не социальный, но биологический или даже метафизический; проституция всегда была и всегда будет; распространённое мнение, будто женщина тяготеет к моногамии, а мужчина — к полигамии, ошибочно: на самом деле моногамный брак, союз одного с одной, создан мужчиной, носителем индивидуальности, человеком-личностью, человеком-творцом.

В самом общем смысле мужчина олицетворяет начало, созидающее цивилизацию: в лучших своих образцах это существо творческое, нравственное и высокоодарённое. Женщина же, напротив, тянет человечество назад, к докультурному прошлому, к тёмным и бессознательным истокам. Ей чужда мораль, она неспособна к творчеству и если выказывает интерес к искусству и науке, то лишь для того, чтобы угодить



мужчине: это всего лишь притворство. Мужской воле противостоит женское влечение, мужской любви — бабья похоть, мужскому формотворчеству — женский хаос, нечто бесформенное, недоделанное, расползающееся... Женщина есть полномочный представитель идеи соития. Коитус, только коитус — и больше ничего! Идеал женщины — мужчина, целиком превратившийся в фаллос. Подлинное освобождение человечества есть освобождение от власти женщины — воздержание.

(Эту обвинительную речь дополняет любопытный пассаж из по-смертно опубликованных записок, род самокритики. Мужчина тоже не безвинен. «Она» сумела заронить зло в его душу. Как может он упрекать женщину в том, что она жаждет поработить мужчин, если мужчины сами хотят того же? «Ненависть к женщине всегда есть лишь всё ещё не преодоленная ненависть к собственной сексуальности». Это уже почти признание.)

Теперь *М* и *Ж* — уже не биология и не психология; теперь это метафизические понятия. Женщина — не только «вина мужчины», воплощение постыдного низа, позор человечества. Противостояние мужского и женского принимает почти манихейские черты. Свет и тень, абсолютное добро и абсолютное зло. Но и этого мало. Последовательное раздевание женщины — разоблачение злого начала — завершается странным открытием: *там ничего нет*. В главе «Сущность женщины и её смысл в мироздании» говорится:

«Мужчина в чистом виде есть образ и подобие Бога, то есть абсолютного Н е ч т о. Женщина символизирует Н и ч т о. Таково её вселенское значение, и в этом смысле мужчина и женщина дополняют друг друга». Итак, глубочайшая сущность женщины — отсутствие сущности, «бессущность»; чтобы стать из ничего чем-то, ей нужен мужчина.

## **12. Коварство Иакова**

Венчает эту ахиною глава о народе, который, как выясняется, аккумулировал все отрицательные качества женской души. Это евреи. Не правда ли, мы этого ждали, этим должно было кончиться. Почему? Существует типологическое родство и внутренняя связь между женоненавистничеством и ненавистью к евреям, антифеминизмом и антисемитизмом.

«Существуют народности и расы, у которых мужчины, хотя их нельзя отнести к промежуточному интерсексуальному типу, всё же так слабо и так редко приближаются к идее мужественности..., что принципы, на которых базируется наше исследование, на первый взгляд кажутся основательно поколебленными». Таким исключением являются, вероятно, китайцы (не зря они носят косичку) и уж без всякого сомне-

ния негры с их низкой моралью и неспособностью быть гением. Евреи похожи на негров (курчавые волосы) и вдобавок содержат примесь «монгольской крови» (лицевой череп как у малайцев или китайцев, лицо бывает часто желтоватым).

Впрочем, речь идёт не о расе и не столько о народе, сколько об особой психической конституции, которая в принципе может быть достоянием не только евреев; просто историческое еврейство — самый яркий и зловещий её представитель. И они это чувствуют: самые заядлые антисемиты — не арийцы, но сами евреи. Вот в чём могла бы состоять историческая заслуга еврейства — предостеречь арийца, постоянно напоминать ему о его высоком достоинстве, о его низменном антиподе.

Еврейство сконцентрировало в себе бабьи черты. Евреи, как и женщины, беспринципны; у них отсутствует тяга к прочности, уважение к собственности — отсюда коммунизм в лице Маркса. У еврея, как и у женщины, нет личности, еврей не имеет своего «я» и, следовательно, лишён представления о собственной ценности, не случайно у евреев нет дворянства. Не индивидуальность, а интересы рода движут евреем — совершенно так же, как инстинкт продолжения рода движет женщиной. Говорят, что рабские привычки навязаны евреям историческими обстоятельствами, дискриминацией и т.п. Но разве Ветхий Завет не свидетельствует об исконной, изначальной низости евреев? Патриарх Иаков солгал своему умирающему отцу Исааку, бесстыдно обманул брата Исава, объегорил тестя Лавана.

### ***13. Народ-женщина. Его триумф***

Еврей, продолжает Вейнингер, противостоит арийцу, как Ж противостоит М. Гордость и смирение борются в душе христианина — в еврейской душе соревнуются заносчивость и лизоблюдство. Не зная христианского смирения, еврей не знает и милости, не ведает благодати. Еврей поклоняется Иегове, «абстрактному идолу», полон холопского страха, не смеет даже назвать Бога по имени — всё женские черты: рабыня, которой нужен господин. В еврейской Библии отсутствует вера в бессмертие души. Как же может быть иначе? У евреев нет души.

Высшее качество арийца — гениальность — недоступно еврею совершенно так же, как оно невозможно у женщины. Среди евреев нет и не было великих учёных, нет у них ни Коперника, ни Галилея, ни Кеплера, ни Ньютона, ни Фарадея. Нет и не было гениальных мыслителей и великих поэтов. Называют Генриха Гейне, ссылаются на Спинозу. Но Гейне — поэт, начисто лишённый глубины и величия, а Спиноза — отнюдь не гений: среди знаменитых философов нет ума столь небогатого

идеями, лишённого новизны и фантазии. Вообще всё великое у евреев — либо не великое, либо не еврейское. Любопытно, что англичане, чьё сходство с евреями отмечено ещё Вагнером, тоже, в сущности, мало дали по-настоящему великих людей.

При всём сходстве евреев с женщинами между ними есть и важное отличие. Женщина верит в Другого: в мужчину, в ребёнка. Еврей хуже женщины, он не верит ни во что.

«В наше время еврейство оказалось на такой вершине, куда ему ещё не удавалось вскарабкаться со времён царя Ирода. Дух модернизма, с какой стороны его ни рассматривать, — это еврейский дух. Сексуальность всячески одобряется, половая этика воспеваает коитус...»

Время капитализма и марксизма, время, когда утрачено уважение к государству и праву, время, не выдвинувшее ни одного крупного художника, ни одного замечательного философа, попавшее на удочку самой плоской из всех концепций истории — так называемого исторического материализма. «Самое еврейское и самое женоподобное время». Автор книги «Пол и характер» не устаёт клеймить эпоху, в которой его угораздило родиться и жить.

Но наперекор вконец обнаглевшему еврейству несёт миру свой свет новое христианство. Как в первом веке, борьба требует радикального решения. Человечеству предстоит сделать выбор между еврейством и христианством, между делячеством и культурой, между женщиной и мужчиной, между инстинктом пола и личностью, между тем, что есть ничто, — и божеством. Третьего не дано.

#### **14. Счастливая Австрия**

Барон Франц фон Тротта, сын унтер-офицера словенца, спасшего жизнь юному кайзеру Францу-Иосифу I в бою под Сольферино и возведённого в дворянство, смотрит из окна своей гостиной на площадь, где выстроились колонны в белых парадных мундирах австрийской армии. Звучит знаменитый марш Радецкого, творение Иоганна Штрауса-старшего. Император в седых бакенбардах, в белых перчатках осаживает коня.

Музыка, в которой слышится танцующий шаг кавалерии, кокетливо-молодецкий марш, отнюдь не воинственный, музыка, которая так и зовёт шагать, гарцевать, смеяться, побеждать не города, а сердца. Беззаботная душа старой Вены! Латинский стих, ставший поговоркой: *Bella gerant alii, tu felix Austria nube*. «Пусть другие воюют — ты, счастливая Австрия, играй свадьбы!» Куда это всё провалилось?.. Старик Тротта умирает в один день с 86-летним кайзером. Его единственный сын, третий и последний барон, убит на фронте. «Марш

Радецкого», роман Йозефа Рота, вышедший в тридцатых годах, — это песнь любви к исчезнувшей Двуетидной монархии, ностальгическая песнь, между прочим, пропетая евреем.

В огромном рыхлом теле Австро-Венгрии билось три сердца — славянское, мадьярское и, конечно, немецкое: Прага, Будапешт, Вена. На груди государственного двуглавого орла висел щит с бесчисленными гербами, десятки народов и народностей составляли 50-миллионное население империи Габсбургов, с грехом пополам объединившей, кроме собственно австрийских и венгерских земель, Богемию, Моравию, Силезию, Галицию, Буковину, Далмацию, Хорватию, Словению, Фьюме, Боснию-Герцеговину и так далее, — полный титул монарха едва уместился бы на этой странице. Не так уж плохо жилось в этой империи, по крайней мере, так нам кажется теперь, когда мы взираем на неё через сто лет, после двух мировых войн, после всего, что было, — как и вообще не так уж плох был этот затянувшийся «конец века». Один только был у него недостаток: это был конец. Гротескная Какания Роберта Музиля, дерзкое словечко, образованное от официальной аббревиатуры «k.-k.», kaiserlich-königliche, «императорско-королевская», и одновременно папахивающее латинским глаголом *casare*, который значит то же, что и русское слово «какать», феодально-бюрократический монстр, страдавший старческим запором, — не выдержал испытаний Мировой войны, рухнул, подобно трём другим империям евроазиатского региона — Российской, Германской и Османской. Результат: Австрия, голова без тела, стала духовной провинцией, Германию ждал нацизм, огромная Россия впадала в варварство.

### **15. Парад культуры**

Но, как и в России, предвестьем конца был пышный закат. Искусство и мысль существуют в психологическом и интеллектуальном поле, которое можно сравнить с физическим; в иные эпохи такие поля достигают необычайного напряжения. Искусство и мысль обречённой Австро-Венгрии, прежде всего в австрийской столице, переживали неслыханный расцвет. Вейнингер, вещавший: «ни одного большого художника, ни одного крупного мыслителя», был прав с точностью наоборот — достаточно назвать некоторых из его современников и соотечественников. Философ Людвиг Витгенштейн, врач и психолог Зигмунд Фрейд, прозаики Роберт Музил, Герман Брох, Артур Шницлер, Стефан Цвейг, Геймито Додерер, поэты Георг Тракл, Гуго фон Гофмансталь, композиторы Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, художники Густав Климт, Оскар Кокошка, Альфред Кубин. Прибавим сюда Прагу: Райнер Мария Рильке, Франц Кафка, Макс Брод, Франц Верфель. И так далее, это лишь наскоро составленный список.

То обстоятельство, что добрых две трети этих избранных были евреями, имеет некоторое отношение к нашей теме. Юдофобство не есть следствие возрастания роли и влияния выходцев из еврейских семей в общественной жизни, экономике и культуре, но оно растёт вместе с ним. В первой декаде XX века в Вене проживало 160 тысяч евреев, восемь процентов населения столицы. Прославившийся своей рачительностью бургомистр Карл Люгер, ставленник католической христианско-социальной партии, обрадовал еврейских сограждан изречением: «Es ist alles eins, ob man sie hängt oder köpft». (Какая разница, вешать их или рубить им головы). Георг фон Шённерер, помещик из Нижней Австрии и вождь «всегерманского движения», додумался до идеи радикально очистить империю не только от евреев, но и от славян и вообще от всех расово-чуждых элементов; вопрос: что осталось бы тогда от Дунайской монархии?

Некий утекший из монастыря, как Гришка Отрепьев, монах по имени Ланц фон Либенфельз возвестил о создании арио-героического мужского ордена светловолосой и голубоглазой расы господ для расправы с неполноценными расами вплоть до их истребления — и вывел (в 1907 г.) над своим наследственным замком знамя со свастикой.

Некто Гитлер, сын таможенника, проживавший в австрийской столице, зарабатывая на жизнь срисовыванием архитектурных памятников, четверть века спустя излил накипевшие на сердце чувства в хаотическом сочинении «Моя борьба»: «С той поры, как я стал заниматься этим вопросом, когда впервые обратил внимание на еврея, Вена показалась мне в другом свете, чем раньше. Куда бы я ни шёл, я видел одних евреев, и чем больше я их видел, тем они резче отличались от остальных людей... Была ли вообще какая-нибудь гнусность, какое-нибудь бесстыдство в любой форме, особенно в культурной жизни, где бы ни участвовал еврей?.. Я начал их постепенно ненавидеть».

## ***16. Женщина 1900 года***

Мы надеемся, что читатель не ожидает найти в этой статье полемику с концепцией и мировоззрением автора книги «Пол и характер». Время полемики давно прошло. Не говоря уже о том, что любые разумные доводы против половой вражды и расовой ненависти (и то, и другое всегда — знак внутреннего неблагополучия и роковой зависимости от предмета вражды) бьют мимо цели.

Чувствуется какая-то одержимость в том, что и как пишет о ненавистном ему племени этот ещё не видевший жизни, не ставший мужчиной, до головокружения заносчивый недоросль с задатками гениальности, вопреки его собственной уверенности в том, что гений

и еврейство — две вещи несовместные; и эта одержимость сродни той, другой одержимости, которая, собственно, и подвигла его написать всю книгу: одержимости женщиной. Женщина, как и еврей, — ничто. Стоило ли вообще о ней разговаривать? Но оказывается, что это Ничто обладает жуткой притягательностью — колоссальной властью. Ничто — демонизируется.

Разумеется, здесь просвечивают черты времени. «Ж» Отто Вейнингера — это кошмарный (и волшебный) сон о женщине его эпохи.

Во все времена, заметил Ст. Цвейг («Вчерашний день. Воспоминания европейца», 1942), мода произвольно выдаёт мораль и предрассудки общества. Дамский туалет на рубеже девятисотых годов: корсет из рыбьих костей перетягивает тело, придавая ему сходство с осой. Грудь и зад искусственно увеличены, ноги заключены в подобие колокола. На руках перчатки даже в знойный летний день. Высокий узкий воротничок до подбородка делает шею похожей на горлышко графина, причёску из бесчисленных локонов и косичек, уложенных завитками на ушах, венчает чудовищная шляпа. Всё это сооружение, называемое женщиной из приличного общества, неприступная башня в кружевах, бантах и оборках, распространяет удушливый аромат духов, воплощает монументальную добродетель и дышит запретной тайной — глубоко запрятанной и раздражённой чувственностью. Открытие психоанализа было бы невозможно без этих мод.

Такая женщина вставлена, как в золочёную раму, в перегруженный вещами и вещичками быт; она движется, шурша своим колоколообразным одеянием, по комнатам, загромождённым вычурной мебелью, заставленным столиками и шкафчиками, среди стен, увешанных полочками, тарелочками, фотографиями, между окнами в тяжёлых гардинах. Воспитанная в полном неведении касательно взаимоотношений полов, буржуазная барышня вручается в плотно упакованном виде мужу, который даже не знает толком, какого рода собственность он приобрёл, но то, что он приобрёл, есть именно собственность. В приличном обществе единственная карьера женщины — брак; если не удалось вовремя выскочить замуж, она становится предметом насмешек.

Что касается молодых людей, то куда ты не приобрёл «положение», не окончил военную академию или университет, не получил место в банковском доме, в адвокатской конторе, в торговой фирме, в страховом обществе, в государственном учреждении, ты не можешь думать о женитьбе. Да и куда спешить? К услугам юного офицера, начинающего чиновника, новоиспечённого юриста или коммерсанта — армия проститутки. Так получается, что женщина предстаёт перед ним в двух ролях: либо девица на выданье, в перспективе — жена и мать, либо жрица продажной любви. И вечным кошмаром маячит перед ним риск подцепить дурную болезнь. Ведь ещё не открыт сальварсан.

Чарующая Вена на переломе столетия, этот, как сказал Брех, «весёлый апокалипсис», — это последние дни буржуазной Европы; ещё каких-нибудь десять, пятнадцать лет, и всё рухнет. Театрализованная сексуальная мораль общества в одно и то же время игнорирует, осуждает, разрешает и поощряет то, что скрыто за сценой; спектакль невозможен без закулисного мира. Да и не такой уж это, по правде говоря, секрет. Тротуары кишат полудевами, разгуливающими туда-сюда, цены доступны, свидание обходится ненамного дороже, чем коробка сигарет. Это самый низший разряд. За ним следуют певички, танцовщицы, «девушки для развлечения» в кофейнях и барах. Ещё выше на иерархической лестнице — дамы полусвета, загадочные гости сомнительных салонов, не говоря уже о персонале многочисленных борделей.

### **17. Философия как наваждение**

Вернёмся к книге; об её «идейных истоках», связях с современной и классической немецкой философией, с Кантом, Шопенгауэром, с оперной драматургией Вагнера написано немало; здесь стоит указать на одну, впрочем, бросающуюся в глаза аналогию. Оппозиция *М* и *Ж* слишком напоминает другую пару, традиционную для немецкого философствования и философического романа: дух и жизнь, интеллект и бессознательная своевольная стихия, которую Ницше (и следом за ним молодой Томас Манн) называет жизнью, а Бергсон во Франции — жизненным порывом. Но если в книге Вейнингера разуму — или, скорее, рассудку — отдаётся решительное предпочтение перед стихией, если благородный мужской интеллект у него бесконечно выше анархического бабьего начала, то в двадцатом веке многочисленные эпигоны Ницше становятся певцами иррациональности, «философия жизни» приобретает агрессивно-вульгарный, «силовой», профашистский характер; Вейнингер оказывается в кругу её зачинателей.

Книга «Пол и характер» предвосхищает ряд сочинений, которые выразили совершенно новое настроение: это книги апокалиптические, вышедшие почти одновременно после Первой мировой войны. «Закат Европы» Освальда Шпенглера, «Дух как противник души» Людвиг Клагеса, «Дух утопии» Эрнста Блоха, ещё несколько. В этих объёмистых томах, восхитивших публику блеском стиля и неожиданностью обобщений, излучающих какое-то мрачное сияние, есть то, что можно назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и культуры, завораживают и поработают читателя своим авторитарным тоном и навязывают ему под видом философии и науки некую не всегда доброкачественную мифологию.

## 18. Тень и голос

«Об одном хочу тебя попросить: не старайся слишком много узнать обо мне... Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу об этом. Кроме той жизни, о которой ты знаешь, я веду две жизни, три жизни, которых ты не знаешь». (Письмо А.Герберу, август 1902.)

Ненаписанная пьеса о герое этих страниц — два действующих лица: О.В. и некто Другой, Doppelgänger, неотвязный спутник. Сцена, напоминающая экспрессионистскую пьесу Леонида Андреева «Чёрные маски», где полубезумный герцог Лоренцо убивает на поединке другого Лоренцо, своё второе «я».

Другой, чей шепот шелестит в мозгу, Тёмный двойник — ампула из театра масок глубинной психологии Юнга, — не я, Другой! Тот, кто воплощает всё пошлое и ненавистное, постыдный низ, потёмки души; кто, как некий посторонний, присутствует в тягостных снах. Это он несёт с собой анархию, безнравственность, хаос. Между тем как Я — стою на страже морали, разума и порядка, ибо Я сам — логика и порядок. Я мужчина. Он — моя вина и гибель. Он тащит меня к женщине. Он напоминает мне о моём происхождении, которого я стыжусь. Он мешает мне сознавать себя равным в обществе, единственно достойным меня. Истребить его!

Вейнингер разоблачает женщину, отрешивается от еврейства. Но отделаться от себя невозможно, потому что Он — это я. Ненависть к тёмному спутнику всё ещё написана на лице умершего; любящий Гербер, который отыскал Отто в одиннадцатом часу утра 4 октября 1903 года в морге венской Общей больницы, вспоминает:

«Ни единого намёка на доброту, ни следа святости и любви не было в этом лице... нечто ужасное, нечто такое, что вложило в его руку оружие смерти, — мысль о Зле. Но спустя несколько часов облик его изменился, черты смягчились... и, взглянув в последний раз на мёртвого друга, я увидел глубокий покой вечности».

Ненависть породила теорию, способ самоотчуждения, но вернулась к её создателю, умертвив его на полвека раньше, чем ему полагалось умереть.

Биограф Кафки Клаус Вагенбах рассказывает, что, приехав в Прагу, он сумел разыскать почти все улицы и дома, где жил или работал Кафка. К великому счастью, город не пострадал во время войны. Но когда исследователь приступил к поискам людей, знавших Кафку, и поискам его родни, на всех архивных карточках под именем, фамилией, местом рождения стоял один и тот же штампель:

*О с в е н ц и м.*

Кафка был на три года моложе Вейнингера. Кафке повезло, он умер от туберкулёза, не дожив до газовой камеры. Вейнингеру тоже повезло.



## О Томасе Манне

**В** мае 1945 года, через десять дней после капитуляции Германии старший сын писателя Клаус Манн писал отцу о том, как он посетил их мюнхенский дом на Пошингер-штрассе, от которого уцелел лишь фасад. Сохранился и балкон. На балконе стояла неизвестная девушка-подросток, она жила в этих развалинах. Клаус (он был в американской военной форме) вскарабкался наверх. «Видите, — сказала она, — здесь нечего реквизировать. Karutt!».

Одно это слово, может быть, объясняет, почему сам Томас Манн, политический эмигрант и к тому времени уже гражданин Соединённых Штатов, медлил с визитом в Германию. Не говоря уже о возвращении. Возвращаться — куда? Между тем его ждали, его настойчиво звали. «Пожалуйста, приезжайте поскорей, взгляните на наши лица, изборождённые всем пережитым, на наши несказанные страдания... Придите к нам как добрый врач, который не только ставит диагноз болезни, но и видит её причины», — взывал в открытом письме Вальтер фон Моло, писатель, оставшийся на родине, но сумевший не слишком запятнать себя сотрудничеством с режимом. Именно это письмо, а не романы Моло, давно уже не читаемые, сохранило его имя от забвения. Знаменитый ответ Томаса Манна хорошо известен, он вошёл в сборник избранных писем Томаса Манна, выпущенный в 70-х годах С. Аптом.

Лишь спустя четыре года после паломничества Клауса 74-летний нобелевский лауреат отважился посетить бывшую «столицу движения», как именовался Мюнхен при националсоциализме, — и ехал с женой Катей, утирая слёзы, мимо всё ещё не разобранных, обгорелых руин. Пресс-конференция в отеле «Четыре времени года», доклад по случаю 200-летнего юбилея Гёте. Гостеприимные хозяева, улыбки, цветы... Газеты писали, что Манн приехал слишком поздно. На другой день он отбыл из города, на этот раз навсегда.

Литература о Томасе Манне во много раз превосходит его собственное наследие, а оно, как мы знаем, насчитывает десятки тысяч страниц. В последние годы вышло ещё несколько биографических фолиантов (Курцке, Пратер, Карст). В прессе задавался вопрос: зачём нужны всё новые биографии?

Ответ может быть двояким. «Когда человек умирает, меняются его портреты». Биография писателя, даже самая строгая и беспристрастная, есть производное не только его ушедшей жизни, но и последующего времени. Согласившись с Ахматовой, придётся добавить, что перемена продолжается, время неустанно работает над посмертным обликом писателя. Время стирает ненужное и высветляет то, чего вчера ещё не замечали.

В свою очередь научное исследование отыскивает новые свидетельства, отпирает сейфы и взламывает сургучные печати. Достаточно указать на сенсацию недавних десятилетий — открытие дневников Томаса Манна. Именно они — хотя далеко не только они — образовали корпус новых материалов, на которых в большой мере основаны три новых биографии.

История создания этих дневников, их частичной гибели и сохранения оставшегося подробно изучена, здесь можно сказать о ней совсем кратко.

Томас Манн начал вести дневник гимназистом в Любеке. Последняя запись сделана за три недели до смерти, летом 1955 г., писателю было 80 лет. В 1896 г. (21 год) он сообщил из Мюнхена в письме к одному приятелю, что сжёг свои дневники. Писание дневника, однако, продолжалось: каждый вечер, изредка с небольшими перерывами. Спустя полвека всё повторилось. В саду позади своего дома в Калифорнии он бросил в печку для сжигания мусора не менее пятидесяти толстых клеёнчатых тетрадей. (В том числе, по видимому, и то, что с великим трудом удалось в 1933 году выручить у гестапо и переправить за границу.) Свидетелем варварского акта был младший сын Голо, впоследствии известный немецкий историк. Кое-что, однако, уцелело: записи 1933–1934 гг.; начиная с 1940 года — в это время супруги Манн уже находились в Америке, — дневник сохранился полностью.

Три пакета, перевязанных шпагатом, запечатанных сургучом, с надписью рукою автора: «Литературной ценности не имеют, никому не вскрывать ранее, чем через 25 лет (зачёркнуто: 20) после моей смерти», были помещены на хранение в швейцарский банк. Позднее к ним прибавился четвёртый пакет с аналогичной пометкой дочери и душеприказчицы писателя Эрики: вскрыть после 12 сентября 1975 г. Публикация тщательно откомментированных дневников была начата в конце семидесятых годов. Сейчас это батарея пухлых томов, которую дополнила обширная — несколько тысяч — коллекция писем.

Томас Манн, много и охотно писавший о себе и собственном творчестве, стилизовал свою жизнь. Преодоление этой стилизации — одна из труднейших задач биографа. Выросший в бюргерской среде, Томас Манн сам являл собой образ бюргера. За этой кулисой скрывались его тайные помышления и страсти, его тоска, растерянность и душевный хаос. Рафинированный интеллектуальный писатель, создатель иронически-дистанцированной, рефлектирующей, аналитической и объективной прозы, он всю жизнь оставался романтиком, *ein Deutscher durch und durch*, как говорит о нём один из биографов, — немцем с головы до ног. Всю жизнь над ним склонялись тени Шопен-

гауэра, Вагнера и Ницше; всю жизнь он оставался верен своим темам. «Жизнь» и «дух», гений и болезнь, тяга к смерти, музыка. Повесть «Смерть в Венеции», написанная в раннем периоде, и «Доктор Фаустус», последний крупный роман, который он называл своим «Парсифалем», — вот подлинные автобиографии его души.

«Разоблачённая» биографами, жизнь писателя сызнова становится символически-репрезентативной, примерно так, как он представил её в образе принца Клауса-Генриха в романе «Королевское высочество». Зов хаоса и соблазны эстетизма и национализма, противостояние варварству, эмиграция, смертельная опухоль лёгкого, развившаяся во время работы над «Фаустусом», победа над болезнью, возвращение в Европу — разве это не эпизоды какого-то нового эпоса о художнике?

Томас Манн завершил эпоху буржуазного романа. После смерти Толстого не было более мощного эпического гения; по грандиозности замыслов возле него можно поставить разве только Пруста и Музиля. Пустота, которая образовалась после его ухода, едва ли может быть заполнена. С Томасом Манном доносится до нас дыхание европейской эпической прозы, постепенно угасшей во Франции, в России и, наконец, в странах немецкого языка, чтобы окончательно отойти в прошлое после второй Мировой войны. Попытки воскресить её были обречены на неудачу.

## Вдохновитель Леверкюна

Тень Адорно только один раз мелькнула в романе «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом». В главе VIII Вендель Кречмар, учитель Леверкюна, читает лекцию о последней фортепьянной сонате Бетховена до-минор, опус 111. Музыкальный рисунок во второй части сонаты, «Ариетта», три ноты: одна восьмая, одна шестнадцатая и пунктированная четверть — скандируются, поясняет рассказчик, примерно как *силь небес, боль любви, дольный луг...* Русские эквиваленты принадлежат конгениальному переводчику Т.Манна — Соломону Константиновичу Агту. Этот «дольный луг», в немецком оригинале Wiesengrund, есть не что иное, как вторая (материнская) фамилия Адорно.

Покинув Германию, Теодор Визенгрунд-Адорно, философ, социолог и музыковед, поселился в мегаполисе Лос-Анджелеса поблизости от других знаменитых изгнанников — Верфеля, Фейхтвангера, Шёнберга, Бруно Вальтера, Отто Клемперера; здесь же, вдоль Sunset Boulevard, который тянется многие километры и доходит до океана, жили Стравинский, Яша Хейфец, Владимир Горовиц, Артур Рубинштейн; в Santa

Monica проживал Генрих Манн, а неподалёку от брата, в Pacific Palisades, находился дом Томаса Манна. Личное знакомство Адорно с Т.Манном состоялось, вероятно, в конце 1942 года.

Вышедшая у Зуркампа переписка включает 42 письма обоих корреспондентов и завершается коротким письмом Адорно от 13 августа 1955 г. Кате Манн: он узнал о кончине Томаса Манна.

Главное и самое интересное в этих письмах, разумеется, — работа над «Фаустусом». Запись в дневнике Манна 15 марта 1943 г. отмечает начало работы: «Просмотр старых бумаг в поисках материала для д-ра Фауста». Речь идёт о давнишнем замысле — лаконичной записи, сделанной в 1901 году. Сорок два года спустя из этих трёх строчек начал расти роман.

История Фауста, вступившего в сговор с дьяволом, должна была стать романом о музыке, «самом немецком из искусств»: гениально одарённый Адриан Леверкюн покупает себе возможность творить 24 года ценой отказа от любви; по истечении этого срока он провалится в ад. Сюжет разворачивается, говоря схематически, в двух планах. Композитору является некий малосимпатичный субъект, после продолжительной беседы заключен контракт, и всё дальнейшее выглядит как последовательное осуществление inferнального проекта. Но есть другая, вполне реалистическая мотивация всей этой истории: Леверкюн погибает от последствий заражения (сцена в борделе близко воспроизводит то, что случилось с молодым Ницше; использованы также некоторые мотивы биографии композитора Гуго Вольфа). Оба плана, метафизический и реальный, сопрягаются с помощью удачно найденного приёма: посланец ада рассказывает Леверкюну, что в XVI веке — время первой эпидемии сифилиса в Европе — «они» взяли на вооружение бледную спирохету. Ещё в девятнадцатом столетии, до открытия возбудителя, было известно, что прогрессивный паралич — позднее следствие заражения; считалось, что это удел особо одарённых людей; появлению симптомов душевного недуга предшествует лихорадочно-эйфорический подъём, особо плодотворная полоса творческой активности — именно это и обещано Леверкюну.

Наконец, высший, символический план романа — притча о судьбе искусства (и гуманитарной культуры вообще) в двадцатом столетии; книгу можно трактовать и как метафору судьбы совращённой нацизмом Германии. Здесь мы должны вернуться к музыке.

Леверкюн — основоположник и адепт музыкального авангарда, начинатель того, что принято обозначать термином Neue Musik; представление о «новой музыке», в частности, соединяется с атональной додекафонической, то есть двенадцатитоновой, системой Арнольда Шёнберга и его учеников. (Обидчивый и самолюбивый Шёнберг узнал себя

в герое «Фаустуса».) Между тем автор романа признавался, что его собственные музыкальные предпочтения далеки от новаций XX века. В письме к другому корреспонденту, музыкальному критику Г.Штукеншмидту, Томас Манн писал: «Теоретически я кое-что знаю о современной музыке, но наслаждаться ею, любить её — увольте». Похоже на шутку Марка Твена: «Она куда лучше, чем когда её слышишь».

В первом же письме Манна к Адорно, будущему автору «Философии Новой музыки» (книга имеется сейчас в русском переводе), он просит ему помочь. Дело идёт о главах романа, над которыми он сейчас работает: о Кречмаре, позднем Бетховене и сонате опус 111. «Выпишите для меня в простых нотах тему Ариетты... Мне нужна интимная посвящённость и характерная деталь, каковые я могу получить лишь от такого превосходного знатока, как Вы». Из дальнейшего обмена письмами видно, как велика была роль Тедди — музыкального советника и консультанта — в работе над романом. В приложениях к переписке опубликована не только собственноручно сделанная для Манна копия темы второй части сонаты с пояснениями самого Адорно, но и наброски-описания — режиссура, если её можно так назвать, — произведений Адриана Леверкюна со всеми его дерзкими, «дьявольскими» новшествами. Есть и подробная интерпретация последней и самой трагической вещи Леверкюна — симфонической кантаты «Dr. Fausti Weheklag» (в переводе С.Апта — «Плач доктора Фауста»).

Пространное письмо Адорно к Манну от 28 декабря 1949 г. — роман закончен и уже издан осенью 1947 г. в Стокгольме — содержит любопытную отсылку к появившемуся в том же сорок девятом году эссе Э.Дофлейна «Вдохновитель Леверкюна: о философии Новой музыки». Дофлейн, музыкальный педагог и литератор, писал: «Договор с дьяволом, секуляризованный в виде болезни, с одной стороны, и характерные для Т.Адорно хитроумная изобретательность и парадоксальная диалектика — с другой, — это два полюса, две противоположности, и они сходятся. Адорно, собственно, и есть не кто иной, как Люцифер этого “Фауста”. Но его диалектика дискредитирована прогрессивным параличом. Медицинский диагноз превращается в символ... Трагический протагонист культуры, переживающей кризис, закутан в плащ Фауста».

Отдельно нужно сказать о замечательном, большом письме Томаса Манна от 30 декабря 1945 г. Роман доведён до XXXIV главы — Леверкюну 35 лет, он в расцвете сил, князь тьмы верен своему обещанию, договор выполняется. В порыве необычайного вдохновения, в короткий срок композитор сочиняет одно из своих главных произведений, ораторию «Апокалипсис с фигурами». Рукопись тридцати трёх глав отправлена Адорно три недели тому назад. Писатель чувствует сильнейшее

утомление: по-видимому, даёт себя знать ещё нераспознанная болезнь — злокачественная опухоль лёгкого, которая будет успешно оперирована в Чикаго весной следующего года. (Он был уверен, что заболел вместе со своим героем.) Томас Манн полон сомнений и даже подумывает о том, не бросить ли работу. Возникает желание отчитаться перед самим собой и корреспондентом.

«О чём мне прежде всего, в качестве пояснения, хочется сказать, так это о принципе *монтажа*, который последовательно применён во всей этой книге и, возможно, рискует вызвать протест». Романист объясняет, что он имеет в виду. Самые разные источники, документальные факты и свидетельства «монтируются», вводятся в повествование. Злощастный визит студента Адриана в публичный дом, игра на пианино в зале, где сидят в ожидании клиентов ночные бабочки, и бегство из борделя — пересказ одного из писем Фридриха Ницше. То же можно сказать о симптомах болезни, как описал их сам Ницше в письмах к матери, сёстрам и друзьям и которые становятся симптомами болезни Леверкюна. (Этот прием был использован и прежде: картина тифа, от которого умирает юный Ганно Будденброк, списана из энциклопедического словаря.) Попытка сватовства к Марии Годо, смазливый Руди Швердтфегер в роли посредника, который отбил её у Леверкюна, — ситуация, заимствованная у Шекспира, см. сонеты 40–42; неведомая, избегающая встреч покровительница Леверкюна — это перелицованная Надежда фон Мекк, с которой Чайковский, многие годы получавший от неё денежную помощь, никогда не встречался. К этому можно добавить (о чём Томас Манн не упоминает), что сомнительный, распространяющий вокруг себя холод гость, посетивший Адриана Леверкюна, разговор с посланцем ада и соблазнение Леверкюна, — не только реминисценция Гёте, но и возможная отсылка к Достоевскому.

## История еретика и меча: Борхес

Двадцативосьмилетнюю креольскую красавицу познакомили с писателем, о котором она много слышала. Эстела Канто была дочерью обедневшего помещика из Восточной республики Уругвай, работала секретаршей в рекламных агентствах и у биржевых маклеров, мечтала о сцене, но ещё больше хотела заниматься литературой. Писатель, которому было 45 лет, разочаровал её. Писатель был высокого роста, но неловок и некрасив. Его рукопожатие показалось ей бескостным. Его опыт общения с женщинами был явно невелик. Он был взволнован, голос его дрожал. Кажется, Эстела произвела на него сильное впечатление.

Знакомство продолжалось, оба любили вечерние прогулки, засиживались в кафе на Авенида де Майо за чашкой кофе с молоком; ночью

подслеповатый писатель провожал её пешком до южной окраины Буэнос-Айреса, где Эстела жила с матерью; разговор шёл о политике — она ненавидела диктатуру Перона — и, само собой, о литературе.

Писателя звали Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо; этот пышный набор испано-португальских и аргентинских имён существовал только в документах; английская бабушка называла его просто Джорджи. Мать Борхеса, дожившая почти до ста лет, была, в сущности, единственной женщиной его жизни. («Кто не знает о том, что Борхес не женат, подумает, глядя на них, что это супружеская чета», — писал один современник.) Кажется, она была готова одобрить брак сына с какой-нибудь крепко стоящей на ногах девушкой-католичкой из приличной аргентинской семьи, «желательно с приданым», подругой, которая могла бы взять на себя заботу о беспомощном в житейских делах и постепенно терявшем зрение от наследственного заболевания сетчатки Борхесе. Неизвестно, отвечала ли сеньорита Эстела Канто этому идеалу, вдобавок обе дамы не нашли общего языка. Дальше поцелуев дело не дошло. Биограф объясняет это страхом пуритански воспитанного Борхеса перед женщиной — или, что то же самое, страхом перед собственной сексуальностью. Но зато мы обязаны платоническому роману с Эстелой Канто созданным около 1945 года рассказом «Алеф», одним из его самых таинственных произведений.

Некогда Мопассан затеял судебный процесс против старого друга, издателя Шарпантье за то, что тот опубликовал его портрет. Автор пряных и довольно откровенных для своего времени новелл и романов протестовал против каких бы то ни было попыток сделать достоянием публики его собственную личность. Хорошо это или плохо, но времена, когда биографы не решались заглядывать в спальню знаменитых писателей, миновали. Западного читателя не шокируют рассуждения о том, состоялось или не состоялось некое событие. Нужно всё же признать, что Джеймс Вудолл, автор жизнеописания Борхеса (J. Woodall. *The Man in the Mirror of the Book. A Life of Jorge Luis Borges*. London 1996), поставил перед собой не слишком благодарную задачу, попытавшись проследить жизнь писателя, не избегая самых интимных сторон, «в зеркале» его книг. Ведь на первый взгляд кажется, что писания Борхеса — всего лишь плод усердного чтения, игра фантазии, вариации на заданную тему, словом, литература, всецело порождённая другой литературой.

В предисловии к прекрасно изданному трёхтомнику Борхеса на русском языке (1994) Борис Дубин замечает: «Вряд ли у жизни писателя есть какая-то привилегия большей реальности, чем у написанного им, скорей уж наоборот». Между тем Вудолл не просто воспринял так называемый биографический метод интерпретации художественных текстов как нечто естественное. Подчас исследователь злоупотребляет

этим методом, — в особенности, если принять во внимание, что у Борхеса на редкость мало рассказов о любви. Собственно, лишь об одной, написанной в преклонные годы трёхстраничной новелле «Ульрика» можно сказать, что любовь — её главная тема. По мнению биографа, в новелле косвенно отразились отношения Борхеса и Марии Кодамы, полуаргентинки, полуяпонки, старинной приятельницы и бесконечно преданной помощницы, которую он знал с детства; брак с ней был заключён за восемь недель до смерти 86-летнего писателя.

Как и в истории с сеньоритой Кампо, существовал, по видимому, проект женитьбы на Марии Эстер Васкес, которая одно время состояла секретарём Борхеса, а позднее опубликовала воспоминания о нём. Но она предпочла другого. Что касается рассказа «Алеф», впервые опубликованного в журнале «Sur» («Юг») во второй половине 40-х гг., то он заканчивается — а не открывается, как принято, — посвящением Эстеле Кампо.

Каждый год в день рождения Беатрис Витербо повествователь навещает её брата, бездарного поэта, на которого упал отсвет её загадочного очарования. Однажды брат покойной возлюбленной выпускает рассказчика в подвал. Во тьме подполья, похожего на пещеру Платона, ему предстаёт мистический Алеф — светящееся средоточие Вселенной. В каббалистической традиции Алеф, первая буква древнееврейского алфавита, числовое значение которой — единица, означает неизъяснимую сущность Божества. В математике это символ, введённый Георгом Кантором, создателем теории множеств и теории трансфинитных чисел; Кантор размышлял о проблеме бесконечности и ввёл понятие об Актуально-бесконечном — математическом эквиваленте абсолютно божественного бытия. С Алефом каким-то образом соотносится образ умершей женщины; её имя — Beatriz — не может не напомнить о возлюбленной Данте. Рассказ Борхеса написан в пору не нашедшей выхода любви к Эстеле Кампо, — довольно ли этой параллели, чтобы аттестовать его как притчу о самом себе?

Ульрика, точнее Ульрике, — героиня другой новеллы, и это тоже имя бессмертной возлюбленной, той самой, 17–18-летней барышни, к которой посватался в Мариенбаде старец Гёте. («Образованный человек должен знать все его увлечения», — говорил о женщинах Гёте Томас Манн.) Ульрике Софи фон Левецов дожила до 95 лет; отказав Гёте, она никогда не выходила замуж.

В первом же абзаце новеллы — если угодно, миниатюрного романа — вас уведомят о том, что это имя условное. («Не знаю и, видимо, никогда не узнаю её имени». *Пер. Б.Дубина.*) Проза, прелесть которой невозможно изъяснить, излучает тускло-серебристое, сумеречное сияние. Это свет зимнего дня и вместе — колорит вневременного, потустороннего пространства. Вся история совершается словно во сне. Там схо-



дятся действующие лица, там они могут носить имена героев скандинавских саг или персонажей де Куинси, автора знаменитой «Исповеди английского потребителя опшума». Но одновременно рассказ помещён в конкретный «хронотоп»: встреча происходит в наши дни, в небольшой загородной гостинице в Северном Йоркшире. Рассказчик, некто Хавьер Отáрола, колумбиец, знакомится с девушкой из Норвегии. На другой день они отправляются на прогулку. Идёт снег, слышится вой волков, густеют сумерки; герои поднимаются в тёмную комнату под крышей, «и меч не разделял нас». Мотив сюжетов о Тристане и Изольде и одной из легенд Старшей Эдды.

Известность Хорхе Борхеса в сегодняшней России, может быть, поможет какому-нибудь издателю набраться коммерческой отваги и выпустить на русском языке богатый фактами и наблюдениями биографический очерк о Борхесе Дж. Вудолла. Как водится, эта известность пришла с запозданием. В 1984 году, когда вышел первый сборник прозы Борхеса на русском языке, имя старого мастера уже давно гремело на перекрёстках мира. Тут недостаточно было бы кивать на свирепость цензуры, превратившей мало-помалу огромную страну в культурную провинцию. Начальство всегда находило усердных пособников. Изрядную долю вины за то, что виднейшие писатели XX века оказались недоступными для читателей в бывшем Советском Союзе, несут литературоведы старшего поколения, постаравшиеся начинить учебники и энциклопедии справками, которые правильной будет назвать политическими доносами.

Другое обстоятельство, внутреннего свойства, со своей стороны затруднило рецепцию Борхеса в нашем отечестве. Это — качества его стиля, его тематика и жанры; то, что можно обозначить как консервативное новаторство. Ныне Борхес виртуозно переведён на русский язык, тщательно откомментирован, солидно издан. (Здесь нужно указать на особую заслугу Б.В. Дубина.) Но безоговорочное признание так и не пришло. Причина в том, что творчество Хорхе Борхеса в глазах многих — это учёная литературная игра, нечто чуждое, малопонятное, слишком далёкое и оторванное от реальной жизни, — хотя то, что в России называется литературой «о жизни», при ближайшем рассмотрении довольно часто оказывается литературной рутинной. (Никто из этаблированных критиков в толстых журналах не обратил внимания на появление его книг.)

У себя на родине Борхесу пришлось выслушивать упрёки в том, что он космополит. За границей, рассказывает биограф, Борхес страдал от того, что не мог наслаждаться своими любимыми латиноамериканскими кушаньями; в музыке он, кажется, предпочитал немецким классикам милонгу и несколько старых танго. Но для соотечественников он был недостаточным патриотом, в своих писаниях пренебрёг нацио-

нальным колоритом и т.п. На эти обвинения писатель ответил в статье «Аргентинский автор и литературные традиции». Там говорится, что в Коране, самой арабской книге, нет упоминаний (это заметил Гиббон) о верблюдах. Если бы эту книгу написал арабский националист, верблюды маршировали бы у него на каждой странице. Но Мохаммед знал, что можно быть арабом и не сидя на верблюде.

Один из парадоксов творческой биографии Борхеса состоит в том, что именно тогда, когда он распрощался с «ультраизмом», а заодно и с авангардом вообще, он стал по-настоящему современным писателем. Отказавшись (в большой мере под влиянием «Адольфито» — своего младшего друга и соавтора Адольфо Бьяо Касареса) от барочной избыточности, Борхес обрёл *стиль*. Его манера письма отличается предельной концентрацией. Мы говорим здесь о прозе зрелого Борхеса, оставшая в стороне его стихи, но именно проза, миниатюры и короткие новеллы, отвечают определению поэзии, которое дал Пастернак: скоропись мысли. Борхес опускает промежуточные звенья. Это делает его прозу загадочно-неожиданной, зигзагообразной, паралогичной. Читатель вступает в поле высокого напряжения. Такая проза не только противостоит стилю другого великого аргентинца, младшего современника Борхеса — Хулио Кортасара, но и очевидным образом далека от русской традиции, по крайней мере от её основного русла, в котором лаконизм Пушкина и Чехова остались изолированными островами.

В полустраничном тексте «Борхес и я» (к какому жанру его отнести?) говорится о двух увлечениях: о мифологии окраин и об играх с пространством и временем. Новеллы о гаучо, авантюристах и бандитах, острые и увлекательные, конечно, весьма далеки от представления о реалистической, «жизненной» (жизнеподобной) словесности, ещё меньше их можно считать литературой о нуждах и чаяниях народа; отнюдь не популистская словесность. Новеллы же второго рода (тут жанровое определение тоже чрезвычайно шатко) кажутся чистым порождением ума и от «жизни» ещё дальше. Вдобавок в них присутствует нечто такое, что определённо смущает, если не отталкивает, многих читателей и критиков в России: эстетизация умозрительных моделей и философских учений при очевидном равнодушии к истине. Рассмотрим — или скорее напомним — одно из самых известных произведений — «Богословы».

Действие, — если можно говорить о действии в этом рассказе, который напоминает историческую хронику или гравюру в старинной книге и, конечно, представляет собой *fiction*, — происходит во времена становления христианской догматики, по всей видимости в V веке. Антагонисты — глава диоцеза в Северной Италии Аврелиан и учёный богослов Иоанн Паннонский (т.е. венгерский): оба ведут борьбу против гностического учения о неизбывной бесконечности сущего и круговоро-

те истории, оба — соперники. Иоанн успешно разбивает доводы ереси-арха Эвфорбия на церковном соборе, и Эвфорбий заканчивает жизнь на костре. Мучимый завистью Аврелиан добивается того, что Иоанн Паннонский сам становится жертвой обвинения в инакомыслии; ибо ультраортодокс больше, чем кто-либо, рискует быть уличённым в ереси. Иоанна сжигают, от его трактатов до нас дошло всего двадцать слов. Но с его уходом жизнь потеряла смысл для Аврелиана; он скитается по диким окраинам гибнущей империи, пока его, наконец, не достигает смерть от пожара в далёком северном монастыре.

«Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами... Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского» (пер. Е.Лысенко). В заключение нам сообщают, что для непостижимого божества оба, Иоанн и Аврелиан, еретик и ортодокс, были одной и той же личностью. («Обе стороны этой медали перед лицом Бога одинаковы», как сказано в другой новелле, «История воина и пленницы».)

Рассказ «Богословы» можно понять как иллюстрацию факта, известного в истории церквей (а также тоталитарных государств): догма пожирает своих творцов. Его можно интерпретировать как историю духовного противостояния, в котором человеческие страсти бушуют не менее яростно, чем у соперников в любви. Можно, оставаясь в рамках сюжета, предположить, что этим рассказом Борхес хотел продемонстрировать свою любимую мысль о том, что теология есть род фантастической литературы. Можно толковать рассказ как аллегорию раздираемой противоречиями души, как философскую притчу о единстве противоположностей и придумать множество других объяснений. Каждое будет более или менее правильным и всегда недостаточным — то есть в конечном счёте ложным. Маленький рассказ — меньше шести страниц — неуловим, неохватим, как сама истина.

Зато он вводит нас в суть литературной концепции Хорхе Борхеса. Она состоит, между прочим, в том, что философские системы и догмы вероучения могут стать предметом художественной литературы не менее привлекательным, чем «жизнь», но с условием, что они остаются для писателя лишь материалом. Красота и фантастика умозрительных построений — вот что привлекает художника; отнюдь не вопрос о том, настолько они истинны или ложны. *Уважение эстетической ценности религиозных или философских идей... того неповторимого и чудесного, что таится в них*, — фраза Борхеса, которую цитировал в интервью с ним по аргентинскому радио журналист Антонио Карриси. Эстетической ценности, а не какой-либо иной.

Хотя писатель повторял, что он не мыслит своей жизни вне Буэнос-Айреса, последние тринадцать лет, практически лишённый зрения, с

каждым годом всё неуютней чувствующий себя на родине, он почти непрерывно разъезжал по свету. В 1985 г. он поселился в Женеве, где и умер в субботу 14 июня 1986 года, в утренние часы.

Две строки из дошедшей до нас в рукописи XIII в. «Саги о Вельсунгах» выбиты на камне, под которым лежит Хорхе Луис Борхес на женевском кладбище Пленпале. Древнеисландская цитата — не что иное, как эпитафия к новелле «Ульрика»: *Hann tekr sverthit Gram ok leggri i methal theira bert.* (Он берёт меч Грам и кладёт его обнажённым между собой и ею.) Под эпитафией стоит: «От Ульрики — Хавьеру Отарола».

## Шульц, или общая систематика осени

### 1

*В пять часов утра наш дом купался в пылающем блеске раннего солнца, в этот торжественный час бесшумное, никем не видимое сияние брело по комнатам, где за опущенными занавесами еще внушительно колыхалось безмятежное сопение спящих...*

*В ранний этот час мой отец — ибо он уже не мог спать — спускался по лестнице с бухгалтерскими книгами, собираясь открывать лавку, которая помещалась в нижнем этаже, на мгновение останавливался перед дверью, моргая, выдерживал атаку солнечного огня...*

*Магазин был для моего отца местом вечного мученичества. Это выросшее творение его рук наваливалось на него все тяжелей и переросло его самого, то было бремя, непосильное для него, задача возвышенная и неразрешимая. Полный страха перед ее грандиозностью и величием, поставив на эту карту всю свою жизнь, он с отчаянием замечал легкомыслие персонала, порхающий, безответственный оптимизм своих помощников, их шутовские, бессмысленные телодвижения на поверхности великого дела. С горькой иронией глядявался он в череду этих лиц, не мучимых заботами, видел лбы, не изборожденные ни единой мыслью, проникал до дна этих глаз, чью невинную доверчивость не омрачала ни малейшая тень подозрения. Чем могла помочь ему мать с ее дольностью, с ее преданностью? Ее простой, не ведающей угрозы души не коснулся даже слабый отблеск этих чрезвычайных забот... От всего этого мира беспечности и праздномыслия мой отец все больше отгораживался, все настойчивей бежал в затвор некоего ордена и, пораженный этой распущенностью, посвятил себя одинокому служению... («Мертвый сезон»).*

Город Дрогобыч, в ста километрах юго-западной Львова, с населением 35 тысяч, из которых 40 процентов были евреи, в сентябре

1939 года был занят немецкими войсками, затем, по секретному договору о разделе Польши, немцы отошли на запад, чтобы уступить дорогу Красной Армии, и город вместе со всей Восточной Галицией стал частью Украинской ССР.

В июне 1941 года, в первые дни так называемого русского похода — нападения на Советский Союз — части вермахта вновь заняли Дрогобыч, осенью следующего года в соседнем Бориславе произошел первый еврейский погром. Те, кому удалось спастись от погромщиков — украинцев и поляков, — были согнаны в дрогобычское гетто, учрежденное оккупантами; среди его обитателей находился писатель и художник, школьный учитель рисования и черчения Бруно Шульц. В четверг 19 ноября 1942 года во время облавы на евреев Шульц был застрелен на улице шарфюрером СС Карлом Гюнтером.

Шульц родился в ночь на 12 июля 1892 г. в доме торговца мануфактурой Якуба Шульца на Самборской улице в Дрогобыче. Бруно Шульц был третьим, самым младшим ребенком, диковатым, необщительным, рано обнаружившим художественное дарование. Семья не была религиозной, в документах отец называл себя поляком иудейского вероисповедания, в синагогу ходили по большому праздникам. Дома говорили по-польски, официальным языком учреждений был немецкий. Этот край на задворках дряхлой Австро-Венгерской империи граничил с Российской империей, такой же архаичной; его уроженцами были Йозеф Рот, Пауль Целан, Роза Ауслендер, Роза Люксембург, Манес Шпербер. Это восточная окраина той самой Центральной Европы, в которой хотели видеть «лабораторию модерности» (Б.Дубин) и которая до сих пор возбуждает у одних, как Милан Кундера, чувство трагической потери былого цветника европейской культуры, у других, как бывший австрийский кронпринц, ныне депутат Европейского парламент Отто Габсбург с его девизом: *Zurück zur Mitte*, «вернемся к центру», — надежды на возрождение Пан-Европы вокруг Вены, Праги, Будапешта.

Шульц окончил дрогобычскую польскую гимназию, поступил в Высшее техническое училище во Львове, собирался изучать архитектуру, но принужден был вернуться из-за болезни отца и угрозы разорения. Неудача постигла его и в Вене, где он начал было учиться в Академии изящных искусств; отец умер, магазин в Дрогобыче был продан.

В 20-е годы Шульц, живший случайными заработками, создал цикл замечательных, отчасти напоминающих модного в начале века Фелисьена Ропса графических листов под общим названием «Книга о служении идолу». Папки с рисунками, которые он дарил

друзьям, ныне хранятся в частных собраниях и некоторых польских музеях. К несчастью, рисунки выполнены на бумаге скверного качества, которая долго не протянет. В начале 90-х годов они демонстрировались на выставке в Мюнхене. Их тема — мазохистское поклонение женщине.

В заметках покончившего с собой в сентябре 1939 года Станислава Виткевича (в переводе В.Кулагиной-Ярцевой они опубликованы в журнале «Иностранная литература», 1996, 8) есть любопытный отзыв об этих работах: психический садизм и физический мазохизм, будто бы характерные для женской психологии, у мужчин вывернуты наизнанку, и Шульц, по мнению Виткевича, довёл эту особенность до предела. «Средством угнетения мужчины у него оказывается нога женщины, самая опасная, если не считать лица и еще кое-чего, часть женского тела. Ногами топчут, терзают...». Далее говорится о «чудовищных рожах шульцевских дам».

Впоследствии эти рисунки подали повод для домыслов о специфической психопатологии художника, хотя в литературных сочинениях Шульца ничего подобного нет. Другие графические работы, созданные позже, — уличные сцены еврейско-польского городка в экспрессионистском стиле, автопортреты художника, идущего рядом с отцом, — могли бы служить иллюстрациями к его рассказам. Прежде чем обратить на себя внимание как прозаик, Шульц получил некоторую известность в польском художественном мире, несколько раз выставлялся. Ему удалось, сдав экзамен, получить место преподавателя рисования в гимназии.

Живя в глуши, он переписывался с писателями, приобрел друзей, среди них были Витольд Гомбрович, Тадеуш Бреза, Юлиан Тувим. Мечтал жениться, сделал предложение поэтессе Деборе Фогель, но родители панны Деборы воспротивились союзу с провинциальным учителем. Еще одна барышня, католичка, стала его невестой, ради нее он, кажется, даже вышел из еврейской общины, собирался заключить брак в Силезии, переехать в столицу; женитьба не состоялась.

К этому времени (30-е годы) Бруно Шульц уже весьма широко печатался в польских литературных журналах, публиковал статьи, рецензии, выпустил два сборника новелл, перевел на польский язык роман Кафки «Процесс» и удостоился литературной премии в Варшаве. Рецензент «Вядомошчи литерацки» называет его основателем новой литературной школы. Шульц совершил поездку в Париж, где надеялся завязать связи с художниками. Наступил 1939 год. Первого сентября, на рассвете, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по крепости Вестерплатте в устье Вислы близ Данцига, немецкие моторизованные части ворвались в Польшу, и жизнь изменилась.

Шульц был малорослый, щуплый человек с невыразительной внешностью, робкий, неуверенный в себе и склонный к депрессиям. «Я решительно болен, — пишет он Романе Гальперн в январь 1939 г., — отчаяние, чувство неотвратимого краха, непоправимой утраты...» Предвиденье надвигающейся опасности терзало его всю жизнь и в конце концов оказалось пророческим. К этому присоединилось соматическое заболевание — почечно-каменная болезнь. Поначалу, с приходом русских, положение Шульца остается прежним, он все еще учителем, но не в гимназии Ягелло, а в новооткрытой еврейской школе для мальчиков и девочек; теперь он гражданин СССР; посылает две повести (по другим сведениям, рассказ «Возвращение домой») в редакцию московского журнала «Интернациональная литература»; ответа нет, рукопись пропала, неизвестно, дошла ли вообще. Шульц избран в комиссию по подготовке к выборам в Верховный Совет, ему поручено написать портрет Сталина. Вождь народов в полувоенном френче, с литыми усами, с радостно-загадочным взором украшает здание ратуши, но, к несчастью, зажат галками. Узнав об этом, художник, по рассказу Ежи Фицовского, заметил, что впервые в жизни не испытывает досады от надругательства над своим творением. Впрочем, ни в письмах Шульца, ни тем более в его сочинениях нет ни малейших следов интереса к политике. Другое дело, что «политика» сама проявила к нему интерес.

Со вторым приходом немцев Шульц потерял свое место учителя. Как все, он должен был носить на рукаве повязку со звездой Давида. Гестаповец по имени Феликс Ландау, бывший столяр из Вены, ныне «референт по еврейскому вопросу», проявил внимание к художнику, свободно говорящему по-немецки: приобретает его рисунки в обмен на продукты (Шульц живет с родными, все без работы) и позирует ему. Референт обитает на вилле, где Шульцу велено расписывать стены детской комнаты сценами из сказок. По протекции того же Ландау удалось получить другие заказы: росписи в конноспортивной школе и местном управлении гестапо, составление — но это уже скорее приказ — каталога конфискованных библиотек. Сто с лишним тысяч книг свалены в помещении дома для престарелых, работы хватит на много месяцев.

В ноябре 1941 г. в Дрогобыче были расстреляны как непригодные к труду 320 евреев-инвалидов — пролог начатого в следующем году планомерного истребления всего еврейского населения. Пять тысяч вывезено в начале августа 1942-го в лагерь смерти Белжец близ Люблина, остальные почти все расстреляны в Броницком лесу. Все операции вы-

полняет украинская полиция. Периодически совершаются wilde Aktionen («дикие», т.е. незапланированные, акции) — облавы и убийства на улицах города.

Зофья Налковская и литературные друзья в Варшаве пытаются помочь Шульцу. Есть возможность бежать. Он колеблется. Друзья добыли деньги и фальшивый паспорт. Составлен план побега (восстановленный, как и множество других подробностей, Е. Фицовским, автором биографии Шульца «Регионы великой ереси»). В Дрогобыч должен приехать переодетый в форму гестапо офицер подпольной Армии Крайовой или сотрудник бывшей польской разведки, с целью «арестовать» Шульца и препроводить его в Варшаву, где приготовлено убежище.

19 ноября, в день намеченного побега, произошла очередная дикая акция, около ста трупов с желтой звездой лежало на мостовых. Незадолго до этого покровитель Шульца Феликс Ландау застрелил зубного врача, которого опекал эсэовец Карл Гюнтер. Кто-то из местных жителей слышал, как Гюнтер, повстречав Ландау, сказал: «Ты убил моего еврея. А я — твоего».

Другой свидетель, сосед Шульца, случайно уцелевший, рассказал о том, что произошло около полудня на углу улиц Чацкого и Мицкевича:

*Когда мы услышали выстрелы, увидели бегущих евреев, мы тоже решили бежать. Офицер СС Гюнтер схватил физически слабого Шульца, приставил ему ко лбу револьвер и выстрелил два раза. Ночью я отыскал тело Шульца, нашёл у него в карманах документы и листки с записями, всё это я передал его племяннику Гофману, который тоже погиб месяц спустя. Под утро я схоронил Шульца на еврейском кладбище.*

Могила Бруно Шульца не разыскана.

### 3

О гестаповце Феликсе Ландау известно следующее. Ландау был австрийцем. Распространённая еврейская фамилия Ландау досталась ему от отчима-еврея. В 15 лет он вступил в юношескую национал-социалистическую организацию, в 20 лет стал членом партии. Выучился в Вене на столяра. За причастность к убийству канцлера Дольфуса был судим сидел в тюрьме, бежал в Германию. После переворота 1933 г. — член СА, затем СС. В начале войны был направлен во Львов, оттуда переведён в Дрогобыч, был организатором массовых убийств.

Ландау покинул Дрогобыч в 1943 г., выполнив свою задачу — все евреи были уничтожены. После капитуляции Германии обзавёлся



фальшивыми документами, поселился в Линце, но был разоблачен бывшим жителем Дрогобыча, арестован американцами и помещён в лагерь для интернированных лиц, откуда бежал, десять лет скрывался. Вновь был арестован в 1963 г., приговорён к пожизненному заключению, но почему-то помилован и благополучно прожил в Вене до своей смерти в 1983 году.

Куда исчез убийца Шульца Карл Гюнтер, неизвестно.

В послевоенной советизированной Польше Бруно Шульц должен был умереть вторично. Заслуга вызволения Шульца из окончательного забвения принадлежит нескольким польским писателям, прежде всего поэту и литературоведу Ежи Фицовскому (1924–2006). Еще в 1946 году Фицовский пытался обнародовать материалы к биографии Шульца; протолкнуть публикацию удалось одиннадцать лет спустя, после смерти Сталина. Мало-помалу, ценой великих усилий стали появляться тексты самого Шульца; рецензии его прозы много способствовали статьи критика Артура Зандауэра. Шульц был переведен на западные языки и сравнительно недавно на русский.

Есть основания думать, что значительная часть написанного им пропала (как и множество графических и, возможно, живописных работ). В письмах Шульца несколько раз упоминается роман «Мессия», над которым он работал в 30-х годах. По некоторым сведениям, существовал еще один сборник повестей и рассказов. Имеется малоправдоподобное известие о том, что Шульц посылал Томасу Манну рассказ или повесть под названием «Возвращение домой»; ни в письмах, ни в самых подробных биографиях Манна об этом нет упоминаний. Никого из родных Бруно Шульца после войны не оказалось в живых, пропали без вести люди, у которых кое-что хранилось; друзья, знакомые, женщины, любившие Шульца, рассеялись; Гомбрович уехал в Аргентину, Тувим эмигрировал в США, Дебора Фогель, Романа Гальперн погибли в лагере уничтожения.

Сохранившееся — повесть «Комета» и два сборника рассказов с трудно воспроизводимыми заголовками, один из возможных переводов — «Магазины пряностей» и «Санаторий под водяными часами» — составляет триста с небольшим страниц. Это и есть то, что в конце концов сделало Шульца не просто известным писателем, но поместило его в первый ряд европейских прозаиков только что минувшего века. Ныне Бруно Шульц — национальная гордость Польши. Собраны и выпущены отдельными изданиями его литературно-критические статьи (в том числе программный текст 1936 года «Мифологизация действительности», в переводе Бориса Дубина — «Миф и реальность»), разыскано несколько прозаических отрывков, два-три десятка писем.

В ряду многих научных трудов, которым посвящал себя мой отец в скупо отмеренные часы душевного покоя и досуга, посреди ударов судьбы и крушений, коими его награждала бурная, полная приключений жизнь, всего милей его сердцу были исследования по сравнительной метеорологии и особенно — о специфическом климате нашей неповторимой провинции. Не кто иной, как он, мой отец, заложил основы точного анализа различных форм климата. В своем «Введении в общую систематику осени» он дал исчерпывающее разъяснение сущности этого времени года, которое в нашей провинции принимает особо утомительную, паразитически разбухающую форму, называемую «китайской осенью», ту, что вторгается в самые недра нашей многоцветной зимы. Да что я говорю? Он первым раскрыл вторичный, производный характер этой формации, которая представляет собой не что иное, как отравление климата миазмами того перезрелого, выродившегося искусства барокко, что переполняет наши музеи. Это архивное, разлагающееся в скуке и забвении искусство, без выхода, без оттока, засахаренное, как старый мармелад, пересластило наш климат, оно-то и стало причиной того отмеченного красотой малярийного жара, того красочного безумия, в котором чахнет наша томительная осень. Ибо красота — это болезнь, учил мой отец, таинственная инфекция и темное провозвестие распада, доносящееся из глубин совершенства... «Можешь ли ты постигнуть отчаяние этой обреченной красоты, ее дни и ночи?» — спрашивал мой отец... Осень, осень, александрийская эпоха года, в чьих гигантских книгохранилищах скопилась выдохшаяся мудрость трехсот шестидесяти пяти дней солнечного кругооборота... («Другая осень»).

Может показаться самонадеянной затея писать о Бруно Шульце и его творчестве без достаточного знания польского языка. Если автор этой статьи все же отважился на что-то подобное, то отчасти потому, что он был, кажется, первым, кто познакомил (по зарубежному радио) русских слушателей с судьбой и наследием этого писателя. Мое внимание к Шульцу привлек, в свою очередь, Петер Лилиенталь, один из лидеров Нового немецкого кино 60-х годов; был проект (не осуществившийся) сделать фильм по мотивам рассказов Шульца. Что касается публикаций в России, которые стали возможны лишь после краха советской власти, то честь быть первым переводчиком рассказов Бруно Шульца с языка оригинала на русский язык принадлежит, если не ошибаемся, Асару Эппелю. Эту заслугу невозможно переоценить. Правда, мне кажется, что по сравнению с переводами на западные языки работа Эппеля несколько проигрывает: в его переложении барочный стиль Шульца под-

час начинает напоминать сдобренный вульгаризмами стиль новой русской прозы. Переводы отдельных рассказов, а также писем и статей Шульца выполнены Б.Дубинным, И.Клехом, В.Кулагиной-Ярцевой, Г.Комским. Сравнительно недавно появились новые переводы Леонида Цивьяна. Приводимые здесь образцы прозы Бруно Шульца я позволил себе перевести с немецкого перевода (J. Hahn, 1981).

Отец — центральный персонаж почти всех дошедших до нас художественных произведений Шульца. Отец — неудачливый коммерсант, обремененный семьей, в вечных хлопотах под угрозой разорения; отец — чужак и визионер, философ и ученый, автор диковинных сочинений; отец — маг, демиург фантастического космоса, похожий на Всевышнего или даже (кто знает?) его земное воплощение.

В повести «Комета» отец, оставив все дела, безвылазно сидит в своей лаборатории, ставит эксперименты с электричеством и магнетизмом, наблюдает загадочные превращения материи, общается с оккультными силами природы — провинциальный самоучка, изобретатель велосипеда. А вместе с тем — чудодей и мистик, Фауст XVI века, посвященный в секреты черной магии. Разбуженные им космические стихии бушуют над городом, толпы взбудораженных жителей собираются на улицах, в черном небе стоит хвостатая звезда. Ждут светопреставления. Но ничего такого не происходит. Причина — вполне прозаическая: комета перестала быть сенсацией, попросту говоря, вышла из моды. *Энергия актуальности исчерпалась... предоставленная самой себе, комета увяла от всеобщего равнодушия и удалась.*

В другой повести, «Санаторий под водяными часами», давшей название сборнику новелл, сын совершает путешествие в далекий санаторий к отцу, который, по-видимому, умер, но продолжает жить странной потусторонней жизнью. В «Гениальной эпохе», где речь идет о мальчике-художнике, отец в виде исключения присутствует лишь на заднем плане; рассказ начинается с рассуждений о времени. *Время приводит в порядок обыденные факты, и это очень важно для рассказов, ибо длительность и последовательность составляют их сущность*; время заполнено фактами, как вагон, где не осталось свободных мест, и, когда происходят настоящие события, они не умещаются во времени.

Вместе с материей претерпевает удивительные метаморфозы и ее властелин: отец может превратиться в подобие кухонного таракана или в чучело кондора. Мать уверяет мальчика, что это не так, отец якобы стал коммивояжером, приезжает домой поздно вечером и уезжает на рассвете; но она слишком простодушна, чтобы понять истинный смысл его исчезновений. В рассказе «Последнее бегство отца», которым заканчивается цикл «Санаторий под водяными часами», действие происходит *в позднюю и пропавшую пору полного распада, в период оконча-*

тельной ликвидации наших дел. Вывеска над магазином отца снята, идет распродажа остатков товара. Отец умер. Но что значит умер? Он умирал уже много раз, умирал как-то не совсем, оставался в живых, хотя и умер, и это имело свою положительную сторону: *он постепенно приучал нас к факту своего ухода*. Однажды мать вернулась домой из города в полной растерянности. Она подобрала где-то на ступеньках существо, похожее на рака или крупного скорпиона. Отца можно было сразу же узнать. В дальнейшем происходят разные события, отец забирается в кастрюлю с кипящей водой, остается жив и в конце концов уплывает, чтобы исчезнуть навсегда.

## 5

«Последнее бегство...» более, чем другие произведения Шульца, побудило сравнивать его с Кафкой. Шульц переводил Франца Кафку на польский язык в годы, когда до всемирной известности Кафки было еще далеко, мало кому приходило в голову, что речь идет о профилирующем писателе века. Похожая история, как мы знаем, произошла и с самим Шульцем. Ни тот, ни другой не только не стали, но и не могли быть, скажем, нобелевскими лауреатами.

Кафка носил чешскую фамилию, был евреем и принадлежал к пражской немецкой литературе. Шульц, с его немецкой фамилией, родным польским языком и австрийским подданством, был в известной мере человеком сходной судьбы. (В отличие от Шульца, Кафка умер «своей смертью». Но Голокауст настиг его посмертно, вся его родня сгорела в печах.) Некоторые сквозные мотивы, прежде всего иудейская мифологема всемогущего Отца, сближают обоих писателей. Их сближает и литературное происхождение. Кафка был немецким писателем, а не еврейским или чешским. Шульц, хоть и писал по-польски, гораздо теснее связан с литературой Австро-Венгрии, чем с собственно польской литературой. Слова о барочном, перерзлом, музейном искусстве, которое будто бы насытило празднично умирающую осень в «нашей провинции», — не воспоминание ли о последних временах Дунайской монархии? Гротескный эпос Шульца подчас может напомнить призрачную, жутковатую, как на картинах Дельво и Магритта, и вместе с тем неотразимо реальную, как сновидение, фантазмагорию Кафки. Отец, который обернулся членистоногим, и Грегор Замза, превратившийся в жука, — не родные ли братья?

И все же: какие это разные писатели, разные художественные миры, как непохожа кафкианская атмосфера страха и одиночества на атмосферу рассказов Шульца. Мир Кафки, где беззащитный человек тщетно отстаивает свое достоинство перед лицом зловещих анонимных

сил, у врат абсурдного Закона, содержание которого никому не известно, где, как в тоталитарном государстве, каждый под подозрением, каждый виновен, не зная за собой вины, виновен самим фактом своего существования, — и мир Шульца, отнюдь не сумрачный, не безнадежный, подчас даже гротескно-веселый, капризно-причудливый, полный детской серьезности и галицийского юмора. Шульц писал одному из друзей: «Дело в том, что род искусства, который мне ближе всего, — это и есть возвращение, второе детство... Моя мечта — “дозреть” до детства» (Анджею Плесьневичу, март 1936. Пер. Б.Дубина). Новеллы Шульца — эпос о похождениях героя, увиденный изощренным зрением художника, но, может быть, попросту сочиненный ребенком-фантазером.

Стиль Франца Кафки: суховатый, деловой, протокольный, заставляющий вспомнить стиль и слог австрийской канцелярии, рационалистичный по контрасту с алогизмом содержания, добросовестный и достоверный при всем безумии того, о чем сообщается. Стиль Бруно Шульца: барочный, велеречивый, рапсодический, а подчас и мнимонаукообразный, чуть ли не пародийный, всегда живописный, изобилующий неожиданными метафорами, невероятными сближениями, фантастическими преувеличениями. Все новеллы рассказывают об одном и том же: городишко, семья, магазин, безалаберный чудак-отец; и каждая новелла — открытие. Захолустье, превращенное в универсум. Повествование, утепленное личными интонациями, в котором особое место занимает то, что лишь с большой условностью можно назвать картинами природы. Часто рассказ начинается с метеорологических прологов (вроде того, как роман австрийца Музиля «Человек без свойств» открывается сводкой погоды), с фантастических описаний климата, как бы цитирующих ученые труды отца. И так же, как обстоятельная, составленная по всем правилам науки метеосводка Музиля подытожена самой обыденной фразой: «Одним словом, стоял прекрасный августовский день», — так и красочно-причудливая, сюрреалистическая картина осени у Шульца — это просто осень.

*Всякий знает, что вслед за чередой обычных летних сезонов свихнувшееся время нет-нет да и выродит из своего чрева странное, дегенеративное лето; откуда-то берется — словно шестой недоразвитый палец на руке — фальшивый тринадцатый месяц. Мы говорим: фальшивый, ибо он редко достигает полного развития; словно поздно зачатое дитя, он отстаёт в росте, горбатый месяц-карлик, побег, который увял, не успев произрасти, скорее воображаемый, чем настоящий. Виной тому — старческая похоть лета, его поздний детородный позыв. Бывает так: август уже миновал, а старый, толстый ствол лета по привычке продолжает зачинать, гонит и гонит из гнилых своих недр эти желтые, идиотические дни-уродцы, дни-*

волдыри, а сверх того дни, похожие на обглоданные кукурузные початки, пустые и несъедобные, — бледные, растерянные, бестолковые дни... Иные сравнивают эти дни с апокрифами, которые кто-то тайком засунул между главами великой библии года, или же с теми белыми страницами без текста, по которым бредут вброд усталые, навьюченные тюками прочитанного глаза... Ах, этот забытый, пожелтый романс года, эта толстая растрепанная книга календаря! Забытая, где-то валяется она в архивах времени, но ее содержание продолжает разбухать под обложкой... И сейчас, когда я пишу эти наши рассказы, когда заполняю рассказами о моем отце ее истрепанные поля, меня не покидает тайная надежда, что когда-нибудь, незаметно они пустят корни между пожелтыми листьями этой великолепнейшей из всех распадающихся книг... То, о чем здесь у нас пойдет речь, случилось в тринадцатом, излишнем и, значит, фальшивом месяце года, на этих нескольких пустых страницах великой хроники календаря... («Ночь большого сезона».)

## К северу от будущего: Хайдеггер и Целан

«Хайдеггер — это долгая повесть. Муки и катастрофы целого столетия породили эту философию... Из философских соображений он сделался на какое-то время революционером-националсоциалистом, но философия помогла ему и отряхнуться. С тех пор его мысль кружила вокруг проблемы соблазна, соращения духа волей к власти. Хайдеггер, мастер из Германии... Он и в самом деле был очень “немецким”, не меньше, чем герой Манна композитор Адриан Леверкюн. История жизни и мысли Хайдеггера — ещё один вариант легенды о докторе Фаусте. В ней, в этой истории, проступает гипнотическое очарование и головокружительная бездонность немецкого пути в философии... Политическое головокружение превратило Хайдеггера отчасти и в того учителя из Германии, голубоглазого арийца, о котором говорит Целан».

Это — цитата из книги «Мастер из Германии» (1994) Рюдигера Зафранского, писателя, историка и биографа, чьи книги о Шопенгауэре, Гофмане, Ницше, Хайдеггере, Шиллере, о германском романтизме сделали автора известным во многих странах.

Слово Meister означает учитель; другие значения — мастеровой-умелец, выдержавший специальный экзамен; учёный магистр; художник или музыкант-маэстро; глава рыцарского ордена или масонской ложи; руководитель и образец для подражания. Hexenmeister в «Вальпургиевой ночи» (Фауст I) — что-то вроде бригадира над ведьмами. Но прежде всего заголовок книги Зафранского намекает на «Футу смерти» Пауля Целана.

Orus magnum Мартина Хайдеггера, 400-страничный труд «Бытие и время», создан в молодости. Книга (оставшаяся незаконченной) была написана в 20-х годах, в пору тайной близости Хайдеггера с его ученицей, тогдашней студенткой Фрейбургского университета и будущим философом и социологом, автором «Истоков тоталитаризма» Ханной Арендт.

То, что называется последними вопросами философии, напоминает вопросы ребёнка. Почему то́, что есть, есть? Почему существует что-то, а не ничто? (Если представить себе, что ничто «существует».) Что значит — *быть*?

Последний вопрос распадается на два. Первый: что мы имеем в виду, говоря — я есмь, я существую; и второй: в чём смысл моего существования? Естественные науки рассматривают человека как часть предметного мира. Между тем наша жизнь, бытие-«вот-здесь», не может быть только предметом внешнего рассмотрения, об этом знают поэты, это понял Шопенгауэр. Об этом безотчётно знаем и мы. Бытие — это мы сами, и, в отличие от «объектов», мы никогда не бываем чем-то или кем-то готовым и окончательным. Бытие человека включает бесчисленные возможности самоосуществления. Но я своё бытие не выбрал; меня не спрашивали, хочу ли я быть. Мы заброшены в мир. И мы не можем уйти от себя. Мы — это то, чем мы становимся.

Тут появляется второй персонаж философской пьесы: Время. Всматриваясь во время, мы замечаем надвигающееся облако на горизонте — смерть. Время постоянно что-то уносит. Когда-нибудь оно унесёт и нас.

Во временности, в том, что бытие «временится», заключён двойной вызов: время открывает перед бытием всё новые возможности, и время превращает его в бытие-к-смерти. Время — это и есть смысл бытия. Вопросание смысла есть «ситуация страха». Анализу страха — экзистенциальной тревоги — посвящён 40-й параграф «Бытия и времени», чуть ли не самый известный текст Хайдеггера. Не станем сейчас углубляться в хитроумную, собственного изготовления терминологию Хайдеггера, которая дала повод историку Голо Манну весьма непочтительно назвать его философствование «смесью глубокомыслия с духовным надувательством».

Мы живём в мире рядом с другими и вместе с другими. Эта необходимая форма бытия включает в себе известный риск: приноравливаясь к другим, я теряю себя. Я становлюсь «как все», я уже больше не я сам, я — это «люди». («Не видите, что ли, — говорили, имея в виду себя, в России пытающемуся протолкнуться в очереди, — здесь люди стоят!»).

Теперь я уже «кто-то», *man* Хайдеггера. Фразы «*man sagt*», «*man schreibt*» передаются по-русски безличной формой глагола: говорят, пишут... Но и *man* состоит из таких же поддельных людей, у которых вместо лиц вывески: толпа, безличный и безответственный коллектив. Взгляд философа устремлён на близкое будущее. Тоталитарное общество уже на пороге.

\*

Вот краткая хроника: дело происходит во Фрейбурге, в старинном, славном университете XV столетия, где с 1928 года Хайдеггер занимает кафедру своего бывшего учителя Гуссерля. Весной 1933-го Хайдеггер избран ректором, первого мая вступает в националсоциалистическую партию, 20 мая подписывает приветственную телеграмму вождю, 27 мая, в присутствии партийных бонз, министра, ректоров других университетов произносит речь, в которой призывает студентов и учёных коллег служить делу национальной революции. Всё это сопровождается фантастическим философствованием о прорыве к подлинному бытию. Хайдеггеру кажется, что нацистский переворот возвращает человеческому существованию утраченную подлинность. Хайдеггер словно под властью какого-то наваждения. Он даже назвал его, в стиле пронацистской риторики, опьянением судьбой. Он разъезжает по городам, ораторствует, летом организует студенческий «научный лагерь», странную смесь платоновской Академии и военно-спортивного стана бойскаутов: костры, патрули, проверки, вынос знамени под барабанный бой и песню «Сегодня нам внемлет Германия, а завтра — целый мир»; с помпой, в коротких штанах принимает рапорт некоего доцента, который руководит экзерцициями студентов с деревянными ружьями. Готовится реформа университета, где по примеру всей страны должен быть введён принцип «вождизма».

Это продолжалось недолго. Нечего и говорить о том, что новому режиму философия Хайдеггера была ни к чему. Никто из этих троглодитов никогда не читал и не мог бы прочесть его сочинения. Сам мыслитель-фантаст мало помалу не то чтобы образумился, но как-то остыл. Политика приелась, административные обязанности обрыдли. Начались трения с партийными инстанциями, интриги коллег. Через год после назначения ректором Хайдеггер подал в отставку.

После войны у него начались неприятности; французские оккупационные власти лишили его права преподавания; философ, внутренне давно порвавший с нацизмом, оправдывался, подчас кривил душой; тягостная история опьянения и похмелья известна сейчас во всех подробностях. Увы, Хайдеггер не был исключением. Он просто был самым



знаменитым из писателей, мыслителей, интеллигентов, поддавшихся теперь уже почти непонятному для нас обаянию фашизма. От Хайдеггера ожидали публичного признания своих заблуждений. Он этого не сделал — почему? Из гордости? Оттого ли, что с философией Хайдеггера не вязалась необходимость «мыслить в категориях Освенцима»? Или оттого, что он считал своё грехопадение невольным, искренним, в каком-то смысле даже логичным?

Арендт эмигрировала в 1933 г. во Францию. Останься она на родине, её умертвили бы в газовой камере. Через много лет она посетила философа и его жену в Шварцвальде. После этого она приезжала к ним каждый год. Ханне Арендт принадлежит, между прочим, следующее загадочно-выспренное, в духе самого Хайдеггера, высказывание о прецепторе из Германии: «Буря, пронизывающая мысль Хайдеггера подобная тому ветру, который тысячелетия спустя веет на нас со страниц Платона, — эта буря родилась не в нынешнем веке. Она пришла из незапамятного прошлого, и то, что она оставила, есть нечто свершившееся и совершенное — то, что возвращается, как всё совершенное, к глубинам прошлого».

\*

В июле 1967 года Целан, приехав во Фрейбург, с некоторым удивлением увидел свои книги в витринах книжных лавок. На его выступление в Большой аудитории университета собралось больше тысячи человек, никогда ещё он не видел перед собой такую массу слушателей. В зале сидел Мартин Хайдеггер. Целан основательно знал философию Хайдеггера, ощущал магнетизм его мысли. Принадлежавший ему экземпляр «Бытия и времени» испещрён пометками. Помнил он и то, что произошло с Хайдеггером в 1933 году. Чего он не знал, так это то, что 78-летний философ обошёл заблаговременно книжные магазины города и попросил владельцев заказать и выставить сборники стихов Целана.

Их познакомили, кто-то предложил им сфотографироваться вдвоём. Целан отказался. Но Хайдеггер не обиделся. На другой день Целан отправился в гости к Хайдеггеру в Тодтнауберг, в уединённый домик в горном Шварцвальде, с видом на дальние развалины замка Церингов, владетельного рода, вымершего в XIII веке. О чём они беседовали, неизвестно. Памятником этой встречи остались одно стихотворение и запись в книге для посетителей: «В надежде на встречное слово...». Надеялся ли гость услышать сочувственный отклик? Или ждал, когда же, наконец, знаменитый философ произнесёт своё слово в осуждение Голокауста? Хайдеггер промолчал — и распрощался с Целаном.

Последние 15 лет своей жизни Целан не читал на своих выступлениях «Фугу смерти» (Todesfuge, 1946). То ли она казалась ему «зачитанной», слишком известной и зацитированной, то ли он не хотел поддерживать ставшее понемногу общим местом представление о нём как о поэте каббалистической темноты и неотвязных воспоминаний о лагерях смерти.

Чёрное молоко рассвета мы пьём его на ночь  
 пьём его в полдень и утром мы пьём его ночью  
 пьём и пьём  
 и роём могилу в воздушных пространствах где лежать не так тесно  
 некто живёт в своём доме играет со змеями пишет  
 пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита  
 пишет он и выходит из дому и звёзды сверкают свистит своим псам  
 евреям своим свистит пусть вылезают и роют могилу в земле  
 он отдаёт нам приказ и играет и приглашает плясать

Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью  
 пьём тебя утром и в полдень пьём тебя на ночь  
 пьём и пьём  
 некто живёт в своём доме тот кто играет со змеями тот кто пишет  
 пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита  
 твои пепельные волосы Суламифь  
 мы роём могилу в воздушных пространствах там лежать не так тесно  
 он кричит эй вы там глубже втыкайте лопату  
 а вы запевайте кричит и играет  
 выхватит нож из-за пояса машет ножом глаза у него голубые  
 глубже втыкайте лопату вы там и вы и снова играет чтоб дальше плясали

Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью  
 пьём тебя в полдень и утром пьём тебя на ночь  
 пьём и пьём  
 некто в доме живёт твои золотые волосы твои Маргарита  
 твои волосы ставшие пеплом Суламифь он играет со змеями

Он зовёт играет всё слаще смерть  
 смерть наставница из Германии  
 он зовёт  
 и водит по струнам смычком темнеет и дымом плывёте вы к небу  
 в могилу над облаками где лежать не так тесно

Чёрное молоко рассвета мы пьём тебя ночью  
 пьём тебя в полдень смерть педагог из Германии

пьём тебя ночью и утром и пьём и пьём  
смерть педагог из Германии мастер глаза у него голубые  
выстрелит пулей свинцовой в тебя наповал  
некто в доме живёт золотые волосы твои Маргарита  
псов натравил на нас подарил нам  
в воздушных пространствах могилу  
некто играет со змеями и грезит смерть педагог из Германии  
золотые волосы твои Маргарита  
твои пеплом одетые волосы Суламифь

Перевод, который я решаюсь здесь предложить, далеко не передаёт пронзительной силы, невыразимой тоски и музыкальной прелести этого стихотворения; попробуем всё же просто понять, о чём оно.

Как и у Мандельштама (чья слава в Германии основана в огромной степени на гениальных переводах Целана), мы встречаем здесь то, что принято называть смысловыми пучками. Активизировано множество смыслов, содержащихся в слове; каждая метафора многослойна и не просматривается до конца. Стихотворение — сложная система ассоциаций, допускающих всё новые и неожиданные толкования. Секрет в том, что в пространстве стиха имплицитно присутствуют все толкования; исчерпать их, однако, невозможно.

«Фуга смерти», с её распатанным синтаксисом (не зря она печатается без знаков препинания), бормочущей монотонной дикцией, с почти маниакальным повторением одних и тех же формул, в самом деле построена как фуга: голоса подхватывают одну и ту же музыкальную фразу.

Первый слой очевиден: речь идёт о лагере уничтожения, о заключённых, которых заставили рыть яму, куда на рассвете будут сброшены их трупы. Но, кажется, их ждёт другое: они будут сожжены в печах и невесомым дымом поднимутся в облачное небо. За этим кругом образов просматривается другой — воспоминания детства. Ребёнок пьёт на ночь молоко. Утром он сидит в классе на уроке музыки. Лагерь — это немецкая школа, обречённые на смерть евреи — ученики. (Воспитание — постоянная тема немецкой литературы.) Надзиратель-эсэсовец с кинжалом у пояса, пишущий по вечерам нежные письма невесте и играющий на скрипке, — это педагог, лагерь вдалбливает то, чему нигде больше нельзя научиться, смерть — учитель из Германии. Сквозь всю ткань стихотворения просвечивают два женских образа: золотоволосая Гретхен, согрешившая героиня Гёте и традиционный образ Германии, — и Суламифь, возлюбленная царя Соломона, девушка с пепельными волосами. Теперь она сама станет пеплом.

Настоящее имя Целана было Пауль Анчель-Тейтлер; он родился 23 ноября 1920 года в Черновцах, главном городе Буковины, которая до конца первой Мировой войны была коронной землёй австро-венгерской империи, затем отошла к Румынии, ныне входит в состав Украины. Как во всех еврейских семействах круга, к которому принадлежали родители Целана, его родным языком был немецкий. Вторым родным языком был румынский (Целан окончил в своём городе лицей имени великого князя Михая), кроме того, как всё образованное румынское общество, он говорил по-французски. Хорошо владел русским, знал английский, древнееврейский, позднее учился итальянскому и португальскому.

Целан решил стать врачом и отправился учиться во Францию. Летом 1939 г. он приехал на каникулы к родителям. В сентябре началась война, пришлось остаться в Черновцах. Он поступил в университет. Его интересы изменились: теперь он увлечён романской филологией. В июне следующего года в Буковину вступает Красная Армия, и на один год подданные румынского короля становятся советскими гражданами. Затем город оккупируют части вермахта и румынские войска. Седьмого июля 1941 года в город прибывает эсэсовское оперативное формирование — Einsatzgruppe D. Девушка по имени Рут Лакнер, подруга Целана, находит убежище для семьи — маленькую румынскую фабрику; хозяин готов помочь евреям, но родители Целана считают, что опасность преувеличена. Целан прибегает домой — матери и отца уже нет, они были отправлены в лагерь. Там они и погибли.

Самому Целану удалось бежать, правда, он угодил в румынский трудовой лагерь и находился там до февраля 1944 года. Осенью советские войска освобождают Буковину. 24-летний Целан снова записывается в университет, но в конце войны перебирается в Бухарест, затем уезжает в Вену и в конце концов, в сорок девятом году, поселяется в Париже. Здесь он женился на художнице Жизель Лестранж.

Целан писал стихи ещё в лицее. После войны его стихотворения, написанные по-немецки, стали появляться в печати; румынский поэт и критик Йон Карайон включил их в антологию современной лирики, вышедшую в Бухаресте после войны. Тогда и возник псевдоним «Целан» — анаграмма фамилии Анчель. Первый поэтический сборник вышел в свет в Вене в 1948 году. Книжка была издана плохо, впоследствии автор включил большую часть стихотворений цикла (в том числе «Фугу смерти») в сборник «Мак и память». Мак, из которого добывается опиум, — это символ забвения; память борется с жадой забвения. Вот отрывок из стихотворения «Марианна» (перевод В. Топорова):

Вдруг молния губы сведёт — приоткроется пропасть,  
где сломанной скрипки звучанье,  
и зубы, как пальцы к смычку, прикоснутся:  
прекрасный тростник, запой!

Любимая, ты ведь тростник,  
мы шумим над тобою, как ливни,  
вино бесподобное ты — и глубокими чашами пьём,  
челнок на полях твоё сердце, но выплывет в ночи  
кувшин синевы,  
ты склоняешься к нам: засыпаем...

В 50-е и 60-е годы Целан опубликовал ещё несколько сборников, среди них «От порога к порогу», «Решётка языка», «Роза ничья, никому», «Поворот дыхания», «Нити солнца», «Насильственный свет». Не легко перевести самые заголовки этих тонких книжечек. Подстрочники трёх коротеньких стихотворений могут дать представление о сложности адекватного переложения:

«На реках к северу от будущего / я забрасываю сеть, которую ты, / медя, отягощаешь / тенями, что написали камни».

«Не у моих губ ищи свои уста, / не за воротами — чужестранца, / не в глазах — слёзы. / Семью ночами выше странствует красное к красному, / семью сердцами глубже рука стучится в ворота, / семью розами позже журчит фонтан».

«Солнца из нитей / над серо-чёрной пустыней. / Мысль высотой / с дерево / перебирает звуки света: есть ещё / песни, чтобы петь / по ту сторону людей».

\*

Целан дожил до признания, хотя по-настоящему его значение осознано после его смерти. Он в том ряду, где Рильке, Блок, Мандельштам, Аполлинер, Т.С.Элиот. В 1960 году ему вручили бюхнеровскую премию, самую престижную литературную награду в Германии; он произнёс по этому поводу речь, ставшую знаменитой, — благодарный материал для академических словопрений. С годами язык Целана становился всё концентрированной, стихи всё лаконичней, их многосмысленная загадочность часто ставила читателей в тупик, музыка становилась семантикой, и можно сказать, что его поздняя поэзия уже почти недоступна для перевода на другой язык. В одном стихотворении из сборника «Sprachgitter» (возможный перевод: ограда языка, решётка языка) употреблено выражение *zwei Mundvoll Schweigen*. По аналогии

со словом Handvoll (горсть) образовано Mundvoll, «пригоршня рта». Две пригоршни молчания, два рта, полных молчания. Невозможно выразить полноту чувства заставляет влюблённых умолкнуть. Едва ли не центральная тема поэзии Пауля Целана — проблематичность поэтического высказывания. Так ставится под сомнение коронный тезис Хайдеггера: Язык — дом бытия.

Может быть, язык — это крематорий бытия?

Целан принадлежал к поколению самоубийц, тех, кто случайно не попал в лагерь или уцелел в лагере чудом, но так и не сумел уйти от смерти: как Примо Леви, как Тадеуш Боровский, как Жан Амери. Весной 1970 года автор «Фути смерти» бросился с парижского моста в Сену.

### Улица Аси Лацис: Беньямин

*Пер-Вандр, департамент Восточные Пиренеи. 25 сентября 1940 года... Хорошо помню, как я проснулась в каморке под крышей; кто-то стучал в дверь. Протираю глаза и вижу: на пороге стоит наш друг Беньямин, один из тех, кто подался в Марсель, когда немцы вторглись во Францию. Но как он здесь очутился? Милостивая государыня, произнёс он, извините, что потревожил вас. Ваш супруг сказал, что вы можете провести меня через границу...*

Лиза Фиттко (это отрывок из её записок), участница французского Спротивления и член организации спасения беженцев Emergency Rescue Committee, была свидетельницей последних дней Вальтера Беньямина, писателя, искусствоведа, философа, социолога, автора широко известных книг «Происхождение немецкой трагедии», «Берлинское детство около 1900 года», «Улица с односторонним движением», «Произведение искусства в век технического воспроизведения». Беньямин родился в Берлине в 1892 году, в марте тридцать третьего эмигрировал из Германии в Париж. Он числился в рядах левой интеллигенции, в двадцатых годах побывал в Москве, был евреем. Достаточно, чтобы стать врагом националсоциализма.

Между девятым и тринадцатым июня 1940 г., в дни, когда стало известно о капитуляции Франции, два миллиона беженцев устремляются на юг; вместе с этими толпами бредут пешком, едут на велосипедах по обочинам дорог, тащатся в крестьянских повозках, трясутся на попутных грузовиках немецкие эмигранты. В Марселе Беньямину удаётся получить в американском консульстве въездную визу в Соединённые Штаты. Тем временем марионеточное правительство маршала Петена в Виши подписывает договор о перемирии с Германией и обязуется вы-

дать эмигрантов немецким оккупационным властям; изгнанники больше не получают разрешений на выезд из страны. Попытки сесть на пароход в марсельском порту безуспешны. Единственный выход — бегство через Пиренеи, la route Lister, дорога, по которой полтора года тому назад пробирались в обратном направлении остатки разгромленных отрядов испанских республиканцев под началом генерала Листера. Десять дней назад этой же горной тропой в Испанию бежали Генрих Манн и его вторая жена Нелли, Голо Манн, Лион Фейхтвангер с женой Мартой, Франц Верфель с Альмой Верфель.

На Беньямина имеется досье во французской полиции, действующей по указаниям гестапо в неоккупированной части страны. Знакомые добывают Беньямину транзитную визу через Испанию. Доехать до Лиссабона, сесть на американский трансатлантический лайнер — и прощай Европа.

Беньямину 48 лет. Он страдает заболеванием сердца, у него одышка и отёчные ноги. Из Марселя ему удалось добраться до местечка Пор-Вандр, откуда, как говорили, до Испании рукой подать. На рассвете 26 сентября двинулись в путь: фрау Фитко, ещё одна женщина с сыном-подростком и Вальтер Беньямин.

Женщины и мальчик помогают нести тяжёлый портфель, единственное имущество Беньямина. В портфеле — рукопись, которая, как он объяснил, для него дороже жизни. Тропинка, едва заметная среди кустов и колючек, идёт непрерывно вверх, солнце стоит уже довольно высоко, на поляне устраивают привал. Беньямин лежит в траве. Немного погодя он объявляет, что дальше идти не в состоянии. Пусть женщины возвращаются, он останется здесь на ночь, а завтра, дождавшись их, с новыми силами двинется дальше.

На другой день поход продолжается. Беньямин более или менее благополучно переночевал в горах. Через девять часов пути миновали перевал. Пятнадцатилетний подросток и одна из спутниц почти волокут обессиленного Беньямина под гору, осталось совсем немного. Уже позади французская граница. Уже ничего не грозит. Далеко внизу, слева, видна сверкающая гладь моря — средиземноморский берег Спуск в долину занял два часа. Под вечер беглецы достигли испанского городка Пор-Бу.

Здесь их ожидала новость. *Мы жили в век Новых Указаний*, пишет Лиза Фиттко. Чиновник таможенной службы объяснил, что, согласно распоряжению из Мадрида, лица, не имеющие французской выездной визы, подлежат возврату во Францию. Женщины и мальчик отправляются в обратный путь. Беньямину разрешено переночевать в гостинице. В ночь на 27.IX он впрыснул себе смертельную дозу морфия. Портфель с рукописью — возможно, это было окончание большого труда «Париж, столица девятнадцатого века» — бесследно исчез.

...Portbou, железнодорожная станция, испанский приморский городок с французским названием. Гостиница «Francía». Памятник Беньямину и «всем изгнанникам всех войн» израильского скульптора Дани Каравана.

\*

*Я разрешил загадку человека с алфавитом!*

Таинственный продавец букв стоял с лотком у входа на Чистопрудный бульвар и, по-видимому, недурно зарабатывал. К вечеру весь русский алфавит был распродан. Неподалёку на скамейке сидел иностранец, клацая зубами от холода. На другой день продавец явился с новым товаром. Турист купил буквы «В» и «Б». Ася Лацис объяснила: плоские оловянные инициалы с лапками прикрепляются к внутренней стороне галош, чтобы в гостях не спутать свои галоши с чужими.

«Московский дневник» Вальтера Беньямина, опубликованный в Германии через сорок лет после гибели автора, охватывает два зимних месяца 1926–27 гг. Редкий литературный документ воспроизводит с такой свежестью и точностью дух и облик советской столицы тех лет. (Недавно дневник вышел в русском переводе).

По возвращении, в феврале 1927 г., Беньямин писал из Берлина другу, философу Мартину Буберу о том, что его пребывание в Москве продлилось дольше, чем он предполагал. «Этот город, каким он сейчас, в данный момент предстаёт, заключает в себе, говоря схематически, все возможности, прежде всего — возможность крушения революции и возможность её успеха. И в обоих случаях это будет нечто непредвиденное, нечто непохожее на все программы будущего...»

Его мучает холод, незнание языка и уклончивость Аси. Собственно, ради неё он и приехал. И такой же притягательной силой, как эта неуловимая, недостижимая женщина, обладает город, где завязываются узлы европейской истории и, может быть, решается его собственная судьба. Беньямину 32 года. В Берлине у него жена и ребёнок. Но эссе «Улица с односторонним движением» снабжено следующим посвящением: «Эта улица называется *улицей Аси Лацис...*»

Скользкие тротуары, по которым он бредёт в новых галошах, ежеминутно рискуя расквасить себе нос, обледенелые окна шаткого и гремучего трамвая. Мальчишка-беспризорник поёт в вагоне революционные песни, но никто ему не подаёт, «революция лишила нищих социальной опоры»: нет больше буржуа, подававших милостыню. Иней на ресницах у женщин, сосульки на бородах мужчин. Вывески: диковинная смесь греческих и латинских букв. На улицах, несмотря на лютый мороз, стоят торговцы горячими пирожками, яблоками, мандаринами в



бельевых корзинах, прикрытых одеялами, — счастливая пора избытка, НЭП. Повсюду лавчонки часовщиков — при весьма беспечном отношении русских к времени, которого у них всегда слишком много. Философ ест на улице пирожок, отламывает половинку нищему и решает гамлетовский вопрос: вступать или не вступать в коммунистическую партию?

\*

С актрисой Асей Лацис, «большевичкой из Риги», Беньямин познакомился несколько лет тому назад, вместе путешествовали по Испании и Италии. Осенью 1926 года Беньямин получил известие из Москвы от немецкого режиссёра Бернхарда Райха, ученика и последователя Мейерхольда, о том, что Ася больна: нервный кризис или что-то в этом роде. В своих воспоминаниях Ася Лацис пишет, что уже тогда иностранцу приехать в Советский Союз было не так просто. Беньямин добыл себе визу. Тем временем Ася почти поправилась, она находится в полусанаторном учреждении в районе Тверской. Изредка она приходит к Беньямину в гостиницу. Это странная любовь, которая по большей части выражается в идеологических спорах. В конце концов проект стать коммунистом отпадает, вернувшись из СССР, Беньямин уже не возвращается к этой мысли. Через десять лет Ася Лацис будет арестована, проведёт много лет в лагерях и ссылке, надолго переживёт Вальтера Беньямина.

Одна из дневниковых записей начинается словами: «День сплошных неудач». Он явился к Асе с подношением: билеты в Большой театр на балет «Ревизор» по Гоголю. Но Ася не любит балет, это буржуазное искусство. К тому же она занята. Они выходят вместе, сыро, холодно, мимо с грохотом проезжает трамвай, Ася вспрыгивает на площадку, Беньямин бежит за трамваем, напрасно. Она машет рукой и посылает ему воздушный поцелуй.

Накануне Нового года в десять утра Ася заходит за Вальтером, он должен сопровождать её к портнихе. Настроение смутное, разговаривают о пустяках, шёлковая блузка, подарок Беньямина, порвалась при попытке её надеть. За этим следуют другие упреки: зачем он впутывает Райха в их отношения. Не совсем понятно, идёт ли речь об идейных разногласиях или о чувствах, всё смешано в один клубок; впрочем, Ася относится к так называемым чувствам с нескрываемым презрением: любовь, ревность — всё это пережитки собственнического общества. Вечером спектакль «Даёшь Европу» в театре Мейерхольда. Против ожидания Ася приходит вовремя, на ней необыкновенный яркожёлтый платок, стянутый на груди. Гладкие чёрные волосы разделены пробором и собраны сзади в узел. В антракте они

выходят на лестницу, и Ася неожиданно обнимает Беньямина. Или это ему показалось? На самом деле она просто хочет поправить ему воротничок и галстук.

В половине двенадцатого выходят из театра, морозно, снег сверкает под фонарями. Оказывается, Беньямин даже не подумал, где они будут встречать Новый год. Печально и молча он плетётся следом за ней. Они останавливаются перед подъездом, и философ униженно просит эту загадочную женщину поцеловать его напоследок в старом году. Она отказывается. Он возвращается в свой отель, а там — Бернхард Райх с вином и закуской. Райх рад-радёшенек, что Беньямин не у Аси, Беньямин не скрывает радости от того, что Ася не ушла к Райху. И оба чокаются.

### **Когда боги ушли на покой: Маргерит Юрсенар**

Случилось так, что чемодан с бумагами Маргерит Юрсенар десять лет пролежал в гостинице Meurice в Лозанне. В 1939 году чемодан приплыл в Америку. Открыв его, писательница обнаружила пожелтевшие документы, письма забытых людей, старый хлам; всё полетело в огонь. Неожиданно ей попало несколько машинописных листков с обращением: «Дорогой Марк...» Это было начало записок Публия Элия Адриана, предназначенных для наследника — будущего императора и философа Марка Аврелия.

Впоследствии Юрсенар рассказывала, что находка вызволила её из длительного литературного кризиса, вернула к давнему замыслу романа о римском императоре Адриане. «Есть книги, — пишет она в „Заметках к Мемуарам Адриана“, — к которым нельзя приступать, покуда не перешагнёшь порог сорокалетия». В юности, посетив развалины летней резиденции Адриана в Тиволи, Юрсенар увлеклась идеей, осуществлённой тридцать лет спустя. «Мемуары» вышли в 1951 году. Книга сделала автора мировой знаменитостью, хотя и не принесла (чему не приходится удивляться) немедленного коммерческого успеха. Она существует в прекрасном русском переводе и недавно переиздана.

Столетие Маргерит Юрсенар было недавно отмечено множеством публикаций в разных странах; среди самых заметных — обстоятельная биография, написанная журналисткой и литературоведом Жозианой Савиньо (J. Savigneau. Marguerite Yourcenar. L'invention d'une vie. P. 2003). Юрсенар родилась в 1903 году в Брюсселе, её мать умерла через десять дней после родов, отец, французский дворянин, вернулся с девочкой на родину, не обременял дочь строгой опекой, зато приохотил к путешествиям. Маргарита-Антуанетта-Жанна-Мария Гислен де Креян-

кур получила домашнее образование и официально нигде больше не училась; это не помешало ей стать почётным доктором многих университетов. Свою обширную гуманитарную эрудицию она в большой мере приобрела самостоятельно. Восемнадцать лет опубликовала первую книжку. Псевдоним Юрсенар — анаграмма отцовской фамилии Crauencour.

Писательница вела кочевой образ жизни, наездами жила в Греции, Италии, Испании, повидала множество других стран, в том числе США и Канаду, путешествовала по Африке, по Индии; между прочим, побывала (в 1962 г.) в Ленинграде. Время от времени возвращалась в Париж, где жила в маленьких отелях. Вместе со спутницей жизни американкой Грейс Фрик поселилась в двухэтажном коттедже на острове Маунт-Дезерт в Северной Атлантике, у берегов штата Мэйн, провела там с перерывами почти сорок лет, до своей смерти в декабре 1987 года.

Когда весной 1980 г. Маргерит Юрсенар была избрана во Французскую академию, возникла проблема мундира; Юрсенар не хотела и слышать о традиционном *habit vert*, зелёном кафтане с золотым позументом, и брюках с лампасами — не говоря уже о шпаге. «В крайнем случае кинжал — чтобы было чем заколоться». Немолодая полная дама, первая женщина в синклите «бессмертных» за 350 лет существования Академии, явилась в зал заседаний в чёрном бархатном одеянии — длинной юбке, из-под которой выглядывали широкие штаны, и просторной блузе. Вместо треуголки — белая шаль, на отвороте блузы брошь в виде римской монеты времён Адриана. В этом виде она изображена и на юбилейной марке, выпущенной бельгийской почтой.

Маргерит Юрсенар писала романы, новеллы, воспоминания (одна из последних мемуарных книг называется «Что? Вечность»), путевые записки, эссе о современниках — Томасе Манне, Борхесе, Кавафисе, Юкио Мишима, — а также пьесы и стихи. Если бы понадобилось назвать десять крупнейших французских прозаиков XX века, она была бы в их числе. В современной ей литературе она осталась, как и положено крупному писателю, одиночкой. Это можно отнести и к ней самой, к её образу жизни, к её личности и судьбе: «*fille sans mère, femme sans enfant, amoureuse sans homme*» (дочь без матери, женщина без детей, возлюбленная без мужчины).

В «Заметках к “Мемуарам Адриана”» есть такое место:

«Я отыскала в письмах Флобера, в томике, который усердно читала в юности, незабываемую фразу: “Когда боги древности уже не существовали, а Христа ещё не было, в эпоху от Цицерона до Марка Аврелия, настал момент, когда человек остался один, предоставлен-

ный самому себе». Значительная часть моей жизни прошла в усилиях понять, а затем и описать этого человека, одинокого и вместе с тем прочно привязанного к миру».

Кесарь Адриан — римлянин II века, но это и европеец наших дней, современник Юрсенар и сама Юрсенар. Роман, как бы написанный (по замечанию одного критика) на серебряной латыни эпохи последнего цветения римской литературы, — вместе с тем и блестящий образец французской традиции: ясность, логика, благородная сдержанность, дисциплина. Можно заметить, что наиболее выпуклые, самые удавшиеся персонажи писательницы — отнюдь не женщины. Вот уж о ком не скажешь — дамская проза. Это относится не только к «Мемуарам Адриана», где абсолютное доминирование мужчины — черта эпохи и необходимое условие литературной игры. Начиная с героя первого романа «Алексис, или трактат о поражении» (другой перевод — «Алексис, или рассуждение о тщетной борьбе», драма любовного треугольника, где между влюблёнными мужчинами вклинивается женщина), до врача Зенона в романе «Философский камень» и старого художника Ван Фо из «Восточных рассказов» мужчины стоят в центре повествования. Женщины у Юрсенар почти всегда пассивны и обычно оказываются на второстепенных ролях. Ещё одна черта: на первый взгляд, её не интересует (если говорить о художественной прозе) наше время. На первый взгляд.

Первый вариант повествования об Адриане, роман «Антиной» (1926), написанный в форме диалога, был отвергнут издателем Фаскелем и уничтожен. После истории с чемоданом жизнь сосредоточилась вокруг Адриана и Рах Романа второго века. Проза требует выдержки, дисциплины и долголетия. Прозу не лепят — её высекают. В окончательной версии «Мемуаров» от наброска, прибывшего из Америки, осталась только вступительная фраза, обращение к адресату записок.

Некоторые высказывания Юрсенар, как и её архив, дают известное представление об её работе над романом. Нагромождение черновигов. Умопомрачительное количество источников. Многостраничные записки по-гречески (здесь можно вспомнить, что труд Марка Аврелия «К самому себе» написан не по-латыни, а по-гречески). Вместе с тем она заявляет, что не любит кабинетной работы, пишет где угодно: в путешествиях, в гостиницах. Ей нередко приходится убеждаться, что задуманная книга лишь «одной ногой» стоит на эрудиции: вторая нога — магия. «Мне кажется, у большинства людей ложное представление об учёности писателя. Французы думают, что ты с утра до вечера роешься в книгах, наподобие книжных червей Анатоля Франса. Это не так. Если любишь жизнь во всех её, так сказать формах, всё равно каких,

современных или минувших, — не помню, что из греческих авторов говорит, что преимущество прошлого перед настоящим состоит в том, что прошлое обширно, а настоящее мимолётно, — а я, между прочим, прочитала всю древнегреческую литературу, — так вот, это нормально, когда тебе приходится много читать...» (Письмо к Габриэль Жермен от 11 января 1970 г.).

Удивительное дело: её проза, давно ставшая классической, выглядит весьма актуальной на фоне сегодняшних литературных дебатов. Например, стало общим местом утверждение, будто в наше время особенно возросла популярность литературы факта и документа, тогда как интерес к «выдуманной литературе», fiction, угасает. Роман по-своему отвечает на тенденцию вытеснить художественную фантазию фактологией: он выворачивает это противопоставление наизнанку. Роман имитирует человеческие документы — письма, дневники, записки, — и они оказываются убедительней всякого подлинника. Это, конечно, не совсем ново; эпистолярный роман — излюбленный жанр XVIII столетия, достаточно вспомнить две самых знаменитых книги: «Опасные связи» Шодерло де Лакло и гётевского «Вертера». Два других (и более демонстративных) примера относятся к только что ушедшему веку. Это роман Т. Уайлдера «Мартовские иды», в котором все «документы», за исключением стихов Катуллы, — изобретение автора, и, конечно, «Мемуары Адриана», главная и наиболее известная книга Маргерит Юрсенар. Адриан, приёмный сын Траяна и римский император со 117 по 138 год, увековечил себя множеством сооружений, был инициатором кодификации права, покровителем искусств и литературы, но оставил лишь незначительное число личных документов и уж во всяком случае никаких воспоминаний не писал.

Далее, вы можете услышать сегодня вновь оживший девиз «показывать, а не рассказывать», рассуждения о преимуществах прозы, непосредственно воспроизводящей живую жизнь, перед романами, в которых действительность более или менее поставлена под сомнение, опосредована рефлексией и т.п. Наследие автора, о котором идёт речь, обесценивает и этот тезис. Наконец, снова и снова, на протяжении теперь уже полувека, нас уверяют, что граница между серьёзной и тривиальной литературой отменена. И снова рафинированная проза Юрсенар смеётся над этой чушью.

МИФ РОССИЯ



## Град Китеж

*Беседа журналиста Дмитрия Попова с автором.*

*Мюнхен, март 2010*

**Д.П.** В 2011 году появлению Вашей книги «Миф Россия» на русском языке исполняется четверть века. Книга была написана вскоре после приезда и вольно или невольно подвела итоги Вашей жизни в России.

**Б.Х.** Я приехал в Германию в августе 1982 г. как политический эмигрант и был уже немолод, за 50. В Москве участвовал в диссидентском движении главным образом своими писаниями. Переводил разные тексты для Самиздата, был автором и сотрудником основанного А.Воронелем и В.Яхотом машинописного сборника «Евреи в СССР». Под редакцией поэта и эссеиста Ильи Рубина сборник превратился в журнал, довольно толстый, 400–500 страниц, отпечатанных тесным шрифтом на папиросной бумаге. Тираж немалый — до 20 экземпляров. Журнал просуществовал больше пяти лет и был разгромлен. Редакторы один за другим покидали страну. Прокуратура, фактически — филиал Комитета госбезопасности, затеяла судебное дело о нелегальном журнале, последний редактор был арестован, то же ожидало и меня. Я оказался перед выбором: либо арест, либо эмиграция.

**Д.П.** Чем была для вас Германия в те годы?

**Б.Х.** Не вовсе чужая страна: я знал язык, вся моя юность прошла под знаком немецкой поэзии, музыки, философии. Все же Германия оставалась для меня некой платоновской идеей, а тут я оказался в реальной стране, о которой имел довольно смутное представление.

**Д.П.** Ваше сотрудничество с мюнхенским журналом «Меркур» началось в первые же месяцы после приезда в Германию.

**Б.Х.** Основанный после войны «немецкий журнал европейской мысли» (этот подзаголовок по сей день украшает титульный лист) выходил сравнительно небольшим тиражом, публиковал именитых авторов и пользовался популярностью в академических кругах. Я напечатал там несколько этюдов на российские темы. Первый был посвящен феномену русской интеллигенции. Одно из последующих эссе я озаглавил «Миф Россия». Эти публикации были замечены, ко мне обратилось из-



дательство Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung с предложением написать книгу. Это скромное некоммерческое предприятие в Майнце существует со времен Гете. Моя первая в Германии книжка предназначалась, таким образом, для немецкого читателя, понадобилось пояснять кое-что малознакомое этой аудитории, например, кто такие были Радищев, Чаадаев, Хомяков.

Несколько позже «Миф Россия» вышел в Нью-Йорке на русском языке, с подзаголовком «Опыт романтической политологии». Мне хотелось подчеркнуть, что автор не является профессионалом. Обложку книги, коллаж из символов царской и советской власти, создал известный художник и остроумец, ныне покойный Вагрич Бахчанян.

**Д.П.** Серп и молот на шапке Мономаха — пожалуй, это выглядело провокацией. Идея была Вашей?

**Б.Х.** Нет. Я не сторонник плакатных решений и предпочел бы что-нибудь не столь однозначное. На обложке немецкого издания изображен пейзаж — старинная деревенская Россия. Ничего против бахчаняновской обложки я, впрочем, не имел.

**Д.П.** Как была воспринята книга?

**Б.Х.** Реакция на русское издание оказалась неожиданно громкой и разительно отличалась от отзывов немецкой прессы. В Германии отнеслись ко мне благосклонно. Для многих немцев открытием, как я заметил, стал один из побочных тезисов книги — о том, что лагерная система в СССР, особенно в послевоенное время, едва ли не в первую очередь преследовала экономические цели: советская экономика не могла обойтись без системы принудительного труда. Большинство привыкло видеть в советских лагерях только инструмент террора и подавления. По-другому откликнулась печать русского Зарубежья. В тогдашней эмиграции тон задавали патриотические силы. Как и могокане Первой волны, они уверяли себя и других, что советская власть есть нечто чужеродное, принципиально нерусское, дело рук инородцев, зараза, занесенная с Запада. Их раздражало утверждение, что советская эпоха — продолжение русской истории, что современная Россия — это Советский Союз и никакой другой реально не существует. Реакция на мою книжку в этих кругах была резко отрицательной, я был объявлен русофобом. Подразумевалось, что еврей и не может быть иным. Особое раздражение, между прочим, вызвала процитированная мною фраза, которую приписывают Хаиму Бялику, одному из великих поэтов века, писавшему по-древнееврейски: покидая страну в 1921 году, он будто бы сказал, отвечая на вопрос, что происходит в России: «Боров перевернулся на другой бок». Решили, что я присоединяюсь к этому шокирующему сравнению.

Напомню Вам, кстати, что Алексею Толстому, чья преданность России не требует доказательств, принадлежит высказывание, пожалуй, еще более живописное: «Широкий русский зад, веками подпиравший Европу, зашатался».

**Д.П.** Переиздавая книгу четверть века спустя, Вы решили ничего не менять, оставить все в том виде, как это было написано тогда...

**Б.Х.** Кое-какие мелочи я все-таки подправил, нельзя же в 2010 году говорить: «сегодняшняя Россия», подразумевая СССР. Но, в общем, Вы правы. «Еже писах, писах». О Советском Союзе в книжке говорится в настоящем времени.

**Д.П.** Что для Вас «Миф Россия» сегодня? Памятник той эпохе или не потерявший своей актуальности диагноз?

**Б.Х.** Если бы я воспринимал книгу лишь как памятник, то не стал бы ее переиздавать. Однако всерьез ответить на этот вопрос предстоит не мне.

**Д.П.** Вы как-то рассказывали, что названия Ваших книг рождаются за своего рода пасьянсом: выписывая ключевые слова, Вы в конце концов находите подходящую формулу. Так же обстояло дело и в тот раз?

**Б.Х.** Нет. Как я уже сказал, «Mythos Rußland» — заголовок одной из моих статей в «Меркуре». Надо сказать, что для русского уха это словосочетание звучало непривычно. Проще было бы сказать: «Миф о России» или, сохранив именительный падеж, поставить второе слово в кавычки, как будто это название мифа. Я имел в виду другое, то, чем была в моём сознании Россия: огромное сказание. Страна-эпос, страна-миф, где историческое время преобразилось в мифическое. Мне хотелось дать почувствовать, что я не политолог, не историк и не публицист, но всего лишь писатель.

**Д.П.** Недаром вы поминаете град Китеж...

**Б.Х.** Легенда о невидимом граде Китеже, упомянутая в «Китежском летописце» XVIII века, — сюжет оперы Римского-Корсакова, — обладает гипнотическим обаянием; для меня же она всегда играла особую роль. Унжлаг (Унженский исправительно-трудовой лагерь, ИТЛ «АЛ»), в котором я провел годы юности, был расположен в тех краях, где некогда скрывались старообрядцы, и занимал территорию, сопоставимую с небольшим европейским государством. Глухая, болотная, таёжная Русь, Северо-восток европейской части страны. Лагерь представлял собой сеть обособленных лагунктов — как сыпь на теле — и насчитывал, по некоторым сведениям, 70 тысяч заключенных. Основной профиль — лесоповал. Лагерь вгрызался в тайгу, оставляя за собой обширные выжженные пустоши. Пример экстенсивной советской экономики. Сравнительно недалеко от наших мест находилось легендарное озеро Свет-

лояр. На его берегах стоял Китеж. Блуждая в поисках поживы, татары добрались до озера, но никакого города не нашли: чудесным образом Китеж опустился в воды Светлояра. В тихую погоду можно услышать доносящийся со дна колокольный звон, различить в воде золотые макówki церквей... У меня есть повесть «Светлояр», где волшебное озеро становится символом побега, спасения из бесчеловечного мира. Вообще же Китеж кажется мне одним из главных национальных мифов — тех, что должны были дарить русскому человеку надежду и утешение в самые трагические времена.

**Д.П.** Вот уже почти тридцать лет Вы живете в Мюнхене. И всё же до сих пор ваши основные вещи посвящены России, а не Германии.

**Б.Х.** Это не должно удивлять. Память детства и юности всегда была едва ли не главным источником творчества — примеров сколько угодно и в русской, и в иностранной литературе. Воспоминания ценнее непосредственных впечатлений, которые могут быть материалом публицистики, но не литературы. Писательство кормится памятью и фантазией. Даже если бы я остался на родине, что трудно себе представить, — я бы там давно уже протянул ноги, — мне и в России легче было бы писать не о том, что происходит за окнами, а о прошлом. И ещё одно: сочинять художественную прозу можно лишь о стране, где ты вырос. Её можно измыслить, придумать заново. Но опорой будет реальное знание. Нужно видеть микроструктуру жизни, разбираться в нюансах, понимать не только то, о чем говорят, но и то, о чем умалчивают. Я до мельчайших подробностей помню свое детство и все дальнейшее. Лишь обладая точным знанием, можно свободно распоряжаться этим писательским сырьём, позволить себе фантазировать. Конечно, я привык жить в Германии, привык к западному образу жизни. Подчас мне начинает казаться, что я лучше понимаю людей этой страны, чем нынешних россиян. И все-таки не могу сказать, что вполне натурализовался. Я остался тем, кем был.

**Д.П.** В предисловии к первому изданию автор говорит, что не вернется в Россию.

**Б.Х.** Вы ожидали другого? Уезжая, я знал: навсегда. Уже потому, что, рискуя я вернуться, меня немедленно бы арестовали. Чувство, владевшее мной перед отъездом, было таково, что не только жить, — дышать в этой стране невозможно, и надо бежать: куда угодно, лишь бы вон. Власти, должностные лица, конкретные исполнители делали всё возможное, чтобы отбить у отъезжающих последние сожаления о покинутом доме. И даже когда наступили новые времена, когда открылись границы и многие стали ездить в Россию, я долгое время не мог решиться. Я уже об этом писал: я отравленный человек. Моё пухлое «дело» с грифом *XV*, «хранить вечно», по сей день ждёт своего часа в архи-

вах славного ведомства. Лишь после того, как я стал гражданином Федеративной республики, за которого, случись что-нибудь, всегда заступится немецкий консул, я отважился совершить своё первое паломничество — через одиннадцать лет после бегства.

**Д.П.** Помните ли Вы впечатления от первого визита?

**Б.Х.** Отчасти я их описал. В аэропорту повсюду стояли вооружённые солдаты с расстегнутыми гимнастёрками, под которыми виднелись полосатые тельняшки. Вы знаете, что тельняшка в России — форменная одежда блатарей. Стоя в очереди перед паспортным контролем, я слышал новый русский язык, смесь матерной ругани с модными американизмами. Было ощущение, что, хоть и понимаешь слова по отдельности, но о чем идёт речь, непонятно. В окошечке за стеклом сидела дама в погонах, с недобрými лицом, и когда она изучала мой иностранный паспорт и визу, переводила взгляд с фотографии на мою оробелую физиономию, то казалось, что сейчас контролёрша поднимет телефонную трубку, скажет два слова, появится милиционер и сунет твой паспорт в нагрудный карман. И ты услышишь знакомое: «Пройдёмте!»

**Д.П.** А я помню, что когда Вы в тот раз вернулись из России, впечатления были не столь мрачными. «Это великий город!» — сказали вы...

**Б.Х.** Москва, конечно же, великий город. Слово «великий» многозначно. Москва 1993 года поражала масштабами нищеты и упадка. У меня до сих пор перед глазами глубокие колеи на уличном асфальте. С тех пор столица преобразилась. Последние два раза я приезжал в 2009 г. в связи с присуждением литературных премий. Я всегда думал, что для того, чтобы о нас вспомнили, — если вообще вспомнят, — нужно умереть. Оказалось, что это не совсем так. Что касается новой Москвы, там нет больше бросающейся в глаза нищеты, нет голода и разрухи. Перемены огромны. Но я слишком от многого отвык. Чудовищная теснота, сверхконцентрация выхлопных газов, наконец, какая-то общая варваризация населения. Похоже, что город стал попросту непригоден для жизни.

**Д.П.** Это город вашего детства.

**Б.Х.** Его больше нет. Я родился в Ленинграде, но с двухлетнего возраста жил в Москве у Красных Ворот. Я отлично помню цвета и запахи моей Москвы, наш тихий — в сравнении с тем, что делается сейчас, — переулок, помню двор, нищих, рывшихся в мусорном ящике, гадалок, точильщиков, музыкантов, которым бросали из окон завернутые в бумажку пятаки. К весне во дворе, который сейчас кажется таким тесным, накапливалась гора снега, рабочие топили дровами агрегат, называемый снеготаялкой, и грязные, сверкающие на солнце ручьи бежали из подворотни на улицу. В магазине хозяйки покупали 150 грамм чайной колбасы, 100 грамм масла — из экономии, но и оттого, что не суще-

ствовало домашних холодильников. В тесной коммунальной кухне женщины стирали в корытах бельё, стояли возле керосинок. Мой сын однажды спросил меня, что такое примус. Эту Москву я описывал в своих произведениях не раз, она погрузилась в пучину прошлого.

**Д.П.** Вы описывали град Китеж.

**Б.Х.** *пожимает плечами.*

## **Миф Россия: опыт романтической политологии**

### ***Вместо пролога. Неотправленное письмо***

*Сон, который не истолкован,  
подобен письму, которое не прочли.*

Талмуд

Перед рассветом я вижу одно и то же: большой серый город. Улицы блестят от дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, автобус подходит, расплескивая лужи, люди висят на подножках, и я среди них. Все как прежде. Я дома. Нужно куда-то поехать, кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить, что я вернулся. Нужно привести в порядок бумаги, которые остались в комнате. Я мечусь по городу. Дела идут все хуже. За мной следят, ходят за мной по пятам. Ради этого мне и разрешили приехать: чтобы собрать недостающие материалы по моему делу. Я чувствую, что подвожу людей, а люди думают, что подводят меня,

В эту минуту я начинаю просыпаться и вспоминаю, что я неуязвим. Как я мог об этом забыть? Сон продолжается, но я уже ни о чем не беспокоюсь. Никто об этом не подозревает, но я-то знаю, что в кармане у меня иностранный паспорт. Это такое же чувство, как будто в вагон вошли с двух сторон контролеры — а у меня в кармане билет! И никто со мной ничего не сделает. Можно даже поиграть, притвориться, что потерял билет, увидеть жадный блеск в глазах у хищника. И медленно, не спеша, растягивая удовольствие, вынуть синюю книжку с черным орлом. Счастливо оставаться! Я больше не гражданин этой страны. Хоть я и приехал домой, в Москву, никакого дома у меня, слава Богу, нет.

Если правда, что сны представляют собой некие послания, то это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я отклоняю все приглашения в будущее. Сны ничего не пророчат. Нет, такой сон, если уж пытаться его разгадать, скорее предупреждает о том, что притаившаяся на дне сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Но ведь, как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден.

Да еще с каких пор. Откровенно говоря, я всегда был плохим патриотом. С юности томил меня тоскливый зов внутренностей, почти физиологический позыв: уехать. Точно мой костный мозг стонал по какому-то другому, экзотическому солнцу. Блудливая музыка юга, гитары и мандолины будили во мне какую-то злую тоску, *taedium patriae*<sup>1</sup> — так можно было бы ее назвать. Не то чтобы я стремился в какую-то определенную страну, нет, я совсем не хотел сменить родину. Я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в стране, где патриотизм был какой-то бессрочной пожизненной повинностью, в государстве, к которому я был привязан десятками нитей, веревок, цепей и цепич. Много лет, всю жизнь, меня не оставляло сознание несчастья, которое случилось со мной, со всеми нами и последствия которого исправить уже невозможно; несчастье это заключалось в том, что мы родились в России. Где же надо было родиться? Ответ выглядел нелепо, но это был единственный ответ: *нигде*. То есть все равно где, но только не тут.

И вот странным образом эта греза начала сбываться. С опозданием на целую жизнь и примерно так, как сбылось желание получить сто фунтов стерлингов, заказанное обезьянней лапе в известном рассказе; но все-таки. Как-то незаметно одно обстоятельство стало цепляться за другое, внутренние причины приняли вид внешних и «объективных», появился человек, потом другой, потом оказалось, что все мы стоим, держась друг за друга, над обрывом; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось, но уже земля начала осыпаться, покатались камни. Наконец, обезьянья лапа, высунувшись из мундира, дала знак — и это произошло. Случилось истинное чудо. И дивное, ласкающее слух слово: *staatenlos*, бесподанный, стоит теперь в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких штанин. Это, если хотите, паспорт, удостоверяющий, что владелец его не должен предъявлять никаких паспортов, никому ничем не обязан и никакому государству больше не принадлежит. Читайте, завидуйте. Хорошо стать чужим. Восхитительно — быть ничьим.

Неизвестно, конечно, защитил бы меня такой паспорт в нашей бывшей стране, но в конце концов дело не в этом. В моем сне была только одна абсолют но фантастическая деталь: возвращение. И в этом вся суть. В конце концов мало ли здесь, рядом с нами, людей, покинувших родину? Что значит быть эмигрантом? В Тюбингене какой-то старик в автобусе спросил меня: откуда я? И, услышав мой ответ, сочувственно вздохнул. «Мой сын тоже эмигрировал». — «Куда?» — спросил я. «В Мюнхен, туда же, куда и вы».

---

<sup>1</sup> отвращение к родине (*лат.*).

Быть может, субъективно разница в самом деле была не так уж велика. В детстве, уехав из Москвы в Сокольники, я был несчастнее всех эмигрантов на свете. И все же, говоря по справедливости, разница между нами не сводилась к тому, что беженец из Вюртемберга, покинув родные пенаты, провел в вагоне два часа, а вашему слуге пришлось покрыть расстояние в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не надо было переучиваться, привыкать к чужой речи, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, тогда как я был похож на человека, который продал имение, с кулем денег приехал в другую страну — а там они стоят не больше, чем бумага для сортира, и это же относится ко всей поклаже; весь опыт жизни бесполезен; все, что накоплено за пятьдесят лет, чем гордились и утешались, все это, словно вышедшее из моды тряпье, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, главная разница все-таки состояла не в этом, а в том, что в отличие от швабского изгнанника я ни при каких обстоятельствах не мог вернуться.

Никогда? — спрашивают немцы. Разумеется, никогда. Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день. Должно быть, такая же погода стоит теперь и у вас. Даже число на календаре то же самое. Странно звучат эти слова: «У вас... В ваших краях...». Смена местоимений — вот к чему свелся опыт этих трех лет, итог смены мест и «имений». В здешних краях Россию могут напомнить лишь пожелтевшие поляны, с которых местные труженики полей уже успели убрать злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было, никакого бегства, а просто ночью во сне меня перенесли бы сюда: догадался бы я, что кругом другая страна? По каким признакам? Опушка леса ничем не отличается от тамошних. Та же трава, такая же крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины слезки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором составлен текст. Многие буквы совпадают. Из букв складываются слова, вернее, то, что должно быть словами. Ибо смысла не получается. Это другой язык. И как только начинаешь это понимать, как только спохватываешься, все меняется, и даже знакомые буквы становятся чужими. Ибо они принадлежат к другому алфавиту. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть иначе, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь иной. Слово у старика, который бредет навстречу, разговаривая с собакой, иначе устроено горло. Все то же, и все другое. И слава Богу.

Мы не уехали, как уезжают нормальные люди, — пожав руку друзьям, обещая приезжать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то же, выпустили. Выпустили! Вот слово, вошедшее в обиходный язык, обозначив нечто само собой разумею-

щесся, слово, которое не требует пояснений. Выпускают из клетки, из тюрьмы. В отличие от беглецов 1920 года, от беженцев из Германии тридцатых годов, мы были счастливыми эмигрантами. В Израиль, в Америку, в Европу, в Австралию — какая разница? Мы уезжали не на чужбину, а на свободу. Или думали, что едем не на чужбину, а на свободу. Heimweh, beter dan Holland, как сказал какой-то соотечественник Мультиатули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Лучше поддохнуть от тоски по родине, чем поддохнуть на этой родине.

Родина и свобода — две вещи несовместные. Прыгнуть в лодку, оттолкнуться... и будьте здоровы. Однако эта метафора, как всякая метафора, коварна. Она соблазняет возможностью обойтись без рассуждений, а на самом деле узурпирует мысль. Она навязывает говорящему собственную логику и договаривает до конца то, чего он вроде бы не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный берег: отеческую сушу. «Ага, — скажете вы, — тут-то он и выдал себя». В таком случае считайте, что вы получили еще одно послание от Улисса, снедаемого тоской. В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со Сциллой и Харибдой. К Рождеству придет поздравление с почтовой маркой «Аид». Только в отличие от прославленного скитальца он на свою Итаку из этого Аида не вернется.

Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего нас социализма, мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. Нет и не может быть никакой русской словесности за рубежом, мы — призраки. Нас сконструировали «спецслужбы». Нас выдумала буржуазная пропаганда. С нами случилось то же, что когда-то происходило с арестованными, увезенными ночью в черных автомобилях, расстрелянными в подвалах, бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нег, но и никогда не было. Кто такой Икс? — не было никакого икса, такой буквы в алфавите не существует. А значит, и все слова, все вывески, все фразы, где затесалась эта буква, подлежат исправлению. Меня не существовало, поэтому все, что я написал, изъято из библиотек, все, что я сделал, никогда не делалось, больные, которых я лечил, вылечены не мною, люди, которых поселили в моей квартире, в той самой квартире, где когда-то мы с вами сидели и философствовали о жизни и смерти, — люди эти понятия не имеют о том, кто тут жил до них. Это даже не политика, это логика. Всякое упоминание о нас недопустимо по той простой причине, что нас не было. Мы, так сказать, ликвидированы дважды. Выбрав свободу, мы изменили родине, — это логично, приходится выбирать что-нибудь одно; но наказывать нас за измену невозможно, так как нас не было. Невозможно и бессмысленно обсуждать какие бы то ни было проблемы, касающиеся эмигрантов. Ибо нас попросту нет, не могло быть, и не было.



Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором еще не забыли, хотя никогда уже не думают в настоящем времени. Пока что я обосновался в имперфекте, завтра уеду еще дальше — в плюсквамперфект. Чего доброго, превращусь в тень отца Гамлета, буду являться по ночам и рассказывать вам о том, что было в давно прошедшие времена, когда славный король Клавдий еще не сидел на троне.

Но если в самом деле существует потусторонний мир, его обитатели, надо думать, считают потусторонней нашу, земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о вас как о мертвых. Нет, я не хочу сказать, что для вас все кончено. Солдат, раненный в бою, думает, что проиграно все сражение; эту фразу Толстого не мешало бы помнить оказавшимся по ту сторону холма, всем, кто утешает себя мыслью, что все честное и талантливое в стране или упрятано за решетку, или — уже не в стране. Но что верно, то верно: отсюда Россия представляется загробным царством, в котором остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость времени — величина, которую когда-нибудь научатся измерять с помощью приборов, — во много раз выше, чем в Европе.

Словно на какой-нибудь бесконечно далекой обледенелой планете там тянется один бесконечный год, пока здесь, на теплом и влажном Западе, несутся времена, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение, может быть, и заключает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее возможности дальнейшего развития, государство с ампутированным будущим, — почему оно все еще существует, продолжает существовать, не желая меняться, делая вид, что ничего не случилось, уверенное, что впереди у него — тысячелетнее царство. Потому что перемены, которые можно было бы заметить на расстоянии невооруженным глазом, для него губельны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла ноги быстрее? Ничто не дает права на это надеяться. Ничто не заставляет этого опасаться. Перемены происходят, но так медленно, что мы с вами не доживем до их результатов. И слава Богу.

Что же делать? Бесспокойно, эмиграция — это капитуляция. Мы не в изгнании, мы в послании... всё это глупости. Никакого реального «мы» русская эмиграция, — толпа вольноотпущенников, разбежавшихся по свету, которую объединяет лишь чувство потери, великий неповоротливый язык, привезенный с собой, как куль, с которым некуда деться, да кошмар возвращения, — никакого «мы» эта эмиграция не представляет.

Представлять можно только самого себя, быть самим собой. Тогда и вы не умерли, и мы не побеждены. Обнимаю вас...

## *Ландшафт с барской усадьбой*

Вот экспозиция: похожая на реку из грязи дорога и кузов застрявшего грузовика. Кругом поля, заросшие диким бурьяном. О, Господи. Вот когда проклянешь судьбу. Вылезшему из кабины горожанину кажется, что он попал на край света. Из-за горбатого косогора, на который так и не удалось взобраться, выглядывает деревня, полтора десятка прохуdivшихся и кое-как залатанных крыш. На плешивом лугу, точно павший конь князя Олега, разлагается какой-то землеобрабатывающий механизм. И все это кашеево царство затянуто паутиной дождя.

Осмотревшись, обжившись, можно заметить признаки кое-какой экономической деятельности, а если вам случится побывать в расположенном неподалеку, километрах в восьмидесяти, районном центре, вы найдете там сложную иерархию учреждений, задача которых — направлять и контролировать эту деятельность. Но контраст между сельскохозяйственной бюрократией и самим хозяйством, между невероятно разбухшим руководством и жалким обликом того, чем руководят, лишь стущает впечатление призрачного существования, какой-то непоправимой катастрофы, постигшей весь этот край.

Словно настоящая жизнь идет где-то далеко. Люди живут как бы в щелях огромного государства, которому нет до них никакого дела. Такой щелью стала русская деревня.

Однажды, бродя по полям, заезжий гость, ибо кому же еще могут прийти в голову подобные мысли, спускается в лощину, по упавшему дереву храбро перебирается через тихую речку и попадает в другой век. Два ряда древних полузасохших лип, аллея, заросшая травой, и вдалеке белеет дом с колоннами. Этот дом пуст. Колонны осыпались, обнажился кирпич. За домом, призвав на помощь воображение, можно обнаружить остатки дворянского парка, где гуляет привидение — барышня в соломенной шляпе, в белом платье, с книжкой в руках. Перед вами памятник погибшей цивилизации. Здесь обитало исчезнувшее племя — в этих поместьях, близ этих рек.

Одного бывшего монархиста и белогвардейца, приехавшего на родину через много лет после того, как он ее покинул, спросили, похожа ли нынешняя Россия на ту, которую он знал? Что здесь напоминает ему прошлое? Он ответил: «Только снег», Однако вовсе не обязательно родиться до революции, чтобы испытать шок при виде того, что когда-то называлось Россией. И было бы трудно ответить на вопрос, в какую сторону вращались стрелки часов в отчем доме, пока скитавшийся по чужим краям блудный сын не надумал вернуться. Во всяком случае, это были какие-то совсем необычные часы.

Русский революционер Николай Морозов, сын помещика и крестьянки, член Исполнительного комитета террористической организации «Народная воля», просидевший в конце прошлого века в одиночной камере двадцать пять лет, занимался там хронологией и толкованием Апокалипсиса с астрономической точки зрения и пришел к выводу, что античного мира не существовало. Памятники эллинской и римской литературы сочинены учеными монахами в средние века. Даты европейской истории должны быть пересмотрены. Что-то похожее, что-то напоминающее новеллу Борхеса «Uqbar», где рассказывается о культуре и письменности никогда не существовавшего народа, — его изобрели ученые, — приходит на ум, когда оглядываешься на золотой век русской культуры. Кажется, что вся она придумана, сочинена кем-то посторонним, и невозможно поверить, что ее творцы жили здесь, на этой бездыханной земле.

Параметр, который мы могли бы определить как плотность истории на единицу географии, здесь много меньше, чем на Западе. Русская история напоминает русский пейзаж; если природа повсюду стремится растворить в себе историю, то в России ей удалось это больше, чем в какой-либо другой европейской стране. По привычке мы оглядываемся на Европу, сравниваем себя с ней и считаем себя тоже Европой; но стоит только миновать клеверные поля и болота Польши, как привычное для европейца разнообразие путевых картин прекращается, словно вы очутились в мире с другой метрикой; поезд все так же неутомимо стучит колесами, но движение замедлилось; вы чувствуете, что эта страна начинает вас засасывать. Безбрежная плоская даль почти без всяких естественных препятствий простирается до Урала (за которым начинается новая даль) и внушает чувство покоя, освобождает от времени. Века плывут над ней, как тучи. История пронеслась, как татарская конница, и пропала в пыли. Кого только не видала дорога, по которой влачили вы, кляня все на свете, — и что же? Русская равнина поглотила энергию завоевателей, и татары повернули коней у самых рубежей Западной Европы. Поляки, а за ними французы завязли на грязных дорогах, заблудились в лесах. Немцы утонули в снегу. Все миновало, не оставив, кажется, и следов.

Традиционная периодизация истории с трудом приложима к России. Эта страна не знала Ренессанса и Реформации, не знала буржуазной революции, переход от средневековья к Новому времени растянулся на много столетий, в каком-то смысле не завершен до сих пор, психология и уклад жизни большинства населения еще в начале прошлого века мало отличались от семнадцатого, даже пятнадцатого столетий, а двадцатый век застаёт деревенскую Россию почти той же, какой она была сто лет назад. После золотого века русской поэзии, прозы и музыки, после Константина Леонтьева, который мог бы стать учите-

лем Ницше, и Николая Данилевского, чей труд «Россия и Европа», вышедший в 1871 г., напоминает Шпенглера, духовная культура России все еще кажется фантомом, чем-то пришлым, искусственно навязанным этой стране, и автор «Заката Европы» пророчит рождение «русско-сибирской» культуры лишь в неопределенном будущем: ему представляется, что ее еще нет! Если везде и во все времена — за исключением, быть может, Афин V века до христианской эры, — существовала дистанция между «почвой» и «духом», то в России их разделяет пропасть. Внуки и правнуки крепостных и сегодня составляют большинство населения, упорное, хотя и бессознательное сопротивление истории отличает поведение народа по сей день, — факт, который позволяет понять многие черты русской культуры и прежде всего ее беспочвенность в собственной стране.

## 2

### *Время разбрасывать камни*

На этом фоне внезапные разряды энергии, копящейся в двух столбах, потрясают страну, подобно землетрясениям или извержению вулканических недр. Немного можно назвать государств, где внутренние потрясения носили бы столь разрушительный характер. Когда вскоре после революции еврейского поэта Бялика, выехавшего в Палестину, спросили, что происходит в России, он ответил: «Ничего особенного; хазер (боров) перевернулся на другой бок». В этих словах не было ничего, кроме усталого неверия; в этом образе, однако, была доля злой правды. Время от времени спящий гигант видит небывалые сны. Это сны о сказочном будущем. Но вслед за тем происходит то, чему автор «Саги о погроме» не успел стать свидетелем: великан пробуждается и приступает к осуществлению своих снов. Мы наблюдаем воистину апокалиптическое зрелище: бессознательное целого народа становится его исторической действительностью.

Катастрофы русской истории — это одновременно прорывы в утопическое будущее. Здесь сменяют друг друга два времени, ни одно из которых не течет «нормально». Вечно отстающие часы российского государства внезапно начинают стучать с необычайной быстротой, и вязкое субисторическое время сменяется лихорадочным временем утопии. По законам климата, который одинаков на всей обширной равнине по обе стороны Волги, к востоку и к западу от Урала, в Москве и в Новосибирске, после долгой зимы весна наступает внезапно, чуть ли не в один день, — словно вдруг ударил в смычки и затрубил в трубы небесный оркестр. Слово колоссальный капитал терпения обесценился в одну ночь. Русская история сбивает с толку ученого; будучи летописью наро-

да, сознание которого было и остается не историческим, а скорее мифологическим, она с трудом поддается оценкам в духе гегелевско-марксистской историософии. Подобно самой стране, она затягивает в себя и мистифицирует самый трезвый ум. История превращения России в Советский Союз запрограммирована в русском фольклоре. Пока старшие братья работают в поле, младший, дурачок, что с него взять, спит на печи. Он спит, и ему снится, что ведра сами пошли за водой. Затем сон чудесным образом сбывается: по шучьему веленью коромысло срывается с места и летит с ведрами к колодцу. Печка выезжает из избы вместе с дураком и совершает триумфальный путь по деревне. В конце концов он становится обладателем волшебных коней, побеждает врагов и женится на царской дочери, а лишённые воображения братья по-прежнему уныло пахут землю.

Сказочный богатырь Илья Муромец, колоссальная инерционная масса России, тридцать три года сидит неподвижно в родительской избе. Он так могуч, что не может подняться с места. Но затем он, словно очнувшись, встает и седлает такого же, как он, огромного коня. Его ждут подвиги. Внезапный переход от растительного существования к сверхъестественной активности равнозначен скачку в другое время.

Время утопии — это время митингов, патетических клятв, лапидарных лозунгов и геометрических эмблем, время, когда некогда жить обыкновенной жизнью. Время изможденных вождей, потрясающих костлявыми кулаками, — и ответом им служит согласный гул толпы. И уже слышится мерный топот железных, точно выросших из драконьих зубов батальонов, аскетический восторг сотрясает массы — сегодня мы, а завтра весь мир. Это время полного экономического крушения, воровства и пиров, похожих на пир во время чумы, и посреди этого разора — шествие кумачовых флагов, какой-то нескончаемый парад-фестиваль; героическое время патрулей, нарукавных повязок, кожаных курток и скрипящих ремней, время юношей, время женщин, отшвырнувших быт. Свидетели, дожившие до наших дней, вспоминают об этом времени как о поре невиданных зорь, невероятных ожиданий. Такой юности не переживало ни одно из последующих поколений. В пыльных бурях гражданской смуты, в мусорном смерче рождение нового мифа возвещает о себе как некая заря обновления. Вдруг начинает казаться, что до горизонта, скрывающего лучезарное будущее, — подать рукой. Это будущее мыслится не как решение социальных проблем, а как их снятие во всеобщем благоденствии и всечеловеческой гармонии. Поэтому всякому реформизму объявляется война.

Не латать эту старую, изношенную, скучную и беспросветную жизнь, а сломать ее напрочь. Разрушение — есть созидание. На три, на

четыре десятилетия гигантское неподвижное царство охвачено лихорадкой. В спешке и панике воздвигаются города, трещат леса, мелеют реки, целые деревни снимаются с места, уезд перебирается в область, область спешит в столицу, и скоро все города превращаются в чудовищно переполненные деревни. С бешеной скоростью крутится новый государственный механизм, перемалывая тело народа в фарш. Все едут, все государство куда-то переселяется, вокзалы запружены толпами, бабы кормят младенцев, сидя на деревянных чемоданах; все рушится и превращается в строительные площадки, все строится и все стоит недостроенным, странная, ветхая новизна преображает все вокруг. Но на полпути к земному раю силы оставляют измочаленного гиганта, и он вновь падает в оцепенение.

И снова до чуткого слуха Европы доносится могучий хrap... Империя заволочила душные облака. Между тем утопический потенциал медленно копится в мозгу погруженного в летаргический сон народа. Грезящий мозг гиганта — вот что такое культура России. Утопизм — характерная черта этой культуры, пронизанной не светом разума, но тусклой, как блеск лампад, национальной мифологией, культуры, носящей отпечаток высокого дилетантизма, сохранившей почти средневековую целостность и вместе с тем излучающей идеи будущего.

### 3

#### *Ныне будешь со мною в раю*

Умерший в начале века Николай Федорович Федоров, внебрачный отпрыск одного из знатнейших русских семейств, чудака и бесребреника, не имевший собственного угла, ходивший зимой и летом в одном платье, а свое скромное жалованье библиотекаря московской Румянцевской библиотеки раздававший кому попало, — изложил свою философию Общего Дела в многословных, по большей части продиктованных трактатах, которые были изданы учениками после его смерти в виде двух толстых томов для бесплатного распространения. Федоров указывает человечеству на его главную ошибку: существование людей как единого коллектива лишено цели, каждый озабочен собственным благополучием, человечество в целом заблудилось. Торгашеская цивилизация соблазняет ложными приманками материального благосостояния, комфорта, успеха, сексуальной свободы, удовлетворения жажды власти, — другими словами, воспитывает и поощряет небратские отношения между людьми. Природа влечет человека к смерти. Предначертания Творца, этого источника жизни вечной, искажены и в естестве, и в общественной жизни. Истинной целью и общим делом всего человечества должно быть освобождение от смерти.

Как и Маркс (к которому Федоров относился с таким же презрением, как и к «черному философу» Ницше, — оба олицетворяли в его глазах ложную мудрость и аморализм Запада), Федоров убежден, что философия есть инструмент переустройства мира. Не объяснять миру, каков он, а указать путь к спасению. Философия должна быть устремлена не на то, что есть, а на то, что будет. Но это будущее оказывается опрокинутым в прошлое: иудейская стрела времени должна быть перевернута; то, что называется прогрессом, — обман; не забота о потомстве, вечная забота живущих, а забота о предках должна стать смыслом деятельности всех и каждого. Вместо того, чтобы без цели размножаться, надо вернуть к жизни тех, кому мы обязаны жизнью. Таков урок, преподанный нам Иисусом Христом. Ибо Христос не женился, а оживлял умерших. Христос не родил детей, но служил Отцу. И его смерть, смерть Спасителя, за которой последовало воскрешение, есть не что иное, как парадигма судьбы всего человеческого рода.

Итак, Общее Дело состоит в воскресении всех отцов, всех когда-либо живших людей. В мире ничто не пропадает. Тела умерших будут воссозданы из атомов, рассеянных в земной коре. Для выполнения этой грандиозной программы необходима сплоченность всего человечества. Будут созданы гигантские трудовые армии. Все будут жить вместе, собственность будет отменена раз и навсегда. Половой инстинкт, этот *primum movens*<sup>1</sup> дурной бесконечности, бесцельного размножения, угаснет. Похоть тела, похоть богатства, похоть власти — рассеются, как мираж. Бодрый труд и общее дело восстановят братские отношения между людьми. Пример покажет Россия, ибо только русский народ устоял против духа западной меркантильности и эгоизма. Не зря сказано: с Востока — свет! Только в России сохранилось в чистоте учение Христа. И за Россией последует мир. Возвращение к жизни умерших поставит задачу расселения миллиардов человеческих существ в космосе, но, как и задачу воскресения, ее разрешит наука.

Если Французскую революцию в известной мере подготовила философия Просвещения, то о революции в России можно сказать, что ее предварил расцвет особого рода натурфилософии, отцом которого был Федоров. Должно быть, этот нищий энциклопедист, одетый в какой-то зипун, с нечесаной бородой и маленькими глазками, обладал неотразимым обаянием, иначе трудно понять, каким образом он сумел увлечь, пусть ненадолго, своими идеями таких собеседников, как Лев Толстой, Владимир Соловьев, Федор Достоевский, и оставил учеников, своего рода секту, фанатически преданную его памяти. В Федорове почти карикатурно соединились неслиянные потоки русской мысли, вера в христианское преображение и в безграничные возможности науки, челове-

---

<sup>1</sup> движущее начало, первооснова (лат.).

колюбие, мессианство и жуткий проект будущего, похожего на концлагерь. В конце концов проповедь Федорова есть не что иное, как бунт против истории или, как выразился по другому поводу Осип Мандельштам, «великая славянская мечта о прекращении истории в западном значении слова». Федоров открывает эпоху коллективизма, великих планов, массового помрачения психики. Самый стиль его писаний, наставительный тон и скучная обстоятельность, с которой излагаются вполне абсурдные вещи, наводят на мысль о помешательстве. Где-то между фантастическим визионерством и самым вульгарным позитивизмом, рядом с которым позитивизм Чернышевского выглядит вершиной духа, родилась эта запоздавшая на четыре века натурфилософия. И она не осталась без продолжения. В числе питомцев Федорова находится Константин Эдуардович Циолковский, молодой провинциал, посещавший Румянцевскую библиотеку, ныне Библиотеку имени Ленина, где в задней комнате, за баррикадами книг, трудился над составлением картотеки седобородый пророк Общего Дела. В СССР Циолковский почитается как изобретатель ракетного двигателя, способного преодолеть силу земного притяжения; странного вида мемориал, дань официальному культу отца космоплавания, похожий на гигантский фалл, вознесенный в небо, должен напоминать москвичам о необычайном успехе его идей. Тем не менее в оригинальном изложении эти идеи мало кому известны. Они погребены в брошюрках, ставших библиографической редкостью, которые Циолковский печатал в Калуге, на серой оберточной бумаге, в послереволюционные годы. Часть его сочинений не опубликована. В затхлом провинциальном городке, где он был школьным учителем, среди непролазной грязи, убожества и запустения, он грезил о неограниченной экспансии человечества и превращении всего человеческого рода в сверхразумное «лучистое тело», которое будет парить в околосолнечном пространстве после того, как все земное вещество будет израсходовано на нужды промышленности и науки.

В этот ряд утопистов, — его можно было бы продолжить, — мы обязаны включить и Владимира Ильича Ленина, каким бы странным ни показалось сопоставление Ленина с чудаком Федоровым, о котором он никогда не слышал, и, конечно, был бы шокирован, если бы ему сказали, что он следует за ним; Ленин полагал, что он следует Марксу. Однако ленинизм — это такая же фантазмагорическая программа, проповедуемая с каменной серьезностью, напоминающей серьезность душевнобольного, которому не приходит в голову, что он бредит. Сочетание политической трезвости с фантастическим мировоззрением — одна из самых поразительных черт Ленина. Реализм, неотличимый от беспринципности, мастерство плетения интриг и умение заставить людей плясать под свою дудку соединяются в нем с верой в спасительную миссию



рабочего класса, в мировую революцию и будущую гармонию, в то, что нищая и неустроенная Россия может одним прыжком перелететь через вонючее болото своей действительности в светлое царство коммунизма. «Учение о партии», проект захвата власти небольшой группой профессиональных революционеров, которые поведут за собой поддерживающий их пролетариат и колеблющееся, но увлекаемое общим революционным порывом крестьянство в ослепительное будущее, в общество, где не будет ни собственности, ни эксплуатации, ни классов, ни самого государства, — это учение родилось в обстановке конспиративных кружков, в густом папиросном дыму и ночных словопрениях, и сама эта призрачная, подпольная среда оставила на нем свой отпечаток. Дух вселенского авантюризма, якобы санкционированного наукой, веет над ним. Сочинения Ленина, посвященные тактике революционного движения и содержащие подробнейший проект захвата власти, поражают наивностью и неопределенностью представлений о том, что же будет, когда эта власть перейдет наконец в руки партии. Предполагалось, что главное — совершить революцию, а там все устроится само собой. («Найти смысл жизни, — писал Федоров, — и сама собой уничтожится вся путаница».) На съезде комсомола вождь партии говорил молодым людям, сидящим в зале: «Вы будете жить при коммунизме». Горизонт казался совсем близким.

Мраморный склеп под стенами византийского Кремля, где покоятся голова и плечи основателя первого социалистического государства, — все, что от него осталось, — может быть, самый впечатляющий символ ленинизма, образ жуткого бессмертия. Не Христос, а Ленин демонстрирует это бессмертие. Но если бы он в самом деле восстал из гроба, поглядеть, что вышло из его предприятия, он был бы немедленно арестован и объявлен врагом народа, подобно тому как придется схватить и сжечь как еретика Иисуса Христа, явившегося во второй раз, в легенде о Великом инквизиторе Достоевского.

#### 4

### *Сумерки богов*

Философы по-разному объясняли мир, а речь идет о том, чтобы его переделать, — XI пункт «Тезисов о Фейербахе». Не идеи правят миром, а материальные потребности. Чтобы потреблять, надо производить. Значит, все дело в средствах производства, в том, кому они принадлежат, и в производственных отношениях. Общество, где производительные силы не соответствуют производственным отношениям, обречено, и чем скорей оно рухнет, тем лучше... Марксизм возник как реакция на

прекраснодушные девятнадцатого века. Его сходство с двумя другими великими системами своего времени — дарвинизмом и фрейдизмом (сложившимся позже, но типологически тяготеющим к веку монистической мысли) бросается в глаза. Как и они, марксизм исходит из единой посылки, которая должна объяснить все. Как и они, он провозглашает отказ от иллюзий. Долой лицемерие! Взглянем в глаза жестокой правде жизни. В конце концов мир прост. Стальные фермы экономики и политики, власти и порабощения, — вот истинная суть жизни, все прочее лишь придаток или декорация. Люди думают, что их чувства, надежды, вера, мудрость, мораль постепенно сделают мир более совершенным. Чушь! Не идеи правят миром, а мир правит идеями. Люди делают вид, что живут собственной жизнью, но на самом деле влекутся, как песчинки за волной, покорные своим классовым интересам. Мир прост. Он состоит из имущих и неимущих. Два стана стоят друг перед другом, склонив каменные головы, как быки.

В России эту правду не надо было открывать: она лезла в глаза на каждом шагу. Искусство социальной косметики не достигло в России такого совершенства, как на Западе. В России метафизика сидела в лохмотьях и тянула руку за подающим. Достаточно было заглянуть в ворота первой попавшейся фабрики, чтобы убедиться: старик прав, а все остальное — болтовня. Однако именно на русской почве обнажился и засиял, как выдернутый из ножен клинок, — скрытый под научно-позитивистской оболочкой мифологизм марксистского усилия.

Великим теориям присущ деспотизм. С некоторого момента теория, превратившись в законченную систему, начинает жить самостоятельной жизнью и порабощает самого fundатора и его учеников: отныне вся их забота — служить системе. Деспотизм теории порождает тягу к неограниченной экспансии. Подобно империям, великие теории стремятся поработить мир. Родившись в лоне частной науки, в рамках отдельной дисциплины, теория распространяется на другие области знания, ширится и обрастает вассальными княжествами. Начав с заявлений о трезвости, о суровом реализме, теория под конец теряет всякую трезвость. Это уже не наука, а идеология. И даже не идеология, а откровение. Ибо она не только пригодна для объяснения всего на свете, но и несет спасительную весть; не только толкует прошлое, но и пророчествует о будущем. Философы по-разному объясняли мир, а его надо переделать.

Но для этого теория должна «овладеть массами». С некоторых пор становится безразлично, каким именно путем, на основании каких фактов и с помощью каких доводов теория доказывает свою правоту. Став абсолютной истиной, она более не нуждается в доказательствах. Да и кто станет все это читать? «Мы диалектику учили не по Гегелю!» — восклицает поэт революции Маяковский. Можно добавить: и не по Марксу.

Истина очевидна. Мир погряз в грехе, в поклонении идолу денег. Мир поработен алчной буржуазией, воплощением всего худшего в истории. Но явился избранный народ, русский пролетариат, в широком смысле — весь русский народ, и новый Моисей ведет его в обетованную землю. Как и Моисею, Ленину не довелось увидеть завершение этого пути; его дело продолжает верный ученик, с нами наше великое Учение, с нами — симпатии угнетенных всей земли. Так, вперемешку с обломками иудео-христианской мифологии, родилась новая русская утопия, захватившая значительную массу населения бывшей Российской империи, — утопия, которая ослепила, ужаснула, очаровала, загнипотизировала чуть ли не весь мир.

Но проходит сколько-то времени, пять или десять лет, и разбойничий свист стихает, хрипит голос ораторов. Все отчетливей слышится сквозь гомон и пение толп — металлический голос вождя, призывающий к дисциплине. Миф поворачивается к народу иным, насупленным ликом. Этот голос напоминает о том, что героический этап национальной истории завершен. В будущем, под пером и кистью художников, уходящая эпоха обретет эстетическую замкнутость легенды; наступает время систематизации мифа, творческие потенции его исчерпаны. Но сейчас голос вождя высекает новые формулы очередных задач. Вместо вооруженных, чеканящих шаг батальонов появляются батальоны с кирками и лопатами. Некоторое время энтузиазм стройки еще имитирует энтузиазм борьбы. Все реже находится повод митинговать, все яснее и ниже цель: не переустроить мир, а построить металлургический комбинат; весна человечества может подождать; вопреки зароку снести весь старый мир до основания выясняется, что технология втыкания в землю лопаты не изменилась; выясняется, что кто был никем, тот им и остался. Становится ясно, что миссия переделки мира не освобождает от быта. Женщины возвращаются к детям. Дети становятся предметом более основательных забот: стране нужны солдаты. Солдатам нужны генералы. Миф материализуется в застылых формах мифологического государства. Из вселенского он становится национальным. Подчеркивается, что построение царства небесного на земле есть привилегия и заслуга нашего народа, а не какого-либо иного. Делаются первые попытки нащупать связь с прошлым: мы не только его отрицаем, мы — его продолжение. Эта связь укрепляет растущее уважение к атрибутам государственности, к идее государства. Вносится необходимый корректив в теорию: государство не отрицает с победой социализма, напротив, оно укрепляется. Теперь лозунги, эти краткие формулы мифа, не намалеваны на фанере, не начертаны на стенах зданий вольной кистью художника-максималиста; оправленные в багет, на бархате, они сияют имперским золотом в уютных, ярко освещенных залах, куда входят в начищенной обуви и по пропускам.

Постепенно эта система пропусков перегораживает всю страну. Режим обретает глубину и предстает в перспективе. И в этом отдалении, на крутизне, по-прежнему высится и притягивает все взоры фигура вождя. Он все тот же, он не стареет; все в той же фуражке; простой, каким надлежит быть сыну народа, и загадочный, каким подобает быть божеству. Всеобщее усложнение не коснулось его. Он вне бюрократии, вне паутины бумаг, учреждений, правил. Он умеет говорить особым языком: понятным народу и в то же время таинственно-многозначным, ритмическим, с повторами и подхватами; его слог напоминает дурной перевод Библии — возможно, оттого, что в юности вождь был семинаристом. Беззаветная преданность народу помешала ему завершить образование. Загадочность, излучаемая свыше, осеняет всю страну. Государство заволакивается непроницаемой тайной. Поет и бряцает на все лады неслыханная по размаху и наглости пропаганда. Втайне режим свирепеет. Никто не заметил, как страна оказалась затянутой паутиной концлагерей, как внутри страны возникла другая страна, невидимая, не нанесенная на карты, расположенная где-то далеко и в то же время рядом, вокруг нас. Присутствие этой страны ощущается всюду, в словословиях поэтов, в клятвах преданности и верности. Она — как запах гниющего трупа в подвале. Словарь сокращается до одной трети, остальные две трети слов — под подозрением. Из десяти людей один — доносчик, пятеро на прицеле. Но люди сохраняют веру. Еще живы воспоминания о революции, еще молодежь не решается зубоскалить. Энтузиазм, замешанный на страхе, как тесто на дрожжах, творит чудеса, и постепенно вооруженное до зубов, до кончиков волос и когтей государство становится могущественнейшей державой в мире.

Мифологический режим достиг зенита, хотя по-прежнему кажется, что высшая зрелость впереди. Обнаруживается надлом. Все враги уничтожены, действительные и мнимые, впрочем, так же необходимые, как действительные. Солнце палит, погружая в сонливость часовых. Флаги повисли на мачтах. Это летний день, апофеоз режима. И в эту минуту становится ясно, что миф надоел сам себе. С ужасающей очевидностью обнаруживается факт, что режим пожрал сам себя. Его сонная неподвижность есть следствие самопереваривания. Никаким эмоциям нет больше места, даже яркие краски страха пожухли. Тщетно винить умершего вождя, унесшего с собой рецепт бессмертия. Лозунги превратились в набор слов. Пустопорожней болтовней стали все речи, все выступления, заявления и постановления, все, что изрыгают репродукторы, все, о чем шелестят газеты, бессильно и монотонно лущие самим себе. Спорить с ними, опровергать их нет никакой охоты. Они не заслуживают возражений. И постепенно доходит до сознания, что вождь ушел вовремя. Ведь это не человек умер, а бог сверзился с неба, испустил дух великий Портрет, глядевший сверху на свой народ живыми гла-

зами мифа. Распалась связь времен. Героическое прошлое наскучило, нация утратила к нему интерес. Но что еще ужасней, сама нация исчезает, уступает место чему-то бесформенному, не предусмотренному мифической наукой. Вместо рабочих и крестьян — толпа апатичных и прожорливых иждивенцев. Миф распался, а иной религии эта масса не знает. Никто уже не помнит, о чем шумели и митинговали, и если кто-нибудь еще верит, то лишь в необходимость самого состояния быть верующим. Увы, и эта вера уходит. Режим, который сумел устоять в величайших бурях, не в силах больше оборонить себя от всеобщего безразличия, от неуловимой заразы, от туч моли, садящейся на знамена. Весь роскошный декор — бархат, и шелк, и золото — изношен до дыр.

## 5

### *История с психиатрической точки зрения*

Крах утопии означает не только смерть будущего, во имя которого было принесено столько жертв, но и смерть славного прошлого. Вся история борьбы и побед начинает казаться бессмысленной. Героическая юность страны приобретает криминальный оттенок. Гражданская война предстает как кровавый абсурд. Страстные речи трибунов наводят на мысль о каком-то всеобщем помрачении рассудка, от этого впечатления невозможно отделаться, даже читая выступления Троцкого и Ленина, не говоря уже о бесчисленных резолюциях, решениях и обращениях к трудящимся всех стран. Самый словарь двадцатых годов кажется чудовищным измывательством над языком, и сейчас нам легче понять людей предшествующего века, чем деятелей времен военного коммунизма и нэпа, коллективизации и первых пятилеток.

На ум приходит клиническая метафора, и, что самое грустное, она не кажется слишком смелой. Описанная классиками психиатрии трехфазная эволюция шизофренического бреда представляет собой схему, куда без особого насилия над действительностью укладывается и эволюция государственного мифа. Мы можем, таким образом, говорить об особом — психиатрическом — аспекте истории. Нам представляется случай пройтись по этому госпиталю двадцатого века, где содержатся без надежды на исцеление целые народы. Взрыв утопической энергии напоминает острый психоз; как и в случае с пациентом, эта фаза носит творческий, продуктивный характер: бред непрерывно обогащается, обрастает подробностями, расцветает диковинными цветами. Миф еще не сложился. Далее наступает фаза стабилизации. Миф обретает государственно-упорядоченные формы. Пациент живет внутри созданной им системы бредовых идей и представлений, как живут в доме, построенном своими руками. Наконец, в третьей фазе творческие и конструк-

тивные потенции мифа иссякают. Бред теряет внутренний смысл и связность, бледнеет и рассыпается. Им больше не живут. Большой уже никого не хочет убедить и тупо повторяет одни и те же словосочетания; еще немного — и они превратятся в междометия. Врачи знают, что означает этот распад речи. Крушение бредовой системы знаменует необратимый распад личности.

Тем самым мы ответили на вопрос, что осталось сегодня от марксистско-ленинской идеологии в стране, где она одержала свою самую блистательную победу. Конечно, этот вопрос звучит риторически для человека, прожившего жизнь в СССР. Ведь ему пришлось наблюдать больного вблизи. Но оставим метафоры. Легче всего объяснить крушение веры разочарованием. Светлое царство не наступило, его приход отсрочен на неопределенное будущее. Заметим, однако, что фантастический прогноз не исчерпывает всего «учения», постулаты которого, по крайней мере за пределами России, не вполне изжили себя и сегодня. Одно из удивительных впечатлений, ожидающих русского эмигранта в Европе, — увидеть, что слова «марксизм-ленинизм» не вызывают улыбку у окружающих. Возникает странная мысль, что само по себе учение, может быть, вовсе тут ни при чем: его роль свелась к артикуляции того, что было первичным по отношению ко всем теориям. Истощение утопического потенциала обесценило веру, а вместе с ней и придавшую ей вид науки теорию.

Но «утопический потенциал» — понятие достаточно неопределенное, а марксизм-ленинизм — нечто такое, с чем и по сей день каждый советский гражданин сталкивается на каждом шагу. Все знают, что СССР — идеологическое государство. Постулаты вероучения составляют тело и кровь режима, воплощены в его структуре. Как для еврейских каббалистов мир был построен из букв и слов священного языка, так и о советском государстве можно сказать, что оно создано из тезисов и изречений. Как же оно продолжает существовать, если тезисы лишились смысла, если «язык» мертв?

В Москве произошел трагикомический случай. Во время очередного съезда партии все газеты, по заведенному порядку, напечатали речь Генерального секретаря КПСС. В ней были перечислены видные деятели зарубежных компартий, умершие со времени предыдущего съезда. После перечня имен и приглашения почтить память покойных товарищей минутой молчания в тексте речи, который поместила тогдашняя «Медицинская газета», стояло: *Бурные аплодисменты*.

Ошибка, пропущенная многоэтажной цензурой, объяснялась привычкой к стереотипу: за именами коммунистических лидеров автоматически должны следовать аплодисменты зала. Нечего и говорить о том, что инцидент дорого обошелся редактору. Но, быть может, он означал нечто большее, чем служебную оплошность. Дело в том, что на

ошибку не обратили внимания не только те, кто выпускал номер, надзирал над выпускающими и контролировал надзирающих. Ее не заметили и читатели. Вся речь состояла из стереотипов, давно лишившихся в глазах читателей какого-либо реального содержания, и в сущности была прочитана только корректором. Но и он видел в ней лишь последовательность стандартных словосочетаний.

Все понимали, что съезд созывается не для того, чтобы обсуждать какие-нибудь вопросы и принимать решения, а потому, что полагается, чтобы время от времени происходили партийные съезды. Старый, обрюзгший и задыхающийся человек был принужден два часа стоять на трибуне, читая заготовленную для него речь, не потому, что он хотел убедить аудиторию в своей правоте, а потому, что заведенный порядок предусматривает необходимость произнесения многочасовых ритуальных речей. Люди, время от времени прерывавшие его аплодисментами, делали это не потому, что их восхитил его ум и покорило ораторское искусство, — ни ума, ни искусства в речах оратора никогда не было, никто и не ожидал от него этих качеств: в конце концов он был один из них, такой же, как они, — но они делали это просто потому, что ритуал съезда требовал, чтобы присутствующие время от времени, по установленному знаку, поднимались с мест и хлопали в ладоши. История с «Медицинской газетой» случилась примерно десять лет назад, о ней давно забыли. С тех пор на трибуне сменилось несколько ораторов; последним взшел человек более молодежавого вида, с живым взглядом, энергичными жестами и родимым пятном на лбу — печатью Антихриста, по народному поверью; но ни жесты, ни печать не могут изменить существо дела. И, как прежде, речь вождя сопровождается бурными аплодисментами, дикторы декламируют ее по радио и телевидению, газеты уверяют граждан, что весь мир, затаив дыхание, прислушивается к каждому слову этой речи. Все происходит по однажды заведенному порядку, и все, начиная от высших функционеров и кончая плебсом, понимают, в чем его суть и смысл. Суть состоит в отсутствии сути. Смысл порядка — это сам порядок.

В центре Москвы, неподалеку от основного комплекса зданий Комитета государственной безопасности, находится Идеологический отдел Центрального Комитета партии. Здесь же, на одной из центральных площадей, расположен Институт марксизма-ленинизма, а позади него — Прокуратура СССР. Эти подробности столичной географии сами по себе дают возможность супить о том, какое место в государственно-административной машине занимают идеологические учреждения. Вместе с карательными учреждениями они образуют стеновой хребет режима. Уже это оправдывает существование идеологии: каково бы ни было ее содержание, она символизирует государственный порядок. Если это так, то сдвиг от содержания к «слову», к оболочке учения, в неко-

тором смысле более существенной, чем его сущность, — представляется естественным. Во всевозможных ритуальных акциях, в речах и докладах ссылки на «самое передовое мировоззрение», цитаты из классиков марксизма-ленинизма и т.п. принимают вид священной абракадабры; это сакральный язык, и этим ограничивается его функция: содержание текстов никого, кроме самих священнослужителей, не интересует.

## 6

### *Посрамление семиотики*

Нечто похожее происходит с символикой. Символы сыграли в революции такую огромную роль, что многие приняли их за ее суть. Постепенно они образовали целый язык: плакаты, портреты, лапидарные лозунги, близкие к формулам и нередко построенные как математические формулы («коммунизм есть советская власть плюс...»), стилизованные персонификации народа — суровые лица рабочих и крестьян, глаза, горящие верой, лес рук, голосующих «за», воины с винтовками или с ракетами, отважные пограничники, мужественные чекисты, пехота, печатающая шаг, — руки сжимают оружие, головы повернуты в одну сторону, и круглые шлемы образуют ровные ряды, как шляпки шампиньонов; колосья, турбины, мачты высоковольтной передачи, кремлевские башни, легендарный крейсер «Аврора» с пушками и прожекторами, нацеленными на Зимний дворец, Ленин во всех видах, изготовленный из всех материалов — из гипса, из мрамора, из гранита, из цветов на клумбах, Ленин-дитя, Ленин, разоблачающий оппортунистов, Ленин с рабочими, Ленин на броневике, Ленин с простертой рукой, огромный, как египетский фараон. Все вместе эти знаковые изображения и близкие к знакам тексты образуют своего рода эпос, наглядную идеологию, и каждый, кто хотя бы короткое время побывал в СССР, знает, что, подобно дорожным знакам, они выставлены везде. В детском саду ребенка встречает стенд: малыши тянут ручонки к солнцу, в центре которого — лысый профиль дедушки Ленина. С небольшими изменениями это повторяется в конторе, в кинотеатре, в отделении милиции, в больнице, в доме престарелых, в похоронном бюро. Конечно, все это не новость; могущество идеологических символов в тоталитарных государствах хорошо известно; однако то, что обычно говорилось об этой символике, предполагало ее неувядаемую свежесть. Подобно лику вождя, никогда не стареющего на своих портретах, семиотика лозунгов и плакатов всегда представлялась равной самой себе. Возможно, это объясняется тем, что наиболее изученный, известный всему миру, образцовый тоталитарный организм — германская Третья империя — погиб в юности, на вершине блеска и могущества. То, что произошло в СССР, можно рассматривать как вырождение знаковой системы.



Решающим шагом в расшифровке некоторых экзотических письменностей была догадка, что мы имеем дело именно с текстом, а не с орнаментом. Комбинация штрихов, помимо того, что она красива, должна еще что-то означать. В той единственной в своем роде стране, о которой идет речь, мы наблюдаем противоположный процесс превращения надписей в узоры. «Учение Маркса всеильно, — гласит ленинский афоризм, выбитый на камне перед памятником великому Учителю в Москве, — потому что оно верно». Эта надпись еще сохраняет признаки текста — хотя бы потому, что мы можем перевести ее на иностранные языки. Но что она означает? Означает ли она вообще что-либо? Несомненно, что в устах Ленина она имела глубокий смысл. Вероятно, она означала, что для истины нет преград, — или что-нибудь в этом роде. Для огромного большинства москвичей, ежедневно видящих массивную волосатую голову, замаранную голубиным пометом, для бесчисленных прохожих, спешащих мимо по своим делам, занятых своими мыслями, погруженных в заботы о том, что спокон веков составляет реальную жизнь людей и чего не в силах отменить никакая революция, — для всех них эта гордая фраза не является ни истиной, ни ложью, ни обещанием, ни обманом. Ибо она вообще не является значащим текстом. Если бы какой-нибудь злоумышленник ночью ухитрился ее переделать, написав, к примеру: «Учение Маркса бессильно, потому что оно неверно», — большинство людей не заметило бы подлога, совершенно так же, как читатели «Медицинской газеты» не заметили, что на предложение почтить память усопших товарищей делегаты съезда ответили бурными аплодисментами. Ведь эти «бурные аплодисменты» — всего лишь декоративный элемент, нечто вроде виньетки. Равным образом надпись на камне представляет собой род орнамента: она нужна для того, чтобы было чем украсить камень. Камень же служит дополнением к памятнику. А памятник необходим, чтобы заполнить пустое место посреди площади. Принято, чтобы на площадях стояли памятники.

Это относится ко всем лозунгам, которых так много в любом советском городе, да и не только в городе. В сельских домах можно видеть, вместе с семейными фотографиями, с потемневшими иконами в улах, политические плакаты; их покупают в местном магазине, на деревенском языке они называются «картинами». Функциональное назначение этих картин, живописующих все те же турбины, колосья, кремлевскую башню или крейсер «Аврора», ничем не отличается от какого-нибудь венецианского вида, коврика с лебедями в мещанской квартире или экзотической культовой статуэтки в жилище сноба. Эти умершие кумиры, эти иконы забытых богов давно уже не означают никакой веры. Они вообще ничего не означают. Впрочем, это не совсем так: правильной будет сказать, что это знаки знаков, утративших значимость.

Учение всеильно, ибо оно верно. Удобство этой формулы — в том, что она как бы выносит за скобки самое учение. Не все ли равно, о чем говорится в этих толстых скучных томах, если заведомо известно, что их итог — не подлежащая сомнению истина? Не зря в многочисленных пропагандистских материалах собственное содержание учения заменено похвалами учению. Вывеска непогрешимости охраняет его от более тесных контактов, как уродливую женщину — ее добродетель. Но с таким же правом можно сказать, что учение Маркса верно, потому что оно всеильно: его абсолютный приоритет надежно оберегают государство, армия и тайная полиция. Полиция не находит оскорбительным для учения то, что его всеилие гарантировано всеилием полиции. Афоризм распадается, таким образом, на два тезиса. Учение верно, ибо оно верно. Учение всеильно, ибо оно всеильно. Гвардия идеологических работников, теоретиков и профессоров диалектического и исторического материализма, истории КПСС, «научного коммунизма», «научного атеизма» и пр. внушает своим слушателям и в конечном счете всему народу, что превосходство советского строя и неизбежность победы коммунизма во всем мире обеспечены абсолютной непогрешимостью марксизма, подобно тому как устойчивость валютной системы обеспечена запасом золота в стране. Мы, однако, знаем, что в последние века Византийской империи иностранцам показывали в царской сокровищнице дутые слитки золота и фальшивые драгоценные камни.

Осуществление утопии означает ее смерть. Бесполезно спорить о том, насколько удачно она осуществилась и не исказился ли марксизм в России. Ведь лучшим доказательством правоты теории было то, что она «овладела массами» — и страной, занимающей шестую часть земной суши. Лучшим подтверждением истинности веры было ее воплощение в жизнь; но оно-то, это воплощение, ее и погубило. Это был небесный Иерусалим, который растаял, как только воздвигся Иерусалим земной. Не логика «учения» и не соблазны утопии, от которой, как от Эвфориона, осталось одно одеяние, руководят действиями властей и приводят в движение машину, а логика власти, логика рутины, логика самосохранения и порядка.

В истории оппозиционного движения в СССР были попытки противопоставить советской действительности парадигму «подлинного марксизма» Или даже «подлинно революционного марксизма-ленинизма», но, может быть, самой поучительной иллюстрацией к сказанному выше служит пример группы, издававшей подпольный журнал «Левый поворот» — и, как водится, дорого заплатившей за свои убеждения. Молодые люди изучали труды основателя советского государства (штудирование текстов Ленина в высших учебных заведениях практически было заменено вызубриванием просветительных брошюр) и пришли к выводу, что правительство изменило ленинизму. Лет три-

дцать тому назад появление такого кружка было бы естественным. Двадцать лет назад к ним еще могли бы отнестись всерьез. Теперь же, в начале восьмидесятых годов, чиновники прокуратуры смотрели на этих ленинцев как на тронутых. Почти такой же была реакция родителей и друзей. И для друзей, и для карателей Ленин с его пятьюдесятью шестью томами сочинений был именно тем Лениным, который лежит в Мавзолее, — нарумяненным и набальзамированным трупом.

## 7

### *Марксизм на арийский лад*

Здесь, однако, требуется уточнение.

До сих пор, говоря о марксистско-ленинском учении, мы имели в виду теорию, сложившуюся к началу двадцатых годов; мы молчаливо ставили знак равенства между этим учением и советской идеологией. Это не совсем правильно. Учение представляет собой род *philosophiae perennis*<sup>1</sup> и в качестве таковой не подлежит усовершенствованию: оно и так совершенно. Тогда как идеология вынуждена меняться. Задача идеологии — приспособить незыблемое учение к нуждам момента, другими словами, оправдать и освятить политику партии ссылками на высшую санкцию единственно правильного учения. Нужно признать, что на протяжении десятилетий идеология блестяще справлялась с этой задачей. Чем больше она изменяла учению, тем настойчивей клялась в своей верности ему. Пожалуй, самый серьезный сдвиг произошел во второй половине тридцатых годов. Любопытно, что к этому времени коллективизация сельского хозяйства была уже позади: обвал, сопоставимый по своему масштабу и последствиям с революцией, — ликвидация крестьянства в крестьянской стране, — сам по себе не сопровождался существенной перестройкой партийной фразеологии. Некоторые оброненные вскользь замечания Ленина, мало интересовавшегося деревней, о социалистическом сельском хозяйстве удалось без труда перетолковать в том смысле, что колхозы — это и есть претворение в жизнь «ленинского кооперативного плана». Сдвиг идеологии произошел, когда режим достиг совершенства, а в Европе запахло второй мировой войной.

Именно в это время ортодоксальный «пролетарский интернационализм» был дополнен советским патриотизмом, а патриотизм начал быстро приобретать облик русского имперского национализма. Именно

---

<sup>1</sup> вековой философии (*лат.*). Обычное наименование официальной теологической доктрины римско-католической церкви.

тогда был заново осознан основной факт революции — большевистская власть была единственной силой, сохранившей империю. Власть не может быть интернациональной, и с исчезновением последних надежд на мировую революцию национализм должен был дать этой власти новую санкцию, точнее, возвратить принадлежавшее ей по праву. Заодно он оправдывал расправу с врагами народа, собиравшимися — как было объявлено в годы чисток — распродавать Россию по частям иностранным империалистам, окружал лик вождя харизматическим нимбом, как бы непроизвольно напоминавшим царский венец, и выполнял множество других побочных задач. С этого времени заслуги советского режима в пробуждении и воспитании патриотических чувств народа, возвращении к национальным корням и т.п. превзошли все усилия ревнителей русской идеи за рубежом в лагере русской эмиграции, где на советскую власть смотрели как на власть инородцев. Прославление подвигов русского оружия, величия русского государства, приоритета русской науки, необычайных достоинств русского национального характера становится постоянной темой государственного искусства и литературы, и лучшие образцы этого искусства представляют собой художественные транскрипции двуликой марксистско-националистической идеологии, вроде того, как православная иконопись представляет собой не искусство в себе, а «богословие в красках и образах».

Быть может, самым ярким, незабываемым примером такой идеологической иконы был замечательный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», гордость советской кинематографии, снятый в 1938 году, накануне договора о дружбе с Германией. В качестве сюжетной основы фильма был использован второстепенный эпизод из жития некогда канонизированного русской церковью переславского князя Александра Невского — сражение княжеской дружины и ополчения с рыцарями Немецкого (Тевтонского) ордена на льду Чудского озера ранней весной 1242 года. Картина стала памятником эпохи — разумеется, не той, которую она изображает.

Можно было бы до мельчайших подробностей, до деталей ландшафта, жестов второстепенных лиц и складок одежды, до последнего такта великолепной музыки Прокофьева проследить, каким образом слово и буква идеологии нашли свое воплощение в этом фильме. Перед нами нечто в своем роде совершенное, шедевр политической низости; как во всяком шедевре, в нем нет ничего лишнего и случайного. Фильм, получивший всенародное признание, напоминает произведения немецкой кинематографии и литературы времен националсоциализма, но в русском варианте. Князь выглядит славянским арийцем. Он снят так, что всегда кажется выше всех остальных и выше зрителя. Его язык представляет собой смесь архаически-народного слога с языком газеты. Он враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно преданного ему на-

рода и, судя по всему, атеист. В Новгороде тринадцатого века вообще нет никаких следов христианства, если не считать колокольного звона, который, однако, созывает людей не в храмы, а на городскую площадь, где князь выступает с речью: он клеймит врагов народа и изменников родины (процессы 1937–38 гг.). Изменниками оказываются эксплуататоры народа — богатые купцы. Совмещение двух систем координат совершается легко и просто: классовый враг есть не кто иной, как враг национальный.

Каждый народ воображением своих художников создает собственный идеальный портрет; ему противостоит отгалкивающий портрет чужака. В отличие от обаятельных, душевно щедрых и свободомыслящих новгородцев, немцы преувеличенно богомольны. Они высокомерны, жестоки, коварны, трусливы и ненавидят русский народ. В фильме с изумительным искусством обыгрываются простейшие символы и элементарные семиотические приемы; некоторые его кадры могли бы украсить любое популярное введение в аналитическую психологию, хотя едва ли сценарист и постановщик слышали о Юнге и архетипах. Контрасты белого и черного, теплых грудных голосов русских женщин, поющих величественно-задушевную песню о родном крае, и мрачной дисгармонической мелодии рыцарского рога, лик Солнца на княжеском стяге и страшный, могильный латинский крест, вознесенный над коленопреклоненными немцами, над снежной пустыней, движение орденского войска, мертвого механического Запада, который замыслил поработить Русь и сломает себе на этом шее, — все сходится на одном, соединяется в единый вектор, бьет в одну цель.

Во всех советских кинотеатрах посетитель видит вывешенное на видном месте изречение Ленина: «Из всех искусств для нас самое важное — кино...» Фраза, заимствованная из переписки вождя с наркомом просвещения Луначарским, на этом обрывается, и мало кому известно ее продолжение: «...ибо народ наш малограмотен». Любопытная параллель к словам византийского отца церкви Григория Богослова: «*Idcirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt saltem in parietibus legant quae legere in codicibus non valent*». (Ибо ради того вывешивается картина в храмах, чтобы те, кто не знают грамоте, читали по крайней мере на стенах о том, чего не дано им прочесть в книгах.)

Соединение марксизма-ленинизма с русским национализмом на короткое время оживило издыхающее «учение», но спасти его оно все же не могло. В годы войны марксистская фразеология была попросту отменена, а восстановленная, уже иначе как фразеология не воспринималась. Последнюю попытку реанимировать коммунистическую веру предпринял Хрущев, для которого архаические формулы двадцатых годов, по-видимому, еще что-то значили; при нем развенчанному Сталину усиленно противопоставлялся Ленин, снова, как на съезде комсомо-

ла в 1920 году, было объявлено, что общество будущего будет построено в самом недалеком будущем — через каких-нибудь двадцать лет. «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Старшее поколение помнит, как эта фраза — ею заканчивалась новая программа партии, обнародованная летом 1961 года, — красовалась на первых полосах газет, на обложках журналов, на фронтонах общественных зданий, в театрах, в парикмахерских, на дорожных щитах. Несколько лет печать и литература были заняты тем, что отыскивали вокруг себя «зримые черты коммунизма». Сейчас, когда поколение, которому предстояло вскарабкаться на сияющие вершины, сходит со сцены, не приблизившись к ним ни на дюйм, идеология стоит перед новой и труднейшей задачей: как согласовать истину марксизма с фактом, который невозможно скрыть, — экономической инвалидностью системы. Можно предположить, что идеология найдет выход (об экономике этого сказать с уверенностью нельзя). Будут придуманы какие-нибудь новые формулы. Но это уже неинтересно, ибо утопия разложилась, и вера мертва.

## 8

### *Море — это я*

Мы вернулись к началу. Вид нищих изб, заросшие бурьяном поля, грязная дорога — что это: тупик, символ завершившегося пути? Правда ли, что, надорвавшись в бесплодных усилиях, гигант впал в оцепенение и во сне копит энергию для нового отчаянного прыжка? Два факта русской действительности поражают наблюдателя. Он видит, прежде всего, что в этой стране всего очень много — земли, лесов, степей, очень много народу; если она выглядит нищей, то очевидно все-таки, что эта нищета сочетается с богатством и расточительностью. Он видит огромные, переполненные людьми города, промышленные предприятия, гидроэлектростанции, перегородившие широчайшие реки; стоя у окна вагона, он видит идущие навстречу товарные составы, груженные лесом, углем, нефтью, — считает вагоны, платформы, цистерны и не может сосчитать. Он видит сложнейшую административную структуру, фантастическую бюрократию, замечает признаки милитаризации, размах которой трудно представим для западного человека, и мысленно сопоставляет ее с чрезвычайно успешной внешнеполитической экспансией страны. Короче говоря, он видит мощное государство. Но одновременно — и это второй факт, непонятным образом сосуществующий с первым, — приглядевшись, он обнаруживает всеобщую апатию. Подлинный энтузиазм и предприимчивость эти толпы проявляют лишь в государ-

ственных магазинах, где невозможно протолкнуться из-за очередей. Прочее делается кое-как. Наблюдателя поражает унылость этого величия и контраст между мажорным тоном газет и параличом общества. Говорить с людьми начистоту трудно, добиться от них чего-либо, кроме заученных фраз, почти невозможно: эти люди, казалось бы, такие простые и открытые, непроницаемы для чужеземца, широкие лица и светлые глаза — не впускают в себя. В этой стране все как будто сговорились говорить неправду, только неправду, ничего, кроме неправды. Остается наблюдать, сравнивать и... воздерживаться от скоропалительных выводов.

Одно, впрочем, ясно. Тридцать лет назад можно было думать, что сталинский террор подавил активность масс; сейчас становится очевидным, что принудительный труд был подлинной основой экономического роста: освободившись от страха, неблагодарное население вовсе утратило желание работать. Не нужно особой зоркости, чтобы заметить, что значительная часть общественной работы делается впустую — машина работает на холостом ходу. По улицам городов несутся с грохотом пустые грузовики; словно в описанном у Гоголя поместье полковника Кошкарева, который решил перестроить свое хозяйство на европейский лад, повсюду видны следы какой-то застопорившейся деятельности, занесенные снегом недостроенные сооружения, груды кое-как сваленного, разбитого кирпича, разрытая земля; трудящиеся, покуривая, дожидаются конца рабочего дня. В государстве, где уклонение от общественно полезного труда преследуется в уголовном порядке, огромное множество работников только числится на работе, и анекдотические меры, принимаемые властями для восстановления трудовой дисциплины, — лишь свидетельство того, что бедствие приняло национальные масштабы.

И невольно спрашиваешь себя, есть ли еще что-нибудь, что духовно и морально объединяет этот народ. Какая вера склеивает массы после того, как государственная мифология разложилась и доживает свой век в анекдотах, под сенью съеденных молью знамен?

Мы ступаем на зыбкую почву. Дело не только в том, что вопросы такого рода внутри страны не обсуждаются и даже не ставятся, что там нет средств и способов изучения общественного мнения, как не существует и самого общественного мнения. Неизвестно, как вообще взяться за эту тему. Неясно, как сформулировать вопрос. Нет уверенности в том, что его вообще можно «формулировать». На него могла бы ответить художественная литература, по крайней мере та ее часть, которая заслуживает доверия. Но ее ответ, как ответ дельфийской пифии, уклончив и загадочен.

Индуистская притча о соляной кукле могла бы служить иллюстрацией загадочности самого «предмета».

Кукла, высеченная из соли, шла по дороге и пришла к берегу моря. Она никогда не видела моря и спросила: что это такое? Море ответило: «Подойди ближе, и узнаешь». Кукла приблизилась, окунула палец в воду и сейчас же отдернула руку: пальца не было. «Ты отняло у меня палец!» — воскликнула она. «Но зато, — был ответ, — ты узнала кое-что». Кукла входила все дальше в воду, волны смывали с нее кристаллики соли, и, когда она, наконец, растворилась вся, она сказала: «Теперь я знаю. Море — это я!».

Нужно погрузиться в эту стихию, называемую Россией, растворив в ней собственную личность, чтобы понять, что вопрос, чем она живет и на чем стоит, не имеет рационального ответа. Ибо мы не спрашиваем себя, чем объясняется тот странный факт, что мы все еще живем. Мы живем, — этого достаточно.

## 9

### *Не судите, да не судимы будете*

На поверхности лежит нечто более или менее очевидное: взаимоотношения рядовых людей с государством. Отношения эти можно сравнить с ситуацией подростка в семье, где его не любят. Он знает, что всем обязан своему отцу, больше того, он считает естественным, что отец содержит его. Но это черствый, злой и несправедливый отец, — деспот, требующий покорности и на каждом шагу унижающий достоинство своих детей. И сын испытывает к нему противоречивые чувства: тайную ненависть, страх и преданность. Самая жестокость этого властелина импонирует подростку как признак могущества. Противопоставить ей он может лишь хитрость. Лишенный права что-либо решать, он заискивает перед своим благодетелем, изворачивается, лицемерит, лжет и где только можно обманывает его.

Поэтому можно сказать, что сын достоин такого отца, а отец заслужил такого сына. О тоталитарном режиме обычно говорят, что он превращает всех граждан в своих сообщников; таким образом ему удастся сделать всех более или менее виновными в его преступлениях. О советском строе можно сказать, что он превратил своих граждан в иждивенцев. При этом оказывается, что иждивенцы — все: виновные и невиновные, начальники и подчиненные, те, кто сидят в государственной колеснице, те, кто пассивно влекутся за ней в пыли, и даже те, кто упирается, отказываясь тащиться вместе со всеми.

Все это придает государству мистические потусторонние черты, однако этот призрак всегда с вами. Подобно Всевышнему, говорящему устами своих служителей, он везде, хотя его нигде не видно. Он недостижим и всемогущ, все обязаны ему всем. Лозунги «спасибо нашему



родному правительству», «спасибо партии», развешанные везде, песенки празднично одетых малышей «о детстве счастливом, что дали нам», риторические упражнения на тему «я — ничто, Родина — все», «перед Родиной вечно в долгу» и т.п. не вполне лишены смысла: государство — это прежде всего великий благодетель. Государство в самом деле, а не на словах, кормит, поит и одевает своих подданных, тратит деньги на их обучение, вообще милостиво разрешает им жить, — и, разумеется, беспощадно третирует их. В этой стране, где каждый находится в неоплатном долгу перед родиной, то есть перед государством, люди беспомощны, как подростки. Их инициатива носит хаотически-инфантильный и подпольный характер и всегда направлена против государства; естественно, что она карается. «Дать по рукам» — ходовое выражение газетной публицистики. Дать по рукам всякому, кто обманывает государство: пытаются заняться независимой деятельностью, наладить собственный промысел. Это не значит, что в войне Левиафана с маленьким человеком побеждает всегда Левиафан. Нигде искусство водить за нос государственные инстанции не достигает такой виртуозности, как именно в обществе, где государство владеет всем и управляет всеми; существует даже точка зрения (ее разделяют, по-видимому, и руководители), что воровство и нелегальные заработки — главная причина экономического упадка. Но что верно, то верно: огромное большинство населения отучено от самостоятельности, лишено сознания общих интересов, инстинкта солидарности, и не знало бы, что ему делать со свободой, если бы свобода вдруг свалилась на него с небес.

Перечитывая написанное, я нахожусь в некоторой растерянности. Я чувствую, что моим рассуждениям не хватает чего-то, что невозможно ни вычитать в книгах, ни извлечь непосредственно из жизненного опыта. Я не могу свести концы с концами. Все начинает рушиться, когда пытаешься связать «самый передовой в мире общественный строй» с той непостижимой действительностью, которая стоит перед глазами, но остается неуловимой, словно вода, в которую вы входите: ее не схватишь руками, она протекает между пальцами; она расступается и впускает вас, чтобы тотчас сомкнуться у вас за спиной. Привычные представления о власти, народе, демократии, социальной справедливости, об угнетателях и угнетенных, о верхе и низе кажутся непригодными в этом царстве слуг, театре статистов, где, как в романе Набокова, тюремщик танцует вальс с узником, где деспот оказывается рабом.

Нет необходимости штудировать классиков Франкфуртской школы, чтобы понять разницу между деспотией и тоталитаризмом, мало сказать, что они отличаются друг от друга, — они исключают друг друга. Деспотизм «аристократичен». Тоталитаризм «народен». Деспотизм предполагает дистанцию между угнетателями и угнетенными. Подобно

границы, отделяющей население оккупированной страны от завоевателей, в деспотическом государстве сохраняется граница между насилием и теми, кто стал его жертвой. Поэтому деспотизм не лишает идею социальной справедливости ее престижа. Деспотизм есть то, что известно нам в классических образцах из «классической» истории. Понимание его сущности — урок, преподанный нам великими летописцами прошлого. Деспотизм включает в себя в неявной форме идею восстания. Только в деспотической стране может произойти революция.

Тоталитаризм смеется над историей. Понять, что представляет собой тоталитарный порядок, перелистывая Фукидида и Тацита, невозможно. Тоталитаризм представляет собой такое торжество прогресса, которое делает ненужной дальнейшую эволюцию общества: история в собственном смысле прекращена, совершенствоваться может лишь техника и бюрократия. Тоталитаризм есть нечто находящееся по ту сторону и демократии, и деспотизма. Тоталитаризм исключает всякую мысль о восстании и дезавуирует идею свободы.

## 10

### *Нечто о патриотизме*

«Вы ненавидите Россию».

Вы ненавидите ее, ибо утверждаете — или даете понять, — что существующий режим есть порождение русской истории, помноженной на национальный характер, что «всякий народ достоин своего правительства», что, следовательно, он заслужил то, что с ним сделали.

В книгах и речах, которые пишутся и произносятся от имени антикоммунистической, христианской и национальной России, нам разъясняют, что русский народ подпал под иго коммунистов. Эту фразу нам предлагают понимать буквально. Предполагается, что некая чуждая России власть поработила страну, подобно иностранному завоевателю. Задача о мировом зле решается просто: или — или. Или коммунизм, или Россия. Или советский, или русский.

Но мы приехали отсюда, мы только что из этой страны, подарившей миру слово «советский»; мы еще помним ее запахи, вкус ее хлеба, синюю кромку леса на дальнем горизонте, дожди, чмокание луж и соющую сердце дорогу. Мы еще не оклемались на благоустроенном Западе, и для нас точкой отсчета остается жизнь, прожитая в Советской России; так что само это словосочетание, этот оксюморон, оскорбляющий ухо истинного патриота, для нас звучит естественно. Мы еще не забыли русский язык, не те кудрявые словеса, вычитанные из Даля, а ржавый, царапающий уши и горло язык, на котором изъясняется советский народ. Язык газет, язык бюрократии, язык подворотен и уголовного мира,

язык, в который ушли, как в тряси́ну, десять веков русской литературы и который точно позавчера явился на свет; язык людей, о которых трудно сказать, кто они: ни рабочие, ни крестьяне, ни интеллигенция, ни народ — ни то, ни се. Я припоминаю соотечественников. Кто они: русские, советские? В том-то и несчастье, что тоталитарная бюрократия пропитывает все тело страны, стремится уничтожить грань между собой и народом, «народ и партия едины», и при этом оказывается, что и партия — давно уже не партия в обычном смысле слова, и народ — не народ; тоталитарная действительность обесценивает патриотическую идею и лишает смысла самую терминологию, которой оперирует русский национализм.

Хуже всего то, что тоталитаризм дезавуирует идею вины. Легко заметить закономерность, с которой этот режим плодит преступников, точнее, порождает преступный тип человека: так «ночь разума плодит чудовищ». Но это человек, с которого нечего взять, государство лишило его ответственности. Тем самым оно размыло понятие о преступлении как о некотором исключении из общего правила. Напротив, совесть и честь становятся в этой стране странным исключением, если не социальной патологией, и государство по-своему праву, заключая инакомыслящих в психиатрические больницы. Провозгласив общественный труд почетной обязанностью всех граждан, оно превратило его в позор и проклятье. Учредив тотальный надзор над людьми, оно лишило общество последних остатков солидарности и уничтожило самое общество. Объявив родину высшей ценностью, оно превратило ее в тюрьму, в гигантское подобие лагеря, окруженного сторожевыми вышками и рядами колючей проволоки. Объявив себя надеждой и светочем мира, оно вооружилось до зубов и убедило свой народ, что так и должно быть. В конце концов, верный своей сущности, тоталитаризм сам сделался обществом, родиной и государством. Провести границу между этими понятиями было бы крайне трудно. Число людей, умерщвленных этим режимом, не подсчитано; во всяком случае оно очень велико. Каково же должно быть число убийц?

В этой стране было несколько десятков миллионов заключенных, и каждый угодил в лагерь по доносу. Сколько же в ней было доносчиков?

Очевидец рассказывает о бунте арестантов на барже в Охотском море: охрана залила водой из пожарных шлангов трюмы, где сидели в полутьме и тесноте заключенные. Вода замерзла, и вмерзших до пояса, но все еще живых людей вырубали из льда.

Как бы ни был страшен этот эпизод, он был каплей в море страданий и жестокости. Но если представить себе, что каратели и жертвы поменялись бы местами, можно ли быть уверенным, что приказ пустить в ход брандспойты не был бы отдан, что он не был бы выполнен? Если представить себе некоторое высшее и беспристрастное судилище, — ко-

го мы посадим на скамью подсудимых? Какой суд был бы в состоянии распутать этот клубок, какая юстиция не спасовала бы перед ситуацией, в которой презумпция невиновности перестает быть условием правосудия, ибо преступность, соучастие в злодеянии — здесь не отклонение, а норма? Какая комиссия по десоветизации была бы способна отделить агнцев от козлищ?

Тоталитаризм снимает вопрос о вине. Показав, на что он способен, — а его возможности поистине безграничны, ведь он является государством в квадрате, — он стремится сделать своими соотрапезниками всех и добивается этого, заставляя всех служить себе. В конечном счете, он превращается в образ жизни. В тоталитарном государстве граница между «властью» и «народом» отсутствует — либо нам придется искать ее в каждом доме, в каждой семье, в каждой биографии.

## 11

### *Похвальное слово пастырям*

И все же мы не разгадали бы загадку этого государства, если бы видели в нем лишь особую форму всепроникающего насилия. Мы повторили бы заблуждение многих, если бы ограничились утверждением, что режим — по крайней мере в его нынешнем, послесталинском виде — держится на всеобщем страхе. Этот вопрос — на чем держится режим — и есть в сущности тот самый, уже заданный выше вопрос: что объединяет, что сплачивает советский народ? Здесь следовало бы оговориться, напомнив, что народ этот, если говорить о всем населении страны, этнически неоднороден. Ясно, однако, что силы межнационального раздора, конфликт насильственной или естественной русификации с местным национализмом, старые счеты, взаимное непонимание и глухая вражда — все еще сдерживаются силой, заставляющей всех держаться вместе: эта сила — единое государство, нечто такое, перед чем бледнеют национальные чувства. В чем же секрет этой силы?

Пишущий эти строки не является профессиональным советологом и не располагает «теорией» советского строя. Подобно астрономии, советология основана на эффекте расстояния. Невозможно стать советологом, прожив всю жизнь в СССР. И я совершенно согласен, что при взгляде в телескоп эта диковинная планета доступна лучшему обозрению, чем когда сидишь на ее безрадостных берегах. Что касается теоретических построений, то я склонен подозревать, что никакая теория не в состоянии описать русскую жизнь. Мне хотелось бы только предостеречь от упрощений. Опыт нашего века говорит нам, что ложь, страх и насилие, когда они пользуются современными средствами массовой

индоктринации и новейшими методами подавления, способны творить чудеса. И, однако, не трудно предположить, что мощь и единство Советского Союза всецело основаны на лжи, страхе и подавлении.

«Самые лучшие правители, — говорит китайский философ VI века до нашей эры, — это те, о которых народ знает лишь, что они существуют. Несколько хуже правители, которых народ любит. И хуже всех правители, которых народ презирает». Народ в России слишком хорошо знает о существовании правителей. Нечего и говорить о том, что он их не любит. Нет сомнения в том, что он их презирает. Через семь десятилетий после революции люди отдадут себе отчет в ее неудаче. Они знают, что они живут хуже, чем граждане других более или менее развитых стран, много хуже, чем можно было бы жить в стране столь обширной и богатой; понимают, что новая власть не создала гарантий свободы, не ликвидировала социальное неравенство и не устранила социальную несправедливость. Но они понимают и другое. Инстинкт, в некотором смысле обратный социальному, подсказывает им, что без этого государства они не смогли бы ступить и шагу, рухну оно — и все они превратятся в толпу беспомощных потерявшихся детей.

Так выясняется подспудный резон безнадежного status quo, цель и смысл бессмысленного порядка: ибо он не вполне бессмыслен. Сознание этого смысла гарантирует прочность порядка, быть может, надежней, чем бюрократия, армия и тайная полиция. Существовала и, кажется, существует до сих пор иллюзия, что этот порядок можно улучшить — смягчить или рационализировать, не меняя его по существу: технократические, экономические или правозащитно-демократические грезы. Существовала теория о том, что усвоение западной технологии заставит рано или поздно перестроить весь экономический, а за ним и политический механизм.

Еще не утасла, по крайней мере на Западе, надежда на то, что в одно прекрасное утро на вершине появится доброжелательный и прагматичный человек в костюме современного покроя. Он ограничит тотальное планирование, даст свободу действий директорам промышленных предприятий, предоставит самостоятельность колхозам, восстановит местное самоуправление, умерит власть цензуры, усмирит КГБ, отменит преследования интеллигентов, верующих, националистов, разрешит свободный культурный обмен с другими странами и договорится с Америкой о разоружении. Незачем говорить о том, что система отбора и выдвижения руководителей в партии исключает появление реформатора; личности подобного склада элиминируются уже на низших ступенях иерархии. Это тот самый порядок, который охраняет партию от распада. Но это лишь частный случай общего правила. Ибо суть общегосударственного порядка та же самая: она состоит в том, что этот порядок невозможно реформировать. Даже незначи-

тельные усовершенствования опасны. Потяните за ниточку — зашатываются колонны. Выньте один кирпичик — только для того, чтобы заменить его другим, — и повалится все здание. Порядок есть порядок: или он такой, какой есть, или никакой.

Оттого попытки интеллигентов поставить под сомнение безусловный приоритет государства во всех вопросах не вызывают у массы ни малейших симпатий. Оттого народ равнодушен к судьбе Сахарова: дело не только в том, что никто ничего сделать не может, дело еще в том, что людям сумели внушить, что ссыльный академик посягнул на государственные устои, и в известном смысле так оно и есть. Проповедь Сахарова была заведомо обречена на неудачу. В конечном счете государство всегда право; ибо если оно и неправо, несправедливо, неразумно, — его следует предпочесть вакууму. Оттого всякое посягательство на государство извне, даже мнимое, встречает единодушный отпор. (Гибель корейского самолета с 264-мя пассажирами на борту не вызвала возмущения: пропаганде достаточно было убедить граждан, что самолет летел с шпионским заданием.) Охраняя порядок, лучше переборщить, чем чего-нибудь недоглядеть. И... ради Бога, обойдемся без рискованных экспериментов. Порядок есть порядок. В многонациональной стране он не дает вскипеть кровавой каше, в которую превратилось бы освободительное движение окраин, стоит только ослабнуть скрепам; в сверхцентрализованном государстве надлом столба, на котором держится вся исполинская пирамида, будет означать для огромного множества людей потерю всех средств к существованию, голод, развал, разгул на безбрежных осиротевших территориях. Крушение такого государства нарушит геополитическое равновесие. Но не мировые проблемы заботят миллионы людей: они повинуются собственному чутью, темному инстинкту всенародного самосохранения. И вместе с тем они чувствуют, все мы чувствуем, чуем, как чуют близость гнилой весны, как чувствуют приближение смерти, — безнадежную старость всего национально-государственного организма. Эта старость, возможно, и есть не что иное, как подбирающийся к опасной границе, копящийся в неведомых глубинах, в недрах коллективного бессознательного, смертоносный анархически-утопический потенциал.

Тот, кто жил в России, мог заметить черту, характерную для многих «живущих там. Ее часто описывали как антибуржуазность и широту характера, желая увидеть в ней противовес мещанской умеренности немцев, скарденности французов, бескрылому практицизму англичан; какова бы ни была мера правоты этих противопоставлений, описание, основанное на них, недостаточно. Черта эта неотделима от внешних условий жизни в стране. Она подкупает и пугает одновременно. Иногда вы можете уловить в выражении глаз какую-то сумасшедшую искру; это она. Я назвал бы ее душевной неупорядоченностью. Сочетание душевной, а

также духовной и интеллектуальной недисциплинированности с жесткой регламентацией общественной жизни, внутренняя растрепанность, душевный хаос человека, прикованного, как пленный раб к железной колеснице, к сверхорганизованному государству, — заставляет его ощущать присутствие этого государства и как тяжкую обузу, и как единственный гарант своего благополучия. Подлинная трагедия состоит в том, что в этой стране, где все живое, смелое и самобытное душист неподвижная власть, где бездарные наставляют талантливых, старики притесняют молодых, мертвые правят живыми, — в этой стране слишком многим кажется, что такая власть необходима, так как она не дает вырваться наружу хаосу, царящему в душах. Что такое этот хаос, знает по опыту жизни каждый. Ужас перед народом — чувство, присущее не только верхушке, но прежде всего самому народу.

## 12

### *Сквозь тернии и века*

Старость? Срок жизни великих культур, по Шпенглеру, предопределен: десять столетий. По странному совпадению, ту же цифру назвал (в книге «Восток, Россия и славянство», 1885) упомянутый в начале этих заметок Константин Леонтьев. Но он говорит о возрасте великих государств. Тысячу лет просуществовали оба Рима, западный и восточный. Третий Рим — северный — переступил порог своего тысячелетия в прошлом веке, к этому времени и была приурочена мрачная футурология Леонтьева, который, правда, согласился подарить русскому царству одно-два столетия при условии соблюдения сурового температурного режима. «Россию нужно подморозить, чтобы она не гнила». Подразумевалась сильная централизованная власть, византийская государственность, подпираемая аскетически-бескомпромиссным, сумрачным православием.

История порождает неодолимое искушение, напоминающее третье искушение Христа; поднявшись над ней, окинуть ее всю единым взглядом. Окидывая взглядом одиннадцать веков русского государства, различаешь пронизывающий ее, сквозь чередующиеся пятна тьмы и света, вектор, улавливаешь если не логику, то последовательность. Уже к концу первого тысячелетия нашей эры на просторах между Черным и Белым морями возникает могущественная Киевская Русь, первый проект многоплеменного централизованного государства. Погибшее от нашествия татар, оно возрождается в зернышке, в затерянном среди лесов крошечном Московском княжестве, которое вначале ничем не отличается от своих соседей, рабски угождающих хану, но незаметно набирает силу, упорством, мужеством, коварством своих властителей захватывает

и поглощает соседние земли, нередко более обширные и богатые, чем оно, чтобы к исходу пятнадцатого столетия окончательно сбросить татаро-монгольское иго и превратиться в самодержавное царство.

Осенью 1472 года великий князь Иван Третий венчается в Москве вторым браком с греческой царевной: это звездный час государства. Оно объявляет себя преемником угасшей Византии, берет ее герб, перенимает ее имперский блеск и деспотические традиции. Ученый монах, старец Филофей — личность, о которой мало что известно, но которая стала в наши дни весьма популярной, — пишет (около 1510 г.) в Москву о том, что Бог простер свою длань над северным царством: «два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». При этом Священная римская империя германской нации, как заблудившаяся в ложной вере, вовсе не принимается во внимание. Вскоре оказывается, что в возродившемся православном Риме № 3 сосредоточена огромная энергия внешней экспансии: на протяжении последующих двух столетий государство раздвигает свои пределы, словно разжимающаяся стальная пружина. Когда в начале восемнадцатого века Петр Первый, разгромив в двадцатилетней борьбе с Швецией самую боеспособную армию тогдашней Европы, принял титул российского императора, это вызвало насмешки и недовольство на Западе: корону такого калибра полагалось получать из рук папы; тем не менее Россия давно уже была не только Великой, и Белой, и Малой, согласно титулатуре московских царей, но действительно представляла собой политический организм имперского типа — конгломерат племен, рас и народов, которыми правит, не спрашивая их мнения и согласия, верховная рука.

Четырежды на протяжении тысячелетия, с какой-то зловещей периодичностью, государство оказывается на краю гибели. В тринадцатом веке его затопляют полчища татар. Князья погибают мученической смертью, деревянные города исчезают в огне, гибнет культура. Однако феникс воскресает. В начале семнадцатого столетия, после десятилетий изуверского правления Ивана Четвертого, Москву захватывают поляки. Итогом этой поры, называемой в русской историографии Смутным временем, было опустошение целых областей, население которых вымерло или разбежалось. Но колосс и на сей раз встает на ноги. Спустя двести лет — новое нашествие и пожар столицы; и русский, и западный читатель хорошо представляет себе эту пору по роману Толстого. Наконец, в двадцатом веке наступает последняя и, как кажется, окончательная катастрофа.

Можно составить длинный список причин, которые ее, по-видимому, вызвали, и привести достаточное количество доводов, убеждающих в том, что эта страна в самом деле больше не могла существовать; но, как это бывает в медицине, необходимость многих объяснений



означает, что первопричина недуга неизвестна. Впрочем, ничто в истории не совершается под действием одной определенной причины. Каждая из причин выглядит скорее поводом.

Как бы то ни было, стремительность этого последнего крушения и сегодня не перестает пугать, изумлять и озадачивать. Государство, занимающее половину Европы и треть Азии, с числом подданных, которое составляло перед революцией сто семьдесят миллионов и росло так быстро, что должно было по меньшей мере удвоиться к середине века, — внезапно проваливается в таргарары. Можно было бы привести немало выразительных цитат, характеризующих смятение чувств — буйную радость, скорбь, мистический ужас, — которое вызвал у современников этот *coup de théâtre*<sup>1</sup> тысячелетней истории; ограничусь двумя — из неоконченной книги Василия Розанова «Апокалипсис нашего времени» (1918): «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая Великого переселения народов... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Что же осталось-то? Станным образом — буквально ничего....

С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Когда занавес поднялся, — это произошло очень скоро, — на сцене стояли уже другие декорации и сидели другие актеры. Новый режим не просто переименовал название страны. Он провозгласил себя принципиально новым, небывалым государством. И что же? По прошествии нескольких десятилетий мы замечаем, как это государство, в самом деле новое и небывалое, начинает все больше походить на старое. Можно даже сказать, что все особенности старого государственного организма новый режим усилил и довел до немыслимой крайности, до логического завершения или — что в данном случае одно и то же — до абсурда.

Вот это и есть самое удивительное. Итог одиннадцати веков. Удивляет даже не то, что традиции царской государственности, казалось бы, обрубленные, возродились, — ведь в конце концов понятие «почвы», любимое слово Достоевского, имеет какой-то смысл. Удивительно, что это государство все еще существует.

---

<sup>1</sup> неожиданный исход, развязка (*франц.*).

Я отдаю себе отчет в том, что коснулся рискованной темы. Напоминание о сходстве, может быть, и утешает приверженцев полуправильного русского национализма в партийно-административной среде; но оно приводит в ярость идеологов национализма в антисоветском лагере, тех, кто считает себя подлинными патриотами. И ведь нельзя сказать, что они абсолютно неправы. Слишком многое заставляет в сегодняшней России вспоминать об ушедшей России с ностальгической нежностью. Посмотришь на полудетские лица великих княжон, царских дочерей, убитых осенью 1918 года в Екатеринбурге на Урале, в подвале старого дома, и кажется, что на тебя глядит сама голубиная невинность. Достаточно сравнить новый репрессивный аппарат со старым, КГБ с царской охранкой, прежнюю цензуру с нынешней, вспомнить о существовании партии, идеологии и т.п., чтобы оценить разницу, о которой мы уже говорили, — контраст между тоталитарным и авторитарным строем.

Времена менялись, и эпоха Николая Первого не то же самое, что эпоха Николая Второго. Но ни одному из русских самодержцев не снился культ, которым окружил себя Сталин — маленький человек с низким лбом, искусственно увеличенным на фотографиях, с лицом, на котором ловкий ретушер удалил следы оспы.

Вышедший в начале века роман Максима Горького «Мать», посвященный революционному движению и очень понравившийся Ленину, заканчивается сценой суда над рабочим-большевиком Власовым, руководителем подпольного кружка и организатором первомайской демонстрации: герой романа произносит перед царскими судьями страстную и мятежную речь. «Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно... Победим мы, рабочие! Все, что делаете вы, преступно...» — и т.д. на трех страницах. Эта сцена никогда не перестанет вызывать недоумение у советского читателя: ведь в наши дни невозможно представить себе ничего подобного этому суду. Точно так же, как невозможно вообразить в Советском Союзе уличную демонстрацию с флагами, пение песен, сочувствие толпы и растерянность жандармов. Одного лишь проекта такого выступления было бы достаточно, чтобы потенциальный смутьян исчез мгновенно и бесследно, точно провалившись в люк. «Мать» была включена в школьную программу, школяры зазубривают речь Власова наизусть, наравне со стихами Пушкина и отрывком о тройке из гоголевских «Мертвых душ»; книга Горького считается классическим произведением социалистического реализма и образцом для подражания. Но можно ли представить себе советского писателя, который в самом деле последовал бы этому примеру и сочинил что-нибудь похожее? Сам автор в свое время поплатился за участие в организации подпольной типографии кратковремен-

ной ссылкой в городок Арзамас, близости от своего родного города, ныне носящего его имя. Молодой Ленин создал в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он был арестован и в тюремной камере написал несколько крупных работ. История кончилась тем, что вождь пролетариата был выслан на три года в сибирскую деревню, где он жил вместе с женой в просторной избе, не зная материальных забот, писал книги и ходил на охоту. Эти героические эпизоды революционной борьбы у человека, живущего в СССР, могут вызвать только улыбку. Но мы подразумеваем скорее структурный тип государства, нежели то, что можно было бы назвать его политическим «содержанием». Ленин, по словам немецкого историка Себастьяна Гафнера («В тени истории», 1985), доказал две вещи: что революция может победить и что ее победа ничего не меняет. Укрывшийся от палящих лучей истории скептик находит, что Ленин стал жертвой реальной политики; ибо то, что создается руками реального политика, всегда несовершенно. Тем не менее революция кое-что меняет. Революция меняет многое, — в этом, по крайней мере, не сомневаются те, кто видит ее вблизи. Революция есть надлом истории. Со временем, однако, переломы срастаются. Вернее было бы сказать, что Ленин, который испытал к концу жизни некоторые разочарования, но умер все-таки в убеждении, что им создано поистине новое и в конечном счете самое справедливое государство, стал жертвой невидимого и всеильного чудовища, имя которому — русская история. Ибо о ней, как о всеильной природе, можно сказать: *expelles furca, tamen usque recurret!* Гони ее в дверь, она вернется через окошко. Можно было прогнать помещиков и капиталистов. Можно было убить незадачливого монарха и его семью. Можно было одолеть Белую армию. Можно было справиться со всеми врагами революции, внешними и внутренними, одолеть хаос, голод, разруху. Но одолеть русскую историю оказалось невозможным. Сапожок, говорит пословица, сносится по ноге. Сносился в конце концов и чутунный сапог революционной власти.

### 13

#### *Третий Рим*

Привстанем на цыпочки и поглядим на Восток, на далекую равнину, залитую мертвенно-серебристым светом, точно лунный пейзаж. Обширное лунное царство — ведь его размеры в самом деле сопоставимы с поверхностью Луны — хоть и не довело численность своих подданных до уровня, которого ждали, однако приблизилось к тремстам миллионам. Как встарь, это пестрая смесь племен. Их во много раз больше, чем щитов на крыльях государственного орла, которому в Семнадцатом

году отрубили обе головы, больше, чем гербов союзных республик в вестибюле Кремлевского дворца съездов. Как и прежде, эта эмблематика носит декоративный характер. Ни о каком самоуправлении не может быть и речи. Государство подобно конусу с широким основанием и вершиной, исчезающей в облаках. Его можно также сравнить с шатром. Оно раскинуто во все стороны и отовсюду сходится к центральному стержню. Государство управляется из единого центра. Даже термин «советский», входящий в официальное наименование страны, как известно, является анахронизмом: советы депутатов трудящихся, в которых Ленин некогда увидел зачаток новой формы управления рабоче-крестьянским государством, от местных до Верховного, раз в четыре года с помпой заседающего в Кремле, суть элемент все той же утратившей семантику фразеологии, знак знака, о чем уже говорилось выше. Функция депутатов состоит в том, чтобы вовремя аплодировать. Итак, ирония судьбы проявилась в том, что аналогии этому государству, явившемуся на свет как весть и прообраз нового мира, государству, легитимность которого основана на «самой передовой теории», другими словами, на мифологии будущего, — нужно искать в далеком прошлом. Россия есть поистине Третий Рим. Громадный, но единый массив суши, многонациональный централизованный и управляемый военно-административными методами организм представляет собой единственное в средиземноморском регионе и, за исключением Китая, последнее на земле государство архаического типа — империю в классическом смысле этого слова.

Парадокс, основанный отнюдь не на сознательном обмане или, во всяком случае, не только на сознательном обмане, заключается в том, что то, что задумано и преподносится как нечто самоновейшее, оказалось архаическим, как вся эта страна. Так произошло с политической властью, с «партией нового типа», которая превратилась в послушный бюрократический аппарат деспотического государства, даже в сверх-аппарат, ибо ей в свою очередь подчинены два других аппарата — административный и хозяйственный; с колхозами, которые заставляют вспомнить о крепостном праве; с экономикой вообще, с тотальным планированием, которое тоже рассматривалось как самый совершенный инструмент управления хозяйством и которое менее всего отвечает условиям жизни современного общества. Об этом планировании столько уже было сказано, что как-то неловко снова к нему возвращаться. Экономическая централизация дополняет политическую, административную и идеологическую, — собственно, все четыре компонента неразделимы. Когда несколько лет назад одно московское издательство выпустило небольшим тиражом книжку о кибернетических методах хозяйственного планирования, она подверглась «принципиальной критике». Этот эвфемизм означает на советском языке цензурно-

административный скандал: книга была опубликована по недосмотру контролирующих инстанций. Автор получил нагоняй, редактор лишился должности. Причиной было то, что в предисловии к книжке, не предназначенной для широкого читателя, очень осторожно была высказана мысль, что эффективное управление невероятно сложной современной экономикой возможно лишь с помощью кибернетики (слово «компьютеризация» ещё не стало обиходным). Между тем в социалистическом государстве экономикой управляет не кибернетика, а партия. Доведенная до предела экономическая централизация и тотальное планирование есть попросту другая сторона политического единовластия. От производства стали до выпуска пуговиц, от сутобо секретных решений об ассигновании средств на создание нового типа ракет до столь же секретного решения повысить цены на водку, от проекта поворота сибирских рек до штатного расписания сельской больницы, до решения вопроса о том, сколько стоит коробка спичек, какова должна быть месячная зарплата парикмахера, сколько платить поэту за строчку, сколько пациентов должен принять за час амбулаторный врач, сколько работников должно быть в мастерской по ремонту обуви, сколько зерна, картофеля, овощей обязан засеять колхоз, — все планируется и предусматривается руководящими инстанциями, все утверждается наверху и «спускается» свыше. С той же регулярностью, с какой издаются постановления высшего партийного органа о литературной критике, о театральном искусстве, работе журналов или подготовке к празднованию юбилейной даты, — выходят проекты-циркуляры о расширении сети общественных столовых и детских садов. В пространном постановлении ЦК КПСС говорится, сколько чулок и носков будет произведено в уже недалёком светлом будущем — в 2000 году. Это и есть наглядное свидетельство заботы партии о народе, — она поистине не забывает ни о чем.

Сказанное хорошо известно и не требует новых примеров. Если, однако, я об этом упоминаю, то совсем не для того, чтобы посмеяться над нелепой претензией предусмотреть и распланировать все на свете. В безумии этой системы есть своя метода. И репрессивные меры, которыми власть отвечает на попытки поставить под сомнение целесообразность тотального планирования, глубоко оправданы. Оберегая свои прерогативы, партия и государство (в данном случае это одно и то же) последовательны, и было бы странно, если бы они вели себя иначе. Потому что дирижирование экономикой есть условие целостности империи. В конце концов все виды централизации сводятся к централизации механизмов самосохранения. Придя на смену рухнувшему царскому самодержавию (и недолговечному Временному правительству), большевики сумели извлечь из своей победы надлежащий урок. Новый режим обеспечил себя тройным запасом прочности. Централизованное управление экономикой оказывается необхо-

димым для поддержания гомеостаза — постоянства внутренней среды вопреки колебаниям мирового климата — не меньше, чем армия, политическая полиция, законы, предписывающие гражданам полное подчинение государству, закрытые границы, опоясывающие империю, словно бочку железные обручи.

Парадокс состоит в том, что эта прочность как раз и доводит до крайности те самые черты, благодаря которым русское государство выглядит пережитком прошлого. Сохраняя архаический облик и архаическую структуру, оно умудряется существовать в условиях, менее всего отвечающих этой структуре: в условиях массового общества с невероятно усложнившейся экономикой и культурой. Вместе с тем удельный вес и роль этой двуликой западно-восточной империи столь велики, что мир, которому она внушает страх, заинтересован в ее сохранении. Ибо гибель гиганта нарушит мировое равновесие. Так он продолжает жить, — динозавр, которому место в палеонтологическом музее.

## 14

### ***Всё то, что называли мы добром***

Вспору впасть в отчаяние, не правда ли, от всех этих рассуждений. «Tired with all these, for restful death I cry...» Со знаменитым Шестидесятым сонетом Шекспира у меня когда-то произошла забавная история.

Мне было пятнадцать лет, когда я вычитал эти стихи в романе «Изгнание» Лиона Фейхтвангера, который в тридцатых и сороковых годах пользовался у нас в стране большой популярностью. Стихи показались мне неплохими. Спустя немного лет, изъяты при обыске, они лежали на столе у следователя, который вел мое дело. Считалось, что их написал я.

Сколько раз, проходя по площади Дзержинского, которая до революции называлась Лубянской и еще в двадцатые годы дала имя прославленному зданию, я старался представить себе, что там происходит внутри. Теперь я имел возможность удовлетворить свое любопытство. Как было принято в те годы, меня привезли глубокой ночью. Раздвинулись стальные ворота, машина въехала во двор, а оттуда арестанта провели в подвальное помещение. Последовало раздевание, холодный душ, стрижка наголо. У меня срезали пуговицы, отобрали шнурки от ботинок, ремень, — в соответствии с инструкцией, молчаливо предполагавшей, что самоубийство — естественное желание всякого, кто сюда попадет. Я сыграл на клавишах вальс «Прощай Москва». Так окрестило народное остроумие процедуру снятия отпечатков пальцев.

Вскоре дверь в бок приоткрылась, мне протянули для подписи квитанцию об изъятии личных вещей. Я повертел ее в руках, на ней стоял штамп: «Внутренняя тюрьма Министерства государственной безопасности СССР». Так я узнал, подобно индийской кукле, едва успевшей окунуть палец в воду, кое-что. Узнал о том, что само по себе было сугубой государственной тайной: внутри здания и в его подвалах находилась тюрьма.

В жизни моего поколения дом на площади Дзержинского играл мистическую роль: он, этот дом, можно сказать, постоянно присутствовал в нашем сознании, как смерть присутствует в жизни. Он и в самом деле был воротами в преисподнюю, точнее, в чистилище, так как собственно загробным царством был лагерь. За гранитным цоколем, придающим всему сооружению сходство с крепостью, — часовые следили, чтобы прохожие не задерживались перед зданием, — за высокими подъездами со знаменами и эмблемами, высеченными из камня, за рядами мертвых, поблескивающих окон, уходящих ввысь, находились бесчисленные лестницы, пролеты, переходы, по которым людей почти волочили бегом, по одиночке, в гробовой тишине, издав далеко предупреждая встречного птичьим клекотом или стуком ключа по пряжке, — это делалось для того, чтобы два арестанта не могли случайно встретиться и узнать друг друга. В этом мертвом доме заключенный слышал лишь шорох собственных шагов и цокот сапог конвоира. Все коридоры были снабжены сигнальными устройствами, на каждом повороте вам командовали сдавленным шепотом: «Руки — над головой! Лицом к стенке!» Но затем вы оказывались в другой части здания. Вас вели по длинным коридорам, устланным коврами дорожками, навстречу попадались офицеры в золотых погонах, с папками под мышкой, а справа и слева тянулись ряды дубовых дверей — кабинеты следователей, старших следователей, заместителей начальников следственных отделов, самих начальников и так далее. Но и они были только наружной обкладкой здания: настоящую сердцевину составляла тюрьма с ее въездными дворами, камерами и подвалами, которая поднималась из глубин до крыши, где были устроены прогулочные дворы. Там тишина и прекрасный воздух. Вышки с пулеметами скрыты за стенами, но стены можно видеть снизу со стороны площади: они выглядят как дополнительный этаж без окон. На протяжении всей моей жизни дом на площади Дзержинского рос и расширялся. В первые послевоенные годы появилась мощная пристройка с правой стороны. В начале восьмидесятых годов воздвигнуто еще одно здание слева; на крыше видны такие же стены.

Спустя годы эти подробности приобретают символический смысл, точно обрывки когда-то увиденного сна. Самая бездарная на свете бюрократия начинает как бы светиться изнутри. Быть может, когда-нибудь историк архитектуры сравнит в качестве двух знаковых систем, или, ес-

ли угодно, двух инкарнаций государственного мифа, комплекс служебных зданий КГБ в Москве с Петропавловской крепостью в Ленинграде, где некогда содержались политические узники — от полуполюгендарной княжны Таракановой, притязавшей на русский престол, до террористов «Народной воли» и партии социалистов-революционеров. Быть может, он даже найдет какую-то неуловимую для нас красоту в этих многоярусных, унылых и безликих сооружениях без вывесок, которыми застроен сейчас весь квартал в треугольнике старинных улиц между площадью Дзержинского и Бульварным кольцом. Говорят, кроме наружных зданий существуют обширные подземные помещения под всей площадью и монументом Железного Феликса. Возможно, это легенда, возможно — правда; легенды — необходимая часть правды.

Я сидел в углу за крошечным столиком, ночью, под яркой лампой, а в противоположном углу комнаты, на безопасном расстоянии, за массивным столом под портретом Лаврентия Берия сидел следователь и перелистывал бумаги; это могло продолжаться много часов. Вошел некто с рыбьим выражением лица, следователь протянул ему листок со стихами, они действительно были переписаны моей рукой.

Я смерть зову, смотреть не в силах боле,  
Как гибнет в нищете достойный муж,  
А негодяй живет в красе и холе,  
Как попрано доверье честных душ,  
Как над искусством произвол глумится,  
Как в лапах зла бессмысленно томится  
Все то, что называли мы добром...  
От этой жизни я покоя жажду.

Человек смерил меня взглядом и произнес: «Хорош фрукт, а?»

Спору нет, — это были рыбы, а не люди. Диковинные человеко-ядные рыбы с мутно-светящимися глазами, в зеленой чешуе, с желтыми плавниками погон, рыбы, которые беззвучно шныряли по коридорам и закоулкам своего министерства, похожего на гигантский аквариум. Обижаться на них было бы нечестно. Они были такими, какими они были, какими только и можно быть в этой среде, дышали жабрами, ловили зубами добычу, — и другими быть не могли. Существо дела они понимали верно. Не имело никакого значения, кто был на самом деле автором сонета Шестьдесят шесть. Стихи с абсолютной точностью выражали отношение подследственного к славленной действительности первого в мире социалистического государства, к его охранительным силам, к его вождю, они удостоверяли правильность доносов, лежавших на столе у следователя, — это и было главным. Поэтому было бы лицемерием называть себя жертвой без-



законя. Мы все пали жертвой закона. Закон может быть более или менее неудачно отредактирован, и усилия советской юриспруденции за последние тридцать лет, собственно, и сводились к тому, чтобы усовершенствовать словесную формулировку закона, сделав ее по возможности растяжимой, но суть закона совпадает с сутью государства, а государство всегда право.

Можно не сомневаться в том, что, несмотря на очевидную нравственную низость и умственное убожество людей, из которых комплектует свои ряды тайная полиция, несмотря на далекие от какого бы то ни было идеализма мотивы, заставляющие их идти на службу в это учреждение, — среди сотрудников МГБ и КГБ были и есть люди, которым все-таки не чужда мысль о том, что их работа носит сакральный характер и имеет некоторый высший смысл. Этот высший смысл осеняет их, как купол храма — маленьких людей, теснящихся внизу. Основатель и конструктор мясорубки Феликс Дзержинский, одна из колоритнейших фигур революции, польский шляхтич, который в юности мечтал постричься в монахи и стал профессиональным подпольщиком (февральский переворот семнадцатого года освободил его из камеры Бутырской тюрьмы в Москве, впоследствии расширенной и ставшей самой крупной следственной тюрьмой госбезопасности), свято веровал в то, во что уже не могли верить его преемники и питомцы, подобно тому как взрослые люди не могут верить в сказки, поразившие их воображение, когда они были детьми. Но зато взрослым открывается их второй, метафорический смысл. В сущности, мы имеем дело с простой грамматической процедурой, когда подлежащее и сказуемое меняются местами. Из субъекта революция превращается в предикат. Революция была метафорой государства, а не наоборот. Не государство служило внешним и временным оплотом революции, но революция оказалась способом возродить ветхое государство — тысячелетнюю империю. Империя есть сверхценная идея. Государство есть самоцель. Может показаться, что этот институт учрежден с целью поддержания порядка в обществе. На самом деле и порядок, и общество существуют ради того, чтобы торжествовала идея государства. Это — русская, точнее русско-византийская идея.

## 15

### *Портрет государственного человека*

Носителем этой идеи, — о чем он, конечно, не подозревал, — был персонаж в своем роде замечательный. Меня и таких, как я, он, разумеется, не помнит, но, может быть, ему было бы даже лестно узнать, что кто-то хранит о нем живую память.

Забавно было бы свидеться снова с людьми, которых знал в юности. Люди, живущие в воспоминаниях, не стареют, даже наоборот: к ним относишься, как к героям прочитанных в детстве книг. Было время, когда они казались взрослыми, потом начинаешь видеть в них ровесников, а там и младших. Однако представители старшего поколения, начальник следственного отдела и прокурор по спецделам, которому в одну из ночей я был представлен в соответствии с тогдашним ритуалом, — он сидел в необычайно богатом кабинете, где все было соответственно крупнее, чем в кабинете начальника следственного отдела, как там — больше, чем в кабинете следователя: шире стол, выше чернильница, массивней кресло, и над креслом висел уже не Берия, а тот, по сравнению с которым и прокурор, и даже сам Берия были то же, что я по сравнению с прокурором, — представители старшего, начальственного поколения теперь уже давно вкушают мир под мраморными памятниками, вместе с теми, кто осенял их со стен. Зато подчиненные живы. Следователь, который когда-то вел мое дело, — вероятно, почтенный пенсионер и, как все пенсионеры, русский патриот. Может быть, даже тайком почитывает Солженицына. Я думаю, что было бы нетрудно реконструировать его биографию, биографию человека, о котором нельзя просто сказать, что он был порождением своего времени, своей страны и своего государства, правильной будет сказать, что он был их воплощением, их персонификацией. В 1950 году ему могло быть тридцать — тридцать пять лет. Он был ровесником революции. Было нетрудно догадаться, что он родился в деревне. Вероятно, его родители были бедняки. В другую эпоху он стал бы батраком, безлошадным крестьянином, сезонным рабочим, балалаечником в тракторе, кучером или конокрадом. Накопив денег, он вернулся бы в деревню, купил землю, женился и был бы по-своему счастлив, но в 1950 году его представления о счастье были совсем другими.

В своей родной деревне он стал комсомольцем, в предвоенные годы служил в армии, потом окончил школу Министерства внутренних дел и сделался «оперативным работником», Подобно многим другим, он мог, не кривя душой, сказать: советская власть дала мне все. Именно она, эта власть, избавила его от унылой работы в колхозе или на заводе, спасла от фронта во время войны, от нищеты и голода в послевоенные годы. Вместо этого она обрядила его в офицерский мундир и хрустящие сапоги, посадила в кабинет с телефоном, подарила ему спецпаек, высокий оклад и квартиру в привилегированном доме в Москве, внушила ему, крестьянскому сыну, уверенность в себе, сознание избранности, импозантной тайны, государственного смысла исполняемой им работы, приобщила его к ни с чем не сравнимому наслаждению распоряжаться судьбами и возбуждать страх. Следователь был человек вполне ничтожный, но, если можно

так сказать, ярко выраженный. Он был прост и в то же время неуловим. Когда он говорил, нельзя было понять, придуривается он или серьезен, лжет или говорит правду; чаще он все же лгал, потому что таков был стиль этого учреждения и потому что одна из задач его работы состояла в том, чтобы держать обвиняемого в постоянном неведении относительно чего бы то ни было; но лгал он также безо всякой нужды, изобретал целые истории, лгал по привычке, ради забавы или оттого, что давно забыл границу, отделяющую ложь от правды и добро от зла. Был он ловким, ладным, физически сильным человеком, с открытым и довольно приятным лицом, с выражением простоватой хитрецы и смекалки, с этой способностью неожиданно переходить от строгой официальности к балагурству и амикошонству. Он ничуть не был похож на офицера гестапо, как представляют себе этих людей в Советском Союзе: в нем не было ничего садистского, холодно-зверского, вылощенного, надменно-величественного; без золотых погон, блестящих пуговиц и скрипучих ремней, без фуражки с голубым околышем он моментально превратился бы в простого русского парня; в сущности он и был им. Он совершал жестокости как бы играючи — по-приятельски. О нем невозможно было сказать, дурак он или себе на уме, навеселе или трезв, он был прост и непрост, в нем была необыкновенная скользкость. Иногда он напоминал сумасшедшего. Что-то соображал, любил подмигивать; вдруг мог ляпнуть какую-нибудь гадость. Любил такие словечки как «мура», «лады», «чин-чинарем», «знаем мы вас», «замнем для ясности», себя называл с ироническим самодовольством «мы, разведка» и, само собой, неустанно крыл матом.

Он был прекрасно осведомлен обо всем, что делалось в университете, знал студентов наперечет и щеголял своим знанием; в сущности говоря, ему не требовалось никаких «данных», он и сам не скрывал, что оформление дела носило истинно формальный характер. Однако это оформление, несмотря на весь его опыт в этой области, было для него нелегкой задачей. И если я едва волочил ноги, возвращаясь на рассвете в камеру с допросов, то и он ехал домой после двенадцатичасовой работы, я думаю, изрядно утомленным. Он был темный и малограмотный человек, то и дело спрашивал, как пишется то или другое слово, и в протоколах своих обнаружил фантастическое незнание русского языка; естественно, что сочинение их требовало от него длительных усилий. Но неумение соединять слова в предложения сочеталось у моего следователя с удивительной ловкостью в использовании всякого рода заставляющих государственных словосочетаний. Стиль его так и пестрел выражениями вроде: «свою враждебную антисоветскую деятельность проводил...», «неоднократно допускал клеветнические высказывания в адрес одного из руководителей коммунистической партии...» (стилистика этих

бумаг запрещала называть по имени величайшего из всех людей, когда-либо живших на земле). Так как все это составлялось от моего имени, то получалось, что я сам на ходу даю правильную оценку моему образу мыслей — и тем не менее придерживаюсь его.

В отличие от многомесячного и обставленного бесчисленными формальностями следствия, суд происходил без лишней траты времени: он состоял в том, что вас вызывали в специальную комнату, где за пустым столом под тусклой лампочкой сидел человек довольно плюгавой внешности, в мундире без погон, похожий на какого-нибудь коменданта общежития. Он протягивал бумажку, типографский бланк, в котором недостающие слова были напечатаны на машинке; текст я запомнил. «Комиссия Особого совещания при МГБ СССР рассмотрела дело по обвинению такого-то по статье... пункт... Постановила: за антисоветскую агитацию приговорить к...» Полагалось расписаться, и на этом процедура заканчивалась. Так как судьба каждого, кто попадал в это учреждение, была решена заранее, еще до ареста (это правило, несмотря на некоторые новшества, действует поныне), то я думаю, что на этом пути возможны дальнейшие усовершенствования: например, можно было бы без ущерба для дела похерить вместе с судом и всю процедуру следствия. Но тогда когорта следователей осталась бы без работы, и вообще это уже другая тема. Так или иначе, все мы были рады, что нас избавили от судебной канители. Что касается самого дела, то оно, как легко догадаться, было вполне заурядным. Вышеупомянутая формула служила обозначением для всего, что невозможно было подогнать под более грозные формулы. Добавлю — раз уж мы говорили о литературе, — что оно было украшено еще одним именем.

Вскоре после войны в Москве вышел роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку», последний всплеск таланта физически и духовно разрушенного писателя, который удостоился кратковременной чести стать бургомистром городка Фельдберг в Мекленбурге, в советской зоне оккупации. Незачем пересказывать содержание этой достаточно известной книги. Я скажу о ней лишь несколько слов. В ней рассказано о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и потому тот, кто осмеливался их произнести, был заведомо обречен. Он был обречен задолго до того, как был выслежен и арестован. В этой книге комиссар Эшерих объясняет уличному бродяге, что бывает с теми, кого схватит тайная полиция.

«Знаешь, Клуге, они посадят тебя на стул и направят на тебя сильную лампу, и тебе придется смотреть на эту лампу, и ты будешь изнемогать от жары и яркого света. И они будут тебя допрашивать, долгими часами, они будут меняться, но тебя никто не сменит. День

и ночь, Клуге, день и ночь... И они будут тебя морить голодом, так что желудок у тебя сморщится, как боб. И ты будешь рад подохнуть от боли. Но они не дадут тебе подохнуть».

В том же самом городе жил один рабочий-краснодеревщик. Он был тихий и незаметный человек. Однажды он получил известие, что его сын солдат погиб во Франции. И вот этот человек, который никогда не интересовался политикой, затеял странное и опасное предприятие. Он купил нитяные перчатки, ибо он очень осторожен, этот незаметный человек, он слышал, что от пальцев остаются отпечатки, — надел их и старательно, печатными буквами написал открытку с пропагандой против Гитлера. С тех пор каждое воскресенье он писал такие открытки, по одной в день, потом отправлялся в какую-нибудь отдаленную часть города, заходил наугад в подъезд и оставлял открытку перед чьей-нибудь дверью или бросал в почтовый ящик. Он представлял себе, какое они возбудят брожение в умах, как их будут передавать из рук в руки, рассказывать о них друзьям.

А в это время комиссар, занимавшийся делом Невидимки, аккуратно втыкал флажки на большой карте города Берлина, отмечая места, где были подобраны открытки. За два года их набралось почти две сотни, и все они, сложенные стопкой, лежали на столе у комиссара. Полиции не пришлось их разыскивать; люди сами несли их в гестапо, едва успев пробежать глазами первую строчку. И постепенно город покрылся флажками, и кольцо их сжималось вокруг района и улицы, где не было найдено ни одной открытки. На этой улице жил Невидимка, der Klabautermann, как называл его комиссар. В этой книге, которую я не решаюсь перечитывать, чтобы не разочароваться в ней, меня поразило сходство атмосферы. Я недоумевал, как всевидящая цензура не заметила опасности произведения, описывающего почти то же самое, что было в нашей стране, — но странным образом остался глух к его безжалостной и безнадежной морали. Способ протеста, изобретенный краснодеревщиком Отто Квангелем, очаровал меня, и я поделился своими планами с двумя самыми близкими друзьями, один из которых давно уже писал о нас донесения комиссару Эшериху, сидевшему в своем кабинете в высоком доме на площади Дзержинского. Впрочем, даже не там, а скорее всего — в тайном кабинете в здании университета, где я учился.

## 16

### *Семьдесят тысяч призраков*

Как-то раз, это было году в пятьдесят втором, до нас дошел номер московского партийно-просветительного журнала «Новое время». В разделе «Против дезинформации и клеветы» была помещена

статья, разоблачавшая очередную вылазку буржуазной пропаганды: какой-то журналист на Западе, выполняя волю своих хозяев, тиснул сенсационное сообщение о том, что в Ивановской области, в районе станции Сухобезводное, будто бы находится крупный концентрационный лагерь с населением в семьдесят тысяч человек.

Читая эту статью, мы, сидевшие в этом лагере, испытывали род патриотической гордости, напоминающей гордость провинциалов, узнавших о том, что их заплесневелый городишко помянула столичная печать, однако опровержение нас нисколько не удивило: ведь мы отлично знали, что все мы вместе с нашим начальством и охраной попросту выдуманы, изобретены врагами мира и социализма. Мы знали, что наше существование — утка, пущенная продажными борзописцами из западных газет, что нас нет и не может быть, как не существует и такой станции под названием Сухобезводное. На этот пункт напирал автор опровержения в журнале «Новое время»: достаточно, писал он, взглянуть на карту Ивановской области, чтобы убедиться, что никакой станции Сухобезводное там нет и в помине. Кто же после этого поверит... и так далее.

Автор опровержения был прав. Дело в том, что еще в тридцатых годах было произведено новое административное деление, по которому восточные районы Ивановской области отошли к Горьковской области. Утверждение, будто лагерь был «крупным», тоже не вполне соответствовало действительности. Хотя цифра 70 000 более или менее приближалась к расчету, который можно было сделать, исходя из ориентировочного числа лагерных пунктов и среднего населения лагпункта, однако в начале 50-х годов в стране было немало лагерей, по сравнению с которыми наше учреждение выглядело скромным. Продажный борзописец очевидным образом пользовался устарелыми данными.

Тем не менее и наш лагерь представлял собой своего рода государство в государстве.

Есть игра «морской бой». На пустом листе разграфленной бумаги вы должны, называя наугад клетки, угадать расположение невидимых кораблей противника. Если вам повезет, вы можете наткнуться на дредноут.

Глядя на карту северо-восточных областей Европейской России, можно заметить довольно обширную полосу без населенных пунктов, которая тянется к северу от железнодорожной линии Горький — Сухобезводное до реки Унжи, пересекает Горьковскую и Костромскую области. Это и было место, где скрывался дредноут — Унженский исправительно-трудовой лагерь, полуофициальное название которого было Унжлаг, а официальное (кодовое) обозначение — ИТЛ «АЛ». От столицы лагеря, станции Сухобезводное, шла на север железнодорожная ветка, не обозначенная на картах, которую пассажирский поезд, состоящий

из клеток для заключенных и вагонов для лагерных начальств, одолевал примерно за пятнадцать часов. А навстречу ему, пыхтя, шли товарные поезда, составленные из трофейных платформ и тяжелых четырехосных вагонов, на которых еще видны были полустершиеся орлы и надписи Reichsbahn. То были годы, когда на линиях московского метрополитена ходили вагоны берлинского метро, в кинотеатрах демонстрировались трофейные немецкие фильмы с Марикой Рёкк, а в лагерях доживали свои дни на лесоповале вывезенные из Германии лошади и пыхтели на дорогах немецкие локомотивы. Товарные составы везли на станцию Сухобезводное первоклассный лес. Оттуда он шел на юг, в шахты Донбасса, и в северные океанские порты.

Около двух десятков станций лагерной железной дороги соответствовали головным лагерным пунктам. Почти все они были производственными, но был также «сельхоз», «ширпотреб», «больничка». Вокруг головного лагпункта, вглубь от железной дороги, располагались дочерние лагпункты, называемые подкомандировками. При каждом имелся поселок для офицеров и вольнонаемных, казарма для солдат и пр. Население головного лагпункта — примерно полторы тысячи заключенных, на подкомандировках немного меньше. По мере истребления леса Унжлаг раздвигал свои границы к северу и востоку, удлинялась ветка, строились новые лесосклады и новые лагпункты, куда прибывали новые жители. Лагерь вгрызался в тайгу, оставляя за собой кладбища пней, черные пустоши со следами костров, с обгорелыми кочками, поломанными куртинами, остатками круглолежневых дорог и насыпями, по которым когда-то пролегли усы узкоколейки. Там и сям среди этой пустыни находились свалки мусора, поля для своза нечистот и кладбища заключенных. И везде, вдоль дорог и насыпей, на площадках заброшенных складов, забытых и запустевших лесопильных мастерских, между холмами порыжевших опилок лежало огромное количество гниющей, полузатопленной в болоте древесины, которую не успели вовремя вывезти: некогда заниматься, некогда наводить порядок. План подпирает!

## 17

### *Лагерь как экономическая формация*

Кажется, не было такого угла на земле, который с большим правом мог называться краем света, и все же наши места были по-своему знамениты. Триста лет тому назад сюда бежали раскольники. Нищие деревеньки, кое-где еще влачившие свое призрачное существование посреди тайги, сберегли названия иных времен. Раскольники принесли преда-

ние о суздальском граде Китеже. Татары хотели сжечь Китеж, но он не погиб. В тихую погоду со дна озера Светлояр доносится колокольный звон. В прозрачной воде можно разглядеть белые стены, башни и луковницы церквей. Где-то совсем близко от нас находилось это озеро, но кто мог подумать, что легенда когда-нибудь воплотится в действительность!

Итак, лишь мало-помалу, медленно, как проступают из потемок сначала ближайшие, а затем и отдаленные предметы, как становятся видны в толще воды башни и стены, — вырисовывается это странное секретное государство, этот невидимый град Китеж — лагерная страна, огражденная глухими стенами и вышками, опоясанная болотами и лесами. Вся жизнь в этой стране подчинена производственному плану; ни одно понятие не имеет столь всеобъемлющего значения, ни один закон, божеский или человеческий, не является более категоричным, бесповоротным, мистически-непререкаемым. План заменяет этой стране религию, мораль, конституцию, идеологию: он возведен ей как бы с сионских высот, спущен из таинственных заоблачных учреждений: из Главного Управления Лагерной Лесной Промышленности (сокращенно — ГУЛЛП), Главного Управления Всех Лагерьей (сокращенно — ГУЛАГ), Государственного Планового Комитета (ГОСПЛАН) и, должно быть, еще какого-нибудь Главного Управления Всего на Свете. И вся многорукая и многоголовая орда работяг-невольников, под крики бригадиров, под бодрый мат мастеров, подгоняемая страхом, подогреваемая подачками и фантомом свободы («честный труд — путь к досрочному освобождению!», что отнюдь не соответствовало действительности), в величайшей спешке выгребают этот чудовищный план: стучат топоры, стрекочут электрические пилы, тысяча пар ног, точно крысы лапками, перебирают шпалы узкоколейной дороги перед рассветом и на закате, на работу и с работы, под зычные окрики конвоиров. Подготовительная колонна готовит новое оцепление, прорубает просеки, мастерит бревенчатые дороги, склады, вышки, заборы; повальщики валят лес, сучкорубы сшибают сучья, раскряжевщики режут хлысты, навальщики наваливают; снег плавится вокруг костров, желтый дым ест глаза, туманное солнце висит над равниной, по которой возчики гонят дубинами лошадей. Скрипят возы, огромные, мохнатые от инея лошади, хрипя, вколачивают копыта в оплывший ступняк, и пар валит от них на тридцатиградусном морозе. На другом краю оцепления — склад: свальщики сваливают, укатчики катят бревна. Возчик, заиндевелый, как дед-мороз, торопит маркировщиков: нужны проценты, еще можно успеть сделать лишнюю езду до съема! Ночью погрузколонна в слепящем свете прожекторов с хришлыми возгласами катит вверх по скользким вагам бревна, пахнущие смолой; оглушительно свистит паровоз, начальник конвоя, в меховой шапке со звездой, синий и окоченевший, стоит на подножке. И так день за днем, ночь за ночью из тай-



ной страны идут эшелоны, груженные рудничной стойкой, авиасосной, тарником, шпальником, катушкой, резонансовой елью; где-то далеко, в гаванях Заполярья, другие заключенные в рваных телогрейках и бушлатах грузят лес на английские и бельгийские пароходы, а на другом конце земли те же драные бушлаты крепят рудстойкой подземные лабиринты шахт, и там тоже свой план. Дадим Родине лес! дадим угля! дадим руды! Молох сидит на корточках, и миллионы рабов швыряют ему корм в разверстую пасть.

...Публике надоела лагерная тема. Публика сыта. Зачем все это снова жевать?

Затем что тусклая жуть лагеря, скрытая от всего мира страна, откуда не возвращаются и откуда мы все же вернулись, была образом жизни. Русский лагерь принудительного труда отличается от немецкого концлагеря прежде всего тем, что он является в первую очередь экономическим учреждением и лишь во вторую — инструментом террора. Когда тайна раскрылась, произошла романтизация лагеря: он превратился в притчу нашего века. Тем не менее лагерный образ жизни был всего лишь очищенным от некоторых условностей концентратом обыденной жизни громадного большинства людей. Насколько проще было поверить в Голгофу, в заговор адских сил, в братство жертв и свирепость палачей, в романтику вышек и прожекторов, словом, поверить в произвол, чем допустить удручающую непроизвольность этого ада. Между тем этот ад был необходим. Представить себе историю страны без системы организованного принудительного труда так же невозможно, как представить себе ее географию без усеявших всю карту империи лагерных княжеств и королевств. Ее экономическая мощь, созданная в неслыханно короткий срок, могла возникнуть лишь на внеэкономической основе. На протяжении тридцати лет, с середины двадцатых годов, когда лагеря заключенных стали превращаться из репрессивных учреждений в экономические, до середины пятидесятых, не было ни одной из ведущих отраслей промышленности, где с неизменным успехом, с ничтожной себестоимостью, планомерно и плодотворно не эксплуатировался бы труд узников. Превращение отсталой России в индустриальную державу первого ранга было бы немислимо без этой системы; грандиозные свершения социалистического строительства были в немалой степени достижением лагеря. История концентрационных лагерей начинается с Кубы и Южной Африки, с последних лет прошлого века, но лагерь как экономическая формация — не предусмотренная Марксом — был изобретением нашего отечества. Тут мы держим безусловный приоритет. Лет тридцать назад кто-то предлагал соорудить мемориал «жертв культа личности». Можно было бы воздвигнуть статую Неизвестного заключённого с надписью: «Строитель социализма».

В памятной записке Лейбница, врученной около 1710 года русскому посланнику в Вене для передачи царю Петру I, был набросан чертеж — две реки соединены прямой линией в районе Царицына, в том месте, где они подходят излучинами друг к другу: проект судоходного канала длиной около ста километров. Через два с половиной века этот проект был воплощен в жизнь заключенными Волго-Донского исправительно-трудового лагеря. Каналы и водохранилища, города и гавани Европейского и Азиатского Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, железные дороги, проложенные через тундру и тайгу, аэродромы, заводы, металлургические комбинаты, угольные копи и медные рудники в Казахстане, урановые рудники на Новой Земле, освоение огромных территорий, Воркута, Норильск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Беломорско-Балтийский водный путь и высотное здание Московского университета на Ленинских горах — все это воздвигнуто, создано, благоустроено под дулами винтовок и автоматов, трудом и потом подневольных строителей, энергией и талантом заключенных инженеров, гением и фантазией работавших в заключении ученых. Напротив, упадок и одряхление экономики, снижение темпов хозяйственного роста, зависимость от иностранной помощи, нараставшая за последние двадцать лет, — очевидное следствие деструкции лагеря. И, может быть, есть только один способ радикально поправить дела во все-союзном масштабе: возродить, под другими названиями и на новой технической основе, систему массового принудительного труда.

## 18

### *Вперед! прогресса*

Не требуется особых усилий, чтобы заметить, что лагерь, точнее его элементарная клеточка — лагпункт, представляет собой миниатюрную копию государства, которое его породило.

Это Малое государство, как и Большое, находится под неусыпной охраной; попытка выбраться из него, бежать, даже одна мысль об этом, рассматривается как тяжкое преступление. Первейшая обязанность подданных этого государства — трудиться. Поскольку эта обязанность не вытекает из внутренних потребностей каждого человека, она декретирована извне. То, что делают все, никому в отдельности не нужно; так называемое общенародное благо есть категория, никак не соотносящаяся с реальным благом каждого; чем богаче государство, тем беднее граждане, чем оно сильнее, тем они несчастнее. Лагерное государство есть царство отчуждения, и в этом смысле лагерь лишь доводит до крайности то, что свойственно всей стране в целом. Лагерь — модель русской жизни.

То, что труд здесь принудителен, не является следствием беззакония, но обусловлено самой природой этого общества. Труд является «делом чести, делом доблести и геройства». Именно поэтому все надежды, все помыслы и стремления граждан направлены к тому, чтобы увильнуть от работы. Новый стимул получает старинная ненависть к труду, завещанная веками крепостного права, и поистине небывалого совершенства достигает в этом государстве искусство «темнить» — делать вид, что работаешь. Это искусство становится правилом жизни и натурой людей; но зато и целый штат специально занят выслеживанием и разоблачением симуляции: существует особый социальный слой, страга лиц, обязанность коих — заставлять работать других. В этом заключается смысл карьеры в лагерном государстве: из разряда тех, кто везет воз, пересечь в разряд погоняющих,

При таком условии им гарантируется почти узаконенное безделье. Безработицы в том смысле, какой это слово имеет в других странах, лагерное государство почти не знает: там, где труд — наказание, безработица может быть только наградой. Таким образом, в лагере принудительного труда, как ни странно, можно совершенно ничего не делать; можно палец о палец не ударять, не заботиться о еде и одежде, можно иметь слуг; социалистический лагпункт живет под девизом: «Кто не работает, тот не ест, а жрет». Расстояние между хозяевами и слугами в масштабе этого микрокосма не меньше, чем расстояние между партийными бонзами и обычными гражданами в Большом государстве. Но для массы действует легальная часть вышеупомянутой формулы. Подкреплением трудового энтузиазма, точнее, его залогом служит тюрьма. Внутри лагерной зоны находится окруженный собственным забором изолятор. По утрам, после развода, нарядчик и надзиратели ведут в тюрьму «отказчиков». Никому, однако, не придет в голову разбудить и выгнать на работу заплывшего жиром культорга, каптера, заведующего столовой, хлебореза или какого-нибудь опухшего от неподвижности главаря урок — «вбра в законе», стоящего вместе с остальной элитой над законом.

Можно было бы во всех подробностях проследить, каким образом представлены на лагерном пункте главнейшие стороны жизни государства, как и его силы: армия (наружная охрана), полиция (надзиратели), идеология (культурно-воспитательная часть), наконец, секретная служба, которую на лагпункте олицетворяет оперативный уполномоченный, именуемый тут, как и по всей России, кумом. Кум дает особую тональность лагерной жизни, в которой подозрительность и недоверие людей друг к другу составляют норму поведения, ожидание предательства естественно и самый факт доноса или провокации никого не удивляет. Невидимое присутствие кума ощущается везде. Запертый в своем каби-

нете, с отдельным входом и выходом, со стулом в углу для допрашиваемого, обложенный папками дел, оперативный уполномоченный — таинственный хищник — представляет в своем лице ведомство, стоящее в стороне от всех и над всеми; в некотором смысле он важнее самого князя-начальника лагпункта. Однако острием пирамиды является все же начальник: аналог Великого друга, Учителя и Вождя.

Две черты нашего времени достигают в лагере крайней степени: перенаселение, которое выражается в том, что человек нигде не может остаться наедине с собой, и вдвойне удивительно в стране, где так много места, — и огосударствление всей жизни, полное и окончательное порабощение человека чудовищем без имени и лица, над которым в конечном итоге никто не является господином, но которому служат все. С этой точки зрения можно сказать, что Россия, предвосхитившая окончательное торжество бюрократии, действительно шагает впереди цивилизации, обогнав всех. Но, заглянув в лицо этому знаменосцу, мы вновь убеждаемся, что он стар. Стар, как Мафусаил.

Я назвал эти организмы королевствами не для красного словца. Лагерь в самом деле напоминал феодальное государство, где власть центрального государя — в нашем случае начальника Главного управления Унжлага в Сухобезводном — скорее номинальна, во всяком случае никак не чувствуется, а сам государь, существуя на правах Бога, мыслится достаточно отвлеченно как персона, облеченная сверхчеловеческими полномочиями и потому непосредственно на людские дела не влияющая. Настоящим хозяином, отцом и владыкой судеб является ленный вассал — начальник лагпункта, который наделен вполне человеческой и почти неограниченной властью. Но власть эта — от Бога, ибо никому не ведомы юридические установления, по которым именно он, а не кто-нибудь иной, вершит дела; никому не подотчетны мотивы, следуя которым он направляет ладью своего маленького государства по единственно верному и в общем понятному всем руслу. Фигура начальника лагпункта, возвышаясь на крыльце вахты, откуда князь обозревает свой народ и виден народу, внушает ужас, покорность и своеобразную любовь. И пока тарахтит оркестр музыкантов в бушлатах, пока нарядчик выкликает бригады и пары одна за другой выходят из ворот, пока идет утренний шмон за вахтой, пока, сидя на поджарых задах, хищно зевают, изрыгая пар, караульные овчарки, а наверху, над вахтой и воротами, обняв свою аркебузу, топочет валенками черноглазый солдат-мусульманин в тулупе и вся вышка скрипит от мороза, — пока все это идет своим однообразно заведенным чередом, крепостное войско и крепостной люд читают на грубом, мясисто-красном лице удельного князя отцовский гнев и отцовскую милость, и в самих звуках его пропиного голоса народ улавливает свирепый юмор, свирепую волю и тот из-

вечный самодержавный абсурд, который всегда находит странный отклик в народной душе. Ибо залогом нерушимости феодального порядка служит и сам этот порядок, и феодальная психология подданных.

К этому нужно добавить и военную организацию лагеря, — в военине всегда есть что-то средневековое, — и, конечно, географию: редкие лагерные селения, затерянные среди тайги и болот.

Высокий тын, дощатые ворота, вышки, придающие лагерной зоне сходство с сибирской сторожевой крепостью семнадцатого века, поодаль хоромы князя, службы и лабазы, изба для стрельцов. Баня, какие строили при Василии Третьем. Запах дегтя, навоза и человеческих экскрементов, откуда-то доносящийся запах вареной конины. Ватные зипуны, лапти, фантастические рыжие валенки из эрзаца, расширяющиеся книзу, с задранными носами, словно полозья; одинокие бесконвойные, точно нищие странники, бредущие вдоль дороги, колонна сопливых подростков, у которых под мышками сквозь прорехи, из дыр, прожженных возле костров, выглядывает нагое тело: бушлат и руины штанов выданы «на сменку» великодушным победителем — взамен проигранного в карты, ночью, на нарах в тусклом бараке. Темнолицые деревенские женщины, промышляющие возле лагпункта, с певучим выговором, с плетеным коробом за плечами, смиренные, неожиданно смешливые, хитрые, мягкосердечные, распутные. Вечное чавканье под ногами, полгода снег, красное, как арбуз, солнце и кольцо леса на горизонте. Поистине это был другой век.

## 19

### *Полуночное бракосочетание*

«Нет, это невозможно... Тысячелетние предчувствия не могут обманывать. Россия, страна верующая, не ощутит недостатка веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своего призвания и не отступит перед своим назначением. И когда же это призвание могло быть более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными буквами на этом небе, омраченном бурями... Запад исчезает, все гибнет, все рушится в этом общем воспламенении... И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающе святым ковчегом эту империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, сынам ее, являть себя неверующими и малодушными?»

Читаешь и думаешь: можно ли было злей посмеяться над нашей страной... Что сказал бы он сейчас, этот оратор, если бы высунулся из гроба? Хлопнул бы крышкой, и больше бы мы его не видали. А ведь это

был Федор Иванович Тютчев. Была ли его фантастическая вера, подогретая зрелищем баррикад 1848 года, выражением подлинной любви к родине? Я бы хотел знать, что значит быть патриотом.

Иногда начинает казаться, что все слова потеряли смысл. Один из самых опасных и труднопреодолимых соблазнов — применить к жизни страны категории человеческой жизни. Трудно найти историка или философа, который не поддался бы этому соблазну, оперируя такими понятиями, как нация и народ. Страх и надежда, юность и увядание, свобода, необходимость, предназначение, судьба — потому лишь не пустые слова, что они осознаются как нечто неотделимое от личности, как лики нашего «я», и все еще позволяют нам, говоря словами Хайдеггера, жить в истине бытия. Философствовать о судьбе страны и ее предназначении, о прошлом и будущем целого народа — не значит ли злоупотребить метафорой, которая и без того уже принесла так много вреда: вернуться к представлению о нации как о личности со своей «душой» и «судьбой»? Вместо того чтобы сказать себе: вот действительность, вот факты, вот географическая территория, на которой проживает столько-то миллионов человек, более или менее довольных жизнью, более или менее несчастных, людей, которые принадлежат единому государству, говорят на одном из существующих в нем языков, воспитаны в более или менее унифицированной системе понятий, ценностей, предрассудков, но в огромном большинстве своем вовсе не помышляют ни о прошлом, ни о будущем своей страны, ибо им хватает собственных повседневных забот, людей, чья историческая память едва ли выходит за пределы их личной жизни и жизни их родителей, — вместо трезвого взгляда на действительность является некий образ, рождается историсофский фантом, запекает миф. Поэты, композиторы, словно сирены, подхватывают его один за другим, поколения мыслителей, которых правильной было бы назвать рапсодами, погружены в какой-то транс, священный ужас, охватывающий душу в предчувствии истины, которая где-то рядом, но остается неуловимой. Блок говорит о России: «Жена моя!» Бледный, словно опоенный каким-то зельем Бердяев, закрыв глаза, с дергающейся щекой, вещает Божий замысел о русском народе, Достоевский в Дрездене, между двумя припадками священного недуга, ночью, в мертвой тишине уснувшей гостиницы пишет главу «Бесов», которая так и называется: «Ночь». И как будто в театре, все погружается в мрак. Тонет и исчезает Европа, Седан, франко-прусская война и пленение французского императора. В тусклом сиянии настольной лампы на сцене вырисовывается бедная комнатка в мезонине пустого дома на Богоявленской улице, где происходит ночной разговор между Шаговым и Ставрогиным. Тому, кто жил в провинциальных русских городах, легко представить себе и влажный, «темный, как погреб» сад, куда вышел Николай Ставрогин, отправляясь к Шатову, и грязные неос-

вещенные переулки Заречной стороны, и эту Богоявленскую улицу; по крайней мере в Калининe, прежде называвшемся Тверью, где, по видимому, происходит действие «Бесов», многое выглядит точно так же и сто лет спустя.

Есть нечто наркотическое в этих страницах, на которых, как на стенах комнаты, пляшут жестикулирующие тени. Это — ночной разговор о том, что народ есть тело Божье, а Бог — синтетическая личность русского народа. И невозможно понять, где кончается наваждение идей и начинается наваждение всей этой обстановки, блеск лампы, глухие голоса, скрип половиц и бесконечный дождь за окном, глухой осенний дождь, какой бывает только в России. Этот свет на столе — последнее пристанище, дом, якорь. Шатов, как сводня, соблазняет Ставрогина мистическим совокуплением с Русью. Там, снаружи — тьма и непогода, и рыщут бесы, и бродит убийца, сбжавший с каторги. А здесь сладкая судорога самоотдачи и забвение. Русь — огромное тело, теплое тело женщины. Погрузиться в него без остатка, раствориться в нем. Отказаться от суверенитета собственной личности. Вот условие спасения. Заплатить за него надо свободой. Ни один русский писатель ни до, ни после Достоевского не сделал так много для того, чтобы воссиял русский миф; ни один русский писатель так не скомпрометировал этот миф. Но система взаимоисключающих оппозиций, мышление в категориях «или — или», черта, присущая в этой стране не ему одному. Или эротика национализма, или аскеза одиночества. Или мистическая оцепенелость перед идолом «почвы», самоотождествление с народом, с его внеисторической, темной и безотчетной правдой, мистический брак с родиной, и тогда я уже никогда не буду свободен. Или свобода. Но тогда я навсегда один. Вот к чему, собственно, сводится представление о нации как о высшей экзистенции, вбирающей в себя все частные экзистенции, всех нас без остатка, и сегодняшний русский национализм ничего к этому представлению не прибавил.

Замечательно, однако, что он не сумел его скомпрометировать. Этот новый национализм, болезненным цветом распавшийся в последние десятилетия в художественных и литературно-философских кружках обеих столиц частью на поверхности, частью в подполье, душный и затхлый, в сущности не сделавший за сто лет ни одного шага вперед, — при всем его очевидном эпигонстве не сумел окончательно лишить очарования «русскую идею». Состарившись, она несколько не подурнела и кажется еще соблазнительней. Дело в том, что опспорить националистический миф невозможно: его *raison d'être*<sup>1</sup> носит почти физиологический характер. Миф этот сросся с нерушимой догмой российской имперской государственности, облекающей русский на-

---

<sup>1</sup> здесь: оправдание (*франц.*).

род, словно богатыря, в шлем и латы, но его внутренняя, скрытая в подполье разума и неистребимая основа находится по ту сторону каких бы то ни было политических, идеологических или философских соображений. В своем глубочайшем ядре он неуязвим. Архетип народа как единого живого тела, вневременный, неизменный в смене правительств, режимов, эпох, — возможно, выражает то, что внутренне очевидно для каждого, кому выпало счастье или несчастье родиться и жить в России: ощущение интимной связи между собственной жизнью и страной. Больше того: переживание страны как некоторого продолжения собственной личности. Если это так, то «Божий замысел о русском народе» вновь обретает резон и смысл.

## 20

### *И этот из них*

Существует общественная группа, которая сделала своей профессией истолкование этого замысла. Но прежде чем идентифицировать себя с этой группой, до сего дня не уставшей философствовать о судьбе русского народа, нужно понять, что никакая идентификация с народом для этой группы невозможна. Страна как продолжение личности, — превосходно. В конце концов и официальные изъявления патриотических чувств сводятся к тому же: судьба Отечества — это моя судьба. Следовало бы, однако, ответить на вопрос: с какой же все-таки частью — или органом — гигантского российского организма мы готовы себя отождествить? С каким классом? С каким социальным этажом? С какой национальностью? — ибо в конце концов Россия состоит не только из русских.

Автор этих заметок задал себе такой вопрос лет сорок назад, и ни тогда, ни позже не сумел на него ответить. Думая о классовой структуре общества, о классовом сознании и классовой борьбе, которая, как нас учили, составляет сущность истории, я испытывал стыд и разочарование: никто из моих близких, ни мой отец, ни его друзья, ни наши родственники, не говоря уже обо мне самом, очевидным образом не могли быть отнесены ни к какому классу. Получалось, что мы какие-то отбросы, до которых замечательная теория попросту не нашла нужным снизойти. Неясным было и место на социальной лестнице. Одно можно было сказать о нашей семье, как, впрочем, и о десятках других семей, населявших наш битком набитый жильцами дом в узком и кривом переулке Старой Москвы: место, которое мы занимали в обществе, было определено однажды и навсегда. Было очевидно, что отец мой не имел никаких шансов подняться наверх, но ему не грозила, по-видимому, и опасность скатиться вниз и стать одним из тех людей, которые во мно-



жестве ходили от одной двери к другой, прося милостыню, грелись в подъезде возле теплых батарей или изучали содержимое мусорного ящика. Тем не менее вопрос, что называть верхом и низом, был не так прост: по одним показателям мы относились к так называемой чистой публике, по другим — к презренному плебсу. Не будучи «народом», мы, конечно, не принадлежали и к тем, кто поставлен над этим народом. Словом, если в идеальном архитектурном проекте социалистического общества для нас и находилось полуподвальное помещение, то оно было скорее придатком, нарушавшим стройность его форм.

Еще сложнее обстояло дело с национальным самоопределением: я выходец из среды, которая носит несколько странное название «пятый пункт». Имеется в виду графа в паспорте. Можно было бы посвятить особое исследование паспорту, этому шедевр административной мысли, назначение которого в СССР отнюдь не сводится к тому, чтобы служить подтверждением, что владелец паспорта есть именно то лицо, за которое он себя выдает. Правильней будет сказать, что роль и значение владельца зависит от того, каким паспортом он владеет. Широко распространенная легенда, будто комбинация букв и цифр, римских и арабских, составляющих паспортный номер, заключает в себе некоторую зашифрованную информацию, которая в свою очередь отсылает к более обширной информации, хранящейся в недрах сыскных учреждений, в таинственной картотеке, где сосредоточены все сведения обо всех гражданах страны, живых и мертвых, — легенда эта, независимо от степени ее правдоподобия, возникла недаром: в ней сокрыта некая фундаментальная истина. Она выражает отношение к паспорту как к священной грамоте, документирующей нерушимый завет гражданина к божеством государства. И нужно сказать, что паспорт, который каждый обязан иметь всегда при себе и предъявлять по первому требованию представителей власти, действительно представляет собой наполовину зашифрованный документ, толкование которого является прерогативой компетентных инстанций.

Существует власть и магия документов. Существует психологический комплекс паспортной неполноценности: к каким только уловкам не прибегает страдающий этим комплексом, дабы увильнуть от встречи с милиционером и необходимости предъявить свой порочный паспорт. Он может не знать, в чем именно состоит эта порочность, в какой графе она упрятана, однако опыт убеждает его, что в его паспорте что-то есть. Неизвестно, чем может грозить ему его неполноценность, ограничитесь ли страж порядка пристальным взглядом и туманным предупреждением или выставит паспортного калеку в двадцать четыре часа из города; но лучше, чем кто-либо, обладатель такого паспорта постиг смысл одиннадцатой заповеди, которую русский народ прибавил к Декалогу Моисея: «Не попадайся на глаза начальству».

Выйдя из лагеря, я получил книжечку с гербом, на первый взгляд ничем не отличающуюся от обычного паспорта. Но на третьей страничке, в графе «На основании каких документов выдан паспорт», было написано: «На основании справки №... и Положения о паспортах». Это и был условный знак, пароль, превращавший мою обыкновенную книжечку в то, что еще сто лет назад в народе называлось волчьим билетом.

Вяснилось, что каждый работник милиции, каждая барышня в паспортном столе, где оформляется прописка, взглянув на эту пометку, тотчас понимала, из каких лесов явился предъявитель сего документа. Пометка, отсылавшая к загадочному Положению о паспортах, которое в свою очередь было основано на еще более секретных решениях и инструкциях, влекла за собой цепь последствий, о которых я мог лишь смутно догадываться: власть документов состоит, между прочим, и в том, что пределы ее неизвестны. Но мы отвлеклись.

К числу паспортных шифров принадлежит упомянутый Пятый пункт — графа о национальности. Покойный Брежнев в свое время сделал вклад в сокровищницу марксистско-ленинской теории, сообщив о появлении «новой исторической общности» — советского народа, но едва ли это открытие означало для партийной, военной и административной верхушки что-либо иное, нежели обновленную формулу русского имперского национализма, который прибегает к интернациональным и наднациональным лозунгам всякий раз, когда требуется подавить национальные амбиции окраин. Фраза о новой исторической общности в последние годы не повторяется. И уж тем более не может идти речи о том, чтобы отменить Пятый пункт, — в стране, где, кроме Старшего брата, имеется более ста меньших братьев разного калибра и отнюдь не одинаковой ценности. Однако в обычном словоупотреблении выражение «пятый пункт» имеет более узкое значение. Как шифр, кодирующий особый вид государственной неполноценности, он означает только одну национальность, причем именно ту, которая парадоксальным образом национальностью не признается.

С национальной идентификацией в моей жизни произошло то же, что и с классовой, и с социальной принадлежностью. Я и тут сидел между двух стульев. Согласно официальному учению о нациях (специалистом по этому вопросу был, как известно, сам Сталин), еврейского народа не существует. Евреи — это обломок чего-то, чего давно уже нет, историческое недоразумение, которое до сих пор почему-то не исправлено, хотя с ним давно уже следовало бы покончить: евреям давным-давно полагалось бы ассимилироваться с русским народом; в то же время их ни в коем случае нельзя смешивать с русским народом, нельзя дать им повод замаскироваться. Подобно некоторым другим аномалиям, подобно самой жизни, которая пред-

ставляет собой досадное исключение из всеобъемлющего и непобедимого Учения, евреи были как бы вынесены за скобки, а в этом состоял, если угодно, философский смысл Пятого пункта.

Практический же, реальный жизненный смысл сводился к совершенно особой идентификации. Странно, не правда ли, что идиотская бюрократия, цель которой во все времена одна и та же — отменить жизнь, — способна подчас ухватить истину, попасть в самое сердце истины. Мистический Пятый пункт, и Положение о паспортах, и, возможно, многое другое, о чем мы можем лишь смутно догадываться, — все было одно к одному. Я принадлежал к особой группе людей и, в сущности, заслуживал совершенно особого паспорта. Вместо всех пунктов и цифр там могло бы стоять только два слова: русский интеллигент.

## 21

### *Две веры*

Определяйте слова, сказал один мудрец, и половина споров станет ненужной. Русское слово «интеллигенция» не имеет эквивалента в западноевропейских языках. Хотя оно более или менее точно воспроизводит латинское слово *intelligentia*, которое встречается еще у авторов первого века, смысл его существенно иной. Интеллигент в России — не совсем то или, вернее, совсем не то, что на Западе интеллект.

Что же именно? К сожалению, совет Декарта в нашем случае невыполним. Полистав словари, убеждаешься, что в определениях, притязающих на научность, исчезло что-то важное. Это «что-то», возможно, и составляет душу интеллигенции. Ибо интеллигенция, это странное порождение русской жизни, не может быть описана ни как чисто социальный, ни как чисто культурный, ни как всего лишь психологический феномен. Если представить себе общественную группу, которая противопоставила себя обществу, если представить культурный слой, стремящийся разрушить культуру, партию, у которой нет лидера, нет устава, нет политического влияния и политических полномочий, если вообразить некий орден, чуждый всякой дисциплине и организации, то, может быть, мы приблизились бы к пониманию интеллигенции. Но не проще ли сказать: интеллигент — это судьба? Удовлетворит ли кого-нибудь такая дефиниция? Допустив, что мы получили возможность опросить русских образованных людей разных эпох, что они думают о себе как об общественной группе, получили бы мы одинаковый ответ?.. И все же общим для всех было бы убеждение, что для того, чтобы понять, что значит быть интеллигентом в России, надо сознавать себя им, надо им быть, совершенно так же, как понять Россию можно только, если в ней живешь.

Итак, согласимся, что в определение интеллигенции входит невозможность дать ей четкое определение, и выразим скромную надежду, что смысл и природа русской интеллигенции, величие и ирония ее судьбы станут яснее для нас, если из темных дебрей нашего опыта мы оглянемся на ее прошлое.

В спорах, которые происходят сегодня в кругу интеллигенции, крайне узком, но единственном, где возможна дискуссия на подобные темы, без конца варьируется точка зрения, которую можно кратко изложить так: революция и новый режим уничтожили российскую цивилизацию. Вооруженная импортной идеологией — марксистской заразой, занесенной с Запада, коммунистическая власть выступила как чужеродная и разрушительная сила. Русское государство, которое пало жертвой заговора и насилия, не имеет ничего общего с возникшим на его развалинах Советским Союзом. Русская культура погибла. Иронический парадокс этой проповеди состоит в том, что она исходит из уст людей, которые самим фактом своего существования свидетельствуют, что важнейшая и, может быть, самая характерная для России традиция, ее внутренний нерв, — не прерваны.

Интеллигенция — явление послепетровского и, следовательно, достаточно позднего времени. В черновых набросках предсмертной оды Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» есть зачеркнутая строфа: «И долго буду тем любезен я народу, / Что звуки новые для песен я обрел, / Что вслед Радищеву восславил я свободу / И милосердие воспел». Человека, упомянутого здесь, можно считать родоначальником русской интеллигенции.

Александр Николаевич Радищев, студент Лейпцигского университета и ученик Мабли и Руссо, от которых он набрался «французской заразы» (как выразилась царица Екатерина), был первым русским писателем послепетровской эпохи, чья точка зрения на положение в стране радикально разошлась с точкой зрения правительства. В 1790 году он напечатал на домашнем печатном станке с помощью крепостных слуг сочинение под названием «Путешествие из Петербурга в Москву» в количестве шестисот пятидесяти экземпляров, был за это приговорен к смертной казни и помилован императрицей, которая заменила виселицу ссылкой в Сибирь.

Книга Радищева никогда не имела широкого распространения и во всяком случае давно перешла из разряда читаемых произведений в разряд почитаемых; но ее первая фраза известна каждому культурному человеку в России. «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Под этими словами могли бы подписаться все поколения интеллигенции; внуками Радищева, сознавали они это или нет, были и поэт-декабрист Рылеев (которому выпало на долю дважды умереть на эшафоте, — повешенный неумелым палачом,

он сорвался и, с разбитым лицом, был повешен снова), и эмигрант Герцен, издатель первого свободного русского журнала «Колокол» с эпиграфом: «Зову живых», *vivos voco*, из «Песни о колоколе» Шиллера, и певец русского крестьянства Некрасов, и бывший социалист и заговорщик Достоевский, ставший монархистом и мистиком национализма.

Если Радищев был дедушкой интеллигенции, то ее отцом стал Петр Чаадаев. От первого она унаследовала сочувствие угнетенным; второй научил ее философствовать. Чаадаев — загадочная фигура, его биография — это чередование пятен света и тени, большая часть его рукописного наследия (он писал по-французски) исчезла, а оставшиеся сочинения даже в России по-настоящему известны немногим. Один из сохранившихся портретов изображает российского европейца двадцатых годов, надменного щеголя в высоких воротничках, с бритым молодежьавым лицом, ледяным взглядом и сверкающим черепом. Питомец Московского университета, блестящий гвардейский офицер, герой войны с Наполеоном, Чаадаев внезапно оставил службу и укатил в чужие края. Возможно, это спасло его от участия в восстании декабристов. В Эрлангене он подружился с Шеллингом и вел с ним долгие беседы, в Париже встречался с религиозным философом и публицистом Ламенне, в Риме стоял в толпе, благоговейно взиравшей на «священного старца в тройной короне». Спустя несколько лет он вернулся в Москву, где вел жизнь одинокого чудака-философа, изредка появляясь в салонах и смущая светскую публику желчными парадоксами. Когда в середине тридцатых годов журнал «Телескоп» напечатал его «Философическое письмо», первый из цикла эпистолярных опытов об историческом пути России, автор был по высочайшему повелению объявлен сумасшедшим, журнал закрыт, а издатель сослан.

С тех пор почти восемьдесят лет ничего из написанного им не появлялось в подцензурной печати. Незадолго до революции цензурные ограничения были сняты, и сочинения Чаадаева, всё, что удалось разыскать, вышли в свет; но в СССР он, похоже, вновь состоит под необъявленным запретом, что, впрочем, следует считать естественным.

«Прошлое России удивительно, ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что только может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот с какой точки зрения следует оценивать русскую историю». Эта впечатляющая декларация государственного патриотизма принадлежит начальнику тайной полиции Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Изречение графа можно было бы перепечатать в «Правде», не изменив в нем ни одной запятой. Чаадаев не мог не быть предан анафеме в тогдашней России; его писания не могли не оказаться под спудом в России сегодняшней. «Я не научился, — говорит он, — любить свою страну с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек мо-

жет быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее...» Что же он видит? Эта страна выпала из мировой истории. Существование нации, подобно жизни отдельного человека, должно иметь какой-то высший смысл, у народов и государств есть свое назначение, которое реализуется в их истории. Россия его не выполнила. Наследница «гнусной Византии», она отлучила себя от великого человеческого единства, каким представлялся философу западноевропейский мир, и обречена на затхлое бездуховное существование где-то на обочине столбовой дороги, по которой шествуют цивилизованные народы. Ее история бессмысленна. Ее прошлое позорно, настоящее малосимпатично. Что же касается будущего...

Стоит заметить мимоходом, что такой взгляд на тысячелетнюю Святую Русь как на страну без собственной культуры и цивилизации был не только не нов, но, что существенней, вовсе не обязательно означал, что на этой стране надо поставить крест. Готфрид Лейбниц писал царю 16 января 1712 года: «По-видимому, высшим промыслом предначертано, чтобы науки, обойдя земной круг, утвердились в России, и Вашему Величеству предстоит стать орудием этого промысла. Заимствуя лучшее из того, что достигнуто по обе стороны от Вас, — в Европе и на Востоке, — Вы еще более усовершенствуете сии блага, а так как во всем, что касается образования, Ваша держава представляет собою как бы лист чистой бумаги, то Вы не станете повторять те ошибки, кои незаметно и постепенно копились в Европе; ведь это все равно что построить новый дворец рядом со старым, который строили, перестраивали, портили и исправляли много веков подряд». Итак, нетронутость цивилизацией как некое преимущество. Как бы ни относиться к такому заявлению, — сколько в нем веры в Россию, в ее будущее! Но явление Чаадаева, этого юноши-старика, само по себе опровергало тезис о доисторической девственности России и отсутствию у нее культурного самосознания: такие мыслители приходят скорее для того, чтобы подвести итог сложному и противоречивому прошлому, чем для того, чтобы гадать о грядущем. Сетования на отсутствие культуры — сами по себе факт культуры. Более поздние из сохранившихся «Писем» и «Апология сумасшедшего» (откуда заимствована приведенная выше цитата) говорят о том, что Чаадаев нащупывал какие-то пути из тупика. Кажется, он считал желательным, чтобы Россия примкнула к католицизму. Порой сквозь отчаяние у него прорываются совсем другие ноты: неожиданная и горделивая уверенность в том, что Бог уготовил России особое, еще неведомое будущее; тогда его охватывает профетический восторг.

Не станем углубляться в чаадаевскую, далеко не расшифрованную метафизику истории; достаточно сказать, что она обозначила момент, начиная с которого русская мысль устремилась по двум магистральным руслам. От московского отшельника берут начало западничество и сла-

вянофильство — два взаимоисключающих варианта «русской идеи», точнее, два рецепта спасения страны. В том, что эту страну надо спасать, что в ней что-то неладно, новорожденная интеллектуальная элита не сомневалась, и это, собственно, и составляло одну из ее отличительных черт. С той поры две веры то и дело сталкивали друг с другом два стана интеллигенции, до известной степени они поляризуют ее по сей день.

Довольно трудно говорить об этих верах, отрешившись от наших сегодняшних представлений. Концепцию западничества можно условно назвать «французской». Она питалась идеями французских просветителей, от которых восприняла идею социального прогресса, понимаемого как постепенное приближение к идеалу народоправства, равенства сословий, свободы и суверенности человеческой личности. В конце восемнадцатого века в столице Петра на левом берегу Невы, по проекту Фальконе был воздвигнут конный памятник царю-реформатору, в лавровом венке, с рукой, простертой к горизонту: там, за стрелкой Васильевского острова — золотой полог зари. «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» В Европе, — отвечали западники. Просвещение народа, отмена крепостного права, конституция. Пока еще мало кто отваживался договорить до конца, что все это значит: что народоправство несовместимо с самодержавием, равенство сословий означает ликвидацию сословий, а суверенитет личности осуществим в этой стране лишь ценой разрушения всей системы вековых институций и ценностей. Прежде надо было решить главный вопрос.

Точку зрения славянофилов, у которых было много общего с иенскими и гейдельбергскими романтиками (следует упомянуть и о сильнейшем влиянии Шеллинга), можно назвать, опять-таки с долей условности, «германской». В этом смысле их источники были свежее. Сама же концепция выглядела нарочито архаичной.

Поэт, философ и историк Алексей Хомяков рассказывает, как однажды в детстве он читал папскую буллу и нашел там ошибку. Он спросил у гувернера, аббата-эмигранта, который учил его латыни и греческому: можно ли считать папу римского непогрешимым, если он делает орфографические ошибки? Этот анекдот, если угодно, скрывает в себе зерно будущего отношения славянофилов к Западной Европе. (К славянофильству восходит и столь распространенная среди русской интеллигенции манера рассуждать о «Западе» *in toto*<sup>1</sup>, смело обобщая весьма разнородные явления и вынося за скобки все, что отличает немцев от французов, французов от итальянцев, континентальных жителей — от англичан; нигде, быть может, единство и целостность Европы не чувствуют так отчетливо, как в России.) Стихи Хомякова хорошо выражают это отношение: «О грустно, грустно мне! Ложится тьма густая / На

---

<sup>1</sup> в целом (*лат.*).

дальнем Западе, в стране святых чудес...». Ассоциация Запада с закатом, угасанием, упадком напрашивается сама собой. Одновременно с Кьеркегором Хомяков видит тупик, в который зашла рационалистическая мысль: этот тупик — философия Гегеля, наиболее очевидное свидетельство разложения отвлеченного, оторванного от основ бытия рассудка. Гегелевское «абсолютное знание» о духе есть самоубийство духа. Истинное знание о мире, постижение его последней тайны лежит по ту сторону логики. Оно требует всех способностей человека; в нем соединены непосредственное восприятие мира, «разумная зрячесть» и вера в Бога. Западному человеку такая полнота знания, такая открытость миру давно уже не под силу. Почему? Потому что Запад отпал от живой веры, от восточного христианства.

Как и у западников, за точку отсчета новой русской истории принимается реформа Петра; но она представляется славянофилам стихийным бедствием, которое обрушилось на мирную, благодатную, православно-христианскую, в высшей степени свое обычную страну. Реформа расколола русское общество, породив оторванное от национальной почвы культурное меньшинство, она стремилась привить нации чуждые ей формы жизни, разрушить самое дорогое — целостное жизнеощущение. Слава Богу, народ не поддался. И ныне истинные принципы христианской жизни сохранились лишь у славян, точнее — у русского народа. К народу, хранителю сказок и песен, носителю самобытной религиозности и справедливой общественности, нужно вернуться, ибо западные нормы социальной жизни и государственного устройства непригодны для России: у нее свой путь.

Символом западничества был Петербург, город, по выражению Аполлона Григорьева, «регулярный», выстроенный русскими крепостными мужиками среди финских болот под руководством итальянских и французских зодчих. Город туманов и влажных ветров, несущих дыхание Атлантики, с прямыми летящими проспектами, гранитными набережными и мостами, с классической стройностью и барочным великолепием Зимнего дворца, чугунным ангелом, обнимающим латинский крест на вершине Александрийского столпа, и золотым шпилем Петропавловской крепости, стерегущей морские ворота России от шведов.

Символом славянофильских упований, напротив, оставалась старая Москва. Москва — древняя столица князей, полувосточная красота которой поразила Наполеона, Москва, сгоревшая дотла и отстроенная заново, чья прихотливая, чувственная, органически национальная женственность противостояла военно-дисциплинарному, мужскому и официальному духу Петербурга; город невысоких домов и кривых, запутанных переулков, в белой кипени яблонь, в зарослях бледнолиловой сирени, в крестах бесчисленных монастырей, город, где в неширокой реке, огибающей кремлевский холм, отражаются башни с орлами и за зубча-



той стеной грозно блещут купола соборов, похожие на древнерусские шлемы, — город, чьи улицы, расходясь лучами, продолжают в почтовые тракты и пропадают в бескрайних просторах России. Сравнение и противопоставление двух столиц, являющих собой как бы два лица национального мифа, на протяжении всего девятнадцатого века было излюбленной темой русской эссеистики, зачином и рефреном вечного спора о двух стезях развития России.

В дальнейшем дороги славянофилов и западников разошлись еще круче: одна линия вела к реакционному православно-монархическому почвенничеству, другая к революционному терроризму «Народной воли». При этом обе носили регрессивный характер. Обе представляли собой «конкретизацию» идеи, другими словами, вырождение более или менее глубокомысленной историософии в достаточно плоскую политическую доктрину. Но не зря предводитель западников, сын русского барина-вольтерьянца и откуда-то вывезенной немецкой девочки-подростка, называл славянофилов *nos amis les ennemis*<sup>1</sup> и сравнивал обе партии, «наших» и «не наших», с византийским орлом, у которого было две головы, и головы эти смотрели в разные стороны, на Восток и на Запад, — но сердце билось одно. У поклонников Европы и апологетов русской самобытности было куда больше общего, чем могло показаться им самим. Это общее предопределило стиль мышления, равно свойственный людям, чьи идейные расхождения подчас достигали такого накала, что каждый мог воскликнуть, как Белинский: «Я жид по натуре и с филистимлянами рядом не сяду!» Теперь они все сидят рядом, за одним столом, но можем ли мы сказать, что нам безразлично, из-за чего они там ломали копьё?

## 22

### *Ибо их есть Царство Небесное*

Тогда-то и сложился окончательно тип русского интеллигента в кружках московских юношей сороковых годов, питомцев университета, перед которым и сейчас еще стоят почернелые фигуры клятвенных братьев Герцена и Огарева; тогда сформировался его нравственный и психологический облик, который с поразительным постоянством, напоминающим постоянство биологического генотипа, воспроизводился в каждом следующем поколении. Черты его сохранились до наших дней. Описать этот тип можно, в известной мере игнорируя историю, и не только оттого, что дать систематический очерк эволюции русского общественного самосознания и его носите-

---

<sup>1</sup> наши друзья-враги (*франц.*).

ля — интеллигенции было бы для автора этих страниц слишком трудной задачей.. Если можно говорить о смысле истории, то он должен находиться вне самой истории. Русский интеллигент девятнадцатого столетия, каковы бы ни были его взгляды на исторический процесс, ощущал себя всецело внутри этого процесса. Вместе с тем он был единственным человеком, для которого поиски смысла жизни были едва ли не дороже самой жизни и разгадка смысла истории — важнее истории. Ему не приходило в голову, что он сам был воплощением этого смысла, который выделила из себя — чтобы не сказать извергла — русская жизнь. Ибо он был ей ни к чему. Здесь заключена суть того, что объединяло людей разных поколений и делало похожими друг на друга бойцов враждебных станов. Будучи носителями смысла, они по необходимости оказывались отлученными от реальной истории, они были лишними, ненужными в этой стране, которая медленно, но неотвратно двигалась навстречу туманному будущему, не слыша их заклинаний и не принимая их жертв. Таков парадокс русской интеллигенции, вытекающий из ее природы; такова драма ее судьбы.

Мы должны представить себе интеллигенцию и «интеллигентность» не только как особый тип сознания, но и как особый образ жизни. Русский интеллигент выработал свои формы общения и быта, вне которых представление о нем останется отвлеченным и которые тоже, как это ни удивительно, дожили до наших дней.

Тургенев рассказывает о том, как он посетил больного, задыхающегося, пылко разглагольствующего Белинского; в разгар спора в комнату входит хозяйка, чтобы пригласить гостя к столу. «Какой обед, — восклицает Белинский, — когда мы еще не решили главного вопроса: есть ли Бог?» Предания в этом роде стали своего рода клеймами, окружающими иконописный лик русского интеллигента.

Одержимость главными вопросами — его отличительная черта, но не менее характерны для него и способ решать эти вопросы, и уверенность, что это можно и нужно сделать сейчас, немедленно, и обстановка, в которой все это происходит. Русский интеллигент как будто на всю жизнь остался студентом. Карьера его не интересует. «Деловитость и интеллигентность, — писал Георгий Федотов, — несовместимы». Русский интеллигент нерасчетлив, «не умеет жить», вечно сидит в долгах. Его темноватая, старая и непроветренная квартира не прибрана, всюду валяются книги. Хозяин неряшлив и ведет весьма безалаберный образ жизни. Все здесь делается второпях и кое-как: кое-как едят, кое-как спят. Любимое времяпровождение — сидение в тесном круту друзей до поздней ночи, за стаканом остывшего чая или рюмкой водки, в папиросном дыму, и бесконечные словопрения.

О чем же здесь говорят, волнуются, кричат до хрипоты? Да все о том же. Уходят годы, и сменяются поколения, но темы не меняются. Россия и Запад, наука и вера, история, Бог, народ. Есть что-то угнетающее в этом бесконечном коловращении русской мысли — и что-то трогательное, почти героическое, словно кучка людей топчется на краю обрыва: идти снова вокруг скалы? взлететь? рухнуть? Слово каждое поколение оставляет следующему одни только вопросительные знаки, гипнотизирующие интеллигента, сохраняющие для него необъяснимое очарование и странную актуальность. Русский интеллигент склонен к смелым, часто скоропалительным обобщениям, он мыслит широкими, слабо очерченными категориями, прозаическая работа мысли, осторожный анализ, неторопливое взвешивание всех за и против — ему не по вкусу. Объекты действительности в его уме превращаются в яркие, почти художественные образы; сам того не замечая, он тяготеет к гиперболизациям и упрощениям. Загипнотизированный идеей или охваченный праведно-разрушительным пафосом, он не слушает возражений. Релятивизм и европейский вкус к компромиссу вызывают у него отвращение. Западные учения и теории усваиваются в виде суммы конечных выводов, мгновенно и решительно принимаются на веру либо столь же безапелляционно отвергаются. История становится историософией, философия превращается в философствование. Религия, искусство, мораль — мешаются в одну кучу. Все это придает мышлению русского интеллигента черты какого-то неистребимого дилетантизма. Но надо понять его роль и место в обществе, чтобы оценить значение этих ночных диспутов, оценить роль интеллигентских кружков в развитии русской мысли и культуры.

Русский интеллигент одинок. Это, можно сказать, его родовой признак, его фатум. Но если враждебность правящей бюрократии, этих каменных уступов власти, кажется ему чем-то само собой разумеющимся, то равнодушие и непроницаемость огромного живущего внеисторической жизнью народа составляет для него источник непрерывных недоумений и страданий.

Причины его одиночества, его неприкаянности в собственной стране понять нетрудно. Преобразования Петра не изменили традиционного — централизованного и авторитарного — характера политической власти в России; напротив, они его укрепили, сотворив в качестве придатка к феодальной аристократии чиновную бюрократию, — и этот придаток становился все могущественней. Условием такой власти могло быть только полное и безоговорочное отстранение огромного большинства нации от управления страной,

Это отверженное большинство называлось в России народом. Провсеченной, диктующей свою волю правителям, свои вкусы — деятелям культуры буржуазии, «среднего класса» в европейском смысле слова, в

России не было. Величайшей и незыблемой опорой бюрократического режима была согнутая в три погибели, широкая и способная вынести любую тяжесть спина русского крепостного мужика. Этот Антей стоял, расставив ноги в лаптях, и смотрел вниз — в землю. Он олицетворял производительные силы страны, он кормил свои трудом и помещика-землевладельца, и чиновного бюрократа, и служителя духа — писателя, художника, интеллигента.

Но если у первых двух это обстоятельство не вызывало угрызений совести, — такой порядок казался им естественным, — то интеллигенту было горько и стыдно. Слишком очевиден был контраст, зрелище социальной несправедливости слишком бросалось в глаза, чтобы русский интеллигент, воспитанный в школе европейского просвещения и либерализма, мог спокойно предаваться ученым или литературным занятиям, служить на государственной службе, наконец, просто жить в свое удовольствие. Надо было что-то делать с этой страной или хотя бы вопрошать себя и других: что делать? «Что делать?» — назывался роман, написанный в одиночной камере Петропавловской крепости, об интеллигентах шестидесятых годов, художественно слабая вещь, которая, однако, произвела на публику огромное впечатление. Вести разумный и равноправный диалог с властью было невозможно, — интеллигенция познала это на собственном горьком опыте. Но и те, о ком она радела, ее не слышали и не понимали. Нечего было и мечтать о том, чтобы разговаривать на равных с крестьянином, чей образ жизни и мировоззрение в сущности не менялись на протяжении нескольких веков.

Так чуть ли не с самого начала интеллигенция осознала тягостную двойственность своего положения. Она сделалась не только мыслящим мозгом общества, но и его большой совестью. Совесть — незванный гость; будучи органической частью общества, интеллигенция оказалась в конфронтации с ним. В итоге интеллигенция, все помыслы которой были устремлены к родной стране, повисла в воздухе. В этом состояло то, что Федотов назвал сочетанием идейности с беспочвенностью. Положение интеллигентов в России до смешного напоминало положение чуждого и окруженного всеобщей подозрительностью этнического меньшинства. Они и говорили на непонятном для всех языке, и вели себя не так, как все. Попытки «слиться» с народом оканчивались плачевно. Когда юные славянофилы сороковых годов прошлого века, следуя своим убеждениям, обрядились в якобы исконно-русское платье, народ на улицах принимал их, по свидетельству мемуариста, за персиян. Когда весной 1874 года интеллигентная молодежь двинулась «в народ» и тысячи петербургских студентов и курсисток, переодетых крестьянками, под видом мастеровых, разъехались по деревням, чтобы открыть глаза на роду на его бедственное положение, — мужики сначала слушали их с не-

доумением, а потом стали доносить на них местным властям, и в конце концов вся рать борцов за народное Благо, мальчишки и девочки, все без исключения очутились в полицейских участках и острогах.

Разумеется, интеллигенту и в голову не приходило винить в подобных недоразумениях простой народ. Лишь изредка он давал волю своей горечи и раздражению. («Нация рабов, сверху донизу все рабы», — говорит автобиографический персонаж написанного в сибирской ссылке романа Чернышевского «Пролог».) Но господствующее настроение было иным. Существует некая доминанта просвещенного русского сознания; ее не назовешь иначе, как культ простонародья. Этот культ наложил печать едва ли не на всю русскую культуру девятнадцатого века: на живопись, музыку и, конечно, литературу. Примеры его бесчисленны. Тургенев признается, что его единственное утешение в дни невзгод и печальных дум о родине — русский язык, и добавляет: но такой язык мог быть дарован только великому народу. Знаменитого романиста не смущало то, что этот народ не в состоянии читать его книги и даже не подозревает об их существовании. Достоевский рассказывает, как в детстве его, перепуганного мальчика, успокоил и приласкал мужик Марей, сильный и добрый крестьянин, шагающий в поле за плугом; это воспоминание вырастает а некий символ, и мужик Марей под пером автора «Дневника писателя» превращается в мифологическую фигуру. В «Анне Карениной» Левин косит траву вместе с крестьянами, я чувство, которое овладевает им и передается читателю, можно сравнить с чувством верующего, когда он причащается святых тайн. Между Толстым и Достоевским не было ничего общего; друг о друге они отзывались сдержанно и никогда не встречались. Но в одном они были заодно, в том, что объединяло всю интеллигенцию. Поразительно, до какой степени были единодушны, в своем поклонении народу люди разных убеждений, бойцы всех станов, и западники, и почвенники, и реакционеры, и юные республиканцы, и замшелые монархисты. И автор «Кому на Руси жить хорошо», и автор «Выбранных мест из переписки с друзьями». И Рахметов, и Шатов. И Лев Толстой, и полубезумный Федоров. Поразительной была эта уверенность, что именно русский простой народ, пусть нищий, пусть невежественный, владеет сокровенной истиной, что только у него надо учиться праведной жизни. Только здесь, в темной избе, где на деревянной лавке, накрывшись тулупом, лежит уставший за день крестьянин, на печи спит его семья, а в углу, перед почернелым ликом византийской Богородицы всю долгую ночь мерцает неугасимая лампада, только здесь приютилось подлинное христианство.

Мы должны с особым вниманием задержаться на этой точке интеллигентского сознания, потому что она повлекла за собой неожиданные последствия. Впрочем, такие ли уж неожиданные? «Коль любить, так без рассудку!» — восклицает граф Алексей Константинович Толстой.

Достоевский признавался, что во всем он доходит до крайности, до предела; черта, свойственная его героям и вообще очень русская черта. Интеллигент в России не довольствовался выражением сочувствия трудовому люду. Его иступленный демократизм принял, по крайней мере у многих и лучших, самоубийственный характер. Его безнадежная любовь влекла его к мученическому венцу. Сострадание к униженным и оскорбленным, желание хоть чем-нибудь им помочь вылились в готовность распять себя во имя любви к своему кумиру, принести в жертву народу все ценности, которыми владел интеллигент. Другими словами, они обернулись враждой к культуре. Поистине здесь кроется какое-то вековое недоразумение, сдвиг понятий, быть может, непостижимый для иностранца. Уважение к человеку труда, прежде всего к крестьянину — всеобщему кормильцу, к нелегкой жизни, которую он ведет, сочувствие к бедняку, — преобразилось в этой стране во что-то совсем другое, стало источником самобичевания и поклонения тьме. Русская жизнь, однако, позволяет понять этот сдвиг. По-видимому, в Европе не существовало столь глубокой пропасти между рабочим людом и людьми духа, не было такого антагонизма между трудом и культурой. И потому нигде так остро не чувствовали, что читать умные книжки, спорить и рассуждать — стыдно, когда рядом с тобой кто-то вкальвает с утра до ночи; нигде труд не был таким проклятием, нигде он не был так прочно соединен с нищетой, нигде не было такого навязчивого сознания, что если ты не всташь засветло, не всовываешь руки в дырявое тряпье и не плетешься на каторжную работу, не пашешь, не сеешь, не надрываешься, не роешь своими ногтями каналы и на своих костях, как на шпалах, не прокладываешь железных дорог, если ты ничего этого не делаешь, то потому, что кто-то делает это за тебя, и, значит, ты со своими книгами, со своими учеными занятиями в уютном и теплом кабинете — дармоед и захребетник. Ни в какой другой стране стыд, уязвленная совесть, сознание неоплаченного долга перед народом не сочетались с такой истовой верой в народ и готовностью стать перед ним на колени.

Нигде слова Нагорной проповеди «Блаженны нищие духом» не были поняты так, как в России, — ибо в России они были поняты буквально. Нигде нищета духа не была окружена таким ореолом святости, ибо противоположное состояние — духовное богатство, сложность и утонченность — связывалось с представлением о богатстве материальном. Русский интеллигент не был богачом. Он мог быть даже полунищим, как Раскольников, и все же каким укором должна была стать в его собственных глазах его чистая одежда, постыдны были его неисцарапанные, не обезображенные тяжелой работой руки, его мягкие манеры, образование, правильная речь. Те же великие учителя, которые заповедали интеллигенту долг служения простым людям, — внушили ему мысль о ненужности всего того, что недоступно этим людям: о тщете

науки, о паразитизме культуры, о греховной сути всякого эстетизма и утонченности, о великом грехе искусства. Творец «Войны и мира» осудил собственное творчество (за несколько десятилетий до него пришел к той же мысли Гоголь — и швырнул в огонь рукопись второго тома «Мертвых душ»). Достоевский устами своего alter ego Шатова провозгласил народ богоносцем. Завороженная этой наркотической идеей, интеллигенция стала напоминать монашеский орден, секту флагеллянтов и самоубийц. Проповедь Шатова — ответ бесам. Но и сами «бесы» — революционные народники-террористы семидесятых годов — лишь внушали себе и другим, что их зловещие подвиги служат делу освобождения народа, — истинным побудительным мотивом была не польза, а жертвенность.

Русская пословица говорит: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Пропасть между трудом и богатством, укоренившаяся в народе уверенность в несправедном, небожеском происхождении всякого благосостояния были переосмыслены как противоядие труда и культуры. Русская литература, свет и разум страны, взглянула на себя глазами своих любимых героев — косноязычного мужичка-праведника Акима из «Власти тьмы», слабоумной Хромоножки из «Бесов». Парадокс заключался в том, что антикультурная проповедь русских писателей отлилась в формы, которые сами по себе были порождением высокой и изощренной культуры. Но эта культура несла в себе предчувствие гибели ее носителей.

## 23

### *Музыка Революции*

Вражду к культуре можно считать специфически русским явлением. Традиция западноевропейского нигилизма, достаточно поздняя, не имеет с ней ничего общего. Ничего подобного, кажется, не знали в Европе, где можно было ставить вопрос, хороша или нет та или иная философия, но никому не приходило в голову, что само по себе занятие философией предосудительно, что искусство — роскошь, оскорбляющая бедняков, а наука — развлечение для праздничных болтающих. На Западе, в «стране святых чудес», занимались логическим обоснованием веры и нравственности. На Западе сменяли друг друга век Возрождения, век Разума и век Просвещения. На Западе прозвучал светлый, как хрусталь, голос Паскаля: «Все наше достоинство — в разуме, будем стараться правильно мыслить, вот основа морали». В России же, чтобы не обидеть народ, уверяли себя и других, что культура есть зло, что ум и просвещение — орудие дьявола; в России думали, что если Христос обратился к ученикам со словами: «Будьте как дети...», то это значит, что надобно в

самом деле вернуться к детской непосредственности, к букварям и сказкам, что размышление губит веру, дух враждебен морали и условием праведности может быть только отречение от мысли.

И в конце концов, охваченная мазохистским восторгом, русская интеллигенция подожглась и сгорела во имя любви к народу, а народ этого даже не заметил, и тощие коровы сожрали тучных, но сами не стали толще, и кривые избы, повалившиеся заборы, безмерные расстояния, грязь, скука, холод и невылазная нищета сгубили все, отравили всякую радость жизни, выгравили или поставили под сомнение все свежее, сильное, свободное, оригинальное и талантливое: под бременем беспросветной бедности все это стало казаться непозволительным и непристойным, как непристойно было бы, говоря словами Толстого, танцевать, идя за плутом.

История безответной любви — вот как можно было бы назвать полтораветковую историю русской интеллигенции, и, как многие истории такого рода, она окончилась самоубийством. «Если ненавистное счастье истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земле не останется..., тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъять у тебя тщатся. Умри». Александр Радищев, написавший эти слова, избежавший смертной казни, взамен которой он провел семь лет в Восточной Сибири, наконец, вернулся — и принял яд. Поистине эта смерть (1802 г.) была пророческой. С сороковых годов XIX века, начиная с собраний тайного социалистического кружка, которые посещал молодой Достоевский (приговоренный к повешению, согласно определению генерал-аудиториата, за чтение и распространение знаменитого письма Белинского к Гоголю; весь церемониал публичной казни в Петербурге 22 декабря 1849 года — размер эшафота, одежда осужденных, барабанный бой, священник, преломление шпаг, облачение в белые рубахи и пр., — был распisan самим царем, вплоть до появления в последнюю минуту гонца с известием о помиловании и замене казни четырехлетней каторгой), — с 40-х годов все легальные и нелегальные оппозиционные и революционные группы были группами интеллигентов. Даже партия, которая называла себя рабочей, состояла из интеллигентов; Ленин, не упускавший случая подчеркнуть свое презрение к «гнилой» и «дряблой» интеллигенции, сохранил характерный облик, манеры и выговор старорежимного интеллигента. Но революция, на которую молилась интеллигентная молодежь, которую она раздувала изо всех сил, — стала ее самосожжением. Жертва, которой жаждала интеллигенция, состоялась. Новая власть в кратчайший срок осуществила то, чего старая не сумела добиться за целое столетие; две силы, между которыми находилась русская интеллигенция, одинаково враждебные ей, — власть и народ — сдвинулись наконец и раздавили ее.



И нельзя сказать, чтобы интеллигенция этого не предчувствовала. Больше того, она как будто знала это заранее. По крайней мере за два десятилетия до переворота Семнадцатого года, и в особенности после неудавшейся революции 1905–06 гг., ожидание пожара, опьянение сознанием близкой гибели охватило мучеников мысли и совести. «Не приведи Бог, — когда-то писал Пушкин, — увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Отец Достоевского, владевший небольшим имением, человек жестокого и необузданного нрава, был убит своими крепостными; по некоторым сведениям, он был подвергнут изощренной казни (ему раздавили тестикулы). Сын становится заговорщиком и приговорен к смертной казни правительством. Какой удивительный поворот семейной судьбы, рифмующийся с судьбою страны. В 1908 году, в статье «Народ и интеллигенция» Александр Блок сравнил два стана, «полтора ста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч — с другой», с замершими друг против друга, по обе стороны повитой туманом реки противниками, полчищем татар и дружиной князя Дмитрия Донского. Этот образ повторяется в цикле «На поле Куликовом»:

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами  
Степную даль.  
В степном дыму блеснет святое знамя  
И ханской сабли сталь.

Революция — смертельное объятие интеллигенции и народа, апофеоз самоубийственной любви, искупительная жертва... Была ли эта жертва оправдана? Быть может, ирония судьбы, жестокая ирония русской истории выразилась в том, что возмездие, постигшее интеллигенцию, было заслуженным? Уже спустя несколько недель после октября Семнадцатого года интеллигенты растерянно спрашивали себя: что происходит? Народ — солдаты, возвращающиеся из окопов, крестьяне, мастера, сельская и городская гольтба, — склонен был отождествлять их со вчерашними хозяевами. Справедливо ли? Смешно спрашивать. Народ всегда прав. Или всегда неправ. Сказалась вековая ненависть к белой кости, к белоручкам в пенсне и сюртучках, к образованности и культуре. А новое государство — и это становилось все яснее с каждым днем — своей жестокостью оставило далеко позади старый самодержавный строй. Но интеллигенция была готова воспринять эту жестокость как расплату за грехи прошлого. Она все еще была охвачена апокалиптическим восторгом. «Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую не много равных себе по величию», — писал Блок в 1918 году. Его собственная усадьба в Подмоскowie была разграблена крестьянами,

библиотека сожжена. Величайший поэт русского двадцатого века призывал «слушать музыку Революции» — это что-нибудь да значило. В августе 1921 г. он умер, потеряв рассудок, распухший от цинги, крича от болей. Почти одновременно был расстрелян по неподтвержденному обвинению в причастности к монархическому заговору Николай Гумилев. В 1922 году по распоряжению Ленина из страны была выслана большая группа писателей, философов и ученых — цвет тогдашней русской интеллигенции. Это была гуманная мера. Другие — многие тысячи блестяще образованных и одаренных людей — окончили свои дни в подвалах следственных тюрем и лагерях.

Вместе с этими последними римлянами гуманитарная культура страны утасла, казалось, навсегда. Ее заменила всеобщая грамотность и идейно-политическая унификация. В лице нового привилегированного слоя режим приобрел черты общественного порядка, который древние называли охлократией, владычеством черни; можно добавить, что эти черты он в большой мере сохраняет по сей день. На протяжении многих десятилетий после смерти Ленина ни один из руководителей страны не имел иного образования, кроме начального, не был в состоянии правильно говорить по-русски. Сочинения Сталина даже в отредактированном виде удивляют своей примитивностью; о безграмотности Хрущева ходили легенды; героические усилия, которые предпринимал Брежнев, чтобы произнести такие сложные слова, как «социализм» и «капитализм», напоминали муки господина Журдена. Ближайшее окружение вождей, а за ним и вся партийная и государственная бюрократия подстраивалась к этому эталону, так что порой казалось, что фраза Ленина о том, что кухарка будет править государством, подтвердилась: хотя кухарка так и не стала Генеральным секретарем КПСС, тем не менее культурный уровень правящего класса приблизился к уровню Кухарки. Слова «интеллигент» и «интеллигентский» на долгие годы остались бранными эпитетами. Культурная революция обернулась одичанием. Духовный стандарт общества упал так низко, что страна стала напоминать древнюю империю, завоеванную варварами; этими варварами, однако, были ее собственные дети. Руины взорванных и загаженных церковей выглядели последними полумертвыми свидетелями рухнувшей цивилизации. Времена, когда русская литература покорила мир, казались античной древностью; ее место заняла убогая советская литература. Ничего не осталось от изумительного искусства, от оригинальной философии русского Серебряного века. Не было больше ни творцов, ни носителей, ни потребителей этой культуры.

И, однако, Феникс воскрес. Он восстал не из пламени, не в столбе света, ослепившем мир, и даже не из золы. Из ничего.

## *Реквием по исчезнувшему народу*

Может быть, это и есть самое удивительное, что демонстрирует нам поздняя осень русской истории: возрождение интеллигенции. Много, очень много изменилось. До неузнаваемости перестроилась структура, переменялся самый облик русского, ныне советского общества. «Народ» исчез. Этот священный пароль интеллигенции, слово, под которым подразумевалась в первую очередь компактная масса патриархального русского крестьянства и в меньшей степени — бедный городской люд (сохранявший, впрочем, связь с деревней и крестьянскую психологию), плохо подходит к нынешнему населению СССР, где сельские жители составляют меньшинство, а земледельцев в собственном смысле и того меньше. Оно поголовно грамотно, в огромном большинстве своем безрелигиозно и подвергается ежедневному и повсеместному воздействию государственных средств массовой информации (или дезинформации). К этому надо прибавить возросшую роль и активность национальных окраин. Как и прежде, вершину и основание государственной пирамиды образуют русские. Но они составляют лишь около половины населения страны. В целом метаморфоза столь велика, что еще сорок лет назад Георгий Федотов считал возможным говорить о формировании новой нации: он сравнил судьбу русского народа с участью греков IV века, чуть ли не на глазах одного-двух поколений превратившихся в другой этнос — в византийцев. И все-таки!

Я понимаю, что попытка реконструировать социально-психологические типы прошлого — или, проще говоря, чтение русской классической литературы — создает опасный соблазн. Соблазн отождествить себя с благородным предком, если не попросту изобрести для себя родословную; соблазн пренебречь историей и просто забыть о том, что с нами стряслось за последние шестьдесят или семьдесят лет. Но уже само по себе желание заглянуть в потускневшие зеркала истории в надежде увидеть там свое отражение, свидетельствует о восстановлении оборванных связей. Нечего и говорить о том, что нынешняя интеллигенция дышит совсем другим воздухом, чем старая. Выросшая в закрытом обществе, она заметно уступает ей в собственно культурном отношении; даже лучшие ее представители не свободны от некоторого провинциализма. Зато она располагает уникальным опытом жизни в условиях тоталитарного государства и со снисходительной горечью, с умудренностью взрослого зрителя на иные игры и увлечения западных интеллектуалов.

Все изменилось, и все повторяется, и сто лет спустя мы напоминаем самим себе старых русских интеллигентов, если не дворян, то разно-

чинцев, московских вечных студентов восьмидесятых годов XIX века, мы перениjali их образ жизни, их неряшливость, их неблагополучие и тоску, их любовь к полуночным словопрениям над остывшим чаем. Бог знает, откуда это взялось, ведь столь многие из нас — не русские по крови. Говорят, однажды во Франции небывалый мороз уничтожил виноградники, но была привезена из-за моря и посажена американская лоза и дала такое же вино, как было прежде. Так и новые российские интеллигенты — наследники тех прежних, хотя мороз покалечил всю поросль и топор вырубил ее корни.

Интеллигентов немного, во много раз меньше, чем просто людей, окончивших высшую школу. Но они находят друг друга. Внутренние разногласия дробят их на более или менее обособленные группы, но все они едины в своем презрении к тирании. Беспомощные и уязвимые, как всякий, кому оружием в жизненной борьбе служат мысль и слово, они находят в себе силу противостоять мертвящему окружению и в сущности неистребимы. Это она, все та же или почти та, ничего не забывшая, но и многому научившаяся русская интеллигенция, с ее неповторимым и невозможным ни в какой другой стране духовным складом, неумением существовать в шорах определенной профессии, специальности, ученой или литературной карьеры, с ее особой религиозностью, редко конфессиональной, чаще выступающей в одежде религиозного свободомыслия либо агностицизма, с ее одержимостью историософскими проблемами, которые она причудливо мешает с политикой, с ее неизлечимым дилетантизмом, другое имя которому — универсализм. Именно в этой среде, в немногочисленных, но достаточно многочисленных интеллигентских кружках, сосредоточенных в крупных городах советской империи либо перебравшихся за рубеж (дробление интеллигенции на внутреннюю и эмигрантскую — традиция столь же давняя, как и существование самой интеллигенции), идет невидимая внешнему миру творческая работа, которая может показаться безнадежной и бесперспективной, но которая представляет собой единственную форму духовной жизни, заслуживающую этого названия.

Научилась ли интеллигенция чему-нибудь в самом деле, вырвалась ли она из заколдованного круга изживших себя проблем? Оставим этот вопрос без ответа. Поборники русского национализма почти дословно повторяют ходы мысли православного русского почвенничества столетней давности. Так называемые новые христиане вернулись в церковь, чтобы запереться там от ветра и холода, от жестокого государства, от страшного века концлагерей и ракет. Обличители бездуховного Запада продолжают проповедь Хомякова с опозданием на сто пятьдесят лет, когда и «Запад» уже не тот, и мы не те. С другой стороны, и движение в защиту прав человека, разгромленное еще при Брежневe (сегодня тайная полиция и политическая психиатрия успешно добивают его остат-

ки), поразительно напоминает демократические и освободительные движения интеллигенции прошлого века со всеми их пороками и слабостями. Но сколь бы сильно ни давало себя знать происхождение современной интеллигенции, от одного наследственного недуга она — или во всяком случае ее демократическая и прозападная часть, — по-видимому, исцелилась: от веры в народ. От страстной и слепой веры в то, что народ является бессознательным носителем высшей истины и нравственной красоты, последней инстанцией добра и правды — Мучительный роман интеллигенции с народом окончен. В социальном плане это означает осознание глубоких перемен, совершившихся в обществе, в психологическом — избавление от эротической тяги к народу, от жажды раствориться в темной и безличной народной стихии. Существенная перемена в самосознании интеллигенции или, по крайней мере, ее значительной части состоит в том, что она не чувствует себя более обязанной ни власти, ни народу, не испытывает желания быть чьим-либо слугой, не стремится удобрить собой национальную почву, но начинает — если я не ошибаюсь — ощущать себя истинным субъектом истории. Насколько оправданы такие притязания? Кто придет вослед нынешним, уставшим от бесцельной борьбы, бежавшим за границу или притаившимся по своим углам? Что придумают завтрашние интеллигенты, те, кто сегодня покорно плетутся в школу и пропускают мимо ушей то, что им говорят, кто читает Священное писание русской литературы и вычитывает из него недвусмысленную крамолу? Снова ли вырвется наружу, как пламя из-под земли, революционный терроризм? Удовлетворятся ли образованные люди, как во времена Чехова, практикой малых дел, незаметной, терпеливой культурной работой? Только живя в государстве, где любые проявления солидарности тотчас привлекают внимание вечно неспящего полицейского ока, можно оценить чудо воскресения русской интеллигенции. И если для этой страны остался шанс когда-нибудь занять подобающее ей место в кругу свободных народов, — этот шанс можно связывать только с интеллигенцией.

## 25

### *Миф Россия*

Вот я сижу и в который раз перебираю свои безутешные мысли. Перелистываю свои старые тексты и вижу, что ничего не изменилось. Я думаю о моей стране и о том, что такое я сам перед лицом моей страны. Я знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я воспринял бы феномен этой страны лишь как более или менее возвышенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта страна огромна, хаотична и разнолика, что ее пространства не вмещаются в мое вообра-

жение, что ее история несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, что она для меня просто не существует. И что на самом деле я сопричастен лишь некоторой эмпирической реальности, более или менее неприглядной, и вопрос в том, чтобы определить свое отношение к этой реальности, избегая метафизических терминов, таких как Россия, русский народ и проч.

В действительности это не так, и я ощущаю эту страну, всю страну в целом, физически, как ощущают близость родного человека. И оттого, что я сознаю, до какой степени запуталась, до какой невыносимой черты дошла моя жизнь с этим близким мне человеком, я не нахожу в себе решимости свести проблему к простому вопросу перемены квартиры, не могу спокойно обдумать, как мне устроить для себя новый очаг. Мысль о новом супружестве меня не увлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком прирос к своей старой жене. Словом, я одновременно здесь и не здесь, там и не там, и в сущности говоря, ни здесь, ни там.

Вспоминая бегство из Австрии, события и людей, и вспоминая, как он пытался их описать, писатель-изгнанник Элиас Канетти говорит о том, что у него было чувство, будто любое понятие, которое он применял к этим вещам, меняло их, и они становились не такими, какими он пережил их когда-то. Можно ли, однако, освободить «вещи» от понятий, приросших к ним, как кожа? И не верней ли будет сказать, что то, что подразумевается здесь под первоначальным переживанием, есть на самом деле вторичный процесс, который совершается в воспоминаниях, что только в воспоминаниях мы обретаем чистый и целостный, не замутненный сиюминутными пристрастиями, не опосредованный никакой философией образ действительности? Быть может, вытесненный в некоторое особое пространство памяти, истинный лик страны только тогда и открывается нам, когда мы покинули ее навсегда? Но как описать его?

«Умом Россию не понять... В Россию можно только верить...». Твердишь про себя эти строчки, точно грызешь заусеницы. Стихи, в которых отчаяние соединено с неявной аналогией нации с Богом. Постигнуть божество рациональными средствами невозможно. Зато в него можно уверовать! Характерное для русского сознания сочетание приниженности и гордыни, почти религиозная вера в Россию, — или, может быть, желание верить?.. Подлинная вера не требует доводов, не нуждается в подтверждениях. Но на чем держится этот колосс? Не один я ломал себе голову над этим вопросом, и уже то, что его задает себе одно поколение за другим, представляет замечательную особенность страны. Почему она до сих пор существует? Все, что сказано выше о российской государственности, о политическом строе Советского Союза, о массовом образе жизни, должно быть отнесено скорее к отрицательным ценно-

стям коллективного сознания. Я не отрицаю их мощи как организующих и консервирующих факторов. Все же они составляют лишь поверхностный слой, доступный описанию сравнительно простым языком политической истории или социальной психологии. В глубине души дремлет иное — почти невыразимое чувство. Это чувство можно назвать истинной верой.

Существует чувство России. Назвать его патриотизмом или национализмом значило бы свести его к набору шаблонных понятий. Оно свойственно самым разным людям, принадлежащим ко всем этапам общества. Тому, кто не симпатизирует режиму, оно позволяет игнорировать режим; тому, кто кормится его подачками, оно служит оправданием: ибо он всегда может сказать себе, что изменить государству значит посягнуть на Россию.

Это чувство связано с огромностью страны. Если, вслед за Канетти («Масса и власть»), считать, что каждый народ обладает своим массовым символом, концентратом его самосознания, то для России этот символ — дорога и даль. Бесконечная даль, рассеченная пополам дорогой. Можно ехать много дней подряд, и забыться, как забываются под действием чудного наркотика, и почувствовать, как гремящий на стыках, качающийся, словно колыбель, вагон стоит на месте и пространство медленно разворачивается навстречу длинному, в полкилометра поезду, и увидеть, как далеко впереди неустанно работает локомотив; и за окнами будет Россия, и на следующей станции будут снова надписи на кириллице, и в купе войдут люди, разговаривающие на русском языке, и расплакавшийся ребенок будет что-то лепетать по-русски. Можно проехать полсвета, повидать два континента, оставить за собою одну за другой несколько великих рек, пересечь несколько климатических поясов, тундру, тайгу, степь, миновать сожженные солнцем солончаки и въехать в пустыню — и все это будет еще Россия. Существует переживание дали, чувство потерянности и вместе с тем — безопасности, чувство, что за тобой — беспредельное пространство, где можно скрыться, пропасть, где тебя никто не настигнет. Такая большая страна не может погибнуть. Существует русский Бог, существо, мало похожее на христианского Бога, и, конечно, существо, в которое никто не верит; но он существует. Этот Бог ленив и беспечен. Он предпочитает махнуть рукой на все происходящее: авось разберутся без него. Вот отчего в этой стране все идет вкривь и вкось. Но в последнюю минуту, на краю пропасти, перед самым концом, этот Бог вмешается. Он не допустит, чтобы Русь загремела в тартарары. В конце концов, бывало и хуже; а все как-то обходилось. Обойдется, Бог даст, и впредь.

Не революционное прошлое, не гражданская война, не успехи индустриализации служат источником гордости, нет, над всем этим прошлым стоит черная тень. Но подлинным источником утешения, тайно-

го самолюбования, горделивой уверенности в том, что никакие испытания не могут сокрушить страну, самая огромность которой служит залогом ее устойчивости, — остается для миллионов людей война, память о войне, сама по себе переросшая в новый миф. Мотивы этого мифа влетают в предания, которые сохранились в каждой семье. Война — единственная область прошлого, где официальный словарь, кажется, не вступает в противоречие с народным сознанием, и в контексте военных воспоминаний даже имя Сталина не вызывает у простых людей ни насмешки, ни презрения. В конце концов им безразлично, кто такой был Сталин на самом деле. Но то, что самая страшная катастрофа пронеслась мимо, а страна как была, так и осталась, то, что самая сильная армия мира сломала себе шею в России, служит до сих пор высшим и последним доказательством — чего? Конечной правоты, обоснованности веры в Россию. Быть может, впрочем, и эта гордость — всего лишь временная историческая оболочка веры, которая неподвластна времени и существует если не в пике истории, то как бы с ней наравне.

Веру эту можно определить как смирение паче гордыни. Ибо самая неустроенность нашей страны, неразумие, бедность, грязь, какая-то вековечная невезуха — непонятным образом укрепляют веру. Трезвый анализ убеждает, что у этой страны нет будущего; а одна вера никого не убедит. Вера эта заключает в себе колоссальный потенциал терпения — и, по-видимому, ничего конструктивного. С такой верой невозможно стать предметом зависти и восхищения для других, невозможно остановить пораженного Божьим чудом созерцателя и заставить, по слову Гоголя, посторониться другие народы и государства. Но с ней можно жить.

«Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека вижу...» Дня людей, оставивших Россию, все повернулось наоборот, и глухая, недобрая земля наша сама превратилась в прекрасную даль, которая уходит все дальше и дальше и раздвигается все шире и шире.

### **Немецкий эпилог**

**Е**сли некий голос свыше когда-нибудь спросит меня, как он спрашивает, вероятно, каждого человека: где ты был, Адам? — я отвечу: собирал малину. Вел за рога по лесным тропинкам двухколесного друга. Медленно крутил педали вдоль тихих, опрятных городков, мимо церквей, похожих издали на остро заточенные карандаши, мимо бензоколонок с развевающимися флагами, мимо кукольной богородицы в золотой короне, с ребенком на руках, — и думал о странной судьбе, которая привела меня в эту страну.

«Как вам удалось уехать?» Удивительный вопрос, ведь он предполагает, как нечто само собой разумеющееся, что у всякого нормального



человека всегда найдется достаточно причин эмигрировать из Советского Союза, бежать без оглядки, загвоздка лишь в том, как это осуществить. С этой точки зрения, конечно, совершенно безразлично, что же все-таки заставило человека уехать оттуда, где не только деревья, но и люди говорят на родном языке, какая метла вымела его прочь из города, чьи улицы, переулки, сумрачные дворы, темные лестницы суть не что иное, как густо исписанные и исчерканные страницы толстой расстрепанной книги, которая называется его жизнью. Но, Боже милостивый, как же можно было бросить ее, не дописав до конца?

Я объясняю. На своем неуклюжем книжном языке, на языке, который так прекрасно воспроизводит классиков русской литературы и так плохо приспособлен для рассказов о русской действительности, я пытаюсь растолковать собеседникам, как действуют законы, или, если угодно, как функционирует беззаконие, которое парадоксальным образом мне помогло; ибо, конечно же, мой случай — счастливое исключение. Я пробую рассказать, каким образом мои отношения с отечеством, напоминающие долгое и мучительное супружество, завершились наконец скандальным бракоразводным процессом. Слушатели кивают, им не надо объяснять, из каких дебрей мы выбрались, они и так это знают, интерес убывает по мере того, как я вязну в подробностях, они все поняли и ничего не поняли. И я бы на их месте не понял. Нельзя рассказать историю любви. Нельзя объяснить смысл разлуки. Невозможно растолковать, как случилось изгнание, ибо оно началось задолго до того, как счастливица-несчастливица вместе с его чемоданом выставили за дверь.

Но в конце концов это не так уж важно. С прошлым, каково бы оно ни было, покончено, и остается лишь удивляться судьбе.

Давным-давно, во времена моего детства, в нашем старом театре на Чистых Прудах шел фильм «Граница на замке». Крылатое слово тех лет. Публика радостно хлопала доблестным пограничникам. И никому из сидевших в зале под дымным лучом, по-видимому, не приходило в голову, что, собственно, означает название картины. Никто не смел себе признаться, что это они, весь народ до последнего человека, сидят в своей стране взаперти. Никто не мог и помыслить о том, что ключ когда-нибудь повернется и врата приоткроются — пусть на самую малость, но так, чтобы в эту щелочку успела проскользнуть горстка людей. Пылающая река, отделявшая наш потусторонний мир от земного мира, была частью государственной мифологии, слово «граница» приобрело мистический смысл, и такой смысл оно сохранило для людей нашего поколения навсегда.

И вот настал день, когда мне предстояло пересечь границу так же просто, как перешагивают через ручей. Или как прыгают через костер: разбежаться, зажмуриться — и ты уже на другой стороне. Или как шествуют через Красное море, с ужасом и восторгом взирая на расступив-

шиеся воды. Внезапная катастрофа отъезда, несколько дней, оставшихся на сборы, выполнение почти невыполнимых формальностей, сдизм чиновников фараона, делавших все возможное, чтобы убить у изменника родины последние сожаления о том, что он расстается с ней, — все вдруг отсеклось и отплыло, все потеряло значение. Я воображал себе какую-то комнату и посредине белую черту: здесь «мы», там «они». Нас впустили за перегородку, на другой стороне остались провожающие и, плача, махали нам руками, но и здесь были все еще «мы»; началась проверка нашего скарба, перетряхивание рубашек, перелистывание книг; затем в каморке, где были только стол и два стула, произведен был обыск с раздеванием догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, как я почти в этом же возрасте на Лубянке тридцать три года назад. «Ты что думаешь, — усмехнулся таможенник, — здесь гестапо?» В соседней комнате ту же процедуру проходила моя жена. Это не было гестапо. Это был Советский Союз. Лишенные гражданства, имущества, документов и прав, мы все еще находились во власти рогатого Минотавра, всесильного государства, и оно могло поступать с нами как ему вздумается. Оно проявило милость. Самолет был тоже «наш», радио говорило по-русски, и на лацканах у служащих красовалась эмблема Аэрофлота; граница летела вместе с нами. И лишь приземлившись, пройдя по узкому проходу мимо бортироводниц, последних свидетелей нашего бегства, лишь когда спустились по лесенке и вышли на аэродром, — мы вдруг заметили, что пылающая и опалившая нас черта осталась позади.

После безумной спешки отъезда — тишина, спокойные лица, странное чувство свободы и потерянности, что-то похожее на невесомость, а кругом нагретые солнцем камни, знакомые с младых ногтей. Где-то у Толстого говорится, что первую половину дороги мысли путника остаются с теми, кого он оставил, а затем устремляются вперед, обгоняя его, к местам и людям, которых он еще никогда не видел. Несколько часов полета было довольно, чтобы предвкусить небывалое будущее. Но одновременно оно было священным прошлым. Что тут особенного? Я не знаю ни одной книги, написанной в России в девятнадцатом веке и описывающей впечатления от Европы, где не говорилось бы о том же: о томительном чувстве возвращения, об уверенности, что когда-то, в другой жизни — ты здесь уже был.

И, может быть, самым сильным переживанием первых минут, часов и дней были надписи. Светящиеся вывески венского аэровокзала, рекламные щиты, буквы на крышах, город с названиями улиц, голос вагоновожатога, объявляющий остановки в полупустом трамвае на Линцер-штрассе. Язык! Время шарахнулось вспять. Небрежный и мимолетный, с непривычным акцентом, порой неразборчивый и все-таки тот же самый, знакомый с детства язык. Не знаю, как

описать это состояние, — представьте себе, что вы приехали в Древний Рим. Вы бродите по улицам, которые видели в детстве на картинках, крутите головой и, обалдев, читаете вывески. «Пейте кока-колу!» — на языке Марка Аврелия.

Мне рассказывал в Москве один раввин о своем брате, замечательном знатоке священного языка, Библии и Талмуда. Тринадцать поколений его предков были учеными. Восьмидесяти с лишним лет он приехал в Иерусалим, вышел на улицу и задал вопрос первому попавшемуся мальчишке. Мальчуган поглядел на его бороду и покачал головой. В чем дело, спросил старик. «Дедушка, — сказал мальчик, — ты очень плохо говоришь на иврите!»

Итак, приготовьтесь заранее к унижениям, которым подвергнется в этой стране ваша ученость, ибо страна эта, этот Рим, этот Иерусалим, существует на самом деле, а ваша филология молчаливо исходила из презумпции, что ее нет. То, чем гордилась ваша память, здесь ничего не стоит. Здесь уличные сорванцы позволяют себе пренебрегать глагольными формами, потому что они их прекрасно знают, бродяга, сидящие на скамейках, не путают мужской и средний род и даже не догадываются об этом. Здесь на священном языке поэтов запросто болтают изо дня в день, на нем лепечут младенцы и шамкают старухи, его понимают собаки. Вся нация, удивительный народ, от мала до велика, без запинки, с царственной небрежностью и свободой говорит по-немецки.

Так началось для нас приключение, которое одна немецкая поэтесса, Хильда Домин, назвала Одиссеей языка. Кроме воздушной, водной, городской или деревенской среды, есть невидимая языковая среда; тексты и речи, и этикетки, и надписи на стенах — лишь внешние проявления этой среды, нечто вроде осадков, самую же среду не замечаешь, пока дышишь ею на родине.

В другой языкходишь, как входят в воду. Холодно, страшно и весело. Постепенно свыкаешься, превращаешься в амфибию; вот теперь бы и оттолкнуться пяткой от дна и поплыть! Но нет. Ты обречен плескаться в мелких водах. Пуститься в плаванье подальше можно только на углу суденышке родного языка. Странствия по чужому языку полны восхитительных неожиданностей, его закаты изумляют необычайными красками. Но этот язык беспределен. Его горизонт обманчив. Сколько бы вы ни плыли, вы никогда к нему не приблизитесь. Язык, сказал Мартин Хайдеггер, это Дом Бытия. В этом доме чужого бытия вы никогда не будете чувствовать себя дома, ибо для этого надо было в нем родиться. И отныне ваш удел — стоять, вцепившись в борт, на качающейся палубе, всю оставшуюся жизнь. Существует профессиональный недуг эмигрантов: он называется морской болезнью.

Наше пребывание в австрийской столице было лишь очень кратковременной остановкой, и, собственно, речь не о ней. Речь идет о Герма-

нии, которая уже втягивала нас в свое магнитное поле, в некотором смысле была уже вокруг нас. Мы были беженцы. Мы были свободны. Ключок бумаги величиной с почтовую карточку, сложенную вдвое, — выездная виза, единственный документ, который мы могли предъявить, — оставлял нам необозримо широкий выбор или, что в данном случае то же самое, одинаково закрывал путь на все четыре стороны, как надпись на перекрестке: направо пойдешь, потеряешь коня, налево — голову сложишь; все страны были для нас чужбиной, все дали звали к себе — терять было нечего! Мы были свободны, как никогда в жизни, ибо родина ограбила нас дочиста, политическая свобода оказалась помноженной на свободу от всех привязанностей, от «святылища привычек», как выразился один знаток этих дел (Вилем Флуссер), от грехов и от заслуг. Но на самом деле жребий был уже брошен. Говорили, что в Германии легче найти работу, там есть закон, опекающий иностранцев. Приятельница прислала приглашение. Все это были доводы, придуманные, чтобы придать видимость разумного решения тому, что предшествовало всем доводам, и на самом деле я чувствовал себя именно так, как должна себя чувствовать металлическая пылинка вблизи магнитного полюса. Но в конце концов почему Германия? Почему не...? Ах, лучше всего было бы двинуть в Древнюю Грецию, в Афины пятого века. Но туда невозможно купить билет. Израиль? В самом деле, что могло быть естественней? В этой стране меня ждали. Несомненно, это была единственная на всем свете страна, где нас не встретили бы как эмигрантов. Мы еще не успели покинуть аэропорт, как в воздух поднялась и ушла на юго-восток белая птица с голубым щитом Давида. Улетела без нас. Почему? Как ни странно, я могу дать этому только одно объяснение: потому что рядом находилась Германия. Потому что конь, на котором сидел чуть ли не в нижнем белье витязь, уже тянул голову в ту сторону, где, теоретически говоря, ему надлежало пропасть.

Никто не знал, как нас там встретят. После всего, к чему причащает жизнь в России, баварская пограничная полиция показалась мне каким-то благотворительным обществом, и все же никто не мог предсказать, как мы там будем жить. Казалось, язык должен был облегчить первые шаги, Гете и Шиллер, старые добрые руки, поддерживали меня, я озирался вокруг, и мне казалось, что на каждом шагу я узнаю все ту же вечную Германию духа, в которой я вырос. Кто бы мог подумать, что это узнавание, это, казалось бы, выделявшее меня среди других пришельцев преимущество некоего возвращения, немного времени спустя обернется совсем другой стороной, что этот язык, покуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, — здесь, именно здесь станет помехой, что он будет мстить и бунтовать и понадобятся особые, почти гротескные усилия, чтобы отучиться, наконец, глядеть на людей и страну сквозь магический кристалл литературы? Впрочем, мне нетрудно

представить себе какого-нибудь восторженного идиота, прикатившего издалека, который ходит по Москве, восклицая: «О, наконец-то! Святая Русь! Страна Толстого и Достоевского! Наконец-то я увидел тебя».

Страны подобны художественным или мифологическим образам: в них всегда остается нечто недоговоренное, к ним никогда нельзя относиться как к отражениям действительности; каждая страна присутствует в сознании в виде некоторого фантома, который возникает Бог знает из чего, из преданий и предрассудков, из школьного мусора, из каких-то ключев тумана, плывущих из незапамятного детства, и из звучания самого имени: ведь русское слово «Германия» воспринимается совсем по-другому, чем немецкое Deutschland. Иначе и волшебнее звучат названия земель и городов, — кто об этом забыл, пусть прочтет стихи Багрицкого «Птицелов», — в них, в этих названиях, слышится нечто неведомое немецкому уху, за ними скрывается что-то, чего, возможно, не видят и никогда не видели немецкие глаза. Ибо тайна переживания чужой страны не менее интимна, чем тайна национализма. «Нам внятно все — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...» — «Он из Германии туманной...» За этими эпитетами стоит целый комплекс представлений. Но было бы неправдой, если бы я сказал, что лунно-серебристая, призрачная, лесная, звенящая птичьими голосами родина европейского и русского романтизма, лунный лик и локоны Новалиса — были единственным мифом, который однажды и навсегда впечатался в сознание. Рядом с ним и почти из него вырос и заслонил его другой миф, другой образ Германии, наделенный такой же гипнотической силой. Бесполезно было швырять в него чернильницей. Прогнать его не так просто. Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten!

Право, я живу в мрачные времена!  
Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб  
говорит о бесчувственности. Тот, кто смеется,  
еще не услышал страшную весть.

Что это за времена, когда  
разговор о деревьях становится почти преступлением,  
ибо он заключает в себе молчание о погибших...

Правда, я все еще зарабатываю на хлеб.  
Но верьте мне: это случайность. Ничто  
из того, что я делаю, не дает мне права есть досыта.  
Я уцелел случайно.  
(Если мою удачу заметят, я пропал).

Когда-то в России мне казалось, что стихи Брехта написаны обо мне. О таких, как я, — их было много, — для которых недоверие к более

или менее благополучной действительности было нормальным чувством, кто знал: если он жив и ходит на воле, то лишь по чьему-то недосмотру. Теперь и эти стихи стали частью воспоминаний.

Здесь вообще многое напоминало Россию. Моцарт, Бетховен. «Книга песен» и «Книга Ле-Гран», которую я читал в метро, в сорок четвертом году, вечерами, катаясь из конца в конец по линии метро Сокольники — Парк Культуры, потому что дома не горел свет. Близ города Тюбингена, на зеленом холме, стоит вурмлингская часовня, которая украшала толстый том сочинений Людвиг Уланда, подаренный мне ко дню рождения, сто лет назад. «Droben stehet die Kapelle». Наверху стоит часовня... Внизу — долина. Я был уверен, что все это поэтический вымысел. Этот вымысел оказался действительностью, чтобы тоже в конце концов напоминать о России.

Но стихотворение Брехта вдруг приобрело другой смысл.

Все, что мы можем сказать о волшебстве немецкой поэзии, о мощи немецкой мысли, о красоте немецких ландшафтов, все это будет ложью, если оно заключает в себе молчание о погибших.

Как же можно было приехать сюда, получить политическое убежище, кров и хлеб из рук этой гостеприимной страны после того, что происходило с ней и в ней еще на нашей памяти? Мы видели на экране ликующие толпы, руки, простертые навстречу Вождю, фотографии, сделанные в концлагерях. — Но теперь это другая страна. — Другая ли? — Германию называли Протеем. Редко какой народ так круто поворачивал, до неузнаваемости менял свой облик, как немцы на протяжении последних полутора столетий. Германия в год смерти Гегеля и Германия в 1871 году, через каких-нибудь сорок лет. Усы Вильгельма Второго и физиономия Шикльгубера. За всеми переменами, однако, осталось нечто неколебимое: чинная жизнь небольших опрятных городков, музыка из окон, часовня на холме. Трудолюбие, добросовестность, серьезность. Ах, об этом говорено уже тысячу раз, написаны целые библиотеки. Вечный вопрос: потому ли этот народ стал добычей тоталитаризма, что он был таким, а не другим, — или он стал таким оттого, что пал жертвой тоталитаризма?

Тот же вопрос мы задавали себе в России. Но в России значительное большинство народа лишено исторического сознания, людям не приходит в голову, что целое государство может стать преступным; между тем как просвещенные немцы должны были это понять. Они поняли это; но было уже поздно. Они поняли это, иначе демократия, хотя бы и насильственно внедренная победителем, не пустила бы здесь глубокие корни, какие она все-таки сумела пустить. Ко всей этой истории должна была бы присмотреться русская «историсофская» мысль, но она слишком зациклена на самой себе.

А все же удивительно, как эти две страны, которых история чаще сталкивает лбами, чем заставляет протянуть руку друг другу, повторяют одна другую, связаны тайной близостью, притом что трудно найти два других столь разных народа. Существует параллелизм политического, в обеих странах запоздалого, и параллелизм духовного развития, разительное сходство между эволюцией «русской идеи» и немецкого романтического национализма, вначале голубого, затем багрового, сходство наркотически-чарующего почвенничества, общая тяга назад, в лес и деревню, к средним векам, эротическое влечение к народу, в женственно-темную глубину, существует близость Леонтьева и Ницше, Ницше и Достоевского, Розанова и, допустим, Клагеса, общее для обеих традиций отрешивание от эгалитарного прогресса, от соблазнов технической цивилизации, от торгашеской демократии, отталкивание от французского рационализма и английского прагматизма — в Германии, от «Запада» — в России. Тоска по утопии — и там, и здесь. И как некий убийственный итог, в одно и то же время обрыв истории и ее естественное завершение, — общий опыт каннибализма.

Да, конечно: Германия радикально разделалась со своим прошлым, — чего нельзя сказать о ее тоталитарном двойнике. В Германии достаточно провести две недели, чтобы заметить, как сонм историков и публицистов, телевидение, радио и печать не устают бередить старые раны. Все упреки, какие нация могла бросить самой себе, брошены. И, пожалуй, едва ли можно сейчас представить себе страну, где опасность реставрации фашизма была бы менее реальной, чем в Германии. Повторил бы теперь Томас Манн то, о чем он писал когда-то Вальтеру фон Моло, — что ему страшно возвращаться в Германию? Вернулись бы мы в Россию, если бы она тоже стала обществом свободы и уважения к человеку? Нет, — я бы, по крайней мере, побоялся. Ибо это кажется невозможным. Однако точно так же, полвека назад, это казалось невысказанным и невероятным в Германии. Как на безумца посмотрели бы на того, кто сказал бы, что во второй половине века эта страна станет самой мощной демократией Европы.

Демократия и культура состоят в сложных отношениях между собой. В культуре есть нечто сопротивляющееся демократии, почти презирающее ее. Культура, если подразумевать под ней жизнь духа, и демократия говорят на разных языках. Но, расставаясь с демократией, культура изменяет гуманизму. Этот немецкий комплекс, комплекс высокомерия, есть одновременно и великий урок немецкой культуры, преподанный в нашем веке с убийственной наглядностью.

Где-то между шестнадцатью и семнадцатью годами я поднес к губам запретную чашу с ядовитым наркотическим отваром и отхлебнул от нее со смешанным чувством дурноты, отваги и наслаждения. Я говорю о философии Артура Шопенгауэра. Может быть,

следовало назвать какое-нибудь другое имя, но, в конце концов, почему бы не это? Мне приятно вспомнить о нем. Во втором томе его трактата, в знаменитой главе о любви, есть место, где говорится, что взаимное влечение влюбленных есть не что иное, как воля к жизни еще не родившегося существа. Новая жизнь вспыхивает уже в тот момент, когда будущие отец и мать впервые видят друг друга. Какая странная, хоть и унаследованная от греков, но чисто немецкая идея. Есть нечто стремящееся стать действительностью, еще не существующее, но уже сущее, — томящееся небытие, которое стучится в мир, словно в запертую дверь. Существует текст, который ждет, чтобы его написали на бумаге. И я помню, как очаровал и озадачил меня этот спиритуалистический романтизм писателя, некогда популярного в России, но в наше время уже бесследно исчезнувшего с горизонта: осужденный самим «Лукичом», он стоял во главе индекса особо зловердных авторов, вместе с Ницше, Шпенглером и им подобными, самый интерес к которым квалифицировался как политическое преступление. Думаю, что это обстоятельство оказало им немалую услугу.

Запрет всегда повышает акции писателя. Напротив, очарование крамольного автора исчезает, лишь только он перестает быть крамольным.

Однако криминальный философ заключал в самом себе некоторое противоречие. Насколько гипнотизирующей, дурманящей была его проза, насколько поработшал и затягивал волшебным ритмом старинный слог и манил мистической красотой благородный готический шрифт (загадочное родство между шрифтом и текстом есть факт, не подлежащий сомнению), — настолько непривлекательным выглядел сам автор. Прочсть его характер на известных дагерротипах не составляло труда. Два-три эпизода его биографии аттестовали его достаточно ярко. Могу представить себе, что было бы, если бы я постучался к нему во Франкфурте, дом № 17 на улице *Schöne Aussicht* («Прекрасный вид»). Я так и слышу шаги на лестнице, лай пуделя Атмана и скрипучий голос хозяина: «Гоните его вон!» Мусорный старик, семидесятилетний Нарцисс, заглядевшийся на свое отражение в чернильнице (если повторить *mot* Тютчева, сказанное по другому поводу). Это противоречие между человеком и его творчеством, контраст гениальности и мещанства, постепенно перерастал в какой-то зловеющий символ. Быть может, он был предчувствием великого антихристианского искусства, который таила в себе немецкая мысль.

В Вене — я снова возвращаюсь к первым дням — мы брели по Рингу под пышными каштанами, это было на другой день после приземления, и здесь тоже, как потом в Германии, казалось, что улица выметена щеткой, а не метлой. Сорок лет назад на этой улице кучка седобородых



евреев, кто на корточках, кто на коленях, чистила мостовую зубными щетками. Между ними прохаживались полицейские, а на тротуаре стояла гогочущая толпа.

Нашему поколению не нужно было объяснять, что значит слово «немецкий». Все формы ненависти сошлись в одной: биологической, эндокринной. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его и убей!» — «В Германии, в Германии, в проклятой стороне...»

День начала войны 22 июня 1941 года, самый длинный день в году, был счастливым днем моей жизни. С утра радио передавало бодрые марши, музыка гремела на улицах, солнце играло в стеклах домов, вся старая и скучная жизнь была разом отменена. Мне было двенадцать лет. В полдень передавалась речь Молотова. Меньше двух лет назад он подписал пакт о дружбе с Германской империей, он говорил тогда о справедливой борьбе германского народа против англо-американского империализма, башмаков еще не успели стоить. Теперь он сказал, что ответственность за развязанную войну несут германские фашистские правители, и я помню, как резануло слух это слово «фашистский», вот уже два года как вычеркнутое из лексикона. Ожидали, что выступит Сталин, но Сталин куда-то делся, и целых две недели о нем ничего не было слышно. В те дни трубный глас близкой победы с утра до вечера раздавался из репродукторов, разнесся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест; потом вдруг все поняли из невнятных и противоречивых военных сводок, из глухих и зловещих намеков, что немцы окружили Ленинград, подошли к Смоленску и, может быть, через неделю-другую будут в Москве.

Нужно было жить в те времена, много лет изо дня в день слышать песни и оды о непобедимости Красной армии, видеть фильмы о парадах на Красной площади, панно и плакаты с шеренгами марширующих шагов, с частоколом штыков, с эскадрильями и парашютистами, нужно было каждый день читать и слышать о том, что мы живем в самой справедливой стране и потому при малейшей угрозе, при первой попытке врага посягнуть на наши священные рубежи народы мира, трудящиеся всех стран и, разумеется, прежде всего пролетариат Германии поднимутся на защиту первого в мире государства рабочих и крестьян, нужно было это слышать, ведь и сейчас, через столько лет, стоит только закрыть глаза, и музыка, и гром, и гомон начинают звучать в ушах: если завтра война... малой кровью, могучим ударом... ни одной пяди своей земли... артиллеристы, точней прицел... но если враг нашу радость живую... на его же территории... ведь от тайги до британских морей... эй, вратарь, готовься к бою, ты представь, что за тобою полоса пограничная идет!

Нужно было этим жить и всему этому верить, чтобы почувствовать, как велико было изумление, смятение, ужас, охватившие миллионы людей, когда они догадались, что происходит на самом деле. Невиданная по мощи и организованности армия не шла, а маршировала, не ехала, а катилась, не наступала, а неслась на нас, давя и сметающая все на своем пути, немецкий пролетариат и пальцем не подумал пошевелить ради нашего спасения, народы мира помалкивали, и единственным, да и то далеким и полуреальным нашим союзником, словно в насмешку над великим учением, оказались империалисты: тучный Черчилль и загадочный дядя Сэм.

Через неделю после начала войны мой отец вступил добровольцем в народное ополчение, некое подобие войска, в спешке и панике сформированное из мелких служащих, немолодых рабочих второстепенных предприятий, музыкантов, учителей, парикмахеров и других бесполезных людей. В начале июля ополчение выступило в поход в составе 32-й армии, вместе с ней попало в гигантский котел между Смоленском и Вязьмой и в короткий срок было истреблено почти до последнего человека.

Время несло наперегонки с наступающим вермахтом. Грянули необычайно ранние и жестокие морозы — русский Бог спохватился и, как мог, принялся вызволять свою несчастную страну. Кучки уцелевших полузамерзших людей разбрелись по лесам, и, проблуждав в тылу противника два месяца, отец мой каким-то чудом вышел из окружения. Перед этим он как-то заночевал в одной деревне. Поздно вечером в избу постучались немцы. Молоденький офицер спросил: «А это кто? Откуда? Партизан? Еврей?» Хозяйка ответила: «Он из нашей деревни».

Интересно, что стало потом с этим человеком. В какой-нибудь немецкой семье висит, наверно, его портрет с черной полоской в углу. Но если считать, что вероятность быть убитым на Восточном фронте равнялась одной десятой, умереть в русском плену — тоже одной десятой, вероятность вернуться калекой и окончить дни в разрушенной и голодной Германии — половине, то остается все же некоторая возможность, что он жив до сих пор. В таком случае, почему бы ему не оказаться в Федеративной республике? В Мюнхене? Где-нибудь в тех местах, где и я бросил якорь. Может быть, мы живем в соседних домах, встречаемся каждый день в переулке. А если бы крестьянка сказала правду? Если бы я сам с мачехой и маленьким братом в сорок первом оказался на оккупированной территории? В конце концов, это было вполне возможно. Хоть я и не воевал, у меня было, пожалуй, не меньше шансов сыграть в ящик, чем у этого офицера. Хотя бы потому, что я принадлежу к племени, треть которого сгорела в печах.

Оставив Вену, мы провели несколько дней на границе, вблизи Берхтесгадена, где некогда находилась горная резиденция Гитлера, в

местах изумительной красоты. С необычайной вежливостью полиция препроводила нас в деревенскую гостиницу. Поселок казался безлюдным. В две шеренги вдоль главной дороги стояли плодовые деревья, в траве валялись яблоки, их никто не подбирал. Посреди главной площади на доске объявлений висел бело-голубой плакат с крупной надписью: «Спасайте Баварию!» Мелким шрифтом были перечислены беды, грозящие этой стране. Любой из них было достаточно, чтобы ее погубить: экономическая депрессия, угроза коммунизма, разрушение природы и, наконец, нашествие иностранцев. Не видно было, однако, чтобы кто-нибудь проявлял беспокойство по поводу столь катастрофического положения дел, хотя, например, по моей одежде можно было без труда догадаться, что я за птица. Я увидел церковь, высокую и узкую, напоминающую остро заточенный карандаш. У ворот стоял велосипед, и две женщины бродили по маленькому кладбищу. За рядами аккуратных памятников из хорошего камня, с золотыми надписями, отнюдь не говорившими об экономическом упадке, виднелся аляповатый гипсовый ангел, растопыривший крылья над столбцами имен. Это были местные жители, погибшие на войне. Проклятое прошлое буквально преследовало меня! Но теперь я смотрел на него как бы через перевернутый бинокль. Со странным любопытством принялся я читать фамилии, даты, места смерти, то были по большей части совсем молодые люди, едва ли не дети, такими по крайней мере они казались мне теперь. Один убит в Норвегии, другой во Франции, еще кто-то в Греции, на Крите, два или три человека не вернулись из-под Эль-Аламейна. Но и Греция, и Франция выглядели здесь исключениями. Это были, так сказать, счастливики, которым повезло. Я пробегал глазами надписи, как водят пальцем по строчкам сверху вниз, имя за именем, дату за датой, и почти везде стояло одно и то же слово: Россия. Итак, одной этой альпийской деревни было достаточно, чтобы заполнить лесную поляну где-нибудь в тех местах, где бродил мой отец. Сколько таких деревень в Баварии, во всей Германии, сколько таких полей в России? Советский Союз так велик, что в нем хватило бы места для пятидесяти Германий. Отсюда он представлялся гигантским кладбищем. Только там не было ни ангелов, ни крестов.

И только здесь, в этой по видимости такой благополучной Германии, — ибо тревога, страх, неуверенность, кошмарные сны и неизжитые комплексы не сразу проглядывают сквозь ее почти идиллическое благополучие, как не сразу догадываешься, что означает громадный зеленый холм где-нибудь среди леса, на окраине города, — только здесь, сначала смутно, потом ясней, начинают вырисовываться масштабы апокалиптического возмездия, которое немногим более сорока лет назад разнесло вдребезги эту страну.

«В то время как части вермахта, противостоявшие французам, британцам и американцам, отходили практически без боя, на Восточном фронте продолжалось яростное сопротивление... — пишет итальянец Луиджи Бардзини («Неблагонадежные европейцы», 1983). — Остатки разгромленных соединений готовы были сдаться англо-американским войскам, лишь бы не попасть в плен к Советам. Миллионы беженцев устремились на запад, только бы не оказаться в советской оккупационной зоне. Дело было не только в идеологии и политике. Было известно, что советские солдаты примитивны, жестоки и недисциплинированы, что они насилуют женщин, а мужчин убивают на месте либо уводят, обрекая их на смерть где-нибудь в глубине своей страны, что они истребляют скот, воруют все что плохо лежит, особенно часы, и раболопно служат своим безжалостным и необразованным начальникам».

Не имеет значения, насколько справедливы эти слова; важно, что повсюду превысило чью бы то ни было планомерную волю. Повсюду настигло этот народ, всех без исключения, устранив разницу между виновными и невиновными: виноваты были все уже потому, что они были немцы. Повсюду затмило военные, государственные, идейные и моральные соображения. Военные действия шли своим чередом — оно стояло над ними. Поднявшись со дна океана, как цунами, оно перекачилось через головы наступающих и обрушилось на бегущих.

Тех, кто спасся, ждало второе возмездие — уже состоявшееся. К концу войны бывший рейх представлял собой страшное зрелище. Не уцелело ни одного крупного города. В числе последних военных сводок была такая: «Поле развалин, прежде именовавшееся городом Кельном, оставлено германскими войсками». Среди этих развалин высился, словно гигантская двойная сосулька, выщербленный и поврежденный, но все же устоявший семисотлетний Кёльнский собор. От Берлина, Гамбурга, Бремена, Франкфурга, Майнца, Вюрцбурга, Дортмунда, Эссена, Нюрнберга, Аахена не осталось ничего или почти ничего, Дрезден был уничтожен в одну ночь. Кольцо огня окружило город, и шестьдесят тысяч жителей и беженцев, запертых в центральных районах, задохнулись в дыму и погибли под обломками. Тысяча двести гектаров руин лежали на месте, где была изумительная столица Августа Сильного. Масштабы, кары, поразившей Германию, можно было приблизительно сравнить лишь с катастрофой Тридцатилетней войны. И в эту съезжившуюся, словно шагреновая кожа, ненавидимую всем миром и околевающую Германию хлынуло двенадцать миллионов беженцев из восточных областей. Одни бежали сами, другие были изгнаны после войны. Так закончилось «опьянение судьбой», Schicksalsrausch, словечко, пущенное в оборот Хайдеггером. Наступил Час Нуль, когда многим казалось, что история начинается заново на пустом месте.

Ничто так не врезается в память, как первые впечатления: ни памятники старины, отчасти уцелевшие, по большей части восстановленные, ни ландшафты, ни даже то, что приводит в остолбенение нашего брата — витрины магазинов с их фантастическим изобилием еды и товаров. Впрочем, можно было бы сочинить целую поэму о первом попавшемся продовольственном магазине и распространять ее в Москве в качестве подрывной литературы.

Западное благоденствие — точнее, то, что считается благоденствием на взгляд гостя из России, — создает свой собственный язык богатства и бедности, непереводаемый на язык русской неустроенности и нищеты, чем и объясняются крайности, между которыми мечется эмигрант: то он чувствует себя приобщенным к неправдоподобно благоустроенной жизни, словно бедный родственник, которому разрешили переночевать в богатом доме, то испытывает, как ему кажется, еще больше лишений, живет еще скуднее, чем на родине; ибо он попросту не умеет жить этой жизнью. Сытая жизнь для него, как и для всякого русского, — синоним легкой жизни, он поглядывает свысока на заевшихся немцев и не хочет понять, что ограниченность естественных благ, безвыходность Германии, сжатой в самом центре многонационального континента, и умение максимально использовать то немногое, что есть в ее распоряжении, пресловутая немецкая аккуратность и бережливость, почти маниакальная любовь к порядку, короче, все то, что русскому человеку кажется непроходимым мещанством, — и есть один из секретов происхождения этого богатства. Обалделый чужеземец бредет мимо ярко освещенных выставок благополучия, словно среди садов Семирамиды, забыв, что еще совсем недавно на месте этих садов высились холмы кирпичей и щебня. «Черти! — шепчет он. — Как живут, а?.. А ведь мы их побили!»

И точно так же раздваивается, колеблется между двумя крайностями ощущение самого себя в этом головокружительно новом мире. Казалось бы, смешно и думать о том, чтобы начать, с лысой головой, новую жизнь, смешно задавать себе вопрос, что изменилось в тебе с переселением на чужбину. На него давно ответил латинский поэт:

*Coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.*

Небо меняет тот, кто бежит за море. Небо, а не душу. А с другой стороны — переменить страну, по крайней мере для людей, как мы, никогда не выезжавших за границу, не то же ли, что родиться заново? Никогда восприятие не бывает таким свежим, как в детстве; эти первые времена и были нашим немецким детством. Но анализировать действительность научаешься позже.

Бог даст, я закончу свои дни в этой стране. В конце концов всего лишь пятьсот лет назад мои предки оставили немецкие княжества и

ушли на восток. Еще пятьдесят лет назад они пользовались, когда не хотели, чтобы их поняли дети, средневековым рейнско-баварским наречием. Странно, что судьба пощадила меня для того, чтобы я приехал, наконец, сюда же, именно сюда, откуда гибель грозила мне и мне подобным. Странно и дико подумать, что для внуков моих мой родной язык будет чужим. Очевидно, на мне закончилась некая глава. Начинается новая. Проведя три года в Германии, вправе ли я сказать, что понимаю эту страну? Что значит понимать страну? Ничто так не раздражает эмигрантов из СССР, как то, что «немцы (американцы, французы) неспособны нас понять». Им не приходит в голову, что эта неспособность есть не что иное, как зеркальное отражение их собственного неумения и нежелания понять иностранцев.

Как-то раз мне посчастливилось увидеть в Мюнхене «Вишневый сад» в замечательной постановке Эрнста Вендта. Три затянутых марлей, ярко освещенных окна должны были означать комнату, за которой находился сад. На тесной авансцене метались действующие лица в экзотически-нелепых костюмах. Потом сели пить кофе, едва уместившись за крошечным столиком. Немного погодя Гаев обратился с приветственной речью к комоду или какому-то ларю: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!» Старик Фирс, который по совместительству изображал смерть и был по этому случаю облачен в мундир служащего похоронного бюро, называл Гаева «господин Леонид». Во втором акте деликатный Лопухин ни с того ни с сего съездил прохожего по физиономии. В третьем акте Раневская оплакивала проданный сад, сидя на полу, и танцующие гости перешагивали через нее... Публика смотрела на все это с чрезвычайным вниманием. Чувствовалось, что спектакль захватил зрителей. Итак, вся эта диковинная обстановка, старательно выговариваемые русские имена, ненатуральные жесты, вся эта гротескная липовая Россия — воспринималась всерьез! Мало-помалу, однако, настроение зала передалось и мне. К концу пьесы я, можно сказать, примирился с ней. Она мне даже понравилась. Я шел домой и думал: а что сказал бы немец, посмотрев «Перед заходом солнца» в московском Малом театре, увидев битком набитый зал, заворуженно устремивший глаза на сцену? Если существует русский Гауптман и та Германия, которую можно назвать русской Германией, почему не может быть немецкого Чехова? Я не знаю писателя, который ближе, интимнее выражал бы мое чувство России; но в конце концов Чехов принадлежит всем, всему миру. Почему не может быть немецкой России? Велика ли важность, если эта Россия не вполне совпадает с той, которую мы считаем единственно подлинной? Тем, кто видит ее иначе, до нас нет никакого дела. Мы маркируем действительность при помощи символов, понятных только нам, сочетаясь друг с другом, они образуют модели; создав модель, мы полагаем, что усвоили действительность, постигли

страну. В этой инсценированной нами действительности мы чувствуем себя уютно — до тех пор, пока внезапно не зашатаются фанерные декорации, не повалятся кулисы, и актеры растеряются, не зная, продолжать пьесу или бежать с подмостков.

Должно быть, теперь мы и заняты тем, что кропаем новую пьесу, после того как действительность разнесла модели, с которыми прожили мы целую жизнь. Об этом можно сказать лишь кратко, ибо слишком велика опасность впасть в схематизм, в умозрительность или сентиментальность. В конце концов выясняется, что не только душу, но и небо мы привозим с собой. Унести на подошвах землю, правда, не удалось. Но если можно, вопреки всему, говорить о «вживании», то оно состоит не в том, чтобы усвоить внешние формы чужеземной жизни, научиться носить другую одежду или привыкнуть к баварской кухне, которую, боюсь, я так никогда и не научусь ценить. Приобщение к новому заключается в том, чтобы почувствовать за благополучием Германии, за свежестью и чистотой ее городов, за красотой дорог, за всем благообразием ее цивилизации — черный провал, след травмы. Эта травма, о масштабе которой можно догадываться лишь живя здесь, возможно, и является концентрированным выражением некоторого тайного смысла немецкой истории. Ее внешний образ — мощный ствол, оставшийся от дерева, спаленного молнией, которая ударила с неба. Взглянув на карту, вы увидите безногий торс. Государство-обрубок, ампутация целых областей, двойное существование бок о бок с другой Германией, враждебной и ненавидящей своего богатого родича, из рук которого, однако, она не гнушается принимать хлеб — и, в сущности, давно уже является его иждивенцем. Страна-инвалид, с могучими мускулистыми плечами, с мешком за спиной, где сидит ГДР. И, отталкиваясь руками, этот калека, гладко причесанный и благоухающий дорогими духами, в новом с иголочки костюме, со сверкающим взглядом, катится на своей тележке вперед, обогнав идущих на собственных ногах.

Каково бы ни было будущее Европы, оно зависит в первую очередь не от Америки и России, но от этой загадочной страны. Непостижимая — по крайней мере для нас — загадка Германии состоит уже в том, что этот Феникс восстал из пепла, хоть и без крыльев, что эта нация в поразительно короткий срок оправилась после такого разгрома, который навсегда низвел бы любую другую страну на уровень трехстепенного существования.

Загадка Германии — это соединение книжного идиотизма, мечтательности, музыкальности, порывов к сверхреальному — с практическим разумом, волей и дисциплиной. Парадоксальным образом нация, чья склонность к иррационализму по сей день служит лейтмотивом всех рассуждений о Германии и немецкой судьбе, — предстает глазам сосе-

дей как народ, ведущий чрезвычайно размеренный, почти геометрический образ жизни, а его страна — как образец разумного, подчас слишком разумного благоустройства.

Существует немало анекдотов о немецком языке, — о французском или греческом, кажется, никто анекдотов не рассказывал, — из коих самым удачным, после классических острот Марка Твена, можно считать рассказ, который приводит профессор Стенфордского университета Гордон Крэг, автор книги «The Germans». Некая американка приезжает в Берлин, чтобы послушать в рейхстаге самого знаменитого государственного деятеля Европы — князя Отто фон Бисмарка. Идут дебаты о социальном законодательстве. Канцлер говорит долго и с увлечением. «Что он сказал?» — «Терпение, мэм, — отвечает переводчик. — Я жду глагола».

Конечно, только такой рассудительный народ, как немцы, умеющий взвесить все обстоятельства места и времени, прежде чем действовать, — только такой народ может ставить значащую часть глагола на последнее место после всех остальных членов предложения. Только нация, превыше всего ставящая дисциплину, ухитряется выразить все богатство и непредсказуемость человеческого духа на языке, который схватывает мысль, как корсет или рыцарские латы. Богатство частиц, выражающих движение, в сочетании с хитроумной конструкцией имен и жестким порядком слов в предложении, придает немецкому языку какую-то тяжеловесную стремительность, увесистую энергию и мощь, недоступную другим языкам. Кажется, ничто не доставляет столько огорчения россиянину, как этот порядок слов и эти глагольные частицы, внезапно завершающие длинную фразу, словно острие копья. Сравните мерную поступь членов предложения, длинный стройный поезд глагольных форм, следующих за субъектом, как вагоны за локомотивом, сравните эту мужскую, воинскую дисциплину немецкого синтаксиса с текучей, податливой, женственно-капризной, анархической и многословной русской фразой, и вы поймете разницу русского и немецкого характеров, быть может, даже — контраст славянского и германского гения.

Цивилизованный Запад, каким его представляют себе в России, «пригожая Европа», как называл ее Блок, при ближайшем рассмотрении оказывается Германией; и слово «немцы» еще три века назад означало вообще всех чужаков-западноевропейцев. Германия, поставившая невест для семи поколений русских монархов, обучившая властителей России государственному управлению, бюрократии и военному делу, оставившая так много слов в русском языке, страна-педагог, страна-фельдфебель, трудолюбивая и мечтательная, холодная и сентиментальная, втайне страдающая от своей холодности и неизлечимо одино-



кая, по сей день остается для нас заколдованным садом, где прячутся феи, а в темном гроте спит грозное войско, где на каждом шагу видны следы работы неутомимых рук. Но садовника нет.

1985

### «Миф Россия» — четверть века спустя...

*Переписка журналиста Дмитрия Попова с автором  
накануне переиздания книги*

**Дм. Попов.** За четверть века в России успело смениться несколько эпох. Через пять лет после выхода Вашей книги прекратил свое существование Советский Союз. «Потяните за ниточку — зашатаются колонны». Как Вы и предсказывали, никакого косметического обновления, никаких демократических послаблений и «общечеловеческих ценностей» эта система вынести не могла. А еще пять лет спустя маятник российской истории начал стремительное движение назад. Летом 1996-го, победив на сомнительных выборах, больной, спивающийся Борис Ельцин собрал две сотни своих «доверенных лиц», чтобы поставить перед ними новую задачу. Предстояло, по его словам, разработать российскую национальную идею, причем всего за один год. «У нас ее сейчас нет, — сказал президент. — И это плохо. И над этим надо работать. Подумайте над тем, какая национальная идеология — самая главная для России». Еще недавно министр печати уверял, что «русская идея — это как чирей, который вылезает, когда в народе не все в порядке», а в конституции 1993 года было черным по белому записано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной». Но пришло время смены вех, и растерянная Россия вновь искала спасения в своем национальном мифе.

Доверенные лица с поставленной задачей, впрочем, не справились, и на рубеже веков за дело взялись профессионалы: политтехнологи, готовившие приход к власти Владимира Путина. Новая «русская идея» вышла у них в духе обложки Вашей книги: гибрид серпа, молота и шапки Мономаха. В сущности, все знаменитые оксюмороны Владислава Суркова, претендующего на роль нового Сулова, — вроде «суверенной демократии» или «эффективного менеджера Сталина» — напоминают остроумные бахчиняновские коллажи. Важны, однако, не формулировки. Другой претендент на место главного идеолога постсоветской России — патриарх Кирилл — чурается сурковского «постмодернизма», однако убежденность в особом пути России демонстрирует еще радикальней. Патриарх считает недопустимой оценку жизни в России по «чужим цивилизационным и культурным меркам». Его Россия не имеет ничего

общего с горбачевской Европой от Атлантики до Урала, а идеалом ему, как ни парадоксально это звучит, представляется мусульманская цивилизация. «Совершенно очевидно, что в мусульманской цивилизации роль религиозного фактора является решающей и религия наполняет жизнь людей пассионарной силой. Современный западноевропейец, ориентированный на успех, благополучие и комфорт, такой пассионарностью не обладает. А если нет этой пассионарности, то нет и способности совершить подвиг. Как вы можете заставить такого человека отдать жизнь за Родину?»

Слушая подобное, поглядываешь на календарь. Боярыня Морозова, XIX век с его культом самопожертвования в борьбе за национальное государство, западники и славянофилы в прокуренных достоевских каморках, федоровская утопия, гумилевская «пассионарность»... — похоже, «миф Россия» во всех его бесчисленных модификациях и воплощениях имеет сегодня куда более высокую конъюнктуру, чем четверть века назад...

**Бор. Хазанов.** Ваш диагноз, если и не предвещает летальный исход, то во всяком случае не сулит больному выздоровления: случай хронически-рецидивирующего недуга. Я, как Вы знаете, не отношусь к нашему отечеству как к чужой для меня стране. Это даёт мне, я думаю, право и основание во многом разделять Ваш пессимизм. Но будем справедливы: хотя Вы и находите, что в книжке, выпущенной четверть столетия тому назад, содержатся кое-какие оправдавшие себя предвидения, намечается возврат на круги своя и т.п., — многое в России существенно изменилось. Достаточно сказать, что публикация наших с Вами размышлений была бы абсолютно невозможной в Советском Союзе, если бы это монструозное государство не провалилось в тартарары. А ведь, сознайтесь, ни Вы, ни я не ожидали такого быстрого конца.

О себе я, по крайней мере, могу сказать, что я всегда задавал себе вопрос, на чём всё это держится, — и всегда был уверен, что такая большая страна не может вот так, здорово живёшь, в одночасье пойти ко дну. Тем не менее это случилось с советским государством. Опять-таки спрашиваешь себя, каким образом система, давно изжившая себя, вполне и неизлечимо нежизнеспособная, смогла протянуть так долго.

Я думаю, что моё отношение к стране, где я вырос и прожил большую часть своей жизни, всегда было «антиномичным», всегда представляло собой смесь противоположных впечатлений, несовместимых чувств. Вы настаиваете на том (возможно, я несколько упрощаю), что советский режим или что-то подобное возрождается, отряхивая остатки могильной глины или золы. Однажды я описывал (по другому поводу) офорт Пауля Клее *Greiser Phönix*, «Престарелый Феникс». Существо, похожее на птицу, одна нога-лапа с длинными когтями, другая — без

ступни, стоит посреди пустынного ландшафта. Этот жалкий монстр гол, остатки оперения торчат сзади, вместо крыльев какие-то водоросли. Голова с хохолком, с величественным клювом и большим круглым глазом горделиво закинута. Он держит копьё, на котором насажен череп.

Он восстал из пепла. Каков он ни есть, он оказался бессмертным. Аллегория режима?

Лишённый традиционной легитимации, как и его предшественник, новый режим старательно подыскивает «новую идеологию». Новых идеологий, однако, не существует. То, что подсказано сверху и находит сочувственный отклик внизу, — всё та же, с пятнами плесени, «русская идея».

Романтический национализм с мессианскими амбициями, идея, некогда наваянная иенскими романтиками, переписанная на русский лад, проделала в обеих странах более или менее сходную эволюцию, из мечтательно-голубой превратилась в агрессивно-багровую. Об этом, о том, как нежная Снегурочка состарилась и стала Бабой-Ягой, я размышлял в книжке, которую Вы нашли не вполне утратившей актуальность. И вот, смотрите-ка, эта Баба-Яга, размалёванная, как двадцатилетняя дива, предстала перед нами в виде новой идеологии. Можно ли отнестись к ней всерьёз?

**Дм. Попов.** Разумеется, нет. Но и в возрождение советского режима я тоже, конечно, не верю. Больше того, я убежден, что за прошедшие годы в России капитализм, о котором с таким романтическим азартом грезило поколение перестройки, одержал сокрушительную победу. Современной Россией правят деньги, а вовсе не идеи. И даже проповедники «пассионарной мусульманской цивилизации», с увесистыми швейцарскими часами на запястье, сами напоминают скорее «эффективных менеджеров», чем готовых «отдать жизнь за Родину» нищих патриотов из сектора Газа.

Вот только капитализм этот разительно отличается от грез романтиков восьмидесятых годов.

Мне запомнилось токшоу, которое я посмотрел в один из недавних приездов в Москву. Спорили об экономике. Юная блондинка пылко отстаивала «либеральные ценности», частную собственность, свободное предпринимательство. Я испытал пронзительное *déjà vu*. Четверть века назад я сам слово в слово произносил то же самое. Да и типаж девушки-оратора был из той, казалось бы навсегда ушедшей эпохи, только в другом культурно-политическом контексте. Своей особой асексуальной красотой и немножко подозрительной взвинченностью белокурая защитница либеральных ценностей больше всего напоминала комсомольских функционерок моей юности. Перечитывая сейчас книгу «Миф Россия», я, между прочим, пережил сходное «дежавю». Поразил

«портрет государственного человека», сидящего перед Вами по ту сторону лубянского стола. Это же точь-в-точь современный российский предприниматель! Человек «с выражением простоватой хитрецы и смекалки, с этой способностью неожиданно переходить от строгой официальности к балагурству и амикашонству», человек, который одновременно прост и неуловим, про которого не поймешь, придуривается он или серьезен, и который «давно забыл границу, отделяющую ложь от правды и добро от зла». К идеологии — хоть к «русской идее», хоть к европейским свободам, хоть к пылкой Снегурочке, хоть к размалеванной Бабе-Яге — он относится с легкостью Владимира Жириновского, который под знаменами «либеральной демократии» мечтал отправить российских солдат мыть сапоги в Индийском океане. В современной России никакой идеологии нет и в помине, а есть только пиар — вполне капиталистические технологии нового отечественного агитпропа. Ну какой Сурков идеолог? У него нет ни одной собственной идеи, а те пасьянсы из чужих слов, что он время от времени раскладывает в своем кремлевском кабинете, похожи на манипуляции напёрсточника, призванные лишь отвлечь внимание публики от большого передела собственности в соседних кабинетах.

Грезя четверть века назад о русском капитализме, романтики перестройки были непростительно наивны. Пока они спорили на кухнях и митинговали в Лужниках, — в недрах советской мясомолочной промышленности, в лубянских кабинетах, в кулуарах съездов комсомола, ну и, конечно, в блатном уголовном подполье рождался реальный, а не выдуманный русский капитализм. «Хазер (боров) перевернулся на другой бок...» Кто бы ни произнес эту обидную фразу, он был, к сожалению, прав. Романтики шумно митинговали, пинали и тормошили вправшую в спячку животину, а когда боров, наконец, поднялся на ноги и вновь повалился, оказалось, что другой бок, открывшийся изумленным взорам современников, не менее грязен, чем прежний. Русский капитализм, как и русский коммунизм, увы, не порадовал «человеческим лицом».

**Бор. Хазанов.** Я не решаюсь философствовать о предметах, в которых мало что понимаю, но готов приветствовать Ваш интерес к экономике. Или, скажем так, возвращение к трезвой действительности рубля и доллара, купли и продажи, производства и потребления, — ко всему тому, от чего наш брат привык открепиваться как от марксистского наваждения. Мы кормимся идеями и полагаем, что и мир вокруг нас управляем идеями. Время от времени, однако, и нас жестокая жизнь хватает за известное место. Но отказаться раз и навсегда от идеализма мы всё же не в силах. Просто приходится поменять гордый тезис

«или — или» на скромное «и — и». Бытие, слава Богу, не всегда определяет сознание, но и сознание, увы, часто не определяет бытие. Что же его определяет? И то, и это; всё сразу.

Да, российский капитализм... Подобие золотой лихорадки, русский Клондайк, а если вернуться к истории Европы — эпоха первоначального накопления, юный, рваческий капитализм XVI века. Стремительное обогащение бывшей партийно-полицейской верхушки, расхватавшей вкуче с молодым зубастым жульём бывшее государственное добро, и как следствие — беспардонная эксплуатация неимущих. Ещё далеко до солидарности обездоленных, до рабочего и социалистического движения, до профсоюзов и забастовок, до социальных реформ и так далее, — суждено ли вступить сызнова на эту наезженную колею?

Грядущие годы таятся во мгле. Главное и, похоже, единственное достижение футурологии, научного предсказания будущего, — это понимание того, что будущее непредсказуемо. Но, в отличие от рухнувшего советского строя, юный капитализм обладает почти неограниченными возможностями развиваться, меняться, совершенствоваться. Его агрессивные потенции необозримы. Ему и принадлежит будущее, каким бы оно ни оказалось. Никакого иного, третьего пути не может быть для России, потому что «третий путь» означает только одно: отсталость.

Радоваться ли этому светлому будущему? Горевать ли? С лихорадочной поспешностью на наших глазах в России складывается то, что за несколько послевоенных десятилетий успело сформироваться в США, в Японии, в Западной Европе, — нечто новое и небывалое в истории: массовое общество. О нём пророчил Ортега-и-Гассет в некогда шумевшей книге «Восстание масс», но и ему не снилось то, что спустя полвека явилось на свет. Толпы на улицах больших городов, толпы в чертогах гигантских магазинов, толпы, ревушие на стадионах, массовый психоз в концертных павильонах, где под громыхание ударных инструментов на подмостках извиваются похожие на павианов исполнители музыки первобытных племён. Общество, высшим законом которого является потребление и верховным законодателем — рынок.

Вы догадываетесь, что во мне говорит представитель архаической профессии. Шансы литературы, которая притязает на право считаться серьёзной, в таком обществе плачевны, она не может себя окупить. Литература, приносящая весомую прибыль, — это почти всегда мусор.

Время от времени вспоминаешь старинную легенду о великой общественной роли художественного творчества. Между тем субъект и производитель литературы по-прежнему остаётся существом сугубо индивидуалистическим; что-то вроде холодного сапожника. Нужно привыкнуть к существованию на обочине; для многих это означает существование вне современности, почти равнозначное несуществованию. Писатель в сегодняшней России лишён социальной защиты. Издатель и кни-

готорговец бодро эксплуатируют его труд. Остаётся лишь удивляться тому странному факту, что до сих пор выходят в свет книги, которые приобретёт ничтожная кучка покупателей и не заметят коррумпированные критики, совершенно так же, как изредка снимаются фильмы, о которых заведомо известно, что публика будет уходить из зала, не просидев и десяти минут.

Но мы толковали не о такой маловажной вещи, как литература. Речь шла о судьбах возлюбленного отечества. Итак, что сказать в заключение? Попытаемся, вслед за автором замечательного опуса «Миф Россия», сформулировать концепцию Русского Бога.

Этот Бог ленив и большую часть рабочего дня проводит лёжа на печи. Его отношение к подопечному народу выражается в известных сентенциях. «Просьба не беспокоить». — «Управляйтесь сами». — «Как-нибудь обойдётся». — «Перемелется, мука будет». — «Бог не выдаст, свинья не съест», etc. Но когда уж по-настоящему припрёт, когда клюнет жареный петух, в последнюю минуту, Русский Бог зашевелится и что-нибудь придумает. Кряхтя, слезет с печки. Так бывало не раз. В срок первом, когда тевтонское полчище совсем было изготовилось сожрать Россию (я-то помню эту осень), он спохватился, наслал небывало жестокою зиму, и, глядишь, отогнали супостата. И снова улёгся.

Пессимизм, знаете ли, плодотворен. Скепсис созидателен. Они освобождают от иллюзий. Быть может, даже таят стыдливую надежду. И Бог не выдаст, и свинья не съест; авось и впредь как-нибудь обойдётся.

С любовью и почтением Ваш *Борис Хазанов*.

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Счастье быть ничьим*

Родники и камни	7
Понедельник роз	64
Литературный музей	103

### *Ветер изгнания*

Жабры и лёгкие языка	157
Ветер изгнания	162
Где ты была, киска	170
Любимый ученик	180
Возвращение Агасфера	190
Буквы	195
Язык	198

### *Долой историю*

Штирлиц, или красота фашизма	201
Десять праведников в Содоме	208
Творческий путь Геббельса	235
Лени Рифеншталь	257

### *Элизиум теней*

Ночник и молния	263
Гёте и девушка из цветочного магазина	267
Чёрное солнце философии: Шопенгауэр	271
Вейнингер и двойник	279
О Томасе Манне	296
Вдохновитель Леверкюна	298
История еретика и меча: Борхес	301

Шульц, или Общая систематика осени	307
К северу от будущего: Хайдеггер и Целан	317
Улица Аси Лацис: Бенъямин	325
Когда боги ушли на покой: Маргерит Юрсенар	329

### ***Миф Россия***

Град Китеж ( <i>Б. Хазанов — Д. Попов</i> )	335
Миф Россия. Опыт романтической политологии	340
Немецкий эпилог.	423
Четверть века спустя ( <i>Б. Хазанов — Д. Попов</i> )	440



## **Борис Хазанов**

Миф Россия

Статьи и эссе

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*  
Дизайн обложки *И. Н. Граве*  
Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»,  
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.  
Тел./ факс: (812) 560-89-47  
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),  
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)  
**www.aletheia.spb.ru**

### **Фирменные магазины «Историческая книга»:**

*Москва*, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95  
*Санкт-Петербург*, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.  
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве  
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru  
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83  
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.  
Тел. (495) 915-27-97  
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28  
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездиковский пер., 12/27.  
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21  
Магазин издательства «Совпадение».  
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 11.05.2011. Формат 60x88¼  
Усл. печ. л. 27,31. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ № 712



**Борис Хазанов** (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, Русская премия (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

**Седьмой том Собрания сочинений Бориса Хазанова содержит несколько крупных публицистических, эссеистических и автобиографических произведений («Родники и камни», «Понедельник роз», «Миф Россия»), циклы этюдов и статей на темы новейшей истории, статьи о писателях и философах.**

**Истинная история минувших времен.**

**К северу от будущего.** Романы и повести

**Третье время.** Романы и повести

**После нас потоп.** Романы и повести

**Вчерашняя вечность.** Повести и рассказы

**Опровержение Чёрного павлина.** Романы, повести, эссе

**Миф Россия.** Статьи и эссе

**Подвиг Искарюта.** Рассказы, статьи, письма

**В лучах чужих планет.** Рассказы, статьи, переводы